ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

2

СТУДЕНТЫ
ИНЖЕНЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Подготовка текста и примечания
Е. М. ШУБ

Оформление художника
Н. КРЫЛОВА

СТУДЕНТЫ

ТЁМА И ЕГО ДРУЗЬЯ

Из семейной хроники

I

— Один ксендз исповедовал одну молодую даму... Она призналась ему, что изменила мужу... Он прочел ей суровую нотацию... Кончив, он спросил ее: «Кто же ваш обольститель?» Она назвала имя его начальника. Тогда ксендз заговорил: «Лестно, лестно, это даже очень лестно...»

Карташев заерзал на стуле, изображая ксендза...

— Тёма?!

Действие происходило в деревне у Карташевых в столовой во время обеда. Мать Тёмы, Аглаида Васильевна, положив нож и вилку, смотрела на сына, но тот предпочитал в это время смотреть в раскрытое окно в сад, там, в саду, была тень и было солнце, было весело, как только может быть весело летом в деревенском саду, так же весело, как было теперь на душе Карташева, и мысль, что он успел-таки рассказать то, что вдруг подвернулось ему на язык, еще больше веселила его.

Корнев, гостивший опять у Карташевых, не мог удержаться от улыбки, глядя то на глуповато-довольное лицо приятеля, то на огорченно-строгое лицо его матери. Он улыбался, хотя в то же время и старался, чтоб Аглаида Васильевна не видела его улыбки и тем не рассердилась на сына еще больше. Наташа кончила есть свое жаркое и равнодушно задумчиво смотрела пред собой. Ее лицо как бы говорило: не стоит обращать внимания на Тёмины глупости, а только жаль, что

он с каждым днем делается все меньше похожим на того идеального Тёму, которого она так любила когда-то.

И Аглаида Васильевна, точно прочитав мысли Наташи, принимаясь за прерванную еду, заметила с горечью:

— Было время, я мечтала, что из моего сына выйдет Вальтер Скотт...

— А вышел просто скот,— ответил Карташев в тон матери и уныло-комично опустил голову.

Удержаться было нельзя: все рассмеялись, и даже Аглаида Васильевна, улыбнувшись, произнесла:

— Это только потому хорошо, что верно.

— Да, скотина порядочная,— сказал весело Корнев и сейчас же прибавил: — Прошу извинить за выражение... Такие господа, как Тёмка, невольно выводят из рамок приличий... Гм! Гм!

— Все вы хороши,— ответила Аглаида Васильевна.— Я часто думаю... Мне даже раз сон приснился: будто масса молодежи... и все такая прекрасная, и я говорю: «Господа, столько прекрасной молодежи, а где же хорошие люди?»

— Да, хороших людей мало,— согласился Корнев. Когда обед кончился и все встали, Корнев запел:

Быстро молодость промчится.
Так не лучше ли пока
Жизнью вдоволь насладиться:
Жизнь ужасно коротка.

— Это откуда? — поинтересовалась Аглаида Васильевна.

— Из «Прекрасной Елены»,— предупредительно ответил Корнев.

Аглаида Васильевна махнула только рукой и пошла к себе.

Это был последний обед перед отъездом из деревни сперва в город, а затем и в Петербург.

Под вечер в последний раз собрались прокатиться в степь.

— Тёма, поедем верхом,— предложила Наташа.

— Я верхом не поеду,— решительно заявил Корнев.

— Я не вас и зову.

— Я согласен,— ответил Карташев.

Наташа поехала на своей Голубке, Карташев на Орлике.

— Хочешь, поедем в Криницы...— предложил брат.— Может, Одарку увидим... Как странно: Одарка замужем...

— Хорошо... Маму надо спросить...

Аглаида Васильевна разрешила, и брат с сестрой поехали в Криницы.

Солнце садилось. Орлик избалованно шел полурысью, и Карташев, зная, что мать наблюдает за ним из экипажа, с красивой посадкой, рисуясь и маскируя это, лениво щурился в ту сторону, где сверкали пруды Криницы. Наташа, худенькая и грациозная, держала себя просто и естественно.

— Зачем ты все хочешь увидеть Одарку? Ты говорил, что она тебе больше не нравится? — спросила его сестра.

— А может быть, она мне опять понравится?

— А если бы понравилась, ты стал бы за ней ухаживать?

— Я не знаю...— ответил Карташев тоном, задевшим целомудренную Наташу.

— Ну, так поезжай один.— И Наташа повернула свою лошадь.

Карташев засмеялся.

— Ну, не буду.

Наташа остановила лошадь.

— Честное слово?

— Ну, какое тебе дело?

— Уеду.

— Ну, честное слово,— рассмеялся Карташев.

Наташа опять повернула свою лошадь в Криницы, и брат и сестра поехали рядом.

Залитая солнцем, уютно сверкала опрятная деревня. Точно туман или пыль от лучей подымалась над рекой и окутывала ее золотистою дымкой заката. Солнце спокойно исчезало за горой. Высокая перекладина колодца у въезда в деревню на широкой лужайке, равномерно

поскрипывая, медленно поднималась и опускалась под усилием какой-то бабы.

— Вот Одарка! — показала вдруг на нее брату Наташа.

Карташев не сразу поверил. Эта неуклюжая, повязанная, загорелая дурнушка — Одарка?

Но это была она.

— Одарка?! — воскликнул пораженный Карташев.

Одарка подняла сконфуженно свои все еще прекрасные глаза. Но вдруг, увидя по дороге пару волов и воз, она испуганно заговорила:

— Едьте, едьте, ради бога... Конон!

— Едем, Тёма,— строго приказала Наташа.

Они повернули своих лошадей и оба смущенные молча поехали назад мимо Конона, мужа Одарки. Карташев возмущенно отвел от него глаза.

— В один год всего что он с ней сделал...

Они долго ехали молча.

— Если б я знал, лучше бы не ездил. Одарка оставалась бы все такой же прекрасной... И дурак Конон воображает, что еще можно ухаживать за ней.

Наташа не сразу ответила.

— А душевная перемена еще тяжелее переживается,— рассеянно проговорила она.

С своей обычной болезненной гримасой она посмотрела вперед и опять замолчала.

— Ты на мою перемену намекаешь? — спросил уже серьезно задетый вдруг Карташев.

— Это нечаянно само собой вышло... да. Не только на твою... у вас всех перемена...

Брат напряженно сдвинул брови и искал ответа.

— Нет... если серьезно говорить, то ведь это только поверхностно... Ну, подразнить, что ли, иногда захочется...

— Нет, Тёма... громадная перемена.

Карташев пожал плечами.

— Может...— И, вздохнув, он прибавил: — А нехорошая штука жизнь — портит людей.

Наташе еще тяжелее стало от слов брата. Она выпрямилась, точно хотела сбросить с себя эту тяжесть, и энергично проговорила:

— Нет, это пройдет... Ты опять будешь такой же идеальный... Но!

Она подняла свою лошадь в галоп, Карташев тоже поскакал с ней рядом и все думал о том,— действительно ли он переменился и в чем было то идеальное, чего теперь нет в нем, конечно.

Наступал вечер, в степи где-то замирала песня. Воздух звенел от кузнечиков, стрекотавших без умолку где-то близко по обеим сторонам пыльной дороги. По временам вдруг выше поднималась песня и звонко неслась по степи. Звонкий голос парубка пел:

Нехай кажут, нехай кажут,
Мусят перестаты,
Як уйду я на Украйну
Иншую шукаты.

Да, да, думал Карташев, и он уедет в Петербург и прощай все прошлое... то далекое, милое...

Затихла песня, степь замерла в неподвижном очаровании вечера, сердце больно и сладко сжималось о милом далеком прошлом и так рвалось к нему...

Они молча доехали до усадьбы. Карташев как-то особенно любил в эти минуты свою сестру.

Он помог ей соскочить у подъезда с седла, и когда она встала на землю, он обнял ее и горячо поцеловал. Наташа тоже быстро, горячо поцеловала брата и с манерой матери, махнув рукой, быстро смущенно прошла в дом.

Карташев же, передав лошадей Грицько, пошел в сад и, гуляя по аллее взад и вперед, все думал о том, что он теперь большой уже. Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком. Он станет серьезным, будет заниматься, будет ученым,— новый мир откроется перед ним, захватит его своим интересом, и забудется он в нем и потеряет все то, что пошлит людей, что берет верх над духовным только в пустой, бессодержательной жизни.

Карташев ходил, жадно и энергично вдыхал в себя ночной аромат старого сада, и когда его окрикнул с террасы Корнев, он весело и возбужденно ответил:

— Иду!

Из мягкой темноты он попал в яркую столовую, где сидели за чаем все и смотрели на него — Наташа, ласковая и повеселевшая, добродушный Корнев, мать, Маня. И все казались ему и оживленными и жизнерадостными, и он с наслаждением принял свой стакан чая, пил его и все думал о Петербурге, а когда кончил чай, подошел к матери и горячо поцеловал ей руку. Он был скуп на ласки и, как отец его, несообщителен на чувства, и этот поцелуй и удовлетворение его души передались матери и всем. Вечер прошел незаметно, все были в духе, в том настроении, когда все кажется таким уютным, когда так хорошо поются, в знакомой налаженной обстановке, грустные малороссийские песни. И Корнев с Маней их пели, а Карташев с матерью сидели на террасе. Аглаида Васильевна говорила сыну:

— Ты у меня умный, и добрый, и хороший, Тёма, и я не сомневаюсь, что господь благословит твою жизнь... Но, милый Тёма, поверь ты мне... Я много видела в жизни, и кому же, как не тебе, передать мне свой опыт? Помни, Тёма, что единственная опасность, которая грозит тебе,— это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в каторгу...

— Мама!

— Все, Тёма, погибнет тогда... все! и ты и твоя семья, для которой ты радость жизни превратишь в тяжелое горе... такое горе, которого не выдержу я, Тёма.

Аглаида Васильевна, взяв руками голову сына, поцеловала его горячо в лоб. Разговор продолжался, но уже о молодых — Зинаиде Николаевне и Неручеве. У них не все шло так гладко, как хотелось Аглаиде Васильевне, и она жаловалась на Неручева.

В последний раз на другой день утром обходили Корнев, Наташа и Карташев сад, заглядывали в конюшню, прощались с лошадьми. Корнев смотрел на все равнодушно, как на что-то уже чужое для него, оторванное, к чему он не возвратится больше никогда. Там

ждала другая жизнь, там в ней большая или маленькая, но его доля, и интересно было увидеть скорей эту свою долю.

Наташа была равнодушна, сдержанна и как будто рассеянна. Корнев иногда пытливо останавливал на ней взгляд, иногда по лицу его пробегало сомненье, но чаще он говорил себе: «Ерунда»,— и старался держаться непринужденно, как человек, который и в мыслях не держит посягать на что-либо. Наташа же только видела его желание подчеркнуть это и всем своим образом действий как бы отвечала: но ведь и я не ищу ничего. И когда им удавалось убедить в этом друг друга, они оба еще более становились спокойными, равнодушными и скучными.

— Спойте на прощанье,— обратилась Наташа к Корневу, когда они возвратились в дом.

— Нет, не хочется... Надоело... Надоело все.

— Ну, вот уж скоро, скоро в Петербург,— ответила Наташа с своей обычной гримасой.

— Что ж Петербург? Я и от него ничего не жду. Высылать мне будут тридцать рублей в месяц, при таких деньгах не разживешься. Комнатка где-нибудь на пятом этаже да лекции... в театр и то не на что будет ходить.

— Уроки будете давать.

— Какие уроки? Нашего брата там, как сельдей в бочке.

— Но другие же дают.

— Дают, кому бабушка ворожит.

— Дают, кто брать умеет.

— Ну, кто брать умеет,— желчно и едко согласился Корнев,— а нам куда? Мы люди маленькие... уже подрезанные, готовые.

— Не говорите же так...

— Отчего не говорить? Истина тяжела, но еще тяжелее отсутствие сознания этой истины, Наталья Николаевна... Нет, уж лучше знать...

— Да ведь откуда вы знаете?

— Э-э! Знаю... Чувствую-с...

II

Карташевы приехали в город, и текущие интересы дня поглотили все их внимание. Карташева обшивали с ног до головы, как на свадьбу. Шили ему белье, платье, пальто, шубу. В пиджаке он будет ходить на лекции, в сюртуке в театр, к знакомым. Необходимо перчатки и pince-nez. Перчатки он купил, но pince-nez не решился и мечтал только о нем. Там, в Петербурге, он его купит. Он остригся, потому что при примерке нового платья все было новое, кроме старых волн его густых, не желавших держаться аккуратно, русых волос. Так как он требовал от портных, чтоб те шили как можно уже в талии, то платья его смахивали в конце концов на платье с младшего брата. Сам Карташев, впрочем, этого не замечал — его стягивало, как в корсете, он этого только и желал. Ему показались рукава длинными: недостаточно виднелись из-под них манжеты — ему обрезали и рукава.

Наконец, все было готово: и платье, и белье, и шуба, и башлык, и даже кожаные калоши. Непременно кожаные. Человек хорошего тона не наденет резиновых. Груда вещей занимала кабинет, лежала на стульях, столах, и Карташев в избытке чувства сам ложился тут же на диван, поверх какого-нибудь нового сюртука, положив ноги на новые штаны, и в каких-то волнах без образов плавал в своем удовлетворенном через край чувстве.

В новом платье он ходил к знакомым и жалел, что нельзя сразу все надеть: все платья, и шубу, и башлык, и калоши. О последних и речи не могло быть в конце июля — и в одном черном сюртуке была невыносимая духота. Но тем не менее как-то вечером, перед самым отъездом, провожая одну из Наташиных подруг, Горенко, Карташев под предлогом прохладной ночи (ночь была удушливее дня) надел и пальто и калоши. Хотел даже надеть и башлык и барашковую шапку, потому что в зеркале он так нравился себе в этой шапке.

— Вам не жарко? — спросила его участливо Горенко.

— Нет,— ответил серьезно и озабоченно Карта-

шев,— у меня маленькая лихорадка,— и, чтобы быть вполне естественным, он даже засунул свои руки в перчатках в рукава своего пальто.

Горенко жила далеко, ночь была лунная, улицы пустынные, щелканье калош оглашало далеко кругом неподвижный воздух и доставляло их владельцу порядочное-таки неудобство.

Когда они подошли к дому, где жила Горенко, Карташев позвонил, и они ждали, пока им отворят.

— Нет, вы сегодня неразговорчивы,— усмехнулась Горенко.

— Я вам говорю, что у меня лихорадка.

По двору раздались шаги дворника.

— Ну, желаю вам всего лучшего. Я все-таки хочу верить, что не ошиблась в вас... У кого есть такая сестра, как Наташа...

Горенко говорила с своей обычной манерой думать вслух.

— Прощайте...

Она быстро пожала руку Карташева и скрылась прежде, чем закутанный Карташев сообразил что-нибудь.

Возвращение домой на этот раз было невеселое. Он всегда был уверен, что в глазах Горенко стоит на высоте. Ее последние слова одним взмахом сшибли его с подмостков... Теплое пальто давило плечи, калоши, утихшие было, стали снова отбивать такой назойливый такт, что Карташев с воплем: «А, будьте вы прокляты!» — вдруг махнул сперва одной ногой, затем другой, и калоши улетели и где-то далеко посреди улицы шлепнулись одна за другой. Но калоши все-таки представляли из себя капитал, и Карташев, удовлетворив свой гнев, отправился на розыски, нашел их и, держа их в руках, пошел дальше.

III

Завтра отъезд... Завтра все это исчезнет, и совсем другая обстановка уже будет окружать его, Карташева. Эта теперешняя никогда уже не возвратится. Приезд на каникулы будет только временным пребыва-

нием в гостях, но своя жизнь будет уже не здесь — пойдет отдельно и так до конца. Все счеты таким образом сведены с этой жизнью — с гимназией, матерью, семьей. Все, что пошлило жизнь, что делало ее будничной, теперь уж назади. Теперь это только близкие люди, которые ничего не жалели и не жалеют, чтоб дать все, что могут. Карташев в первый раз заметил, что мать его постарела и как будто стала меньше... Она нервно, озабоченно возилась около его вещей, старалась не смотреть на него и боролась с собою. Он видел это, видел, как все-таки тяжел ей был его отъезд, и несколько раз его тянуло обнять мать, расцеловать, обласкать. Прежде его ласкали, а теперь ждали его ласки. И он знал, что для матери его ласка была бы большим утешением, была бы счастьем. И тем не менее он не мог себя заставить быть нежным и ласковым, не мог вырваться из какого-то прозаического настроения. Что-то мешало. Конечно, не то доброе чувство, которое теперь в нем было, а скорее — страх, что иллюзия этого чувства разлетится, когда он исполнит свое желанье. Может быть, этого чувства хватило бы только, чтобы сделать первый шаг, а затем он остался бы лицом к лицу с той матерью, перед которой стоял, когда удалили из дома Таню, когда его высылали вон, когда насиловали его волю, когда к такой пошлой прозе сводились его порывы... Боже сохрани, он не хотел ничего помнить, не хотел ни в чем упрекать, он любил всей душой, но след, след оставался, и как тяжело экипажу свернуть с наезженной глубокой колеи, так было трудно вырвать что-то из сердца, что не зависело больше от Карташева. И мать это как-то инстинктивно чувствовала и, ничего не требуя, испытывала в то же время неприятное раздражение.

Доставалось Наташе, горничной, но с сыном она была только озабочена и при нем больше обращала внимания на его вещи, чем на него.

Пришел Корнев прощаться, тоже в новом костюме, задумчивый и сосредоточенный. Он сидел, грыз ногти, отвечал односложно.

— Ну-с...— проговорил он и с неестественной улыбкой поднялся.

И в ту же минуту и он и все поняли, что пришло время расстаться, а с разлукой пришла и новая жизнь. Это стоял уже не мальчик, не гимназист Корнев,— это стоял молодой человек в черном сюртуке. Его лицо побледнело и по обыкновению, как то бывало с ним в минуты сильного волнения, слегка перекосилось.

— Ничего не поделаешь... надо прощаться...

Голос его хотел быть шутливым, но дрожал от волнения. Наташа стояла перед ним бледная, большие глаза ее почернели еще, и она точно испуганно смотрела в него, как бы стараясь вдруг вспомнить то, что все время до этого мгновенья вертелось у ней в голове.

— Вот как время летит, Наталья Николаевна, а впереди что?

Он на одно мгновенье пытливо, напряженно заглянул ей в глаза.

Наташа все продолжала во все глаза смотреть на Корнева и вряд ли сознавала что-нибудь, когда пожала ему руку.

Корнев вышел в переднюю, надел пальто, вышел на подъезд, перешел улицу, а Наташа бессознательно подошла к окошку и смотрела ему вслед. Корнев вдруг повернулся, точно какая-то сила толкнула его, и, увидев Наташу, сорвал свою шляпу и несколько раз низко и быстро поклонился. Это был прежний гимназист Корнев в засаленном пиджаке там в деревне, и глаза Наташи вдруг засияли волшебными огоньками.

IV

И день отъезда настал. Уезжали: Корнев, Карташев, Ларио, Дарсье и Шацкий.

Шацкий, несмотря на то, что познакомился очень недавно со всей компанией, уже сумел вызвать к себе общее нерасположение. Он, собственно, не был учеником гимназии и держал со всеми только выпускной экзамен. Он был то, что называется, экстерн, или футурус. Выдержал Шацкий экзамен хорошо, но крайней эксцентричностью своих манер поражал и часто воз-

мущал всех. Более других возмущался Корнев, не могший выносить этой высокой, развинченной фигуры, всегда в невозможном по безвкусию костюме, с претензией на какой-то шик, которого не только у него не было, но, напротив, все было карикатурно и уродливо до непозволительности. Ко всему Шацкий как-то без смысла и цели лгал: сегодня он граф, завтра князь, а в то же время все знали, что его родня занимается в городе торговлей.

Поезд отходил в семь часов вечера. Первым приехал на вокзал Шацкий, одетый в полосатый костюм в обтяжку, долженствовавший изображать англичанина.

Худой, высокий, с маленькой рысьей физиономией, с вечно бегающими глазками и карикатурно длинными руками и ногами, Шацкий, безобразно ломаясь, быстро ходил взад и вперед, что-то без голоса, фальшиво напевая себе под нос. Иногда он вдруг останавливался, широко расставляя свои длинные ноги, вытягивал свою рысью голову, усиленно мигал, точно соображал что-то, и затем, весело щелкнув пальцами перед своим носом, еще карикатурнее раскачиваясь и чуть не выкрикивая какой-то дикий, бессмысленный мотив, продолжал свою беготню по платформе.

В дверях показались Корнев и Ларио.

— Здесь уже? — брезгливо проговорил Корнев, увидев Шацкого.— Готов пари держать, что его все принимают за идиота.

Ларио, широкоплечий, коренастый, с круглым румяным лицом, с большими близорукими карими глазами, бойкий только в своей компании и очень конфузливый в обществе, в ответ на слова Корнева прищурился, оглянул платформу и поспешно произнес:

— Послушай, сядем вот в том уголке.

Усевшись на зеленую скамейку подальше от публики, Ларио на мгновение почувствовал себя удовлетворенным, но вскоре опять заерзал.

— Рано приехали...— сказал он прищурившись.

Помолчав еще, он с напускной бойкостью спросил Корнева:

— А что, Вася, как насчет пивка?

— Пивка так пивка,— ответил Корнев.

— Молодец,— вдруг оживился Ларио,— люблю таких. Гарсон, пару пива! Терпеть я, Вася, не могу всякого этакого собрания.

— А я вот терпеть не могу таких, как этот Шацкий.

Шацкий, не обращая внимания на товарищей, продолжал бегать взад и вперед.

— Ну, что ты против него имеешь? В сущности, ей-богу, он ничего себе.

— Ты думаешь? — спросил Корнев, принявшись за свои ногти.— Послушайте, вы,— примирительно окликнул он Шацкого,— подите сюда.

Шацкий, засунув руки в карманы своей английской куртки, подошел к сидевшим и, широко расставив длинные ноги, уставился в Корнева, стараясь замаскировать некоторое смущение пренебрежительным выражением лица.

— Ну, одним словом, настоящий англичанин,— сказал пренебрежительно Корнев.— Вы сегодня кто: граф, князь, барон?

Шацкий рассмеялся, но, сейчас же скорчив серьезную физиономию, церемонно ответил:

— Маркиз, вы слишком любезны...

— А вы, князь, шут гороховый... то бишь, я хотел вам предложить один вопрос: приедет ли ваша пышная родня вас провожать сегодня?

— Нет, лорд, я уезжаю инкогнито.

— Это значит, что вы все-таки не добились разрешения на ваш отъезд. Откуда же вы в таком случае достали денег? Мне страшно подумать, князь: неужели вы решились на преступление и, говоря грубым жаргоном обитателей тюрьмы, попросту украли у вашего батюшки деньги?

— Лорд, что за выражения,— рассмеялся Шацкий,— за кого вы меня принимаете?

— В таком случае я ничего не понимаю...

— Да вы еще меньше, мой друг, поймете, если я вам скажу, что у меня в кармане тысяча рублей и я чист, как слеза.

Шацкий щелкнул пальцами и перекрутился на одной ноге.

— Во-первых, я вам не друг, а во-вторых, князь, позвольте по поводу последнего пункта остаться при особом мнении...

— В таком случае я не могу больше продолжать с вами беседу и потому...

Шацкий снял свою английскую фуражку.

— Можете убираться ко всем чертям, барон.

— Вы начинаете сердиться — это к вам не идет,— ответил Шацкий уже издали.

— Как все-таки досадно, что мы связались с ним,— проговорил Корнев,— он нам всю дорогу испортит.

— Ну черт с ним,— ответил Ларио,— давай раздавим еще по кружечке.

И Ларио с чувством прижал ноготь к столу.

— Да ведь так мы с тобой налижемся, пожалуй.

— От пары пива? Хо-хо-хо! Как ты глуп еще, Вася! Человек, пару!

Еще выпили пару.

Ларио, по мере того как пил, делался все оживленнее, а Корнев как-то все больше и больше слабел.

— Нет, я больше не буду,— уперся Корнев после третьей кружки.— У меня голова слабая, я не могу. Ты пей, а я посижу.

— Вася, не выдавай!

— Оставь!

— Вася, будь друг! Ты ведь еще мальчишка, а я в Питере уже был и, как свои пять пальцев, знаю... приедем — все покажу. Вася, голубчик, выпей, уважь, будь друг.

Корнев блаженно улыбался и, наконец, как-то отчаянно махнул рукой.

— Вася, друг! понимаешь, друг! Мальчик, два пива!

— Я боюсь только,— ответил Корнев,— что ты, Петя, скандал в конце концов сделаешь.

— Я, скандал? Я?!

И Ларио с чувством и упреком уставился в Корнева.

— Вася?! Ты мой лучший друг. За кого ж ты меня принимаешь? Видишь эту вот кружку,— больше ни-ни! Понимаешь, Вася? Эх, Вася, ведь ты думаешь, я пью для удовольствия — нет! Для куражу пью. Робкий я, Вася! Как народ — так, кажется, сейчас бы сквозь

землю провалился,— не знаю, куда руки, куда ноги девать, а как выпьешь, и ничего,— ходишь себе, точно никого нет. Вот и сегодня — народу много приедет, ну, я и подбадриваюсь.

— Не переборись только.

— Небось я знаю себя. Я, Вася, все знаю, все вижу, только скромность моя, Вася... Вот, Вася, хоть тебя взять. Думаешь, не вижу? А Наташа Карташева?

— Что Наташа? — спросил, стараясь придать себе равнодушный вид, Корнев.— Тебе понравилась?

— Вася, не финти, мне наплевать на Наташу, а вот твое рыльце в пушку. Подлец, Вася: краснеешь, врешь, меня не надуешь.

И Ларио залился громким, каким-то неестественным смехом.

— Вот ты говорил, что не захмелеешь...

— Врешь, врешь, я не захмелел. Только ты брось всех этих порядочных, Вася,— все они ломаки. Нет в них наивной простоты, и страсть, страсть их пугает. Пугает! Понимаешь?

— Послушай, на нас смотрят.

— Начхать! Слушай, Вася! Я тебя познакомлю в Питере со швейками. Я, Вася, больших не люблю. Я люблю маленьких. Эх, Вася, ненасытный я!.. Я тигра лютая, Вася... я крови хочу!!

И Ларио вдруг зарычал на всю платформу.

— Послушай?!

Входившие мать Корнева, сестра его, Семенов и Долба искали глазами Корнева.

Семенов и Долба приехали проводить.

Долба и Вервицкий оставались в одном из южных университетов.

— Вот он!

Когда все подошли, Маня Корнева сказала брату:

— Вася, как тебе не стыдно! Маменька, посмотрите.

Она показала на кружки пива.

— Васенька, миленький мой,— произнесла как-то автоматично мать Корнева.— Как же тебе не стыдно?

Корнев смущенно махнул рукой.

— Ну, что вы, маменька, в чем тут стыд, какой тут стыд? Ну, выпили кружку пива, ну, что ж тут такого?

— Как же так, Вася, ты молодой человек, у тебя сестра на возрасте.

— Ну и слава богу,— перебил ее Корнев,— вот я сейчас заплачу и пойдем.

— Нет, я плачу,— перебил его Ларио.

— Ну, черт с тобой, плати ты.

— Ах, Васенька, опять ты эти слова!

— Полноте, маменька, все это пустяки. Слова как слова. Это вот дворянам надо слова разбирать, потому что они дворяне, а мы с вами, маменька, люди маленькие.

— Маленькие, сыночек, маленькие... Васенька! Только зачем же ты все-таки это пиво пьешь — нет в нем добра, Вася. Ох, ножки мои, ножки, совсем не могу стоять — посади меня, Васенька!

И старушка Корнева тяжело опустилась на скамью.

Приехали, наконец, и Карташевы. Аглаида Васильевна, Наташа, Тёма и брат Аглаиды Васильевны, высокий господин с большим добрым рябым лицом. Аглаида Васильевна выписала брата из его маленького имения с тем, чтобы он поселился у нее и вел ее дела. Он приехал как раз в тот день, когда уезжал Карташев. Он говорил сестре «вы» и был в полной от нее зависимости.

— Я не переваривaю,— сказал Корнев,— Карташева возле матери: она вьет из него веревки.

— А Наташу переваривaешь? — спросила сестра.

— Ну, Наташа,— кивнул головой Корнев.— Он в подметки не годится своей сестре. Она цельная натура. Впрочем, и он отличный парень, и я люблю его от души.

Корнев благодушно махнул рукой.

— Но только чувствую...

— А вы не чувствуете, Васенька, что от вас, как из пивного бочонка, несет пивом?..— спросила сестра.

— Это не вашего ума дело,— ответил ей брат.— Вы вот слушайте, что вам говорят, и ладно будет.

— Ах, Вася, не обижай сестру на прощанье.

— Маменька, ее никто не обижает, она сама всякого обидит...

— Послушайте, Семенов, уведите его и приведите в чувство, а то он что-нибудь выкинет перед Карташевыми,— обратилась Маня к Семенову.

— Ерунда,— ответил уверенно Корнев.

— Ничего не выкинет,— авторитетно сказал и Семенов,— вот разве два-три зернышка жженого кофе, чтоб дух отшибить.

— Ладно и так,— пренебрежительно ответил Корнев.

Подошло семейство Карташевых, и все начали между собой здороваться.

— А где же Ларио? — спросила Наташа.

Маня Корнева насмешливо посмотрела на брата.

— Ну, что же ты молчишь? Где Ларио?

— Ларио? Он скрылся. Знай, несчастная, что он ненавидит таких, как ты.

И Корнев запел выразительным и верным голосом:

Нас венчали не в церкви..,

— Ничего не понимаю.

— И не надо тебе понимать.

— Противный!

Семенов забил тревогу о том, что надо вспрыснуть отъезд.

Незаметно компания оставила платформу и скрылась под навесом буфета. Когда налили всем по рюмке водки, Долба, тряхнув волосами, произнес:

— Ну, за отъезжающих... Дай же боже, щоб наше теля да вивков съило.

Выпили.

— Наливайте еще за остающихся,— предложил Семенов.

Карташев, не любивший водки, отказался:

— Нет, я больше не буду..

— Что? мама? — спросил его вызывающе Ларио.

— Дурак,— ответил Карташев и залпом выпил другую рюмку.

Водка обожгла ему горло, и он несколько мгновений стоял, будучи не в силах произнести что-нибудь.

— Скажи: мама! — посоветовал ему Ларио, вызвав общий хохот.

Карташев в ответ хлопнул его по спине и проговорил, наконец:

— Черт меня побери — я передумал поступать на математический, потому что все равно срежусь.

— Инженер путей сообщения, значит, тю-тю?! Куда ж? Неужели на юридический? — весело поразился Корнев.

— Угадал!

— О-о! Легкомыслие!

— Водки! — решил по этому поводу Ларио.

— В таком случае,— вмешался вдруг Шацкий,— я тоже на юридический поступаю, а не в институт путей сообщения.

— Вот это хорошо,— быстро ответил Корнев,— вас там только недоставало! Первая умная вещь, которую от вас слышу. Согласен даже еще выпить по поводу такого счастливого случая.

После четвертой рюмки Корнев, порядочно охмелевший, сказал:

— Ну, пьяницы, довольно, пошли все вон назад.

Когда они вернулись на платформу, Корнева встретилась глазами с Карташевым... Он, под влиянием выпитой водки, особенно нежно взглянул на нее.

— Карташев, подите сюда,— подозвала его Корнева.

Они пошли по платформе.

Аглаида Васильевна, собравшаяся было что-то сказать сыну, только махнула рукой и, обратившись к брату, заметила:

— И не слушает даже! Посади меня где-нибудь.

Брат подвел сестру к скамейке, стоявшей в стороне, и проговорил, усаживаясь рядом:

— Да уж, сестра, такой возраст, что на всякую юбку променяет нас.

— Ни на кого он меня не променяет,— сказала, помолчав, Аглаида Васильевна,— он любящий, добрый мальчик.

— Так-то так, да года-то его не любящие.

— Глупости говоришь ты,— ответила Карташева,—

если уж хочешь знать, могу тебе сообщить характер их отношений: он поверенный в ее любви к Рыльскому.

Аглаида Васильевна бросила насмешливый взгляд на брата.

— Сам признался мне. Совершенный еще ребенок,— усмехнулась Карташева.—Рассказывает мне, как он стал ее поверенным...

— Разиня какой...

Аглаида Васильевна, видимо, не рассчитывала на такой эффект и вызывающим голосом спросила:

— Почему разиня?

— Помилуйте, сестра, в его годы...

— Ну, вот опять его годы!.. только что ты говорил, что в его годы он меня с тобой променяет на всякую юбку, а теперь... Дело не в годах здесь, а в воспитании.

И Аглаида Васильевна с некоторой пренебрежительностью отвернулась от брата и стала искать глазами сына.

— Послушайте, Карташев,— говорила между тем Корнева,— я замечаю, что с тех пор, как... Ну, одним словом, с тех пор... вы помните... вы совсем переменили со мной обращение. Я хочу знать, почему это? Если в ваших глазах я пала...

— Бог с вами, что вы говорите,— горячо заговорил Карташев.— Я был бы негодяем, если бы, узнав так доверчиво открытую мне тайну, вдруг позволил бы себе... Да, наконец, что тут дурного? Поверьте, что всякий на его месте только...

Карташев замолчал.

— Что только?

Сердце Карташева замерло от вдруг охватившего его чувства.

— Послушайте,— сказал он решительно,— мы сейчас уезжаем. Неужели вы никогда не догадывались, что я был в вас, как сумасшедший, влюблен?

— Вы?! А теперь?

Карташев поднял на нее свои глаза.

— Н...да... послушайте...— растерялась Корнева,— что я вам хотела сказать?

Горячая волна крови прилила к ее лицу.

Они оба молчали и стояли друг против друга. Кар-

ташев испытывал какое-то совершенно особенное опьянение.

— Как хотите, сестра, но с таким лицом не поверяют и не принимают поверяемых тайн,— лукаво произнес брат Аглаиды Васильевны.

Мать сама давно заметила что-то особенное и теперь громко и строго позвала сына:

— Тёма, мне надо с тобой поговорить.

Карташев в последний раз посмотрел на Корневу. Все вихрем закружилось перед ним, и, не помня себя, он прошептал:

— Да, я люблю вас и теперь!

Взволнованный подошел он к матери.

Карташева встала и недовольно сказала сыну:

— Ты мог бы и раньше переговорить с посторонними (на этом слове она сделала особое ударение), а последние минуты можно, кажется, и с матерью побыть... Пойдем со мной.

Сын пошел рядом с нею. Они ходили по платформе, ему что-то говорила мать, но он ничего не слышал, ничего не видел, или, лучше сказать — видел, слышал и чувствовал только одну Корневу, ее голубенькое в мелких клетках платье, ее жгучие глаза. По временам от избытка чувства он поднимал голову, смотрел в ясное небо, вдыхал в себя нежный аромат начинающегося вечера, влюбленными глазами следил за проходившей по временам Корневой, и все это было так ярко, так сильно, так свежо, так не похоже на то настроение, которого желала и требовала мать от уезжавшего в первый раз от нее сына.

— Ты на прощанье стал совершенно невозможным человеком. Ты ничего не слушаешь, что я тебе говорю. Скажи, пожалуйста, что она с тобой сделала?!

— Ничего не сделала,— угрюмо ответил Карташев.

— Ты пьян?!

— Ну, вот и пьян,— растерянно сказал Карташев.

Аглаида Васильевна, как ужаленная, отошла от сына. Она была потрясена. Она всю себя отдала детям, она делила с ними их радости и горе, она только и жила ими, волнуясь, страдая, переживая с ними все до последней мелочи. Сколько горя, сколько муки пере-

несла она, работая над сыном. И что ж? Когда она считала, что работа ее почти окончена, что вложенное прочно и надежно, что же видит она? Что первая подвернувшаяся пустая девчонка и кутилы товарищи сразу делают с ее сыном так же, как и она, все, что хотят. Уверенная в себе, она точно потеряла вдруг почву. Слезы подступили к ее глазам.

«Я, кажется, делаю крупную ошибку,— я рано, слишком рано отпускаю его на волю»,— подумала она.

А Карташев, отойдя от матери, со страхом думал о том, чтобы скорее был звонок — поскорее уехать. Он боялся, что мать вдруг возьмет и оставит его. Он вдруг как-то сразу почувствовал весь гнет опеки матери, и ему казалось, что больше переносить этой опеки он не мог бы. Даже Корнева, если б он остался, не утешила бы его. Напротив, ради нее он хотел бы еще скорее уехать. Это признание, которое так неожиданно вырвалось, которое так сладко обожгло его, начинало уже вызывать в нем и к ней и к себе какое-то неприятное чувство сознания, что они оба точно украли что-то такое, что уж ни ей, ни ему не принадлежит. Карташев вслед за другими угрюмо подошел к кассе и лихорадочно ждал своей очереди. Но вот и билет в руках. Сдан и багаж. Уж везут его сундук на тележке.

Сомнения больше нет: он едет!

Через несколько минут все это уж будет назади. Перед ним жизнь, свет, бесконечный простор!

Он тревожно искал глазами мать.

Взгляд его упал на ее одинокую затертую фигурку. Она стояла, облокотившись о решетку, ничего перед собою не видя; слезы одна за другой капали по ее щекам. А у нее что впереди?!

Карташев стремительно бросился к ней.

— Мама! Милая мама... дорогая моя мама...

Слезы душат его, он целует ее голову, лицо, руки, а мать отворачивается и, наконец, вся любящая — рыдает на груди своего сына. Все стараются не замечать этой бурной сцены между сыном и матерью, всегда такой сдержанной. Аглаида Васильевна уже вытирает слезы; Карташев старается незаметно вытереть свои.

Слабый, как стон, уже несется удар первого звонка, и уже раздается голос кондуктора:

— Кто едет, пожалуйте в вагоны.

Толпа валит в вагоны.

— Сюда, сюда! — кричит Долба.

Нагруженная, за ним бежит подвыпившая компания, бурно врывается в вагон, и из открытых окон вагона уже несется звонкое и веселое «ура!».

Жандарм спешит к вагону и, столкнувшись в дверях с Шацким, набрасывается на него:

— Господин, кричать нельзя!

— Мой друг,— отвечает ему снисходительно Шацкий,— ты не ошибешься, если будешь говорить мне: ваша светлость!

Фигура и слова Шацкого производят на жандарма такое ошеломляющее впечатление, что тот молча, заглянув в вагон, уходит. Встревоженные лица родных успокаиваются, и чрез несколько мгновений отъезжающие опять возле своих родных и над ними острят.

— Вот отлично бы было,— говорит Наташа,— если бы жандарм арестовал вас всех вдруг.

— Что ж, остались бы,— говорит Корнев,— что до меня, я бы был рад.

Он вызывающе смотрит на Наташу, и оба краснеют.

— Смотрите, смотрите,— кричит Маня Корнева,— Вася краснеет! первый раз в жизни вижу... ха-ха!

Все смеются.

— Деточки мои милые, какие ж вы все молоденькие, да худые, да как же мне вас всех жалко! — И старушка Корнева, рыдая, трясет головой, уткнувшись в платок.

— Маменька, оставьте,— тихо успокаивает дочь,— смотрят все.

— Ну, и пусть смотрят,— горячо не выдерживает Корнев,— не ругается ж она!

— Голубчик ты мой ласковый,— бросается ему на шею мать.

— Ну, мама, ну... бог с вами: какой я ласковый,— грубиянил я вам немало.

Второй звонок замирает тоскливо.

Начинается быстрое, лихорадочное прощанье. Аглаида Васильевна крестит, целует сына, смотрит на него, опять крестит, захватывает воздух, крестит себя, опять сына, опять целует и опять смотрит и смотрит в самую глубину его глаз.

— Мама, мама... милая... дорогая,— как маленькую, ласкает и целует ее сын и тоже заглядывает ей в глаза, а она серьезна, в лице тревога и в то же время крепкая сила в глазах, но точно не видит она уж в это мгновение никого пред собой и так хочет увидеть. Она судорожно, нерешительно и бесконечно нежно еще и еще раз гладит рукой по щеке сына и растерянно все смотрит ему в глаза.

У Карташева мелькает в лице какой-то испуг, Аглаида Васильевна точно приходит в себя и уже своим обычным голосом ласково и твердо говорит сыну:

— Довольно... я довольна: ты любишь... Бог не оставит тебя... Иди, иди, садись...

Вот они все уж в окнах вагона и опять точно забыли, что чрез минуту-другую тронется поезд.

В толпе провожающих быстро мелькает цилиндр Дарсье.

— Дарсье, Дарсье!

Все, возбужденные, высовываются из окон.

— Едешь?!

— Еду, но без разрешения: сорок рублей всего в кармане!

— Уррра... а-а-а!!! — залпом вылетает из всех окон вагона.

Жандарм опять спешит с другого конца.

— А багаж?

— Ничего!

— У-ррр-а-а-а!

— О-ой! — завывает от восторга Корнев.

Дарсье влетает в вагон, и на мгновенье все лица исчезают в окнах.

Слышны оттуда полупьяные веселые крики и возгласы:

— Кар! Кар!

— Француз!

— Ворона!

— А это видел? — вытаскивает Ларио бутылку водки и колбасу.

— Урра-а-а!

— Господа!! — кричит жандарм.

Все опять бросаются к окнам.

— Виноват!! Никогда больше не буду!! — кричит ему из окна Корнев и корчит такую идиотскую рожу, что все, и отъезжающие и остающиеся, хохочут.

Третий звонок, и все сразу стихают. И отъезжающие и остающиеся впиваются друг в друга глазами, точно желая сильнее запечатлеть милые, близкие сердцу образы. Тихо трогаются вагоны и один за другим все быстрее катятся и проходят пред глазами провожатых.

— Лови,— бросает Ларио огрызок колбасы в лицо жандарма, мимо которого проносится теперь их вагон, и, как бы помогая жандарму в его недоумении, что ему делать, кричит из окна, разводя руками: — Э, э, э...

А там, на платформе, стоят и всё смотрят вслед исчезающему поезду. Уж только площадка последнего вагона виднеется. И ее уже нет, и весь поезд скрылся за закруглением в садах, окружающих город. Только белое облако пара не успело еще расплыться в неподвижном, горящем всеми переливами огней, тихом закате.

А две матери все еще стоят и сквозь туман слез все еще смотрят в опустелую даль, вслед исчезнувшим, как сладкий сон, милым сердцу детям.

V

Первое впечатление от большого Петербурга было сильное и приятное. Громадные дома, перспектива Невского, его беззвучная мостовая, этот «ванька», на котором точно скользишь и съезжаешь куда-то по гладкой мостовой, тысячи зеркальных окон, экипажи, толпа... Затерянный Карташев ехал на своем извозчике, и какое-то сильное чувство охватывало его. Сырой запах сосны и смолы, смешанный с бодрящим морозным ароматом осени; небо в влажных разорванных тучах

и в них солнце, полосами освещающее и улицы и громадные дома; свет и тени этого солнца и эта движущаяся толпа... Карташев радостно всматривался и думал: вот где жизнь бьет ключом, кипит! И ему хотелось поскорей броситься в водоворот этой жизни. Радовала и мысль, что он теперь совершенно самостоятельный человек: когда хочет обедает, когда хочет и куда хочет идет,— сам себе полный хозяин.

Однако постепенно, рядом с этим чувством радости, стало закрадываться и другое. Карташева начинало тревожить сознание своей отчужденности от всей этой жизни, сознание своего одиночества. Люди идут, едут, спешат куда-то,— одному ему некуда спешить, нечего делать.

Приемные экзамены кончились, но лекции еще не начинались. В чистенькой комнате в четвертом этаже на Гороховой тоже делать было нечего. Читать не хотелось: в этом водовороте жизни тянуло не к книге. Этот шум улицы врывался в комнату, и, несмотря на четвертый этаж, лежащему на своей кровати Карташеву казалось, что он лежит не у себя в комнате, а прямо на улице: и кругом, и мимо него, и над ним, и по нем едут, громыхают, дребезжат и при этом не обращают на него никакого внимания. И точно, чтоб убедиться в этом, он опять бежал на улицу, а улица гнала его снова домой и опять-таки только для того, чтобы, стремительно взбежав на лестницу, войти, раздеться, оглянуться и сесть или лечь, почувствовав еще сильнее свою пустоту и одиночество.

Компания как-то сразу разбрелась и затерялась в большом городе.

Корнев поселился на Выборгской.

Ларио исчез совершенно с горизонта. Шацкий выдержал экзамен в институт путей сообщения, но о дальнейшей его судьбе Карташев тоже ничего не знал.

— Способный, шельма,— с завистью отдавал ему должное Корнев.

Дарсье поселился в доме своих дальних родственников, поступив в технологический институт главным образом потому, что здесь не требовалось никаких поверочных испытаний.

Как-то не было даже и охоты видаться друг с другом. Каждый понимал, что он отрезанный от других рукав реки, и каждый жадно искал своего выхода.

Одиночество все сильнее охватывало Карташева. Он бегал от него, а оно его преследовало. Побывал он в театрах, в Эрмитаже, в Академии художеств, но везде была все та же чужая ему, раздражавшая своей непонятной жизнью, незнакомая толпа. В жизни этой толпы были, конечно, и большой интерес и большое содержание — она кипела, но чем сильнее кипела, тем больше мучился Карташев, единственный между всеми обреченный томиться пустотой и жаждой жизни. Иногда, вечером, выгнанный скукой из своей комнатки, он шел по пустынным улицам, и тогда в стихающем шуме точно легче становилось на душе. Он вспоминал мирную, налаженную жизнь своего городка, семью, былой кружок товарищей, гимназию и интересы, связывавшие их всех в одно. Он с тоской заглядывал в освещенные окна тех домов, которые своими размерами напоминали ему далекую родину. Там, за этими окнами маленьких домиков, жили люди, у них были свои интересы. И он их имел когда-то. Вот сидит в кресле какой-то молодой господин, девушка прошла по комнате,— какая-то счастливая семейная обстановка. Счастливые, они живут и не знают, что есть на свете ужасный зверь — скука,— который бегает по улицам и жадно караулит свои жертвы. Иногда Карташеву вдруг даже страшно делалось от сознанья своего одиночества. В этом большом городе было тяжелее, чем в пустыне. Там хоть знаешь, что никого нет, а здесь везде, везде люди, и в то же время никого, в ком был бы какой-нибудь интерес к нему. Заболей он, упади и умри — никто даже не оглянется. И Карташеву хотелось вдруг уложить свои вещи и бежать без оглядки от этого чужого, страшного в своем отчуждении города.

Но еще сильнее угнетали Карташева ужасные расходы и мысль, как же жить и как это все впереди будет? В этом большом городе деньги плыли так же быстро и неудержимо, как та вода большой реки, которую переплывал он в ялике, наведываясь в свой университет.

Сто пятьдесят рублей, данные ему на три месяца, таяли, как снег весной: прошла всего неделя, а в кармане осталось только девяносто... Он старался считать каждую копейку, но как ни считал, а к вечеру двух, трех, пяти рублей уже не было. Куда уходили они? Он ломал голову, вспоминал и постепенно все расходы всплывали в памяти: конка, иногда извозчик, лодка, папиросы, завтрак, обед (никогда у него не было такого чудовищного аппетита!), газета, что-нибудь сладенькое... только на сегодня, конечно; хлеб к чаю утреннему и вечернему, непредвиденный расход по хозяйству, лампа, щетка; белье, чай, сахар и масса мелочей, которых ни в какую смету не введешь, но которые съедают много, очень много денег. Эти мысли о расходах, о необходимости быть экономным и это полное неведение, как же быть экономнее, окончательно отравляли все существование Карташева. Каждый день составлялась новая смета, и в конце концов Карташев в отчаянии говорил себе: «Нет, лучше все деньги истратить не учитывая, чем так мучиться. Ну, когда останется три рубля, накуплю хлеба и буду жить целый месяц. А потом? — поднимался со дна души мятежный вопрос.

Потом,— растерянно думал Карташев,— потом... Я умру, или что-нибудь случится, потому что нельзя же больше месяца вынести такой каторги...»

VI

Часто, гуляя, Карташев любовался с набережной на выглядывавшее красное здание университета.

Что-то чужое, что он обидно почувствовал в университете в дни приемных экзаменов, уже изгладилось и снова уступило место потребности любить и привязаться всей душой к тому, к чему фантазия и мысль так давно и так жадно стремились. Это *его* университет, и все в нем хорошо: и длинный двор, и палисадник, и полукруг подъезда, и даже этот узкий, в красный цвет окрашенный фасад.

Скоро начнутся лекции, а с ними и настоящая студенческая жизнь, общение с профессорами, сходки, раз-

говоры о лекциях и прочитанном, выводы... о! это будет хорошо, как ванна, которая сразу отмоет его, освежит, разбудит... Тогда и денег некуда расходовать будет...

Наступил, наконец, и давно ожидаемый день начала лекций. Торопливо, с раннего утра Карташев умывался, одевался, смотрелся в зеркало и наряжался в свое лучшее платье.

Было прекрасное, почти морозное утро. Умытое ярко-синее небо охватило своими нежными объятиями город со всеми его домами, башнями, золотыми куполами. Лучи солнца заставляли весело, ярко сверкать эти купола в свежем утре.

Несся глухой гул.

Вот пустая еще Морская — мягкая мостовая и смолистый сырой аромат, этот возбуждающий, бодрящий аромат в осеннем воздухе.

Вот и Нева. Плавно и беззвучно катит она свои воды, вся скованная гранитом, громадными домами, с целым лесом в туманной дали мачт и судов. Лошадь гулко стучит по Дворцовому мосту, и сердце радостно замирает при взгляде на знакомое красное здание.

Лекции сразу начинаются знаменитым профессором. Серьезные, озабоченные фигурки одна за другой торопливо исчезали в громадных входных дверях. Здесь, в этой толпе, будущие министры и писатели.

Карташев спешно, судорожно рассчитывался с извозчиком, и вихри мыслей проносились в его голове. Он точно видит вдруг всю головокружительную высоту человеческой жизни. Кто, кто взберется на вершину ее? Тот ли маленький, тихий, глаза которого, как две звездочки, ясно смотрят на него в это мгновение, или этот в золотом пенсне, подкативший на собственном рысаке? Да, жизнь в этом большом городе не такая простая вещь, какой казалась там, в знакомой обстановке милой родины.

Карташев, раздевшись, быстро влетел по лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, заглянул в открытую конференц-залу. Там было тихо, спокойно, и вся зала, со всеми своими стульями и хорами, точно спала еще.

Зато с левой стороны из коридоров и аудиторий уже несся шум тысячной толпы.

Карташев прошел по коридорам, заглянул в аудитории, разыскал свою, громадную, большую, с окнами на север, темную, с полукруглыми рядами амфитеатром расположенных скамеек, попробовал присесть на одной из них и опять вышел в коридор.

Возбужденное и праздничное настроение Карташева опять сменилось знакомым уже чувством пустоты и неудовлетворенности. Лица толпы были неприветливы или равнодушны. Встречавшийся взгляд или безучастно осматривал его фигуру, или смотрел угрюмо и даже враждебно.

В общем, это была все та же отчужденная толпа улицы, вызывавшая гнетущее ощущение. Так же на каком-нибудь гулянье, на Невском, равнодушно смотрели и проходили дальше. Здесь даже было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это под личиной равнодушия, пренебрежения, высокомерия и раздражения. Это уже не гимназическая толпа и не гимназические товарищи.

В гробовой тишине прозвучали глухо первые слова профессора:

«Милостивые государи!»

Точно яркая молния осветила повеселевшего вдруг Карташева. Это он-то милостивый государь? Но кто же другой? Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой человек, пришедший вместе с другими сюда узнать то, что поведает ему этот знаменитый старик. И только для этого и больше ни для чего пришел и он и все другие сюда, и все остальное — такая мелочь... пошлая и глупая... Радостное чувство охватило Карташева, и он вдруг впервые ощутил какую-то тесную связь с этой толпой. Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это *его* толпа. Эта аудитория тоже не улица — это источник света, знания. Он молодой, во цвете сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от того, какой фундамент успеет заложить он в эти в сущности короткие дни своего учения. О, надо слушать обои-

ми ушами, слушать и не терять ни одного дорогого слова!

Но прежде всего надо было привыкнуть слушать. Сперва слова сливались в какой-то один неясный гул. Но мало-помалу звук стал яснее, и Карташев уже различал слова и отдельные предложения. На этом, впрочем, пока все и остановилось. Карташев слушал, различал слова, группировал их в предложения, вникал в смысл, а профессор в это время говорил уже что-то новое. Карташев бросал старое, хватался за это новое, напрягался изо всех сил, точно бежал запыхавшись. Казалось сперва, что все шло хорошо, но вдруг опять он спотыкался обо что-то, и в его голове все собранное сразу разлеталось.

Чем дальше шла лекция, тем все напряженнее и глупее чувствовал себя Карташев. Точно он слушал не энциклопедию права, а какую-то высшую математику, ряд непонятных, бог весть откуда взявшихся формул.

А между тем профессор читал только еще вступление к предмету, ко всем этим всевозможным философским системам от Фалеса до Тренделенбурга, собирался только приступить к пространному введению о методах диалектическом, органическом, историко-генетическом. Этот последний был его собственный метод, и Карташев смотрел с широко раскрытыми глазами и думал, в какую бездну надо погрузиться, чтобы не только понимать, а еще и изобрести этот какой-то страшный метод.

Прочитав час, профессор ушел и через несколько минут опять возвратился. Карташев с новым напряжением принялся слушать, опять магически кольнуло его «милостивые государи», и опять он точно погрузился сразу в какой-то бездонный хаос. Утомленный, он еще меньше понимал теперь.

«Но ведь я,— думал с отчаянием Карташев,— даже Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева, а вот этого не понимаю. Я считался одним из способных, математика всегда для меня была легким предметом. Профессор на поверочном экзамене по словесности, как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. А посмотрел бы

он теперь на меня — каким дураком я сижу... А другие,— они понимают?»

Карташев внимательно всматривался в лица слушателей. Одни были напряжены, другие без всякого выражения равнодушно смотрели в лицо профессору, третьи что-то чертили и двое-трое старательно записывали. Записывать в надежде сосредоточиться попробовал было и Карташев, но из этого ничего не вышло.

Он уже знал, что ничего не поймет, и думал только о том, чтобы придать своему лицу такое же выражение, как у всех. Он чертил петушка, отрываясь, делал вдруг вдумчивое лицо и, смотря в потолок, кивал головой. И в то же время он то и дело смотрел потихоньку на часы.

Никогда в гимназии так мучительно не ползло время. Боже мой, еще целых двадцать минут осталось. Разве уйти?! будто на минутку только вышел, а там и поминай как звали. Туда, на улицу, где шум, жизнь, где свежий воздух, а здесь... здесь точно воздуха не хватает. Еще десять минут: надо посидеть. Мимоходом, идя в аудиторию, он видел внизу буфет, стаканы с чаем, большие бутерброды с свежей ветчиной. Пока все сидят здесь, захватить там поудобнее место... Нет, надо дослушать.

Карташев опять внимательно уставился в профессора. И вдруг произошло что-то странное. Профессор, относительно которого Карташев решил, что так никогда и не услышит от него ничего понятного, заговорил вдруг простым и самым обыкновенным языком:

— Милостивые государи, я кончил сегодняшнюю лекцию... Каждый год для одних я начинаю их первую лекцию, для других — кончаю их последнюю... Для вас, милостивые государи, новых граждан вашей «alma mater» [1], в свою очередь начинается новый период вашей жизни, лучший период, господа. Свет той идеальной правды, которою, если вы захотите, вы будете жить в этих стенах, вспомнится вам в жизни... Там, за этими стенами, вас ждет иная жизнь, ждет тяжелая и неравная борьба за этот свет. Силы для этой борьбы вы

[1] матери-кормилицы (*лат.*).

почерпнете только здесь, у своей alma mater, милостивые государи, в этом universitas literae literarum... [1] И озаренные этим светом, не раз за мирными стенами этого здания повторите вы, милостивые государи, вместе со мной слова великого поэта:

So gieb mir die Leiden wieder,
Da ich noch selbst im Werden war!

Голос старого профессора гулко задрожал, и с ним, казалось, задрожал воздух и холодные стены большой аудитории, задрожали молодые сердца молодых его слушателей... Что-то вдруг точно посыпалось, гром дружных аплодисментов огласил аудиторию.

Карташев обезумел: не помня себя, он аплодировал и кричал: «Браво, браво...»

Давно прекратились аплодисменты, и теперь все смотрели на него. Карташев вдруг смущенно оборвался. В его воображении нарисовалась его комическая фигура в узком сюртуке, отчаянно кричавшая не идущее к делу театральное приветствие.

Карташев с замершим полукриком бросился в коридор.

Застегивая на ходу пальто, он уже шагал по панели так, точно кто-нибудь гнался за ним.

VII

Приехавши в Петербург, Корнев оставил на вокзале вещи и отправился прямо на Выборгскую искать себе квартиру.

— Ну, вот и отлично,— проговорил он в первой же квартире, в третьем этаже, услыхав объявленную цену — восемь рублей.— Вам оставить задаток? — обратился он к маленькой, чистенькой старушке, квартирной хозяйке, в черном платье и черном чепчике.

— Да, конечно, если вам понравилась комната.

Комната понравилась.

Из маленькой, светлой, продолговатой передней, прямо против входных дверей, и была его комната.

[1] средоточии наук *(лат.)*.

Окнами она выходила на восток, и так как перед домом был пустырь, то из окна открывался далекий вид на Неву и на город.

Небольшая комната была светла, а желтенькие обои прибавляли, казалось, еще больше света. Незатейливая обстановка: кровать, комод, письменный стол и три стула — не блистала роскошью, но все было достаточно чисто, достаточно уютно и, главное, недорого.

Корнев поехал назад на вокзал за вещами и часа через два уже сидел в своем новом жилище.

Он обстоятельно расспросил хозяйку, где купить ему чаю, сахару, в какой кухмистерской обедать и где абонироваться на чтение книг.

Узнав все, Корнев оделся и отправился исполнять свои дела по хозяйству.

Кухмистерская, где подавались два блюда за двадцать копеек, пришлась ему по вкусу и едой и обществом, состоявшим почти исключительно из студентов-медиков и молодых девушек, которые собирались поступить или уже поступили на разные курсы. Тут же в кухмистерской он познакомился кое с кем из поступавших сверстников и узнал, что приемные экзамены начнутся через две недели.

Вечером, после чая, Корнев, лежа на кровати, то читал какую-то статью, то, отложив книгу, грыз ногти и думал.

В одиннадцать часов он кончил чтение, разделся, потушил свечку и заснул с тем особым удовлетворением, с каким засыпает человек в первый раз на новом и притом желанном месте.

Утром на другой день он занялся приведением в порядок своих вещей: вынул из чемодана белье, платье, книги. Белье и платье спрятал в комод, аккуратно выстлав дно комода простынями, а книги уложил на письменном столе.

Приведя все в порядок, он сел и написал письмо домой, извещавшее родных о благополучном его прибытии в Питер, о том, что он уже поселился на своей квартире, обедает в кухмистерской и что экзамены начнутся через две недели.

Кончив письмо, Корнев посмотрел на часы. Был уже час — время, назначенное им для обеда, и он отправился в кухмистерскую. Там он быстро — это делалось как-то само собой — завязал еще новые знакомства, и так как разговор коснулся интересных тем, то после обеда он еще долго оставался в кухмистерской.

VIII

Под вечер к Корневу приехал Карташев и привез с собой разных южных лакомств.

— Дома? — раздался в передней знакомый голос Карташева.

— Дома, дома,— ответил весело Корнев и отворил свою дверь.

Карташев ввалился в комнату и, раздевшись наскоро, стал выкладывать на стол: халву, финики, виноград. Корневу вдруг сделалось так весело, как давно уже не было.

— Ооой! — завыл он и повалился на кровать.

— Ура! — подхватил Карташев и, бросив лакомства, улегся рядом с Корневым.

Приятели давно не видались и чувствовали себя в эту минуту так же уютно и хорошо, как когда-то в доброе старое время. Вспомнилась вдруг деревня, Наташа, гимназия, и показалось все кругом беззаботным продолжением прежнего. Лежавший Карташев был для Корнева как бы реальным воплощением этого прошлого,— Карташев, все такой же избалованный и раскинутый, и спутанный и искренний, что-то размашистое и неустойчивое, а в общем все тот же Карташев, который меньше всего сам знал, куда и как ткнет его судьба или то что-то, что распоряжалось им всегда и везде.

Корнев поднялся на локоть и благодушно смотрел на приятеля.

— Первая лекция была,— произнес загадочно и с некоторым достоинством Карташев.

— Ну? — спросил Корнев веселым подмывающим тоном, которому Карташев не мог противиться.

Он, когда ехал к Корневу, решил умолчать о всех своих разочарованиях.

— Ничего не понял! — выпалил Карташев неожиданный для себя ответ.

Дальнейшие вопросы и ответы происходили в промежутках все более и более подмывавшего обоих смеха.

— О чем он читал?

— А черт его знает!

— Оой?! Что ж ты будешь делать?

— Куплю сло-о-ваарь!

— Завтра пойдешь?

— Нет!!

Оба приятеля выли и стонали от нестерпимых колик.

Когда, наконец, водворилось спокойствие, которого страстно жаждали сами несчастные жертвы смеха, Корнев, вытирая слезы, сказал:

— Положительно не помню, когда я так смеялся.

Вечер прошел в разговорах, в куренье, в лежании по очереди на кровати, наконец приятели улеглись рядом.

— В этом доме дают чай? — спросил Карташев.

— Как же,— ответил Корнев, отрываясь от своего обычного занятия — грызения ногтей — и стуча кулаком в стену.

На стук вошла громадного роста краснощекая, в неимоверно больших и тяжелых ботинках, простая деревенская баба, нанятая хозяйкой для исполнения обязанностей горничной.

Став как-то боком в дверях и слегка прикрывая лицо передником, Аннушка смотрела так, как будто не сомневалась, что оба вдруг вскочат и, бросившись к ней, начнут ее щекотать.

— Ну? — спросила она, и живот ее вздрогнул.

— Произведение природы,— заметил Корнев и, сосредоточенно постучав пальцем о стену, сказал: — Во!.. Подойдите сюда ближе, мое сокровище...

Горничная нерешительно подвинулась.

— Аннушка, я должен вам сказать, к величайшему моему прискорбию, что вы... Подойдите сюда ближе и не бойтесь: вас никто не тронет.

Аннушка медленно подходила и весело в упор все смотрела на Корнева.

— Что смеетесь?

— Вы неисправимы, милая Аннушка,— сказал Корнев,— вот вам деньги: купите два фунта хлеба и фунт колбасы... самовар поставьте... поняли?

Аннушка взяла деньги и, успокоенная, направилась к двери.

В дверях она остановилась и, весело покосившись на молодых людей, взвизгнув: «Ишь жеребцы стоялые!», скрылась при новом взрыве смеха.

Аннушка и в продолжение остального вечера не переставала забавлять приятелей своими выходками. В одно из своих появлений, в ответ на новый смех, она подперлась рукой и со вздохом сказала:

— Ну, что ж? я женщина молодая, известно... Что и не погуторить? Муж у меня плохой: хворый да недужный.

И вдруг, перейдя опять в веселый, лукавый тон, она кончила:

— Ишь жеребцы... пра-а...

— Если хочешь, она в своей колоссальности и недурна собой,— сказал Карташев, когда она ушла.

— Ну,— пренебрежительно махнул рукой Корнев.

— Ее бы на арку Большой Морской.

— Вот именно... Что ж, ты так-таки ни с кем и не познакомился в университете?

— Решительно ни с кем,— ответил Карташев.

— А я здесь уже кое с кем свел знакомство.

— Ну?

— Да кто их знает... всё, конечно, наш брат... топчутся они на том же, на чем и мы когда-то...

— Неужели ничего нового?

— Кажется, желание на стену лезть.

— Но ведь это же бессмысленно.

— То есть как тебе сказать...

— Вася, да, ей-богу же, это мальчишество. Прямо смешно... Здесь особенно, в Петербурге, так ясно... Что ж это? Только шутов разыгрывать из себя...

Корнев грыз молча ногти...

— Да, конечно,— нехотя проговорил он.— А все-таки интересная компания, их стоит посмотреть... Оставайся ночевать... Пойдем завтра в нашу кухмистерскую.

— С удовольствием.

— Смутишь ты их разве своим костюмом...

— Что ж такое костюм? Я и перчатки надену.

— Только ты все-таки будь осторожен, а то ведь у них язычок тоже хорошо действует.

— А мне что?

— Сконфузят.

— Ну...

— Есть и барышни...

— Конечно,— все дураки, кроме них?

— Послушай, откуда у тебя вдруг эта нотка? не платки же они таскают из кармана... Нет, ты брось это раздражение...

— Можно создать и более реальные интересы...

— Какие?

— Вот поживем,— ответил Карташев.

Корнев пытливо посмотрел на него и раздумчиво пробормотал:

— Дай бог...

— Вася, согласись с одним: у них узко... а все, что узко, то не жизнь... Может быть, я и ошибаюсь, но я не хочу верить на слово — я хочу сам жить и убедиться.

— Но что такое жизнь? Надо же ей ставить идеалы.

— Но взятые из жизни.

— А если эта жизнь мерзопакостна?

— Неужели так-таки вся жизнь мерзопакостна? Я не верю... Я иду в жизнь... ставлю свои паруса, и что будет...

— Без компаса?

— Мой компас — моя честь. Я вчера у Гюго читал: он говорит, что двум вещам поклоняться можно — гению и доброте... Честь и доброта,— Васька, право, довольно и этого!

— Посмотрим... Конечно... А интересно — лет через десять что выйдет из нас? Конечно, жизнь не линейка — взял да провел черту... Я вот думаю: что из тебя выйдет?

Корнев подумал:

— Глупое в сущности наше время... Развития в нас настоящего нет... В сущности туман, большой туман у всех...

На другой день Корнев повел Карташева в кухмистерскую.

Прием ему был оказан такой холодный и пренебрежительный, что даже Корнев смутился.

После двух-трех слов с Карташевым прямо не хотели говорить.

Карташев смущенно уткнулся в газету.

Злое чувство охватило Карташева. В это время в столовую вошло новое лицо, при взгляде на которое Карташев так и прирос к полу.

Это был худенький студент, в грязном потертом вицмундире, на плечах и спине которого была масса перхоти, волосы на голове торчали черной копной, косые черные глаза смотрели болезненно и твердо. Черная бородка пушком окаймляла маленькое хорошенькое лицо, но, несмотря на бородку и мундир, это был все тот же маленький друг его — Карташева, друг, которого он когда-то...

— Иванов! — вырвалось из груди Карташева и сейчас же заменилось сознанием и прошлого и отчужденности своей здесь, в этой кухмистерской.

Иванов внимательно, спокойно всмотрелся в Карташева, как во что-то, ради чего должен оторваться хоть на мгновенье от своего главного, что теперь поглощало все его помыслы...

— А-а, Карташев...

Это было сказано так, что Карташев почувствовал, что перед ним стоит чужой человек. Одна страстная мысль овладела им в это мгновенье: прочь, скорее прочь отсюда.

— Кончил? — спросил его между тем Иванов.

Кончил, конечно, гимназию...

— Да, кончил,— сухо, испуганно ответил Карташев.

— Куда же? В путей сообщения? — рассеянно спросил Иванов.

Карташев сдвинул брови.

— Хотел, но струсил,— вызывающе ответил он.

— Что же так?

К Иванову один за другим подходили, здоровались и незаметно увели его в другую комнату.

Карташев торопливо одевался.

Корнев молча, уже одевшись, наблюдал его и грыз ногти.

— Ко мне пойдешь? — спросил Корнев.

— Нет, домой,— ответил, не смотря на него, Карташев и, торопя взятого извозчика, с тяжелым чувством поехал прочь от негостеприимных мест Выборгской стороны.

IX

На вступительном экзамене Корнев провалился на латыни. Тем не менее, судя по предыдущим годам, была надежда, что в академию его все-таки примут.

Неудача подействовала на него самым подавляющим образом. Удачу, неудачу он не признавал.

— Неудачник,— рассуждал он,— это чушь. Есть способности — выбьется человек из всякой мерзости, а нет — значит, чего-нибудь не хватает.

Чего у него не хватало?

Он попробовал развлечься Петербургом, но громадный и чужой Петербург давил и его, как Карташева, внося еще больший разлад в его душевный мир.

Где действительно истина? В этой ли кипучей жизни, или в том духовном стремлении к чему-то высшему, чем жил когда-то он и весь кружок его, чем живет большинство тех, которых он видит теперь вокруг себя на Выборгской? Но тогда — отчего в этих кружках почти нет студентов старших курсов? Это как бы подтверждало его мысль, что он уже успел пережить то, что переживается кружком кухмистерской. Но в то же время он чувствовал, что знает о них не все и от него как будто что-то скрывалось.

Таинственная обстановка, которая окружала Иванова, была для него неясна, и он усиленно грыз ногти и думал, думал. Думал и сомневался, и становился в тупик, кто же он, наконец: практик, идеалист или просто-напросто жалкая, богом обиженная посредственность? Он был уверен, что после экзаменов на него так и смотрели все его новые сотоварищи.

— Ну и черт с тобой! — говорил он сам себе.

Он не хотел сам себя знать, и тем обиднее было,

когда в голову лезли разные в сущности нелепые, унизительные, даже с его точки зрения, мысли. Он знал их и сам возвращался к ним.

Одна из таких мыслей была о его некрасивой физиономии и о том, можно ли нравиться с такой физиономией женщинам.

Он ходил по улицам, поглощенный своими больными вопросами, и в то же время часто, всматриваясь в лица прохожих, тоскливо думал: «Даже эта рожа лучше моей». Иногда он заглядывал в свое маленькое кривое зеркальце и возмущенно говорил себе:

— Господи, да чтоб с этакой рожей надеяться нравиться, надо быть просто идиотом!

Сомнительным для него было только отношение к нему одной Наташи Карташевой. Как ни отбрасывал он все то, что могло быть отнесено к области его собственной фантазии, все-таки в их отношениях оставались такие мгновения, которые, при всем старании опровергнуть, он должен был истолковать в свою пользу. Но и тогда Корнев возмущенно говорил себе:

— Совершенно непонятное явление, просто один из тех болезненных, капризных моментов, когда именно безобразное лицо может как будто нравиться.

И он задумчиво смотрел в окно.

Там, за окном, день подходил к концу, последние лучи играли в туманном воздухе на далеком куполе Исаакия. Было пусто и в этом уходящем дне и в комнатке. Какая-то далекая, тихая грусть щемила сердце. Там, далеко, в этом большом городе, словно тонет в тумане, словно замирает размашистая, грандиозная жизнь дня, чтоб с огнями вечера опять вспыхнуть с новой силой в разных театрах, собраниях... Там, в той жизни, какая нужна сила, какая мощь, чтобы выплыть на ее поверхность? Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот водоворот — и не боятся... а он одинаково робкий и чтобы вместе с ними броситься в этот кипучий поток и чтобы примкнуть ближе к кружку Иванова... А жить так хочется, и так болит сердце от этой пустоты, от сознания своего бессилия, ничтожества... Улетел бы в эту даль, туда, в позолоту лучей догорающего дня, которые точно неумолчно говорят

о чем-то душе, будят и зовут ее из тоскливой пустоты удручающих мыслей о своем бессилии... И такая вся жизнь! — пустая, скучная, бессильная, раболепная перед каждым нелепым случаем, трусливая пред каждым столкновением, унылая, всегда только грубо ремесленная.

Корнев не заметил, как тихо отворилась дверь и вплыла Аннушка.

Он пришел в себя, когда громадная Аннушка, обхватив его своими объятиями сзади, произнесла вдруг:

— И что он это все думает?

— Убирайтесь вон!!

— Господи! — только успела вскрикнуть Аннушка и скрылась из комнаты.

Корнев не мог прийти в себя от неожиданности и возмущения. Еще только недоставало именно Аннушки! Вот достойная его компания...

Но прошло некоторое время, и Корнев стал думать иначе. Он поймал самого себя на высокомерии, и, остановившись, задал себе вопрос: «А почему и недостойна она меня? Что я за цаца такая и куда постоянно лезу с суконным рылом? Да, может быть, она, простая, в тысячу раз лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного унижения? Да, наконец, ну что такое в самом деле Аннушка? Простой, добрый человек, как умеет, выражающий свои чувства».

Корнев постучал кулаком в стену.

Когда вошла Аннушка, он ласково сказал:

— Самовар дайте, пожалуйста.

— Ишь как напугал,— весело ответила Аннушка.

Корневу было приятно, что она не поставила ему в вину его резкость.

Когда Аннушка приносила ему поднос с посудой и затем самовар, он хотел быть с ней ласковым, хотел что-нибудь сказать, но не решился, и только, когда та принялась приготовлять ему постель, он, проходя мимо и слегка хлопнув ее по широкой спине, проговорил:

— Ишь здоровая...

В ответ на это Аннушка, почувствовав, что ветер подул с другой стороны, ответила важно:

— Не балуй.

— Вот как,— фыркнул себе под нос Корнев.

Настал длинный, скучный вечер. Корнев напился чаю, принялся опять было читать, но не читалось; вспомнил о том, что, может быть, придется уехать, прогнал эту мысль и все остальные, которые по ассоциации идей поползли было в голову, и стал ходить по комнате, желая жить и думать только о настоящем. Это настоящее воплощалось в этот вечер в громадной Аннушке. Ее тяжелые шаги, глухо раздававшиеся там, где-то в лабиринте темных коридорчиков, раздражали нервы Корнева. Он останавливался, прислушивался и опять ходил. Иногда он точно просыпался вдруг, его охватывало какое-то омерзение, и он быстро садился за книгу. Но опять вставал и опять начинал нервно, тревожно шагать.

Мысль о возможном сближении с Аннушкой охватывала его все сильнее больной истомой. Чувствовалось какое-то унижение в этом, но этого ему и хотелось сегодня. Он ложился на кровать, его грудь тяжело подымалась, кровь, как расплавленная, переливалась в жилах и молотом била в голову. Было уже двенадцать часов ночи. Корнев разделся и потушил лампу. Давно все стихло...

Но вот, чу! точно пол скрипнул... точно тени задвигались по комнате, словно паутина опутала лицо и мысли... Весь охваченный, Корнев протянул руку и наткнулся на голую громадную руку наклонившейся к нему Аннушки...

Пробуждение Корнева на другой день было странное: и легкое и тяжелое. Точно в нем сидело два человека и один пытливо и злорадно спрашивал: «А теперь что?» Другой же равнодушно, пренебрежительно отвечал: «Ничего»...

Он лежал грустный, задумчивый, с каким-то легким в то же время ощущением,— точно несколько лет ему с плеч сбавили.

Дверь отворилась, и Аннушка вошла в комнату. Она была в новом платье, новом фартуке, и на лице ее был

праздник. Она остановилась, взялась за бока и вполоборота спросила лукаво:

— А муж? — и тяжело вздохнула.

Корнев, не ожидавший ничего подобного, лежал и растерянно молчал, угрюмо сдвинув брови.

Но Аннушка, у которой переходы были быстры, уже вытирала передником губы и веселым голосом говорила:

— Ну, поцелуемся... Сегодня ведь мой рожденный день...

Она наклонилась к Корневу и толстыми мягкими губами, с ароматом своей деревенской избы, залепила Корневу сразу и губы, и глаза, и весь мир, поставив его властно только перед собой одной — колоссальной Аннушкой.

— Хорошенький ты мой! — тихо прошептала она и со вздохом удовлетворения вышла из комнаты, оставив свою жертву пластом лежать на кровати, с закрытыми глазами.

Корнев долго лежал.

— Ну, все равно,— облегченно сказал он наконец, поднялся и начал быстро одеваться.

Напившись чаю, он вышел на улицу. День был на славу. В академии Корнева ждала приятная новость: он был зачислен в число студентов.

X

Карташев сделал еще несколько попыток одолеть лекции энциклопедии, достал даже Гегеля, собираясь читать его в подлиннике, но все это как-то ни к чему не привело. Он кончил тем, что перестал посещать лекции знаменитого профессора, а Гегель так и лежал почти нетронутый, пугая Карташева своим видом.

Лекции других профессоров также не привлекли к себе его внимания.

Римское право показалось ему продолжением латинского языка и во всяком случае таким, которое требовало простой зубрежки, а потому Карташев и решил, что время, потраченное на слушание, можно провести

производительнее, посвятив его прямо зубрению всяких латинских текстов римского права.

Приступить к этим текстам он все и собирался изо дня в день.

Русское право было понятно, но профессор читал тихо и снотворно, и на Карташева нападала такая неожиданная дрема, что он перестал посещать и эти лекции, объясняя свое отсутствие на них страхом заснуть и тем поставить себя в безвыходное положение.

«Зачем я буду рисковать скандалом? Лучше же дома прочесть: благо слово в слово читает».

Наконец, лекции государственного права пришлись по вкусу Карташеву, но здесь уж были другие причины, по которым он редко бывал на них. Во-первых, чисто финансовые — посещение университета стоило денег: извозчик, завтрак с бутербродами... Во-вторых, из трех лекций в неделю по государственному праву две начинались в девять часов, то есть как раз в то время, когда Карташеву невыносимо хотелось спать. А в-третьих, литографированные лекции и по государственному праву существовали, следовательно и их можно было прочесть.

Понемногу Карташев так разоспался, что вставал часов в одиннадцать. Вставши, пил чай, читал газету и задумывался над тем, что ему предпринять: сесть ли за лекции, написать ли домой письмо, или заглянуть в университет? Последнее наводило на мысль о финансах, и он с тоской в душе начинал пересчитывать свои капиталы. Их невероятное уменьшение повергало его в новое уныние. Он садился составлять еще новую смету. Но сколько-нибудь вероятная смета уже настолько превышала наличность, что Карташев скоро бросал это дело и шел обедать. После обеда читал газету, валялся на диване и нередко засыпал, укрытый газетой.

Вечером он пил чай, и если не приходил Ларио, то отправлялся в театр скромно,— куда-нибудь в галерею.

Если же заходил Ларио, то они сидели, разговаривали, а иногда отправлялись вдвоем на вечерние прогулки по Вознесенскому и Мещанским. Тихий, сдержанный и молчаливый, Ларио делался бойким на улице,

его «го-го-го» звонко неслось по Вознесенскому, он заигрывал с проходившими девицами полусвета, подпрыгивал перед ними, визжал и бойко неестественным голосом парировал их замечания.

Ларио не раз звал Карташева отправиться к Марцынкевичу, но тот от такого посещения наотрез отказывался.

— Почему же? Ведь там тебя же... Странно...

Ларио коробило, как он говорил, «жантильничанье» [1] Карташева. Он шутливо кипятился и фыркал, затрудняясь объяснить Карташеву безопасность такого посещения для него.

— Ведь ты же не девушка, наконец.

Ларио презрительно пускал свое «го-го-го».

Кончалось тем, что Ларио говорил:

— Ну и черт с тобой, я бы пошел, если бы у меня была рублевка.

— Возьми,— предлагал Карташев.

После некоторого колебания Ларио брал.

— Как получу урочишко, первое, Тёмка, что сделаю,— куплю почетный билет в Марцынку... билет три рубля стоит, и тогда за вход всего двадцать копеек, а так — по рублику каждый раз пожалуйте.

— Если хочешь, возьми три.

— Ну, что ты! Да я вот сегодня только, а там до урока — ни-ни...

XI

Прошел месяц со дня приезда Карташева в Петербург.

Как-то раз выходя из конки, скучавший и томившийся Карташев встретился неожиданно лицом к лицу с долговязым Шацким. Шацкий, расставив ноги, весело смотрел на Карташева: тот же шут, несмотря на путейскую фуражку, с маленьким румяным лицом, веселый и возбужденный. Карташев очень обрадовался ему.

— Здравствуй, здравствуй,— заговорил снисходительно Шацкий.

---

[1] жеманство (от *франц.* gentil).

Карташев, хотя и не был с ним на «ты», ответил ему весело:

— Здравствуй!

— Ну-с, мой друг, как поживаешь? — спросил покровительственно Шацкий.— Откуда?

— С лекций.

— О! Куда теперь?

— Обедать.

— К Детруа конечно?

— Да.

— Да, да... Ростбиф из конины, огурцы с купоросом... да, да. Твой живот?

— Каждый день понос.

— Да, да: пока ешь — вкусно; кончил, в брюхе кол, через полчаса после обеда опять есть хочется, а вечером расстройство... Connu... [1]

Карташев рассмеялся.

— Совершенно верно.

— Ну, вот что, мой друг,— продолжал Шацкий,— не хочешь ли сегодня отобедать со мной у Мильбрета,— на четыре рубля дороже в месяц, но сохраняется желудок...

— Что ж, с удовольствием.

— В добрый час! Так что ж, возьмем извозчика... эй, ты, Мильбрет — гривенник...

Извозчик не согласился.

— Пятиалтынный...

— Дай ему...

— Ни за что!

Извозчик был, наконец, нанят.

— Я, знаешь,— начал Шацкий, садясь и принимая тот шутовской тон, за который так недолюбливал его Корнев,— долго колебался — где абонироваться... хотел у Дюссо, но там хуже...

Карташев усмехнулся.

— Ну, конечно...

— Чтоб ты знал, что хуже,— быстро и опять естественным тоном заговорил Шацкий,— я тебе открою, в чем тут секрет: Мильбрет — скупает придворные обеды,

---

[1] Известно... (*франц.*)

а согласись, мой друг, что эти обеды лучше всяких твоих Дюссо... очень, очень мило. При моем желудке, знаешь,— Шацкий опять впал в шутовской тон,— немного изнеженном после вод в Спа, наконец при моем положении, знаешь, эти друзья: маркиз де Ривери, барон Гавен и много других — это всё добрые ребята — неловко, знаешь, когда зайдет разговор об обеде, и скажут вдруг: «А вы заметили, какое оригинальное фрикасе сегодня было?» И вдруг стоишь как дурак — где фрикасе, какое фрикасе?!

Шацкий уже на выпускных гимназических экзаменах завоевал себе право говорить и действовать так, как ему заблагорассудится. Здесь, в Петербурге, где он уже успел и доказать свои способности, поступив вторым в трудное по приему заведение, и выглядел, кажется, единственным веселым человеком,— этот Шацкий производил на Карташева впечатление уже не того идиота, каким окрестил его Корнев. Теперь это был, правда, шут, но остроумный (с этим соглашался и Корнев) и главное — без претензии человек.

Карташев давно уже держался за бока от смеха.

— С тобой, однако, очень весело,— проговорил он.— В гимназии...

— Все это прекрасно! — ответил небрежно Шацкий.— Только оставь, ради бога, гимназию... При моих нервах гимназия — это плохое лекарство. Забудем ее, мой друг, и всех этих Корневых, Долб... Мы с тобой «high life» [1], ты, надеюсь, знаешь, что значит это слово? Ну, конечно. Но еще выше этого есть. Du chien, hanche! А мне необходимо ехать в Париж на скачки, мой друг Nicolas... Ну, ты, конечно, знаешь, кто это именно?

Шацкий посмотрел на опешившую немного физиономию Карташева и залился сам веселым смехом.

Карташев рассмеялся.

— Parfait, mon cher! [2] из тебя выйдет толк. Я люблю таких, которые смеются, когда ничего не понимают. Не

---

[1] высший свет (*англ.*).

[2] Прекрасно, дорогой мой! (*франц.*)

торопись обижаться — ты позже поймешь смысл моих слов. Да, мой друг, жизнь — это большая загадка, и дурак тот, кто тратит время на ее разбор, потому что, пока он вникнет в суть, жизнь пройдет у него между пальцами, и он только: а-а-а... как Вася, твой Корнев. Если б он здесь был, он погрыз бы ногти и сказал: «Да, это верно», и прибавил бы: «А впрочем, я, может быть, и ошибаюсь»... c'est ça [1]. Таковы все мудрецы от Фалеса до Тренделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, ни в зуб не понимаешь — connu, connu! Все они начинают с того, что отрицают предшественника; с важным видом нагородив всякой ерунды, умирают, а ты зубри их... твое положение грустное, мой друг... Бытие, небытие, становление — и вдруг, трах, абсолют... A fichtre a blic! [2]

— Откуда ты все это знаешь?

— Мой друг, оставь это. Revenons à nos moutons [3], как говорил мой друг Базиль... ты, конечно, знаешь моего друга Базиля?

— Я должен тебе откровенно сказать,— сказал Карташев,— что хотя ты и ерунду несешь, но я с удовольствием тебя слушаю.

— Да, да. Ты всегда был немного наивный, но добрый мальчик, хотя тебя и портит Корнев... О чем бишь я говорил?.. Может быть, перед обедом ты хочешь, как делают мои друзья, заехать поесть устриц или навестить Альфонсину? Ты, пожалуйста, не стесняйся, мой друг: мой экипаж к твоим услугам.

— Едем уж прямо к Мильбрету.

— Как хочешь, как хочешь! А напрасно! Этим не следует пренебрегать. Это очень важно, эти мелкие приличия, эти условия хорошего тона — свет не прощает их: ces petits riens qui ne valent rien, mais qui coûtent beaucoup. Il faut prendre garde, mon cher [4], там за кулисами ты можешь делать что хочешь, но на сцене... Моя покойная приятельница, princesse Nata-

---

[1] вот именно *(франц.)*.

[2] Черт возьми! *(франц.)*

[3] Вернемся к нашим баранам *(франц.)*.

[4] эти пустяки, которые ничего не стоят, но дорого обходятся. Нужно быть осторожным *(франц.)*.

lie...— ты, конечно, ее не знаешь?... нередко говорила мне: «Michel, прошу тебя во имя моей памяти, никогда не забывай, что свет...» Да, да, бедная Natalie, ты умерла, а я остался... да, остался... что делать, мой друг. Faisons notre métier [1], как говорил старикашка Виль. Кстати, ты, конечно, знаком с генералом Шайницем? Как? Ты не знаком? Мой друг, ты ставишь меня в неловкое положение... что же я скажу моим друзьям? — Он не знаком! Впрочем, ничего, успокойся: дело можно поправить... Я устрою охоту. Я позову его... Там вы познакомитесь... Но, мой друг, прошу тебя: забудь ты на это время о своих деревнях: все эти вассалы, деревенские развлечения, поездка летом на санях, когда вместо снега посыпают соль,— все это вышло из моды, и ты никого не удивишь... Все знают, что вся Волынская губерния твоя... к чему же об этом распространяться? Вот если ты привезешь нам одну из твоих красавиц вассалок — этим ты много выиграешь... Но и это, как и все, мой друг, надо делать с тактом, очень тонко, mon cher. Ради бога... Я уж вижу... Ты входишь с ней в ложу... О мой друг, кто же так делает?! Ради бога! оставь ее... Ты с ней не знаком!! пойми, ты с ней не знаком!! Пусть она входит в ложу, пусть садится, делает, что хочет,— ты ее не знаешь до тех пор, пока граф Иван не скажет тебе: «Обратите внимание... Литера справа...» Мой друг, мы, люди большого света, мы лениви на слова... Но я уж вижу, ты обрадовался... и с деревенской наивностью выпаливаешь, что это твоя вассалка... Ну, и пропало все... Ну, кто же так делает? Когда ты перестанешь меня компрометировать?! Я же не могу, ты пойми, пожалуйста, что я не могу! Я очень рад, что этот разговор пришел мне в голову именно теперь... Постарайся, если можешь, запомнить, что я говорю... А, это большое несчастье. Ваши деревенские головы устроены, как решето; эти грубые вещи: медведи, удобрение — остаются, но все эти тонкости проходят через вашу голову, как вода... Я понимаю, вы несчастные люди, запоминать вам наш этикет гораздо труднее, чем Бисмарку подчинить себе весь мир — вы напрягае-

---

[1] Займемся своим делом *(франц.)*.

тесь, стараетесь, но это не в вашей силе... но, мой друг, кураж, кураж [1], зачем падать духом? Немножко воли... Наконец, ты можешь быть немножко и оригиналом. Свет допускает это... Ты можешь взять бриллиант Nicolas и сказать: «Хорошая вода»... Потом расстегнуть сюртук и небрежно приложить его к пуговицам своей жилетки... пуговицы, конечно, бриллиантовые... в три раза больше; потом, опять посмотрев, небрежно скажешь: «Хорошая вода» — положишь... Это будет, конечно, немного грубовато, по-деревенски, но оригинально... Да, мой друг, знание света — это дается не всякому... А впрочем... все это неважно... У тебя много денег?

Этот неожиданный оборот смутил Карташева.

— Тебе это на что?

— Мой друг, прими себе за правило: когда тебя спрашивают, то не для того, чтобы получить в ответ глупый вопрос,— это провинциальная и даже мещанская манера.

— Не находишь ли ты, что ты как будто впадаешь немного в нахальный тон? — спросил Карташев, сдвинув брови.

— Ты думаешь? — переспросил Шацкий и со вздохом умолк.

— Надеюсь, тебя не очень обидело мое замечание? — проговорил Карташев.

— Не будем больше говорить об этом,— меланхолично и рассеянно ответил Шацкий.— Если бы меня обидели твои слова, я должен бы по нашим правилам сейчас же расстаться с тобой, и завтра утром мой друг Nicolas просил бы тебя сделать ему честь указать когонибудь из твоих друзей, с которыми он мог бы условиться относительно остального. Затем, в назначенный час, мы съехались бы в условленном месте, в черных, наглухо застегнутых сюртуках, протянули бы друг другу руки, как будто между нами ничего не произошло, и пока наши друзья заряжали бы пистолеты, мы говорили бы с тобой о погоде, о последних скачках, о мисс Грей...

---

[1] смелей (от *франц.* courage).

Ты знаешь ее? Рыжая? как собака, мохнатая, грязная, как свинья, ест обеими руками арбуз...

— Что ж тут красивого?

— Мой друг, ты ничего не понимаешь. Пойми, нам надоело это ingénue [1], нам нужно что-нибудь этакое, острое... Du chien...[2]

Шацкий помолчал.

— Ну и что ж? Ты скучаешь, томишься, по двадцати листов пишешь письма, врешь, конечно, что не отрываешься от лекций, и делаешь тонкие намеки, чтоб прислали денег? Пожалуйста, только не конфузься и старайся не врать... Побольше простоты. Оставим провинции ложь... Между порядочными людьми это не принято... Если бы я своим родным не писал о моих друзьях и занятиях, я не имел бы никакой надежды на примирение...

— Неужели ты пишешь им о всех этих графах и князьях?

— Что в этом тебя удивляет? Имена моих друзей не такие, что могли бы меня компрометировать в глазах моей родни... Только одно и смущает меня, что в конце концов забуду и перепутаю все эти фамилии...

И Шацкий залился самым веселым смехом.

— И верят? — спросил Карташев.

— Что за вопрос?! Я им и карточки послал с надписью. Ты понимаешь? Для поддержания таких знакомств нужны средства. Кстати, дай мне твою карточку и надпись сделай по-английски... Впрочем, зять знает твою руку, да и пишешь ты... Всё лишние расходы.

— На покупку карточек?

— Мой друг?! Три рубля пятьдесят копеек уже истратил. Последнего моего друга послал в шотландском костюме, кажется, Байрона...

— Но ведь отец твой, кажется, образованный человек.

— Дядя — да, а отец тридцать лет сеет хлеб, разводит свиней и выезжает лошадей. Газет ни-ни, и тридцать лет никуда из деревни, понимаешь?

---

[1] простодушие (*франц.*).

[2] С перцем (*франц.*).

В это время извозчик подъехал к Мильбрету. Большие комнаты, масса народу смутили Карташева. Заметив, что Карташев конфузится, Шацкий старался очень осторожно помочь ему справиться со своим смущением, принес целую груду газет, подавал ему первому блюда и вообще оказывал столько мелочного внимания и так просто, без принуждения и подчеркивания, точно и сам не замечал, что делал. Карташев был очень тронут этой любезностью и думал:

«Оригинал большой, но очень симпатичный. Корнев хороший человек, но у него есть известная предубежденность, которая мешает ему видеть вещи в их истинном свете. Он сам не замечает, как требует, чтобы все были по одному шаблону сделаны. Это, конечно, невозможно, с этим надо считаться. У каждого свое особенное. Я беру симпатичное, а до остального мне дела нет. Мне Шацкий симпатичен, и я не вижу основания уничтожать в себе эту симпатию. Да и какое, наконец, право я имею воображать себя почему-то выше и колоть этим глаза? А может быть, этот Шацкий гораздо выше меня, добрее и...»

Карташев хотел сказать — честнее, но вспомнил проделки Шацкого с родней.

«И тут не его вина — кто их там знает, какие у него отношения с родными и что они за люди. Да, наконец, не в жены же я его брать хочу. Мне доставляет удовольствие его общество... Одиночество невыносимо для меня,— я томлюсь, бегаю по всему городу, высунув язык от тоски, отвыкаю от своего голоса... Нет, окончательно решено — я сближаюсь с Шацким».

И Карташев открыто и ласково посмотрел на Шацкого.

— Мы очень редко с тобой видимся, а между тем, наверное, оба скучаем — я был бы очень рад, если бы мы видались почаще.

— Мой друг, за чем же дело стало? — ответил Шацкий и, церемонно встав, протянул руку Карташеву.— Может быть, поедем ко мне чай пить?

— Поедем лучше ко мне... Я жду письма,

— С удовольствием.

Новые друзья вышли на улицу, взяли извозчика и поехали к Карташеву.

Войдя в комнату Карташева и сняв пальто, Шацкий сел на диван и, качая пренебрежительно головой, заговорил:

— Так, так... образец петербургской квартиры, пять дверей в одной комнате и трескотня и резонанс такой, точно сидишь в табакерке с музыкой... Ничего нет удивительного, что десять, пятнадцать лет — и человека везут в сумасшедший дом... А впрочем, некоторые застрахованы от этого... твоего Корнева не свезут... Он, подлец, сам свезет. Не будем говорить об этом: это грустные мысли. Чай есть?

Карташев распорядился.

— Ну, что же, устроился? — спросил Шацкий и стал осматривать хозяйство Карташева. Он подошел к столу и небрежно тронул неразрезанные лекции Карташева.

— Наука не процветает... Да, да, надо немного забыть гимназию, чтобы опять какой-нибудь интерес почувствовать к этой несчастной науке... Небольшой, впрочем... Всё те же десять тысяч слов... Но скажи, к чему у тебя все эти ковры, скатерти, столовое белье, для чего это студенту? Это видно, что с политической экономией ты еще не знаком... Всех денег назад не выручишь, но третью часть можно получить.

— Заложить?

— К чему такое беспокойство? — Шацкий заглянул в окно.— Постой... Как раз *он*.

— Кто?

— Татарин...

Шацкий высунулся в форточку и крикнул татарину номер квартиры.

— Послушай...— начал было Карташев.

— Так ведь не захочешь продавать и не продашь, а цену на всякий случай узнаешь...

Татарин пришел, и Шацкий, быстро поворачиваясь, живой, сосредоточенный, стал ему показывать вещи, объяснял, врал про их стоимость и раздражил в конце концов аппетит татарина настолько, что тот настойчиво стал предлагать за все отобранное тридцать два рубля.

— Ну, тридцать пять, или убирайся к черту,— решительно проговорил Шацкий.

Карташев протянул руку за деньгами.

— A la bonne heure [1],— произнес Шацкий, облегченно вздыхая.

— Еще нет ли чего? — спросил татарин, увязав все.

— Нет, нет, иди,— замахал Карташев.

Когда татарин ушел, Шацкий сказал:

— Домой, конечно, не напишешь...

— Конечно, напишу,— недовольно перебил Карташев.

— Напрасно.

— Оставим этот разговор.

— Как тебе угодно.

— Мне, правду сказать, немножко неприятна вся эта продажа.

— Ну, стоит ли, мой друг, на таких пустяках останавливаться... с твоим сердцем и умом. Ecoute [2], едем к Ларио... Сегодня этот негодяй заходил ко мне, но не застал: это неспроста...

XII

Дела Ларио были плохи.

Восемнадцать рублей, с которыми он приехал в Петербург, разошлись очень быстро. «Из дому» он ничего не получал, потому что единственная его родня — сестра — неожиданно овдовела и с четырьмя детьми осталась на такой ничтожной пенсии, что сама нуждалась в самом необходимом.

Надежды на урок тоже были на воде вилами писаны. При таких условиях никакие общие планы не лезли в его голову, и когда товарищи задавали ему в этом роде вопросы, Ларио начинал смущенно и оживленно подергивать плечами, разводил руками и говорил:

---

[1] В добрый час *(франц.)*.

[2] Послушай *(франц.)*.

— Мой друг... ну, ну что ж тут думать о том, что будет послезавтра, когда завтра я, может быть, подохну с голоду.

И он смущенно пускал свое «го-го-го», закладывал вещи, пока было что закладывать; кое у кого брал взаймы, если предлагали. Иногда он приходил в гости, целый день ничего не евши, и если ему не догадывались предложить поесть, то и он не говорил о том, что голоден. По его красному лицу и по оживлению трудно было и догадаться, что человек сегодня ничего не ел. Но если его спрашивали:

— Петька, обедал?

Он отвечал:

— Собственно, н-нет...— И сейчас же прибавлял: — Собственно, вот, урочишко если бы получить рублей хоть в десять, и отлично бы.

Но, когда Ларио наедался, оживление его вдруг пропадало. Он делался молчалив, возился с своим больным зубом и угрюмо, без выражения, смотрел куда-нибудь в сторону.

Случайные рублевки уходили на Марцынкевича, и в этих случаях, оправдываясь, Ларио, разводя руками и по обыкновению кипятясь, говорил:

— Мой друг, что ж я на два рубля сделаю? По крайней мере, ну, хоть забудусь.

В общем, чем запутаннее становилось положение, тем Ларио делался беспечнее.

Единственно, что еще смущало его,— это квартира, или, как говорил он, «квартирный вопрос». С квартирой связывался и обед — блюдо голубей, правда, не всегда обеспеченное, но все-таки щит от страшного призрака полного голода.

Поэтому, когда пришел срок платить за месяц, Ларио скрепя сердце,— это было как раз накануне встречи Шацкого с Карташевым,— отправился к Шацкому и попросил у него взаймы шесть рублей. Он получил от Шацкого деньги, но вышло как-то так, что в последнее мгновение он решил уплатить хозяйке только за полмесяца. На остальные же три рубля пообедал, выпил бутылку пива, а вечером отправился к Марцынкевичу.

Там, в прокопченных залах этого заведения, его обдало обычным спертым воздухом, в котором смешивались и человеческий пот, и прокислые закуски буфета, и пиво, и водка. Но конфузливый в так называемом порядочном обществе, Ларио здесь не чувствовал обычного стеснения. Он умел в этих залах проводить весело время.

Когда он вошел, вечер был в полном разгаре. В воздухе тускло горели газовые рожки, освещая низкие, грязные залы, в которых взад и вперед двигалась обычная толпа посетителей: гризетки, горничные, ремесленные кокотки, «швейки», их кавалеры — приказчики, студенты и разного рода кутящий люд, от чуйки до господина во фраке, желающего поразить этот мир изысканностью своих манер. Но здесь, в этой демократической толпе, было мало настоящих ценителей таких манер, и они вызывали только веселый смех в дамах, да желание со стороны кавалеров своих дам поставить обладателя фрака с изысканными манерами в какое-нибудь особенно глупое положение.

На местном жаргоне это называлось «устроить скандал». На этом поприще Ларио уже стяжал себе славу. Он был здесь несомненно популярным человеком и, чувствуя почву, держал себя с апломбом и уверенностью некоторым образом героя толпы.

Дамы любили Ларио за простоту, «за мах», за его готовность беззаветно спустить с ними последнюю копейку и спустить с таким треском и шиком, на какой способен был только он, когда развернется.

Появление Ларио заметила Шурка «Неукротимая» (прозвище, как и остальные: «Подрумянься», «С морозцу» и прочие, данные самим Ларио) и понеслась к нему с противоположного конца зала.

Шурка была пропорциональная, среднего роста молодая девушка в черном платье, с простой прической, большими серыми глазами и румянцем на худом красивом лице.

Из многочисленных своих симпатий Ларио любил Шурку особенно за шик, за огонь, за пренебрежение к нарядам. Ее неизменный цвет платья был черный, а прическа — всегда прямой пробор и коса. Только и ще-

голяла Шурка своими шуршавшими белыми юбками да красивыми ботинками, плотно облегавшими ее стройную ногу. Но и эта роскошь имела, так сказать, свой смысл. Шурка была первая мастерица в танцах, и па, где сшибался поднятою ногой цилиндр с головы визави, требовало одинаково и грации, и безукоризненной ножки, и массы, наконец, юбок, маскирующих в решительный момент все, кроме ботинка и части обнаженного чулка.

Ларио, стоя у дверей, давно увидел мчавшуюся к нему Шурку, но, как опытный в таких делах человек, сделал вид, что не замечает ее.

— Петька, подлец! — налетела на него Шурка...

— А... а... ну, здравствуй,— ответил равнодушно и пренебрежительно Ларио.

— Ты что? угости!

— С этого времени тебя, прорву, начать накачивать,— трех капиталов не хватит,— искренне раздражился Ларио.

Шурка, чувствовавшая к нему какую-то невольную симпатию, и не подумала обидеться, а заметила только по важному виду Ларио, что «подлец Петька» при деньгах. Так как это бывало очень редко, а Шурка всегда и без денег оказывала ему внимание, то она сочла себя вправе воспользоваться этим редким случаем, чтобы на этот вечер стать исключительной обладательницей Ларио. Поэтому, ущипнув своего кавалера как можно сильнее за руку, она проговорила:

— Да ты это что, Петька?! Ты и не подумай у меня отлынивать! Смо-о-три!! чуть что — прямо глаза выцарапаю: тронь только кого-нибудь.

Горячий ответ Шурки пришелся по душе Ларио. «С огнем женщина!» — подумал он, но, не выдавая себя, небрежно ответил:

— Ладно... Не больно запугала, я и сам подолы задирать умею.

— Этак? — спросила Шурка и подбросила чуть не к носу Ларио носок своего ботинка.

— Не балуй! — как только мог солиднее ответил Ларио, сдерживая охватывавшее его удовольствие.

— Да ты что ломаешься?! — уже смело сказала

Шурка, требовательно наступая на Ларио.— Ах ты дрянь этакая!

Она приблизила свое лицо к лицу Ларио и не спускала с него своих красивых глаз.

В глазах Ларио что-то сверкнуло. Девушка почувствовала свою силу и тоном, не допускавшим уже никаких возражений, скомандовала:

— Целуй!

Ларио нерешительно обдумывал: устоять или исполнить заманчивое для него приказание.

— Ну? — строго и с новой зажигательной силой повторила Шурка.

— Выведут...— слабо воззвал Ларио к благоразумию Шурки.

— Начхать!! Целуй.

Ларио быстро чмокнул Шурку в губы и еще быстрее, взяв ее под руку, нырнул с ней в толпу, повторяя на ходу:

— Ей-богу же, выведут.

В толпе они встречали знакомых и любезно кивали головой направо и налево. Своих первых танцоров узнавала толпа и почтительно пропускала вперед.

Так незаметно дошли они до буфета.

— Коньяк — ни-ни! — решительно заявил Ларио.

— Петька-а?!

— Вот тебе и Петька.

Шурка внимательно заглянула в глаза Ларио.

— Стану я тебя спрашивать?! Коньяку!!

— Ну и плати сама.

— Петька?

— Петька я давно,— водку пей...

— Ну, петушок, одну только... а там до конца, ей-богу, вот тебе крест,— водку...

— Экая дрянь... Ну дуй.

Шурка проглотила рюмку коньяку залпом и, дотрагиваясь до блюда вареных красных раков, спросила:

— Рака?

Ларио, крякнув после выпитой рюмки водки, кивнул Шурке головой в знак согласия и сам, закусив редькой в сметане, под руку с Шуркой, осторожно обламывавшей ножки рака и сосавшей их, направился в залу.

Они опять шли под руку и опять весело раскланивались со знакомыми.

И все его симпатии: и «Подрумянься», и «С морозу», и Лизка-пьяница, и Маша первая, и Маша вторая — все, все понимали и то, что у Петьки деньги и что Шурка на сегодня завоевала Петьку, и в их поклонах ясно передавалось, что они признают эту победу и с своей стороны никаких посягательств ни на Петьку, ни на его карман делать не будут. И довольная Шурка говорила своему кавалеру о том, какие они все хорошие люди.

Были, впрочем, и такие, которые не желали признавать Шуркиных прав на захват и старались привлечь на себя внимание Ларио. Эти давали Шурке повод говорить о назойливости, о нахальстве, о подлости человеческой натуры вообще и в частности о приставших к Ларио.

У Шурки язык был, как бритва, она искусно работала им против своих соперниц, и Ларио говорил больше для успокоения Шурки:

— Да черт с ними: что тебе?

— Ну так и иди к ним...— горячо отвечала обидчивая Шурка, вырывая руку.

Но мир снова восстановлялся быстро, и Ларио опять выслушивал рассуждения Шурки на тему о подлости человеческой натуры.

— Порядочная девушка,— говорила она убежденно и так громко, чтобы слышала та, к кому это относилось,— никогда не станет приставать к чужому кавалеру.

— Муж он тебе? — смущенно возражала соперница.

— Вот тебе и муж!!

— Черт вас вокруг стула крутил,— говорила, вспыхнув, соперница и быстро уходила, боясь Шуркиных когтей.

Шурка останавливалась, вот-вот готовая полететь вдогонку за убегавшей, но Ларио крепко держал ее за руку.

— Ну вот, ты всегда так,— говорил он ей торопливо,— рюмку выпьешь и уж скандалить готова... Брось...

— Ушла,— удовлетворенно говорила Шурка, не слушая доводов своего кавалера, и они опять продолжали свою прогулку.

Особенно назойлива была подозрительная, бледная фигура женщины лет под тридцать, с кличкой Катя Тюремщица. Справедливо или нет, но эту Катю весной обвинили в воровстве кошелька у своего кавалера и посадили на три месяца в тюрьму. Это вконец подорвало ее положение: ее избегали. Да к тому же и возраст ее,— тридцать лет большой возраст для такой жизни,— и помятый вид, особенно после тюрьмы, как-то сразу осадившей ее,— все это делало то, что изо дня в день Катя Тюремщица, как какая-то проклятая тень, чужая всему окружающему, одиноко шаталась в толпе посетителей Пассажа, Невского, Вознесенского и Марцынкевича. Знакомство ее с Ларио было случайное, в минуту жизни трудную, когда он был совершенно без денег и искал чистой любви, а она, не обедавши, искала хоть куска хлеба. Они с аппетитом в тот вечер съели зажаренного в золе голубя.

Ларио узнал историю Кати, и хотя она была и Тюремщица, и некрасива, и поношенна, но в его любвеобильном сердце нашелся и для нее уголок: он любил ее за то, что, как говорил он, она была «бедненькая», то есть тихая, кроткая и загнанная.

Неприятны были только ее глаза, напряженные, ищущие.

— Жаль девочку,— сказал Ларио, проходя мимо Кати, бросавшей на него непозволительные, с точки зрения кодексов Шурки, взгляды.

— Сама только и вредит себе,— строго ответила Шурка.— В другой раз, может, и нашла бы свое счастье, а теперь, конечно, всякого порядочного человека только сконфузит... Дура и больше ничего...

Ларио покосился на музыкантов и проговорил:

— Что они там жилы тянут,— начинали бы кадриль.

— Ты иди, скажи...

Наконец, раздался давно ожидаемый сигнал к кадрили.

В длинной зале начали строиться пары. Молодой человек на коротких ножках, в пиджаке, поспешно натя-

гивал перчатки, топтался возле своей дамы и с волнением оглядывался по сторонам так озабоченно, точно от этой кадрили зависела вся его судьба. Подвыпивший господин из молодых приказчиков тащил под руку, вдоль построившихся пар, свою толстую, неуклюжую даму, отыскивая себе визави. Лысый, в чуйке, кавалер, сапоги бутылкой, робко втиснулся с своей дамой в ряды танцующих и оглядывался так, точно вот-вот покажется его законная супруга, от которой он мгновенно и даст «стрекача» в толпу. Что касается дам, то те с деловыми лицами строились так же равнодушно, как делают это солдаты на учениях.

Ларио с Шуркой перед началом кадрили выпили еще по одной. Его немного шокировала компания сотоварищей, и он нетерпеливо ждал кадрили, когда в разгаре танцев не все ли равно кто возле: чуйка ли, убежавший от своей жены, или приказчик, запустивший сегодня удачно руку в хозяйскую кассу.

Около Ларио и Шурки собралась обычная толпа зрителей.

Музыка заиграла.

— En avant! [1] — резко тряхнул головой Ларио и двинулся с своей дамой вперед.

Начало, как всякое начало, не представляло ничего интересного. Ларио с легкостью, какую трудно было предположить в нем, не шел, а плыл, семеня ножками, подергивая телом и руками. Иногда он хлопал в ладоши и мерно, в такт мотиву, наклоняя голову, довольно громко напевал:

Кокотки-гризетки
Совсем не кокетки!
Кто их знал, кто их знал,
Не мог их позабыть.

Иногда он бросал слово-другое своей подруге: «раскачивайся», «шевелись», и под этот приказ Шурка точно загоралась и показывала свой, как выговаривал Ларио, «шшиик».

---

[1] Вперед! *(франц.)*

Настоящий танец с соответственными телодвижениями начался в пятой фигуре, когда Шурка и Ларио делали свое solo. К этому моменту вокруг них собралась почти вся нетанцующая публика.

Первая пошла Шурка под зажигательный припев Ларио:

О, hey, la cascade! Hey la tocade...
En avant, en avant, voyez la bacchanale?! [1]

Шурка в это время, подобрав обеими руками платье, с массой торчащих из-под него белых юбок, загнула все это у себя на коленях и, придерживая руками, начала в такт музыке, все подвигаясь вперед, выбрасывать свои красивые маленькие ножки в высоких ботинках.

Когда музыка переменила вдруг мотив, Ларио быстро и с треском подхватил:

Кончиком ботинки
С носа сбить pince-nez.

Как раз в это мгновение дойдя до Ларио, Шурка вдруг распустила свои юбки, и быстро, непринужденным движением ноги, действительно сбросив с носа Ларио pince-nez, уже благополучно отбывала назад, слегка закинувшись и соответственным движением руки как бы приглашая за собой своего кавалера.

Взрыв аплодисментов наградил раскрасневшуюся Шурку за выказанную грацию и искусство.

Наступила очередь Ларио.

— Живей! — коротко, энергично скомандовал он.— Clic-clac.

И, дождавшись желанного темпа, разгорячившийся Ларио выступил вперед. Никто не узнал бы теперь обыкновенно тихого и застенчивого Ларио: это был уверенный в себе, стройный и сильный красавец юга. Вся итальянская кровь его дедов проснулась и заговорила в нем. Каждая жилка, каждый мускул вибрировал и играл. Большие черные глаза горели и метали искры,

---

[1] Да здравствует веселье! Да здравствуют интрижки... Вперед, вперед, вот так вакханалия?! *(франц.)*

лицо покраснело, волосы в красивом беспорядке рассыпались по лбу.

— En avant! — вскрикивал он по временам.

И это короткое, страстное «en avant!» электрической искрой пробегало от него к толпе.

— Н-на!

И Ларио последним движением как-то боком, сложив на груди руки, подбросил обе ноги враз, успев ими и щелкнуть, и одну из них поднять выше Шуркиной головы.

— Bis! Браво!..— заревела публика.

На bis Ларио скомандовал казачка.

Под звуки новой музыки он легко и сильно, точно и не танцевал, пустился, как резиновый мяч, ударяемый сильной рукой, откалывать самого отчаянного трепака.

В то же мгновение Шурка тихо и плавно, красиво перегнувшись и помахивая платочком, выплыла на середину зала. Все давно бросили танцевать и во все глаза следили за красивой парой. То заступая нога за ногу, скрестив руки, кавалер уходил от своей дамы; то догонял ее, присев к земле и перебирая, не подымаясь, ногами; то опять пускался в ту минуту, когда, казалось, все силы оставили его, в самую отчаянную присядку. И казачок он кончил каким-то не поддающимся описанию скачком, причем ноги его взлетели на воздух, и в то же мгновение ладонью он хлопнул по полу.

Новый взрыв аплодисментов и новый неистовый крик «bis».

После кадрили почитатели таланта просили Ларио и его даму выпить и закусить с ними. Ларио скромно принимал приглашения, но ничего, кроме водки, не пил, объясняя каждому, что он человек с маленькими средствами и пьет только то, чем может ответствовать.

Но верхом торжества было, когда вдруг распорядитель заведения, протолкавшись к прилавку, подал Ларио на подносе билет почетного посетителя. Ларио немного смутился, но не принять было неловко. Настроение и желание толпы было угадано: посыпались новые аплодисменты, раздались крики «ура», «браво», и смущенный Ларио только успевал раскланиваться на все стороны.

Поднялись и Шуркины акции: она получила несколько соблазнительных предложений. Один франт даже звал ее ехать к Пивато. Шурка наотрез отказывалась от всех приглашений.

Но кавалер ее не был на высоте. Перед ним вдруг очутилась Катя Тюремщица и голосом простым, но полным горького упрека, произнесла:

— Сашку коньяком поишь, а когда денег нет — ко мне; в последний раз и на извозчика не дал.

— Не дал? И дал бы, да не было: видала кошелек?

Ларио говорил с неприятной интонацией человека, желавшего отвязаться от назойливого собеседника. Он ждал еще приставаний и приготовился ответить Тюремщице еще резче, но та замолчала и только тоскливо и безнадежно все смотрела в одну точку. Ларио скользнул взглядом по ее лицу и смущенно поспешил отвести глаза. В это мгновение фигура Тюремщицы так мало подходила к окружавшей их обстановке. Это и отталкивало от нее и сближало с нею какой-то другой стороной: точно стояла перед ним не женщина этой залы, а какой-то близкий, очень близкий ему человек.

— Целый день маковой росинки во рту не было,— скорее как мысль вслух, тоскливо проговорила Катя.

Доброе сердце Ларио сжалось от этих слов. Глаза его направились в ту сторону, где стояла Шурка, и, заметив, что та с кем-то разговаривает, он быстро и смущенно ответил:

— Так бы и сказала... пей...— И, взяв рюмку с прилавка, он передал ей.

Угощая Тюремщицу, Ларио думал, что он, не нарушая прав Шурки, исполнял только некоторым образом свой долг.

Но не так посмотрела на вопрос Шурка, заметившая действия своего кавалера. Вскипев негодованием, на какое только способна была ее невоздержанная натура, она бросилась к Тюремщице и, не помня себя, с воплем: «Так вот же тебе, тюремная присоска!» — выбила из рук соперницы рюмку, которую та только что собралась опрокинуть в рот. Водка расплескалась по лицу и платью Тюремщицы, рюмка упала на пол, и в ту же минуту Шурка получила такую пощечину, что на мгнове-

ние даже растерялась. Но вслед за тем, с визгом налетев на соперницу, всеми своими десятью когтями она впилась в лицо Тюремщицы. И хотя их немедленно растащили в разные стороны, но лицо Тюремщицы сразу залилось кровью. Впрочем, и из носа Шурки капала кровь, и теперь она осторожно, чтоб не запачкать платье, то и дело прикладывала платок к носу и оживленно рассказывала всем, желавшим слушать, историю драки. Тюремщица не слушала и, закрыв лицо, стояла, как человек, получивший смертельный приговор. Она понимала одно: она, с своим обезображенным лицом, сразу потеряла и на сегодня, и на завтра, и на много дней какую бы то ни было надежду на практику, а с ней и надежду на еду, кров... Положение сразу стало невыносимым и критическим. И все эти соображения и последний, не дошедший до рта кусок подействовали на несчастную так, что она, присев тут же на стуле, вдруг горько зарыдала.

Между тем скандал привлек все общество, поднялся оживленный говор. Шурка, раскрасневшаяся и растрепанная, все вытирала кровь, капавшую из носа, и горячо рассказывала историю с своей оскорбленной точки зрения; ясно было неблагородство Тюремщицы, и все смотрели на последнюю, продолжавшую молча рыдать, с каким-то смешанным чувством соболезнования и презрения. Для Тюремщицы весь дальнейший эпизод не имел уже никакого интереса. При охватившем ее отчаянии не было места пустому, минутному самолюбию, которое фонтаном било в молодой, здоровой Шурке. Тюремщица продолжала рыдать, не интересуясь окружающим, как чем-то таким, что с этого мгновенья, может быть, навсегда станет ей чуждым. Рыдания перешли в кашель, тяжелый, судорожный кашель надорванной груди. На зрителей повеяло атмосферой больницы. Тюремщица не слышала, как пришел распорядитель, как в десятый раз, еще раз, Шурка с разными дополнениями передала ему всю историю; не слышала, как поднялся вопрос о выводе кого-нибудь из них, как Ларио горячо и убежденно просил и уговаривал распорядителя не доводить дело до скандала, как, наконец, решено было смягчить форму изгнания. Тюремщица пришла

в себя только тогда, когда распорядитель, наклонившись к ней, мягко посоветовал ей ехать домой. Она беспрекословно встала и, продолжая всхлипывать, закрываясь платком, пошла за ним на лестницу.

Ларио догнал ее и сунул ей в руку сорок копеек. Тюремщица в ответ, закинув голову с прикрытым рукою лицом, так всхлипнула, что Ларио прибавил смущенно:

— Завтра часов в десять утра приходи ко мне,— и мгновенно вернулся назад утешать другую жертву «любви» к себе — Шурку Неукротимую.

На возвратном пути распорядитель остановил Ларио и попросил его, в виде особого одолжения, увезти и Шурку, так как в обществе началось обратное движение — в пользу Кати, а публика достаточно пьяна, и, пожалуй, может выйти новый скандал. Ларио согласился, но с подвыпившей Шуркой не так легко оказалось справиться. Тем не менее, при добром содействии друзей и подруг, Ларио удалось, наконец, в четвертом часу ночи свести Шурку в уборную. Но уже в пальто, услыхав вдруг веселые звуки кадрили, Шурка пустилась в пляс и чуть не вырвалась, как была, назад в танцевальную залу. И когда и на этот раз удалось ее уговорить, она с горя успела все-таки хоть перед швейцаром проделать свое любимое па.

На другой день, когда Ларио проснулся, Шурка уже была на ногах и в одной юбке возилась около самовара.

— Где твой чай и сахар?

— Где? — повторил Ларио,— в лавке... Постой, пошлю сейчас.

Ларио вскочил, отворил дверь, просунул голову и как мог ласковее произнес:

— Марья Ивановна!

Что-то в конце темного коридорчика заколыхалось и медленно подплыло к полуотворенной двери. Это и была та самая Марья Ивановна, расплывшаяся, всегда добродушно-недоумевающая квартирная хозяйка.

— А что, некого, Марья Ивановна, послать за чаем?

— Кого же? Дашу рассчитали, а новой нет еще.

— А... может быть, вы дадите на заварку... я вот только оденусь.

— Хорошо.

— И сахару немножко...

— И булку?

— Да, пожалуйста... Очень, очень вам благодарен.

Ларио, дождавшись у дверей припасов, опять улегся и, вспомнив с неприятным чувством о предстоявшем визите Тюремщицы, во избежание столкновения проговорил:

— Ну, однако, Шурка, того... пей чай и марш... мне надо заниматься.

— Еще что выдумал? — спокойно ответила Шурка,— никуда я не пойду.

Хотя это и очень польстило самолюбию Ларио, но тем не менее он категорично повторил свое требование. При этом он, как мог, объяснил ей, что у него репетиция, что такое репетиция и что необходимо что-нибудь знать, а он еще ничего не знает.

Хотя Шурка поверила только последнему, но, ввиду настойчивости Ларио, который при всей своей деликатности сам, наконец, встав, начал одевать ее, она уступила и начала трогательно прощаться с ним. Ларио так расчувствовался, что отдал ей весь свой капитал,— что составило всего-навсего пятьдесят пять копеек.

Шурка сунула деньги в карман, подавив упрек, что с таким заработком не проживешь, спустила на лицо вуаль, потом опять подняла его, в последний раз поцеловала своего возлюбленного и повернулась уже к двери, собираясь отворить ее, как вдруг дверь сама отворилась, и Шурка замерла на месте. В дверях стояла унылая фигура Кати Тюремщицы.

В мгновение ока Шурка поняла теперь, и что значила эта репетиция, поняла и всю подлость Петьки и вскипела негодованием к неблагодарному, для которого она, может быть, целые десять рублей променяла на жалкие пятьдесят пять копеек.

Ларио совершенно опешил от такой неожиданности и стоял, как пойманный вор. Шурка вскинула на него глаза, и новый прилив бешенства охватил ее. С криком «подлец» она схватила что-то попавшееся под руку и

бросила это что-то о землю так, что оно разлетелось в куски. Затем, как бомба, она вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног Тюремщицу.

Это, брошенное Неукротимой, было не что иное, как снаряд Ларио для голубей.

Ларио стоял над разбитым снарядом, с разбитой надеждой на обед, с тяжелой обузой в лице унылой Тюремщицы, и тем ярче охватывал его образ исчезнувшей живой Шурки Неукротимой.

XIII

Карташев и Шацкий, отправившись к Ларио в день первой встречи и продажи вещей татарину, застали его в странной семейной обстановке.

Ларио лежал на кровати, а Тюремщица сидела у его ног.

Увидев в дверях приятелей, Ларио быстро смущенно поднялся, а Тюремщица поспешила выйти из комнаты.

Шацкий только кивал головой, расставив свои длинные ноги.

— Кто это? — спросил Карташев.

— Говори...— печально предложил Шацкий.

— А правда — милая? — спросил смущенно Ларио.

— О! очень милая,— ответил, переменив быстро тон, Шацкий и забегал по комнате.

— Вы, пожалуйста, не подумайте того... что-нибудь,— вдруг смущенно заговорил Ларио, щурясь на своих гостей.— Как это ни странно... Го-го-го... Я выступаю в довольно комичной роли — в роли покровителя порядочной женщины... Го-го-го... Хотя она... того...

Ларио сделал жест, точно ловил в воздухе муху.

— Го-го-го, покровитель, го-го-го, порядочная женщина, го-го-го, того,— умеешь ты, наконец, говорить по-русски? — нетерпеливо спросил Шацкий.

— Понимаешь ты,— начал опять Ларио, ни капли не обижаясь, а, напротив, успокоившись от слов Шацкого.— Женщина решила бросить прежнюю свою специальность; ну, конечно, ты мне поверишь, что я здесь ни при чем... ну, и пришла ко мне... Ну и...

Ларио точно подавился.

— Ну, говори! — крикнул на него Шацкий.

— Ну, понимаешь ты, хоть я не миссионер, черт меня побери, го-го-го, но не сказать же мне ей: «Иди опять в проститутки», что ли; я, конечно...

Ларио опять замялся.

— Ну, одним словом, ты разнюнился,— подсказал ему Шацкий,— ну, и что же?

— Я, положим, не разнюнился... и ты врешь, но я тоже...

Ларио говорил бы еще два часа, наверно ни до чего не договорившись, если бы Шацкий не оборвал его:

— Одним словом, ты оскандалился?

— Ничуть не оскандалился...

— Я почти уверен, что ты даже нюни распустил...

— Ну, это ты, может, способен от юбки нюни распускать...

— Врешь, подлец, теперь я убежден даже в этом... Ну, все равно... Ты предложил ей помощь... отцовскую или братскую помощь... конечно, братскую...

Ларио бросило в жар.

— О мой друг, к чему же так выдавать себя, как какой-нибудь мальчишка... Пожалуйста, не перебивай...

— Ну, да о чем тут разговаривать,— перебил Карташев,— главное здесь то, что действительно надо помочь...

— Вовсе это не главное, главное — уличить вот этого мерзавца...

Шацкий указал на Ларио, который, вдруг успокоившись, щурился и произнес, стараясь придать голосу самый спокойный тон:

— Ну, ну, говори.

— Ты распустил нюни...

— Врешь.

— Ты обещал отцовскую или братскую помощь.

— Не братскую и не отцовскую.

— Врешь, подлец. Ты...

Шацкий впился в Ларио, который еще больше прищурился, как бы пряча свои глаза от его проницательности.

— Ты,— медленно, с расстановкой начал Шацкий,— придумал план помочь ей...

— Придумал.

— Она по специальности швейка...

— Не швейка, модистка, положим.

— Все равно... Ты решил...

Шацкий остановился и наслаждался производимым им впечатлением.

— Ну, ну? — переспросил Ларио, волнуясь.

— Купить ей швейную машину!! — И Шацкий, выпалив это, вскочил, забегал по комнате и, сделав совершенно идиотское лицо, заговорил какую-то чепуху.

Ларио, смущенный тем, что Шацкий угадал его планы, не спускал с него глаз.

— Ну, Миша,— заговорил он,— как хочешь, а ты с чертом свел уже знакомство. От тебя, знаешь, чертовщиной уже несет...

Шацкий рассмеялся, но продолжал нести свою ерунду.

— А знаешь, почему я колдун? — спросил вдруг Шацкий и ответил: — Потому что ты глуп.

— Сам ты глуп,— добродушно ответил Ларио.

— Ты действительно думал купить ей машинку? — спросил Карташев.

— Да... Понимаешь, у нее практика обеспечена, ее, так сказать, бывшие подруги по ремеслу...

— Придумал!! — с презрением перебил Шацкий.— Именно надо быть Петей, чтобы додуматься до такой глупости.

— Почему, мой друг? — спросил Ларио.

— А потому,— серьезно заговорил Шацкий,— что на машине и она не будет работать, и ты ее выгонишь на другой день... Она от работы отвыкла, она, хоть бы хотела, не может работать, потому что изнурена...

— Она даже кровью кашляет...

— Дурак,— фыркнул Шацкий.— Но если бы она и могла работать... Платья, юбки, заказчицы, и все это в твоей комнате, и ты с тремя Сашками, пятью Лизками... Понимаешь теперь, что ты глуп?!

— Ну, хорошо, ты умен, ну, и какое же твое мнение?

— Нет, ты не отлынивай, ты понимаешь теперь, что ты глуп?

— Ну, хорошо, дальше...

— Сознался, наконец... Слава тебе, господи... А дальше то, что ей надо открыть меблированные комнаты. Найдется несколько таких дураков, как ты, которые ей платить ничего не будут, и она вместе с вами подохнет с голоду.

— Меблированные комнаты — идея хорошая,— согласился Карташев,— но для этого надо много денег.

— Немного больше, чем для машины... Можно откупить уже с готовой обстановкой, можно напрокат взять, можно в рассрочку купить... сто рублей надо.

— Ну, и отлично... Я даю тридцать пять, вырученные от татарина,— сказал вдруг Карташев.

Конечно, Карташевым руководило и доброе чувство, но в то же мгновение сам собою разрешался смущавший его и другой вопрос: продажа вещей была бы неприятна его матери. Если не писать ничего об этом и деньги прожить, выйдет некрасиво, а если отдать этой несчастной, то молчание о продаже вещей получит характер даже некоторым образом возвышенный: «Да не ведает правая рука, что творит левая».

Поэтому Карташев даже с легким сердцем вынул отдельно лежавшие в бумажнике деньги и положил их на стол.

— Ха... ха...— весело пустил он.

Шацкого вдруг смутила эта именно непринужденность Карташева. Он сконфуженно и напряженно замигал своими маленькими глазами.

— Мой друг, ты не умеешь... Так порядочные люди не делают... Если ты хотел помочь, то должен был дать все...

— Кто тебе мешает? — ответил Карташев.

— Что? — нерешительно спросил Шацкий и вдруг, быстро вытащив свой бумажник, вынул сотенную и бросил ее на стол. Но сейчас же карикатурно вскочил, оперся на стол, закрыв одной рукой деньги, точно хотел их взять назад, и так посмотрел на Карташева и на Ларио, точно сам не понимал, что с ним делается.

— Миша!..— умилился Ларио.

— Пошел вон!! — заорал вдруг благим матом Шацкий.

Он ураганом стал носиться по комнате. Кровь прилила к его лицу. Он испытывал отвращение и к Ларио, и к Карташеву, и к Тюремщице. Он упал на кровать и несколько мгновений лежал с закрытыми глазами.

— Грабят!!! — закричал он в порыве бешенства.

Ларио и Карташев переглянулись.

— Миша, возьми деньги,— сдержанно произнес Ларио.

Шацкий молчал.

— Конечно, возьми,— сказал Карташев,— ну, дай десять, пятнадцать рублей.

— Дай десять, пятнадцать рублей,— передразнил его Шацкий...— оставьте меня в покое.

Карташев и Ларио заговорили между собою.

— Послушай,— говорил Карташев,— но ведь прежде всего ей следует лечиться. Самое лучшее позвать бы Корнева...

— Я согласен,— ответил Ларио.

— Собраться бы с ним обсудить. Сегодня — что? Среда, так в пятницу... в шесть часов...

— Отлично.

Шацкий поднялся с кровати. Лицо его было уже спокойно.

— Честному человеку нельзя жить на свете,— проговорил он задумчиво.

— Миша, возьми назад деньги.

— Пошел вон! — спокойно ответил Шацкий...— Нет, с вами в Сибирь попадешь... Едем в оперетку...

— А в Александринку?

— Ну, вот... они меня окончательно убьют... Можешь ты мне сделать одолжение, ехать именно в оперетку?..

— За твое великодушие я согласен с тобой хоть к черту,— ответил Карташев.

Шацкий утомленно кивнул головой.

— Одевайся.

— Господа, что же вы? Чаю...

— Нет, нет, с этим подлецом я больше секунды не могу быть,— торопил Шацкий.

Карташев и Шацкий оделись.

— Спасибо, Миша! — сказал Ларио, провожая их.

— Убирайся, убирайся...

— Го-го-го,— смущенно щурился Ларио, когда Шацкий, не желая протянуть ему руки, убегал по коридору,— ты послушай, Миша, твой друг, граф Базиль, так бы не поступил.

— Может быть, может быть... с такими господами, как ты, все может быть.

— Миша, это, наконец, обидно; или давай руку, или я брошу тебе в морду твои деньги,— вспыхнул Ларио.

— Ну, вот... Я говорил... На тебе руку, и черт с тобой!

— Ну, вот так лучше.

— У! животное...

— Ну, прощай,— крикнул снизу лестницы Карташев.

— Прощай... Прощай, Миша,— крикнул Ларио.

— Пошел вон,— раздался из темноты уже веселый обыкновенный голос Шацкого.

XIV

— Ну, что? — спросил Шацкий Карташева, когда они по окончании представления выходили из театра.

Карташев промычал что-то неопределенное.

— Нравится, но стыдно признаться,— сказал Шацкий.— Со мной это можно оставить — я не Корнев, я пойму тебя, мой друг. Завтра едем?

— Вряд ли.

— Как хочешь... может быть, утром меня навестишь?

— Нет. Я завтра на лекции.

— А-а! ужинать хочешь?

— Нет... буду письма писать.

— Ну, в таком случае прощай...

Карташев хотел писать домой, но, возвратившись, почувствовал себя в полном нерасположении. Перед

ним ярко проносились картины театра, мелькали голые руки и обнаженные плечи красивых актрис, и особенно одна из них не выходила из головы — красивая, стройная, с мягкими, темными глазами певица. Она была одета итальянкой, пела «Viva l'Italia» [1], ласково обжигала своими глазами, и Карташеву показалось, что она даже обратила на него особенное внимание...

Перед ним сверкнули ее манящие, добрые глаза, нежная и атласная белизна ее голых рук и плеч, сердце его усиленно забилось, и он подумал, засыпая:

«За обладание такой женщиной, за одно мгновенье можно отдать всю жизнь...»

Что-то снилось ему. Но утром, когда Карташев проснулся, все сны его подернулись таким туманом, что он почти ничего не мог вспомнить, и только образ матери, холодный и равнодушный, стоял ясно перед ним. Под впечатлением ее образа он почувствовал какое-то угрызение совести, хотел было засесть за письмо к матери, но, по зрелом размышлении, раздумал, потому что письмо под таким настроением вышло бы натянутое, сухое, и мать его, очень чуткая, была бы не удовлетворена. Поэтому, прежде чем писать письмо, Карташев решил привести себя в равновесие. Вдумываясь, что выбило его из колеи, он прежде всего остановился на оперетке и решил больше туда не ходить. Это очень облегчило его. Второе решение было — немедленно после чая отправиться на лекции и аккуратно все их высидеть. Он даже пешком пошел в университет. Он шел и с удовольствием думал о своей решимости.

В передней университета встретила его знакомая толпа швейцаров, ряд длинных вешалок, к одной из которых он подошел и разделся. Карташев оправил волосы, вынул носовой платок, высморкался и, как-то съежившись, зашагал по широкой лестнице наверх, в аудиторию.

Там он опять волновался, опять также слушал знаменитого профессора, опять ничего не понимал и раздражался.

Карташев вдруг вскипел.

---

[1] Да здравствует Италия (*итал.*).

«Ну, и не понимаю, я дурак, а вы умны, и черт с вами со всеми, а испытывать постоянное унижение от мысли, что я дурак, я не желаю больше...»

Он решительно встал и вышел из аудитории.

— Подохните вы себе все с вашим умом,— прошептал он, хлопнув дверью.

Выйдя на улицу, Карташев так весело оглянулся, точно вдруг почувствовал себя дома,— не там дома, на далекой родине, а здесь, на воле, в большом Петербурге. Ему вспомнился вчерашний театр, Шацкий, его приглашение и, взяв извозчика, он поехал к Шацкому.

Извозчик подвез его к красивому дому на Малой Морской, и по широкой, устланной ковром лестнице, по указанию швейцара, Карташев поднялся в третий этаж. Он позвонил. Вышла горничная в чепце, молоденькая, но важная, и с достоинством спросила:

— Как прикажете доложить?

— Не надо докладывать,— ответил Карташев.

Раздевшись, он оглянулся на горничную, и та, проведя его несколько шагов по широкому, застланному ковром коридору, отворила дверь. Карташев вошел в большую высокую комнату с большими венецианскими окнами, с бархатными малиновыми гардинами и с такой же тяжелой портьерой в другую комнату.

Посреди комнаты стоял стол, на котором лежало несколько номеров газет, «Стрекоза», «Будильник» и несколько французских журналов. Весь пол был застлан ковром. В простенках окон стояли высокие, чуть не до потолка, два зеркала.

Карташев поднял портьеру и увидел Шацкого, задумчиво лежавшего еще в постели. Красивое тигровое одеяло покрывало Шацкого, и из-под него едва выглядывала маленькая черненькая стриженая головка хозяина.

— Кто тут? — испуганно спросил Шацкий, но увидав Карташева, весело вскрикнул: — Артур, мой друг, как я рад тебя видеть!

— И я тоже очень рад тебя видеть.

— Чай, кофе?

Шацкий отчаянно позвонил, и, когда из-за портьеры раздался голос горничной, спрашивавшей, что ему угодно, он крикнул:

— И чай и кофе с печеньями,— прошу поторопиться: мой друг, граф Артур, не любит ждать.

— Сию минуту, ваше сиятельство,— ответила горничная.

— У меня строго,— сказал Шацкий после ухода горничной.

— Но зачем же ты меня произвел в графы? — спросил Карташев.

— Нельзя, мой друг, этикет. У меня никто, кроме графов и князей, не бывает. Единственное исключение составляет Ларио... Я его называю, когда является горничная: «Мой милый оригинал барон...» А правда, красиво — граф Артур?.. Я сегодня же напишу отцу, что имею дуэль с графом Артуром. Он когда-то был в Дерптском университете и любит хвастаться своими дуэлями с немцами баронами, а не угодно ли с графом Артуром на кинжалах... Это очень эффектная дуэль: коротенькие кинжалы и прямо в грудь... Завтра Корнева попрошу рецепт мне написать...

— Ты напишешь, что ранен?

— Опасно! Лучший доктор, за каждый визит сто рублей. Нельзя, мой друг... этикет... Мы, бедные люди большого света, мы рабы этикета.

Он стал одеваться и потом умываться, причем чистил зубы, ногти, щеткой натирал руки, шею, грудь, спину, фыркал, пускал кругом фонтаны воды и постоянно твердил:

— Ничего не поделаешь... Большой свет требует жертв.

Умывшись, Шацкий нарядился в какой-то пестрый халат, надел маленькую бархатную шапочку, подошел к зеркалу, показал себе язык, оглянул себя сзади, щелкнул над головой пальцами и, проговорив себе под нос: «дзинь-ла-ла», обратился к Карташеву:

— Я всегда в этом костюме пишу письма домой... чтобы прийти в надлежащее настроение.

— Кофе и чай, ваше сиятельство, на столе,— раздался голос горничной.

— Граф Артур, прошу вас сделать мне честь, откушать моего хлеба-соли.

И Шацкий, откинув портьеру, стоял в наклоненной, довольно карикатурной позе, ожидая, пока Карташев пройдет в столовую.

Горничная почтительно стояла у дверей.

Шацкий подошел к столу и сделал пренебрежительную гримасу.

— Мне кажется, что гренки недостаточно поджарены,— проговорил он как бы про себя.

— Прикажете доложить madame, ваше сиятельство?

— Не надо... можете идти.

Когда горничная вышла, Шацкий спросил Карташева:

— Прилично?

— Вполне.

— Мегсі, мой друг. В моих огорчениях ты единственный, кто утешает меня... Пожалуйста,— предложил он, подвигая кофе и печенье.

Напившись вкусного кофе, закурив папироску, Шацкий обратился к Карташеву:

— Не желаешь ли, мой друг, сигар? У меня есть порядочные... не скажу, хорошие... Мой друг Базиль привез мне из Гаванны ящик, и какая дешевизна, всего восемьдесят рублей сотня! Я думал, что мне придется выбросить их в окно, но, представь себе, оказались сносными...

Не рискуя ставить своего приятеля в неловкое положение в случае, если бы у него не оказалось сигар, Карташев дипломатично отказался.

— Тогда, может быть, хочешь на кушетке поваляться?

— Это с удовольствием,— ответил Карташев и, подойдя к кушетке, повалился на нее.— Тощища смертная,— произнес он, закладывая руки за голову.

— Мой друг, ты, кажется, не в духе? — спросил Шацкий и участливо наклонился к Карташеву.— В чем дело? Денег? Мой кошелек всегда к твоим услугам.

— Мегсі, мне не надо денег,— соврал Карташев.— Понимаешь, в чем дело... Я ничего не понимаю, что читают на лекциях...

— Только-то... смущаться от таких пустяков... а я совсем решил не ходить на лекции.

— И я сегодня решил то же самое.

— Я никогда не сомневался, что ты умный человек,— снисходительно ответил Шацкий.

— Понимаешь, какой смысл ходить...

— Понимаю, понимаю...

— ...когда ничего не понимаешь...

— Понимаю, понимаю.

— Надо сначала дома будет поработать, чтоб приучиться понимать по крайней мере этот китайский язык.

— Не стóит, мой друг.

— Ну, как не стóит? — надо же когда-нибудь...

— Ничего не надо. Поверь мне, что порядочному человеку ничего этого не требуется... Вот: порядочные манеры, хорошие знакомства, уметь фехтоваться, верхом ездить, записаться членом яхт-клуба,— это я понимаю. Кстати, ты читал «Рокамболя»?

— Никогда.

— Очень и очень милая книга. Хочешь, почитаем вслух.

— Ерунда ведь.

— Никогда. Очень тонкая штука и знание большого света... Хочешь? Попробуем.

И Шацкий, улегшись на другой диван, взял «Рокамболя» и начал читать. Пробило час, два, три, четыре, пять, пока, наконец, приятели оторвались от чтения.

— Такая чушь,— сказал, потягиваясь, Карташев,— а не оторвешься.

— А-га! Я тебе говорил. Теперь отправимся к Мильбрету и после обеда опять за чтение.

— Отлично.

По возвращении с обеда приятели опять расположились на диванах и продолжали чтение. Когда в коридоре пробило восемь часов, Шацкий отложил книгу и сказал:

— Ну, а теперь, Артур, пора в театр.

Карташев нерешительно встал, нерешительно оделся вслед за Шацким и только на лестнице сделал слабую попытку воспротивиться:

— Что ж это — каждый день?

— Мой друг, что за счеты между порядочными людьми.

И, покатившись от смеха, Шацкий схватил за руку смеявшегося Карташева и весело потащил его за собой по лестнице.

— Надо хоть pince-nez купить,— сказал Карташев,— а то плохо видно.

— А-а... это необходимо!

— А ты?

— Я хорошо вижу, мой друг.

Раздевавший их у Берга солдат назвал Карташева, как и Шацкого: «Ваше сиятельство».

— Ты отчего же угадал, что он тоже граф? — спросил Шацкий.

— Помилуйте, ваше сиятельство, сразу видно,— ответил солдат.

И, рассмеявшись, друзья отправились в буфет. Карташев на ходу вытер свое pince-nez и, надев его на нос, почувствовал себя очень хорошо и устойчиво. Ему показалось даже, что у него явилось такое же выражение, как у того студента с белокурыми волосами. Теперь и он мог бы так же свободно и спокойно идти куда угодно. Он не мог отказать себе в удовольствии проверить свои ощущения и, направясь в ту сторону буфета, где стояло зеркало, окинул себя внимательным взглядом.

— Хорош, хорош,— проговорил Шацкий,— красавец... по мнению коров,— добавил он вдруг.

— Надеюсь, ты не завидуешь? — спросил Карташев, смутившись и не найдясь, что сказать.

— Мой друг... преимущество глупости в том, что ей никогда не завидуют.

Карташев обиделся.

— В чем же проявляется моя глупость?

— Человек, который не проявляет ума, тем самым проявляет свою глупость.

— Ну, а ты чем проявляешь свой ум?

— Тем, что переношу терпеливо глупость.

— Свою?

— Все равно, мой друг, не будем говорить о таких пустяках.

— Не я начал, ты...

— Еще бы... Начинают всегда старшие, а младшие им подражают.

— Ну, уж тебе я не подражаю.

— Мы, может быть оставим этот разговор и пойдем в партер?

— Как хочешь.

— Так мил и великодушен... comme une vache éspagnole... [1]

— А ты остришь, как и подобает такому шуту, как ты.

— Ты сегодня в ударе.

— А ты нет.

— При этом мы оба, конечно, правы, потому что оба врем.

— Ах, как смешно,— пожалуйста, пощекочи меня.

— Мой друг, стыдно...

— С тобой мне ничего не стыдно,— покраснел Карташев.

Шацкий сделал пренебрежительную гримасу.

— Ты груб, как солдатское сукно.

— Я тебя серьезно прошу,— вспыхнул и запальчиво заговорил Карташев,— прекратить этот дурацкий разговор, иначе я сейчас же уеду и навсегда прекращу с тобой всякое знакомство.

— Обиделся наконец,— фыркнул Шацкий.

— Пристал, как оса.

— Ну, бог с тобой,— мир...

Карташев нехотя протянул свою руку.

— Ну, Артюша, миленький... А хочешь, я тебя познакомлю с итальяночкой?! Ну, слава богу, прояснился... Нет, серьезно, если хочешь, скажи слово — и она твоя. Я повезу вас в свой загородный дом, устрою вас там, и мы с Nicolas станем вас посещать...

Приятели вместе с публикой вошли в длинную, на сарай похожую залу театра и уселись в первых рядах. Взвилась занавесь, заиграл оркестр из пятнадцати плохих музыкантов, раздался звонок, и, как в цирке, одна за другой, один за другим выскакивали на авансцену и

[1] как испанская корова (*франц.*).

актрисы и актеры. Они пели шансонетки с сальным содержанием, танцевали канкан и говорили разные пошлости. Все это смягчалось французским языком, красивыми личиками актрис, их декольтированными руками и плечами и какой-то патриархальной простотой. Одна поет, а другая, очередная, стоит сбоку и что-то телеграфирует кому-то в ложу. Собьется с такта поющая, добродушно рассмеется сама, добродушно рассмеется публика, дирижер рассмеется, и начинают сначала!

— Твоя,— сказал Шацкий громко, когда итальянка подошла к рампе.

— Тише,— ответил Карташев, вспыхнув до ушей.

Взгляд итальянки упал на Карташева, и легкая приветливая улыбка скользнула по ее губам.

— Видел! — вскрикнул Шацкий.

— Тише, нас выведут...

Карташев замер от восторга.

В антракте Шацкий спросил:

— Кстати, знаешь, что ей сорок лет?

— Ты врешь, но если бы ей было и шестьдесят, я симпатизировал бы ей еще больше...

— Это легко сделать: подожди двадцать лет.

— Она вовсе не потому мне нравится, что она молода, красива и поет у Берга на подмостках. Напротив — это отталкивает, и мне ее еще больше жаль, потому что я уверен, что нужда заставляет ее... Разве пойдет кто-нибудь охотно на такую унизительную роль? Нужда их всех заставляет, но ее жаль больше других, потому что она милое, прелестное создание, ее мягкая, ласковая доброта так и говорит в ее глазах, так и просит, чтоб целовать, целовать их...

— О-го!.. одним словом, ты, как все влюбленные, потерял сразу и совершенно голову и с удовольствием взял бы итальянку себе в горничные.

— Дурак ты и больше ничего! это богиня... я молился бы на нее на коленях.

— Ну, а что бы ты сказал, если бы увидал свою богиню на коленях гусара?

— Этого не может быть, не было и никогда не будет.

— Никогда?

— Ну, что ты спрашиваешь таким тоном, точно знаешь что? Все равно я тебе не поверю и только буду очень невысокого мнения о твоей собственной порядочности.

— Нет, я и не желаю сказать ничего. Я ее не видел, но из этого еще ничего не следует. С этого момента я буду следить за ней à la Рокамболь... Постой, вот отличный способ убедиться... Останемся до конца спектакля и выследим, с кем она поедет.

— Согласен.

— И пари: кто проиграет, угощает ужином. Я говорю, что она поедет не одна.

— А я говорю — одна.

Когда кончился спектакль, Шацкий и Карташев остались в вестибюле и долго ходили в ожидании.

— Идет! — сказал, наконец, Шацкий, заглянув в коридор.

У Карташева так громко забилось сердце, что он слышал его удары.

Итальянка, закутанная в простенькую ротонду, вышла из коридора, скользнула взглядом по Карташеву, на мгновенье остановила на нем свои приветливые темные глаза и, выйдя на подъезд, позвала извозчика.

— Подсади,— приказал Шацкий.

Карташев бросился к извозчику. Как в тумане, мелькнули перед ним ее бледное красивое лицо, ее выразительные глаза, его обдало каким-то особенным, нежным, как весна, запахом духов, его всего охватило безумное желание чем-нибудь выразить свой восторг — броситься ли под лошадь того ваньки, на которого она садилась, или поцеловать след ее маленькой калоши, кончик которой он успел заметить, подсаживая ее. Но он сдержал себя, и только когда итальянка проговорила своим певучим голосом: «Merci, monsieur», он снял с головы шапку и низко поклонился.

Когда он поднял опять голову, итальянка уже отъехала.

— Миша, я умираю,— произнес Карташев, опускаясь на ступеньки подъезда.

— Едем скорей за ней, и ты еще раз ее высадишь.

— Нет, это будет пошло и нахально. Я не поеду, но я умру здесь, не сходя с места, потому что никогда ничего подобного я не испытывал.

— Да, она честная женщина,— сказал серьезно Шацкий,— и она уже любит тебя... Руку, мой друг, и едем ужинать.

— Едем. Но я умер, меня нет... Я остался на этом подъезде. Ты видел все?

— Все видел. Она любит тебя, и она будет наша.

— Моя, ты хотел сказать?

— Твоя, твоя...

— Миша, можно ведь за нее жизнь отдать?

— Можно.

— Стоит, Миша?

— Стоит, стоит.

— А заметил ты ее скромную ротонду?

— Все заметил. Едем ужинать...

Они взяли извозчика и поехали.

После ужина Карташев, которому было не до сна, спросил:

— Разве почитать еще? спать что-то не хочется.

— С удовольствием,— ответил Шацкий.— Едем ко мне и на всю ночь.

— Отлично! Какая глупая книга, а присасываешься к ней, как пиявка.

— Зачем, мой друг, ругать то, что доставляет нам удовольствие,— это уже неблагодарность.

— Согласен,— ответил Карташев.— Ну, а итальянка? Милая! Ах, Миша, я бы две жизни отдал за одно мгновение.

— Две сотенных.

— Миша, не говори таких пошлостей.

— Ну, бог с тобой... А знаешь, давай à la Рокамболь похитим ее... Понимаешь: она выходит вечером... подъезжает карета... два замаскированных господина подходят к ней и говорят таинственно: «Мы ваши друзья, вам грозит опасность, вам необходимо ехать с нами...» Хоп! Ты садишься с ней, я на козлы, и мы скрываемся от всего света. Вот это был бы действительно шик!..

Хочешь?.. По рукам, что ли?! Ну, значит не любишь... И не стоит с тобой об ней и разговаривать. Завтра же я ей скажу, чтобы она на тебя не обращала внимания.

— Завтра, к сожалению, у нас заседание по поводу Тюремщицы.

— Глупости, хоть под конец, а надо попасть, а то итальяночка обидится.

— Ты думаешь?

— Наверно.

Приятели залились веселым смехом.

— Подумает, что я ей изменил?—спросил Карташев.

— Ну, конечно! — ответил Шацкий, сходя с извозчика.

Войдя к себе и раздевшись, Карташев и Шацкий заказали чай и принялись за чтение. Читали по очереди.

В шесть часов утра Шацкий предложил немного заснуть. Карташев не прочь был и продолжать, но на Шацком лица не было. Он весь сделался какой-то зеленый. Приятели проснулись в двенадцать часов. Сейчас же после кофе чтение возобновилось и продолжалось без перерыва до пяти часов. Так как в шесть часов Ларио и Корнев уже должны были приехать к Карташеву, то Шацкий и Карташев отправились обедать. После обеда Карташев поехал к себе, а Шацкий с таинственным видом заявил, что идет куда-то.

Прощаясь с Карташевым, он на вопрос: «Куда?» — только приложил палец к губам.

— Приедешь сегодня?

— Не знаю, мой друг, ничего не знаю. Все это покрыто таинственным мраком.

И Шацкий с соответственной физиономией скрылся за угол улицы, а когда Карташев отъехал, спокойно вернулся к себе домой.

Карташев приехал домой и в ожидании гостей прилег на диван. Его разбудили прибывшие Корнев и Ларио.

Корнев был торжествен и серьезен, Ларио грустен. Корнев упрекнул прежде всего Карташева за легкомыслие — как он мог серьезно подумать, что он, Корнев, может поставить какой-нибудь диагноз. Затем Корнев рассказал, как для этого он попросил одного окончившего медика поехать с ним, как он осмотрел Тюрем-

щицу и как оказалось, что у Тюремщицы в полном разгаре чахотка.

— Никакой надежды,— кончил Корнев,— вероятнее всего, этою же осенью все кончится во время ледохода, это время — самый мор для всех таких... Да и лучше...

Карташев вспомнил кроткий, робкий взгляд Тюремщицы и вздохнул:

— Несчастная!

— Жаль, жаль девочку,— сказал Ларио.— А добрая была девочка... И от Марцынкевича, бедненькую, в последний раз с таким скандалом выпроводили...

— Что ж, она знает свою судьбу? — спросил Карташев.

— И знает и не знает,— ответил Корнев, садясь на диван и принимаясь за свои ногти,— как обыкновенно в таких случаях. Перед осмотром говорит: «Хоть осматривайте, хоть не осматривайте, а уж я знаю, что не жилица здесь», а кончился осмотр — смотрит, глаза бегают, спрашивает: «Ну, как же по-вашему?» Доктор замялся, а она в слезы: «Ох, не жилица я!» Стал утешать, говорит, что, если лечиться,— пройдет,— повеселела, слезы вытерла, вздохнула и говорит: «Дай-то господи...» Обыкновенная история... За пять минут до смерти окончательно поверит своему выздоровлению и будет уверять всех, что теперь все прошло... А потом сразу бац, и готово.

— Как же теперь с ней быть?

— В клинику, конечно. Какие уж там машинки, меблированные комнаты... Если можно, похлопочем — даром ее... только субъект ничего интересного не представляет, а уж нельзя будет даром, тогда двадцать пять рублей в месяц: ее денег хватит ей...

— Не хватит, опять можно собрать,— сказал Карташев.

— Я вот, может, урочишком разживусь... не все же голодать, как собака, буду,— проговорил Ларио.

— Все время будешь,— уверенно сказал Корнев.— Ведь ты, как птицы небесные, о завтрашнем дне не помышляешь: есть — спустил.

— Да, вот ты бы посидел в моей шкуре,— ответил Ларио,— три рубля, рубль — какие это деньги? да и то

когда попадет! Не больно на них устроишься: только и спустить их по ветру. А были бы деньги, жил бы и я. Ведь жил же в гимназии, когда урочишки были... Прилично жил... Костюмчик приличный... Пиджачок этакий, коротенький, помнишь?.. Очень мило... Пива каждый день бутылочку...

— А-а! покровитель несчастных,— приветствовал ласково Корнев входившего Шацкого.— Всегда приличный, с иголочки, вечно свеж, изыскан и мил...

Шацкий остался очень доволен приветствием Корнева. Он сейчас же впал в свой обычный шутовской тон. Он как-то весь собрался, уродливо поднял свои плечи и, торопливо поздоровавшись со всеми, начал быстро, озабоченно бегать по комнате.

— Все дела, князь,— в тон произнес Корнев, наблюдая Шацкого.— Высшие государственные соображения...

Шацкий мельком взглянул на Корнева и озабоченно продолжал бегать по комнате.

— Вы бы все-таки, граф, присели, а то ваша долговязая фигура не в достаточно эффектном виде, знаете, выходит... получается грубое впечатление этакого, сорвавшегося с цепи...

— Вы, мой друг, имеете склонность забываться.

— Лорд, я прошу вашего снисхождения... Только все-таки сядьте, пожалуйста, а то я чувствую, что не выдержу тона.

— Извольте.

Шацкий повалился на кресло, вытянул длинные ноги и спросил:

— Ну, как же насчет Тюремщицы?

— Ее дело дрянь,— ответил Корнев, принимаясь за ногти.— Она умрет.

— Нескромный вопрос, доктор,— мы все умрем,— когда она умрет?

— Может быть, осенью, может быть, весной.

— Может быть, летом, может быть, зимой,— понимаю... Продолжайте... что мы с ней делаем?

— В клинику помещаем...

— Ну, тогда согласен, что она умрет, и непременно этою же осенью. Пожалуйста, не принимайте за ком-

плимент... Кстати, у меня есть друг... Он опасно ранен на дуэли... Понимаете, кинжалом в грудь... Вы не будете ли добры прописать ему какой-нибудь рецепт... Предупреждаю, это может упрочить за вами репутацию знаменитого врача.

— Лорд, я бедный студент первого курса только и никаких рецептов не даю... Я бы посоветовал вашему другу... кто он?

— Это секрет.

— У него есть рубль?

Шацкий рассмеялся.

— У него половина России.

— Тем лучше. Посоветуйте ему от этой половины России отделить рубль... Понимаете, рубль... и пусть пошлет за врачом...

— Нет ничего легче, как дать глупый совет... Примите это к сведению. Мой друг в таком положении, что ни один смертный его не может видеть. Понимаете?

— Ничего не понимаю.

— Тем хуже для вас. Ну, что в таких случаях дают?

— Это зависит от раны,— пустая царапина — довольно простых компрессов...

— Нет, этого мало... Не можете ли рецептик написать?

— Нет, этого нельзя.

— Вы теряете единственную возможность сделаться знаменитостью.

— Что делать, лорд. Я давно помирился с скромной ролью в жизни... мы люди маленькие. Это вам...

— Ну, конечно... А жаль, жаль... Вы окончательно не можете дать рецепт?

— Окончательно

— Так гибнут люди из-за эгоизма других. Бедный Николай! Ты умрешь, а я останусь среди этих отвратительных эгоистов.

— Да расскажите толком, в чем дело? — спросил Корнев.

— Да просто ему пришла идея...— начал было Карташев.

— Мой друг, я про твою итальянку молчу.

— Ого,— произнес Корнев,— я вижу, у вас завязались настоящие дела. Это что еще за итальянка?

— О, это секрет!

И Шацкий сделал весело-таинственную физиономию.

— Понимаете... Темная ночь... Дождь как из ведра... Карета... Два замаскированных господина... Дама под вуалью... Хоп в карету... На рассвете два джентльмена... дуэль... на кинжалах... Хоп... ранен... кровь... «Доктора, доктора!..» доктора нет... «Помогите, помогите!..» Никого... Дождь как из ведра... Вздох, и все кончено.

— Ничего не понимаю.

— Еще бы... Сам Рокамболь и тот опешил, как черт... стоит и ничего не понимает... Убил, сам видел труп... и вдруг стоит перед ним живой... Вот, батюшка мой, какие дела бывают... А вы рецепт дать не хотите...

— Позвольте... Уж если вы хотите рецепт, вы должны меня посвятить. Доктор всегда должен быть в курсе тайн — все доктора друзья дома.

— Граф Артур, как вы думаете?

— Я думаю, он прав.

— Гм, а этот подлец? — указал Шацкий на Ларио.

— Зачем же подлец? — спросил Карташев.— Он ведь наш милый оригинал барон.

— А-а!.. Наш милый барон... Как я рад... Здравствуйте...— И Шацкий принялся трясти руку Ларио.

— Здравствуйте, здравствуйте,— отвечал грубо Ларио,— как поживаете, кого прижимаете, с пальцем девять, с огурцом двенадцать...

— Ну, извольте с ним разговаривать!.. То есть никакой порядочности. Ну, как же с тобой разговаривать?

— Нет, ты действительно груб,— вмешался Корнев, обращаясь к Ларио.— Нельзя же, надо помнить, что ухо графа не привыкло.

— Ну, слава богу, хоть один порядочный человек нашелся. Вашу благородную руку, доктор.

— С удовольствием. Но я горю нетерпением, князь, узнать содержание этой таинственной драмы.

— Это надо обдумать... Граф Артур, ваше мнение?

— Я думаю, что мы, лорд, между друзьями.

— Что вы думаете насчет отобрания клятвы.., на мече, например?

— Я думаю, достаточно простого слова...

— Слова благородного джентльмена? Вы думаете, Рокамболь ограничился бы только этим?

— Да.

— В таком случае я согласен. Расскажите им, граф...

— Дело в том, что мы уже два дня путаемся с этим... князем... Читаем «Рокамболя», шляемся к Бергу.

— Влюбляемся в актрис и умираем на подъезде. Продолжайте...

— Больше ничего нет.

— А итальянка?

— Певица,— ответил Карташев.

— Обоюдная и нежная любовь,— пояснил Шацкий.

— И уже обоюдная? — спросил Корнев.

— Да врет он.

— Как врет, а подъезд?

— Ерунда! Помог сесть ей на извозчика.

— О-го! — сказал Корнев.

— И после этого получил один из тех взглядов, за которыми следует лишь любовь или дуэль.

— Ну, а карета, таинственные джентльмены, дуэль?

— Фантазия князя.

— Зачем же рецепт?

— Князь находит, что его родители питают к нему недостаточно теплые чувства.

— Очень милая редакция... Граф, mes compliments... [1] Продолжайте.

И Шацкий от удовольствия положил ноги на стол.

— И вот, чтобы убедиться в силе этих чувств...

— Именно,— подтвердил Шацкий, поворачиваясь на бок.

— ...Князь хочет прибегнуть... к некоторому давлению...

— Parfait, mon comte [2].

— ... и уведомить родных, что по обычаям высшего света...

— Слушайте! слушайте!.. Так говорят в парламентах...

---

[1] поздравляю (*франц.*).

[2] Прекрасно, граф (*франц.*).

— ...он вынужден был драться на дуэли с графом Артуром на кинжалах и был при этом ранен в грудь...

— Совершенно верно.

— ...А в подтверждение посылает им рецепт знаменитого эскулапа, который берет за визит сто рублей.

— Верно!

— Да... вот что,—произнес разочарованно Корнев.— Но как по-вашему, это... это не пахнет, мой милый князь, шантажом? — спросил он раздумчиво.

— Дерзко и наивно... Позвольте вас спросить: кто наследник моего отца: я или вы? Надеюсь, я. Моему отцу семьдесят пять лет, и у него столько денег, что его это не стеснит; он дрожит над каждым грошем, а я, его сын, который мог бы тратить пятнадцать тысяч, вынужден собирать милостыню... Кроме того, у него состояние и моей матери, которое уже исключительно мое... По вашим буржуазным правилам лучше затеять с ним процесс... Ну, а мы, люди большого света, предпочитаем не огорчать старика и брать от него деньги в том виде, как он может их давать.

— Но почему же вы надеетесь, что он, отказывая вам в необходимом, даст деньги на такую ерунду?

— А это мой секрет.

— Я думаю, секрет заключается в том,— пояснил Карташев,— что старый князь такой же поклонник большого света, как и наш князь.

— Граф, вашу руку.

— Другими словами,— сказал Корнев,— оба, и старый и молодой, помешаны на большом свете.

— Как вы находите, граф, этого господина?

— Я не нахожу слов, князь,— ответил Карташев.— Он просто не выдерживает роли.

— Именно.

— Да, князь, с вами выдержать роль,— вздохнул Корнев,— трудно, знаете... гороху надо поесть сначала.

— Ну вот... впрочем, оставим этот разговор... Что бы вы сказали, если бы вам предложить почитать «Рокамболя»? — спросил Шацкий.

— Нет, уж избавьте.

— Читал? — спросил Карташев.

— Не читал и ни малейшего желания не имею этой ерунды читать.

— Но ты себе представить не можешь, как это интересно,— воскликнул Карташев.— Стыдно, а интересно так, что не оторвешься.

— И что там может быть интересного?

— Я вот и сам так думал, а начал, и вот уже два дня...

— Странно...

— Жаль, что нет здесь этой книги...

— Она здесь,— ответил à la Рокамболь Шацкий и принес из передней несколько объемистых книг.

— Послушай,— обратился обрадованный Карташев к Корневу,— куда тебе торопиться? Подари сегодняшний вечер, так и быть, нарочно для того, чтобы самому убедиться.

Корнев колебался.

— Да ведь глупо как-то...

— Мой друг,— сказал Шацкий,— помиритесь с мыслью, что от глупости все равно никуда не денетесь.

— Это как прикажете понимать?

— Очень просто. Жизнь, вообще говоря, глупость?

— С одной стороны, конечно.

— Ну вот: с одной стороны! Поверьте, что со всех... А если жизнь глупость, то и все, что мы делаем, тоже глупость... то есть мы-то делаем всегда только одни умные вещи, конечно, но в итоге получается всегда одна большая глупость. А потому надо попробовать делать глупости — что тогда выйдет? А вдруг умная вещь?

— Оригинально, но не убедительно. Пожалуй, я согласен,— отвечал Корнев.

— А ты, Ларио? — спросил Карташев.

— Я с удовольствием,— я люблю, знаешь, все эти пикантные похождения. Я, положим, читал, но давно, и с удовольствием послушаю.

— Интересно? — спросил Корнев.

— Очень,— ответил Ларио.

— Ну, черт с вами,— согласился окончательно Корнев.— «Рокамболя», так «Рокамболя»...

И Корнев повалился с ногами на диван.

— Так я тебе расскажу сначала,— предложил Карташев и принялся вперебивку с Шацким передавать прочитанное.

Когда Карташев кончил, он спросил:

— Ну что? Интересно?

— Ничего себе,— ответил Корнев.

— А вот в чтении послушай... Кто читать будет?

— Ну, начинай, а там по очереди,— ответил Корнев.

Карташев сел в кресло, подвинул лампу, откашлялся и начал.

— Ну что, Вася? — спросил Шацкий через час.

— Интересно,— снисходительно ответил Корнев.

Еще через час Шацкий повторил вопрос.

— Вы своими вопросами мешаете слушать. Давай я почитаю.

Чтение продолжалось до восьми часов утра, пока не окончили всего «Рокамболя».

— Возмутительно! — проговорил Корнев и стал быстро одеваться.

— Послушай, Вася,— предложил Шацкий,— идем теперь ко мне...

— Я иду домой,— ответил бесповоротно Корнев.

— Вечером к Бергу... Итальяночку...

— Не желаю.

— Ну, и ступай... Идешь ко мне? — обратился Шацкий к Карташеву.

Карташев нерешительно стал думать.

— Идем. Видишь, грязь какая у тебя... Накурено. У меня кофе напьешься, спать ляжешь, а там... дзин-ла-ла... Ну, одевайся... А ты?— обратился Шацкий к Ларио.

— Нет, я домой.

— Конечно.

Одевшись, компания вышла на лестницу.

Карташев точно опьянел от чтения, бессонной ночи, итальянки. Спускаясь и проходя мимо звонка какой-то квартиры, он вдруг изо всей силы дернул за этот звонок. В то же мгновение он бросился к противоположной квартире, дернул и там.

— Послушай, что ты? ошалел? — запротестовал было опешивший Корнев, но, сообразив, что сейчас от-

ворят двери, бросился за мчавшимися уже через две ступеньки Ларио и Шацким.

Карташев понесся за ними и рвал звонки всех встречавшихся по пути квартир.

— Мальчишество, глупо...— по временам оглядывался на него взбешенный Корнев, но мчался вниз; за ним ураганом неслись другие, а там, вверху, уже щелкали засовы отворявшихся дверей, и одни за другими неслись вдогонку компании отборные ругательства.

Когда все вылетели на подъезд, Корнев, раздраженно проговорив: «Глупо, мой друг!», не прощаясь, пошел прочь, а Шацкий закричал ему вдогонку:

— Вася, есть еще «Воскресший Рокамболь».

— Убирайтесь к черту!..— не поворачиваясь, крикнул ему Корнев.

XV

Карташев и Шацкий, в видах сокращения расходов, решили поселиться вместе. Для поправления финансов Карташев заложил часы, шубу, сюртучную пару и, помимо матери, попросил у дяди единовременную субсидию в семьдесят пять рублей, которые вскоре и получил.

Друзья исправно посещали Берга, абонировались в библиотеке, читая книги вроде: «Вечного жида», «Трех мушкетеров», «Тайн французской революции», «Королевы Марго», «Графа Монте-Кристо».

В течение месяца оба так и не видели ни разу дневного света.

— Может быть, его уж и нет? — говорил Карташев.

— Во всяком случае, это не важно...— отвечал Шацкий.

Но, собственно, настоящее увлечение первых дней той жизнью, какою теперь зажили Карташев и Шацкий, уже прошло у Карташева. Грызло его и сознание праздности и незаконности такой жизни и, наконец, бесцельность ее. Так, с итальянкой продолжались заигрыванья, но дальше взглядов и улыбочек дело не шло, да и не могло идти, потому что уже один билет в третьем ряду был непосильным расходом.

— Мой друг!..— говорил ему Шацкий, с расстанов-

кой, точно подбирая выражения, что как бы придавало особый вес его словам,— или объяснись... или дай ей понять, наконец, что ты... ну не можешь... плох...

— Конечно, плох,— быстро отвечал, краснея, Карташев.— Я любовь понимаю, если могу любимой женщине дать все, а если я не могу...

Шацкий, не сводя прищуренных глаз с Карташева, качал отрицательно головой.

— Все это очень условно... пять сотенных...

И он вынул из портфеля пять радужных бумажек и показал Карташеву.

— Вот таких.

Глаза Карташева смущенно и с завистью смотрели на недосягаемое богатство, но он как мог тверже ответил:

— Это не деньги...

— Да-а? — спросил пренебрежительно Шацкий и спрятал деньги назад.— Если хочешь попробовать, возьми.— Он опять вынул деньги и протянул Карташеву. Карташев не знал, шутит Шацкий или предлагает серьезно. Но Шацкий уже снова спрятал деньги, говоря: — Мой друг, я не хочу быть причиной твоей гибели... Она не стóит твоей любви.

— Да я и не возьму твоих денег.

— Конечно!..

— Потому что раньше двадцати одного года не буду иметь своих.

— Жаль, жаль. Я считал тебя более приличным мальчиком. Ты в гимназии выглядел таким... ну по крайней мере тысяч на двести... Такой задумчивый, как будто стоит ему только пальцем двинуть, и Мефистофель уж готов к услугам... а ты в сущности только жулик. Да, ты падаешь, мой друг... и я боюсь, что ты, наконец, превратишься в простую кокотку... как Ларио: «Дай рубль на память...»

Такие разговоры коробили и раздражали Карташева. Он был опять без денег, надо было или брать взаймы у Шацкого, или прекратить посещения Берга. Он давал себе обещание не ходить к Бергу, но в восемь часов вечера неудержимо рвался следом за Шацким. Шел неудовлетворенный, томился в коридорах деревянного

театра, томился в кресле, слушая те же арии, видя те же движения, томился, смотря на ту же толпу поклонников, которые и во время представления и в антрактах непринужденно кричали, смеялись и пили шампанское.

Все это было недоступно для него, все это было пошло, даже глупо, но все это какой-то уже образовавшейся привычкой тянуло к себе Карташева, так же тянуло, как тянет пьяницу к водке, не давая в то же время никакого удовлетворения.

— В сущности что нам делать здесь? — говорил иногда в антракте Карташев Шацкому.

— Говори, пожалуйста, в единственном числе,— резко обрывал его Шацкий,— если бы я хотел, то знал бы, что делать.

И Шацкий убегал от унылого Карташева, бегал по коридорам, выкрикивал свое «дзин-ла-ла», останавливался вдруг, расставляя свои длинные ноги, и смотрел, вытянув шею. А когда поворачивались и смотрели на него другие, он смеялся и с новым криком «дзин-ла-ла» несся дальше. Если он налетал на какого-нибудь гремевшего и сопевшего от выпитого коньяку и шампанского марса и тот грубо отталкивал его,— Шацкий на мгновение краснел, мигал усиленно глазами и опять, с новой энергией, отчаянно выкрикивая и ломаясь, стремительно несся дальше.

В своих сношениях с Карташевым он все больше и больше стал походить на прежнего «идиота» Шацкого, малоостроумного, малоинтересного, нахального и бесцеремонного. Между Карташевым и им происходили нередко грубые и резкие стычки, причем Шацкий спокойно язвил Карташева, задевая самые больные места его, а Карташев, сделавшись вспыльчивым, как порох, кричал и ругался.

Но к вечеру мир всегда восстановлялся, и они опять шли оба к Бергу.

Однажды Шацкий после такой ссоры, проснувшись утром раньше обыкновенного, озабоченно умывшись и напившись чаю, куда-то исчез, а Карташев с горя, почувствовав еще большую пустоту, повернулся на другой бок и проспал до его возвращения. Были уже сумерки, когда Шацкий вошел. Он понюхал воздух, окинул

взглядом неубранную комнату, застывший на столе самовар и проговорил брезгливо:

— Какая гадость! как свинья... В комнате вонь, черт знает что такое...

Карташев открыл распухшие от сна глаза.

— На что ты похож? Бледный, истасканный...

— Не твое дело,— угрюмо ответил Карташев.

— И это Тёма... красавчик по мнению коров, гордость матери!

— Послушай! — вскипел Карташев.

— Что — драться?! То есть окончательно юнкер какой-то.

Шацкий остановился перед Карташевым.

— Хорош!

Он посмотрел еще, покачал головой, вздохнул и отошел. Немного погодя он уже своим обычным спокойным голосом сказал:

— А я на лекциях был.

Карташев молчал.

— А ты что ж? совсем раздумал ходить на лекции.

— Ты бы нанял квартиру еще дальше от университета,— ответил нехотя Карташев.

— Да-а... я виноват... Ну-с, хорошо... Читай!

Карташев взял из рук Шацкого афишу с анонсом о бенефисе итальянки.

— Что скажешь? — спросил Шацкий, когда Карташев, прочитав, положил молча на одеяло афишу и закрыл глаза.

— Я не пойду,— ответил мрачно Карташев.

— О-о! Мой друг! ты, как Антоний в объятиях Клеопатры, потерял все свое мужество... Артур, мой друг, что с тобой? Где, где то время золотое, когда, беспечный, ты носился на своем Орлике по степям своей Новороссии... Артур! вспомни о предках своих... Владетельный некогда князь Хорват... Потомок мрачных демонов с их нечеловеческими страстями... И вот последыш их... последнее слово науки, дитя конца девятнадцатого столетия... не вкусивши жизни, уж отошедший под тень ее...

— Перестань ерунду нести.

— О мой друг! ты мрачен, ты, как царь Саул, ищешь меча... Музыку, скорей музыку и чудный голос

неземной... Сюда, итальянка, небожительница, и развлеки мне моего Тёму... Тёма! букет итальяночке!

Карташев отвернулся.

— Что?! Ты молчишь! Артур, мой друг! Ну, что же ты?

И Шацкий до тех пор приставал, пока Карташев не ответил тоскливо:

— Оставь! Меня действительно мучит, что мы такую жизнь ведем.

— Мой друг! Нам, с нашим сердцем и умом, мучиться такими вещами?! Оставим это холуям. А мы гении нашего времени, мы проживем иначе. Вспомни Байрона... Манфреда... мрачные скалы, демоны, Фаусты... прочь все это! Мы «дзин-ла-ла!» Поверь, мой друг, мы проживем умнее Манфреда, всех Байронов e tutti quanti...[1] Надо жить, пока огонь в крови, пока итальянки еще существуют. Во-первых, букет, во-вторых, карточку, ужин и... будь, что будет. Одно только мгновенье, и вся остальная жизнь хлам, никому не нужный... и знаешь, мой друг, все это не больше сотенного билета... Да! вот тебе и деньги. Отдашь, когда можешь. Мой друг, сделай мне одолжение... прошу!

— На букет возьму, а больше ни за что. Но я отдам тебе эти деньги только на рождество.

— Хорошо, хорошо... хоть букет, а там видно будет.

На букет и ленты ушло двадцать пять рублей.

Букет принесли утром в день бенефиса. Карташев и Шацкий проснулись вследствие этого раньше обыкновенного.

— Очень мило,— серьезно говорил Шацкий, держа букет в руке и любуясь им издали.— Нет, за такой букет, пожалуй, итальяночка будет наша.

Карташев начинал допускать такую возможность.

Вид и нежный аромат букета целый день навевали какое-то приятное очарование. Точно сама итальянка была уже у них в комнате, точно у них были настоящие связи со всем этим закулисным миром, как у тех постоянных посетителей первых рядов и литерных лож, которых они ежедневно встречали в театре.

---

[1] и всех прочих (*итал.*).

Но надежды, возлагавшиеся на букет, не оправдались: другой, громадный с широкими лентами букет затмил карташевский.

— Она не знает, какой именно мы поднесли; это еще лучше,— энергично поддерживал Шацкий смутившегося Карташева.

Но итальянка, свежая, возбужденная, улыбалась не в сторону Карташева, а в литерную ложу, где смущенно сидел в числе других молодой, изящный гусар, красивый, с выразительными глазами. Карташев растерялся, оскорбленный до глубины души. Ему хотелось встать и крикнуть ей и всем, что он знает теперь всю ложь и фальшь и ее и всех этих разряженных дам. Но он не двинулся с места.

Подавленный, сидел он перед спущенной занавесью первого антракта, и ему не хотелось оставаться в театре, не хотелось уходить, не хотелось думать, смотреть, жить. Вся жизнь казалась такой пустой, глупой, не имеющей никакой цели... Провалиться и забыть навеки, что и жил, чтоб и тебя забыли...

— Мой друг! ты окончательно оскандалил меня!..— приставал Шацкий,— ты меня в такое положение поставил, что хоть в воду.

— Да оставь же ты, пожалуйста,— с досадой ответил Карташев,— не всегда же твое, наконец, шутовство интересно.

— Шутовская роль, кажется, не мне принадлежит во всей этой истории.

— Да ты просто глуп, мой друг.

— Позволь,— резко перебил Шацкий,— почему я глуп? Потому, что твой друг, или твой друг, потому что глуп?

Карташев вскочил.

— Позволь мне пройти...

— Изволь, изволь,— быстро подбирая ноги, пропустил Шацкий.— Но, надеюсь, ты хоть здесь не будешь драться.

Карташев ничего не ответил и, выйдя в коридор, стал одеваться. В дверях, когда он уж оделся, показалась фигура Шацкого, который, по-видимому, небрежно смот-

рел на публику, а на самом деле внимательно следил за Карташевым и не верил, что он действительно уйдет.

Карташев, встретив взгляд Шацкого, еще решительнее направился к выходу.

Приехав домой, он заказал самовар и вытащил из лекций какую-то немецкую брошюрку в шестьдесят страниц. С словарем в руках он сел за письменный стол, взял в руки карандаш и начал читать, стараясь ни о чем другом больше не думать.

Но с первых же прочитанных фраз начался знакомый сумбур в ощущениях, и рядом с этим сумбуром в голову ворвались совершенно ясные мысли об итальянке, о Шацком и о всей их несложной жизни.

— Но ведь это кабак... это голый разврат! — с отчаянием твердил он себе.

И в то же время без мысли, без рассуждения тянуло его назад в театр, так тянуло, что слезы готовы были выступить из глаз, и так отчетливо и так ясно по слогам и по мотиву напевались слова:

Folichon, fo-li-cho-nette...

Так и бросил бы все и опять поверил бы и этой простоте и этой патриархальной, беззаботной веселости, опять пошел бы и, сев уютно рядом с Шацким, сказал бы:

— Зачем нам ссориться? жизнь так коротка. Будем верить и не будем стараться проникать за кулисы этой жизни.

Карташев все-таки выдержал характер и не пошел к Бергу в тот вечер. Томясь и тоскуя, он то пил чай, то лежал, то ходил и все мучился, что сегодняшний вечер так-таки и пропадет у него даром.

А на другой день он опять был у Берга и опять попрежнему стал ходить каждый вечер. Хотя букет и разбил все иллюзии, но осталось что-то ремесленное: в театре было скучно, а если не шел — было еще несноснее.

Итальянка не обращала на него больше никакого внимания. Карташев чувствовал унижение и, всматриваясь, уже как посторонний зритель, не мог не признавать, что лицо ее загоралось настоящим счастьем, когда в ложе появлялся красавец юноша в гусарской форме.

Ярко, с мучительной болью, в какой-то недосягаемой рамке блеска и прелести вырисовывались перед ним и этот полный жизни гусар и итальянка. Под впечатлением таких мыслей Карташев говорил Шацкому:

— А ты знаешь, когда мне было десять лет, меня тоже требовали в пажеский корпус.

— Ну и что ж?

— Мать не пустила..

— Напрасно.

— Теперь бы я уж был...

— Обладателем итальянки..,

— Я не желаю ее.

— Не желаешь? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, как матери посмотрел бы... Стыдно, Тёма, ты научился врать...

Однажды Карташев попросил у Шацкого денег.

— Сколько? — спросил тот.

— Пятнадцать.

— Зачем тебе столько?

— Мне надо... билет в театр...

— Я тебе возьму.

— Да что ты мне опекун, что ли?

— У меня мелких нет...

Шацкий и дальше стал давать по мелочам,— водил его с собой в театр, но от выдачи на руки более крупной суммы под разными предлогами уклонялся.

Однажды Карташев, чтобы избавиться от неприятной и постоянной зависимости, начал настоятельно требовать двадцать пять рублей.

— У тебя теперь есть мелкие...

Шацкий замолчал, поднял брови и с соответственной интонацией спросил:

— Ты знаешь, сколько ты уже взял?

— Сорок рублей... Двадцать пять на рождество, а пятнадцать, как получу, отдам.

— А жить на что будешь?

— Не твое дело,— покраснел Карташев.

— Конечно... но дяде ты написал бы?

Карташев молчал.

— Если ты напишешь дяде, я дам тебе хоть сто рублей.

— Я не желаю больше с тобой разговаривать.

— Я должен тебе сказать, мой друг,— вспыхнул Шацкий,— что ты делаешься окончательно несносным.

Приятели поссорились.

Шацкий оделся и ушел. Перед уходом ему надо было что-то взять там, где сидел Карташев, и он, протянув руку, сухо сказал:

— Извините.

Со дня на день Карташев ждал повестки из дому, и чего бы ни дал, чтобы получить ее сегодня, и, выкупив вещи, неожиданно явиться в театр и сесть в первом ряду кресел, назло Шацкому.

Но ни повестки, ни денег не было.

Пробило восемь часов. Шацкий, очевидно, в театре и теперь окончательно не придет. Надо достать денег и идти в театр,— надо без рассуждений. Висело на вешалке только осеннее пальто, которое, при общем закладе его вещей, забраковал Шацкий.

Карташев взял пальто, чтобы заложить в первой попавшейся кассе ссуд, но неожиданно встретился в передней с Корневым.

— Васька! Какими судьбами? — обрадовался Карташев.

— Да вот, к тебе. Билет на завтра в «Гугеноты» брал... Ну, думаю, чаю напьюсь.

Карташев повел Корнева к себе.

— Ты что ж сегодня не в оперетке?

Карташев весело улыбнулся.

— Я больше к Бергу не хожу.

— Вот как. Чего ж это?

— Надоело.

Очень рад за тебя. Я никогда не мог понять этого влечения. Ну, я понимаю еще оперу, драму: там есть чем увлекаться. Но что такое оперетка? ведь это просто балаган, даже физического удовольствия нет. Я понимаю... ну тех, гусаров, им доступно все это, а ведь вы облизываетесь только...

Лицо Корнева побледнело и перекосилось: он смотрел и едко и смущенно своими маленькими заплывшими

глазами в глаза Карташева. Но в голосе его было столько убежденности, искренности и благорасположения в то же время, что Карташев не только не обиделся, но под впечатлением всех своих неудач ответил:

— Да, конечно.

— Ты скажи, ты был хоть раз в опере?

— Нет; да там никогда ведь билетов нет.

— Надо заранее. Я для этого сегодня и отправился. Жаль, а то бы я и тебе взял. Я, положим, имею один билет для товарища... Дать разве тебе...

— В раек? — нерешительно спросил Карташев.

— Ну, конечно... Послушай, Карташев, оставь ты холуям морочить самих себя. Право, и в райке прекрасно, а сознание, что при этом и по средствам сидишь, должно только усилить удовольствие. Я не знаю, впрочем... так моя философия по крайней мере говорит мне.

— Да, конечно, это важно. Что ж? Я согласен.

Корнев просидел у Карташева весь вечер. Время в разговорах летело незаметно.

— Черт его знает,— говорил Корнев,— скучная жизнь... Сегодня, как завтра, завтра, как сегодня... Я теперь перечитываю классиков...

— Мало того, что мы сами классики?

— Какие же мы сами классики? Грамматику Кюнера вызубрили...

Корнев усиленно грыз ногти, напряженно смотря перед собой.

— Глупая жизнь,— с горечью снова заговорил он.— Целый ряд вопросов... В литературе какой-то туман, недосказы, намеки и проза, проза... щедринские зайцы. Помнишь: «Сиди и дрожи, пока я тебя не съем, а может быть, ха-ха, я тебя и помилую».

— Откуда это?

— Ты, однако, ничего не читаешь... Волк зайца поймал, а есть ему не хочется, ну и говорит: сиди и дрожи. А у зайца зайчиха должна родить. Просит заяц волка отпустить его. Отпустил на честное слово.

— Ну? — заинтересовался Карташев.

— Ну, прибежал назад заяц. Сидит опять и старается и виду не подать, что вот он, заяц, слово сдержал.

Корнев опять принялся за ногти.

— Мог и не сдержать,— произнес он раздумчиво.

— Какой остроумный Щедрин!

— Да-а... Это, впрочем, не мешает тебе его не читать. Все «Рокамболей» жарите?

— Нет, надоело уж и это.

— Пора.

Пришел Шацкий.

— А-а! это вы...— небрежно ломаясь, протянул он Корневу руку в перчатке.

— Ну-с, вы собачью-то кожу снимите сперва.

Шацкий начал медленно стаскивать перчатки.

— Ну-с и что ж? Режете, потрошите и за счастье считаете, не вытирая рук, завтракать потом?

— Во-первых, не кричите.

— Я, кажется, у себя дома... а во-вторых?

— Во-вторых, оставьте нас, маленьких людей, лучше в покое.

— Понимаю...

Шацкий понюхал воздух.

— Сплетнями пахнет... успели...

Шацкий хотел сесть в кресло, но в это время Карташев, вскочив, бледный и взбешенный, бросился на него, и Шацкий, вместо того чтобы сесть, желая быстро подняться, не удержался и с креслом опрокинулся на пол.

Падение Шацкого расхолодило гнев Карташева, но Шацкий взбесился.

— Что ж ты, наконец,— сказал он, поднимаясь,— окончательный разбойник?

— Молчать!..

— Ну, вот вам, извольте,— обратился Шацкий к Корневу.

— Я решительно ничего, господа, не понимаю.

— Да эта скотина воображает, что я без него тут тебе сплетничал на него...

— Об вас ни одного слова не было.

— Да и нечего говорить было, хоть бы и хотел. Что я тебе денег не дал? Во-первых, тебе на букет двадцать пять рублей дал; во-вторых, пятнадцать ты взял; в-третьих, когда ты опять попросил, я только и сказал, чтобы ты опять дяде написал...

Карташев стоял растерянный, сконфуженный и не смотрел на Корнева.

— Я сам отказался, во-первых, от твоих денег, а во-вторых, я сказал тебе, что отдам деньги не сегодня-завтра.

— Только пятнадцать.

— Все сорок.

— Это новость...

— Ну, так вот знай; а в-третьих, с получением денег я от тебя уезжаю.

— Не удерживаю.

— Тоже идиот и я был... с таким господином связаться.

— Я думаю, теперь, когда между нами все кончено, можно бы и не ругаться?

— Ну, мне пора,— поднялся Корнев и, не смотря на Шацкого и Карташева, стал прощаться.

— Прощайте, прощайте, доктор,— говорил Шацкий таким тоном, как будто ничего не произошло.

— Билет я тебе передал? — сухо спросил Корнев.

— Да; деньги тебе сейчас?

— После.

— Это куда? — поинтересовался Шацкий.

— В оперу...

— В небеса, в рай, конечно...

— Да, конечно.

— По чину?

— Да, да...— с презрением, скрываясь за дверью, ответил Корнев.

Карташев пошел его провожать. Они молча дошли до дверей.

— Это что за букет еще? — угрюмо спросил Корнев.

— Да эта дурацкая, глупая история.

Карташев смущенно наскоро рассказал, в чем дело.

Корнев сосредоточенно выслушал.

— Я советую тебе действительно поскорее разъехаться с этим господином. Ведь этак не долго и... совсем разменяться.

— Пустяки!.. Ну, посмотрел на другую жизнь. Я непременно разъедусь, как только получу деньги.

— Тебе много надо? Завтра я тебе рублей пятнадцать мог бы дать.

— Я тебе сейчас же, как получу, отдам. Я тогда сейчас же и перееду. Здесь просто клоака.

— Ну, так я завтра в театр принесу. Прощай... Послушай, ты все-таки не давай себе воли. Что ж это такое? чуть что, драться лезть. Это уж совсем какое-то юнкерство.

— Да с ним совсем с толку собьешься. Язвит, бестактный, бесцеремонный.

— А когда захочет, может другим быть. Ну, прощай.

Карташев возвратился в комнату спокойный, скучный и задумчивый. Не было больше ни гнева, ни раздражения; хорошо ли, худо ли, но вышло так, что приходилось сказать ему решительно: конец.

Шацкий тоже что-то чувствовал и без ломаний, усталый и скучный, раздевался. На другой день они оба не сказали ни слова друг другу,— вечером Шацкий отправился к Бергу, а Карташев в Мариинский театр.

Сперва он сидел там грустный, равнодушный.

В антрактах Корнев напевал ему вполголоса арии и твердил:

— Прекрасная опера...

— И мне нравится...— после третьего действия заявил Карташев,— обыкновенно новую вещь мне надо раз десять прослушать, прежде чем что-нибудь пойму, а тут как-то я и музыку, и мысль, и, именно через мысль, музыку понимаю... Танец цыган.

Корнев вполголоса начал напевать.

— Ах, какая прелесть! — вспыхнул Карташев.

В передаче Корнева ему еще больше понравился мотив.

— Нежная, больная мелодия... И под нее засыпают страсти, но чувствуется, что вот-вот искра, и они опять с новой силой вспыхнут... И все так тонко... Декорации... Ты заметил сумерки: нежный, нежный просвет, а темные, страшные тучи уже ползут, надвигаются: одна половина города уже охвачена мраком, а другая еще в ясных, золотистых сумерках. В этом контрасте такая непередаваемая, какая-то неотразимая сила: и покой, идиллия, и как будто эти тучи и не надвинутся... А они

уж тут... И музыка и больные страсти больных людей... Как будто в жару, в бреду... Нет, хорошо... прелесть. Осмысленная опера.

Корнев слушал восторженные похвалы Карташева, грыз ногти, что-то думал и, когда Карташев кончил, сказал:

— Вот видишь, как ты можешь чувствовать, а сам из Берга не выходишь...

— Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! — говорил Карташев, одеваясь после оперы.— Я весь в огне этого зарева, музыки, страстей!.. Туда бы, Вася...

— Едем ко мне,— позвал Корнев.

— С удовольствием.

Они вошли в комнату с ароматом и впечатлениями театра. У Корнева на столе лежал Гете, и Карташев стал перелистывать книгу.

— Ах, вот откуда привел на первой лекции наш профессор.

И Карташев прочел громко:

Так возврати те дни мне снова,
Когда я сам в развитье был,
Когда поток живого слова
За песнью песню торопил,
Когда я видел мир в тумане,
Из ранней почки чуда ждал...

— А мы уж не ждем, Вася, из почки чуда...

Я был убог и так богат,
Алкая правды, и обману рад.
Дай тот порыв мне безусловный,
Страданий сладостные дни,
И мощь вражды и пыл любовный,
Мою ты молодость верни!

Карташев продолжал перелистывать «Фауста».

— Как-то чувствуешь свою молодость, когда читаешь такие книги... Нет, как только перееду на новую квартиру, сейчас же примусь за классиков: Гете, Шекспира, Гейне, Виктора Гюго, Жорж Занд...

— Ты «Консуэло» ее читал?

— Нет.

— Очень поэтичная и художественная вещь, и интересная.

— С «Консуэло» и начну... Нет, в самом деле, надо работать... И знаешь, я перееду на Петербургскую.

— Кстати... возьми деньги... Только сейчас же, как получишь, отдай...

— Сейчас же, Вася... Так в таком случае я завтра же и пойду искать комнату.

Карташев прошелся.

— И отлично... пятнадцать рублей хватит вполне... По крайней мере начну экономничать, а то совестно просто... Нет, окончательно решено...— прибавил он после некоторого раздумья.

Он весь охватился своей новой мечтой жить на Петербургской стороне, где так тихо, уютно, где все так напоминает родину, где он будет читать классиков, будет работать над своим образованием... Он приедет домой, к матери, блестящим, образованным...

Глаза его загорелись от новой, пришедшей ему вдруг мысли.

— Васька, я бросаю курить.

— Да ты хоть не сразу все это, а то навалишь на себя разных обуз и сам же себя сделаешь несостоятельным...

— Ничего...— ответил Карташев,— даю честное, благородное слово, что бросаю курить...

— Ну...— огорченно махнул рукой Корнев.

— Васька, смотри...

Карташев открыл форточку, вынул кожаный портсигар, показал Корневу и весело швырнул его за окно.

— Послушай... Ну это уж глупо... Отдал бы кому-нибудь...

— Черт с ним... Теперь шабаш...

Карташев сидел немного смущенный, но довольный.

— Рыло,— спутал ему волосы Корнев.— Ну, теперь закури...

— Нет...

На другой день Карташев прямо от Корнева отправился на Петербургскую сторону искать квартиру, все в том же возбужденном, удовлетворенном настроении.

Ему хотелось курить, и Корнев подзадоривал:

— Покури...

Но Карташев с видом мученика твердо повторял:

— Нет, нет.

— Ну, молодец...— говорил ласково Корнев.

XVI

На Кронверкском проспекте, против Александровского парка, на воротах чистенького деревянного домика с мезонином Карташев увидел билетик о сдающейся комнате и, войдя во двор, позвонил у подъезда.

Ему отворила молодая горничная с большими черными глазами, которые смотрели с любопытством и интересом.

— Здесь отдается комната...

— Здесь, пожалуйте...

Карташев вошел в прихожую и, пока раздевался, слушал звонкие трели разливающихся канареек. Было тихо и уютно.

Там дальше кто-то играл на рояле, и по дому отчетливо неслись нежные звуки «Santa Lucia».

На Карташева пахнуло деревней, когда, бывало, под вечер, Корнев и его сестры где-нибудь у пруда пели среди догорающей зари и аромата вечера:

Лодка моя легка,
Весла большие...
Sa-a-nta Lu-ci-a.

«Вот хорошо,— подумал Карташев,— и музыка, и какая прекрасная».

Его ввели в нарядную, потертую, но опрятную гостиную, где стояла очень пожилая, как будто усталая, худая дама, с наколкой, в нарядном темном платье, точно в ожидании гостей.

Карташев неловко поклонился под внимательным взглядом дамы.

— У вас комната сдается.

— Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

Карташев отрекомендовался.

Карташев сел и выдержал целый экзамен.

Может быть, он влюблен? В таком случае она не может допустить никаких дамских посещений. Может быть, он курит? Тогда, к сожалению, она тоже не может, потому что свежий воздух дороже всего. Может быть, он пьет, кутит, играет в карты; может быть, у него товарищи слишком шумные?

Ответы оказались удовлетворительными.

— Ну, в таком случае вам и комнату можно показать... Пожалуйте...

Комната, куда вошел Карташев, была очень оригинальна. В ней стояли старинные бархатные кресла, старомодный с громадными ручками диван, как будто открывавший свои объятия, зеркало с высокими стеклянными подсвечниками в бронзовой ажурной оправе, массивный письменный стол со множеством ящиков. Только кровать да два-три стула говорили о чем-то более современном и своей скромностью составляли резкий контраст с остальной обстановкой.

Карташев с удовольствием прошелся по комнате, заглянул в окно, а хозяйка стояла у дверей и, казалось, с высоты своих каких-то мыслей пренебрежительно смотрела и на эту комнату и на юного Карташева, который чему-то радовался, волновался, чего-то точно искал и ждал там, где она уж ничего не искала и не ждала. Ее слегка меланхоличный, слегка пренебрежительный вид как бы говорил: «Не такие, как ты, искали... в свое время и тебя все та же пыль времени покроет...»

Она вздохнула.

— Мне очень нравится комната... Можно узнать ее цену? — спросил Карташев.

— Десять рублей.

— Я согласен... Вот деньги...

Он подал десять рублей.

Карташев отдал деньги и вышел с хозяйкой из комнаты.

— Верочка! — крикнула хозяйка.

И когда явилась уже знакомая горничная с хорошеньким лицом и большими бархатными, какими-то пустыми глазами, дама сказала:

— Проводи господина... Он теперь наш... комнату нанял,— пояснила она.

Верочка подарила Карташева выразительным взглядом, но хозяйка, заметив этот взгляд, опять задумалась.

— Еще два слова. Верочка, выйди...— И, когда та, вильнув хвостом своих юбок, вышла, она сказала Карташеву: — Верочка в сущности моя воспитанница и очень порядочная девушка. За нее сватался лавочник здесь... может быть, я и соглашусь... Я ставлю условием, чтобы никаких ухаживаний у меня не было в доме.

Карташеву показалось, что слишком много условий уже поставлено ему, и он уже не с такой охотой, а значительно суше, но согласился и на это.

— Ну, тогда пожалуйте, с богом.

Верочка проводила его.

— До скорого свиданья!..— ласково сказала она.

— До свиданья,— ответил Карташев.— Я часа через два приеду.

Карташев ехал и был очень доволен: так патриархально и так не похоже на все окружающее. Оригинальная хозяйка... оригинальная Верочка и комната оригинальная, старинная... а в кабинете хозяйки, через который он проходил, громадный камин, вроде тех, которые попадаются на гравюрах вальтерскоттовских романов... Да, будет уютно и хорошо.

Дома на столе Карташева застала повестка на семьдесят рублей. Эти двадцать рублей прибавки были как нельзя более кстати. Шацкий спал еще. Карташев отправил повестку к дворнику с просьбой сейчас же засвидетельствовать и начал поспешно укладываться.

Когда принесли повестку, он съездил получить деньги и, возвратившись, приказал выносить вещи.

Шацкий, неумытый, скучный, ходил по комнате.

— Позволь с тобой рассчитаться.

— Мой друг, к чему же торопиться.

— Я получил деньги и уезжаю.

Карташев отсчитал ему сорок рублей.

— Прощай, Тёма,— сказал грустно Шацкий,—можно навещать тебя?

— Пожалуйста, очень рад буду...

— А то оставайся... в оперетку...

Карташев только рукой махнул. Шацкий шутил, но в голосе его звучало сожаление. Жаль вдруг и Карта-

шеву стало и Шацкого и всю прожитую с ним жизнь, и на мгновение потемнела яркая тишина Петербургской стороны. В памяти встала вся налаженная жизнь их вдвоем, театр Берга, итальянка. Карташеву хотелось и возвратить все это назад, и какая-то сила уже толкала его вперед. Он шагал в раздумье по лестнице, искал в голове какого-нибудь утешения и вдруг вспомнил:

— Сейчас же абонируюсь и возьму «Консуэло».

XVII

Карташев, перебравшись и пообедав у хозяйки, осведомился о библиотеке и, несмотря на метель, отправился пешком, абонировался и, взяв «Консуэло», возвратился домой. От непривычной ходьбы и всей окружавшей его обстановки он ощущал в себе тоже что-то деловое и, раздеваясь, озабоченно и деловито попросил Верочку подать ему самовар.

Войдя в комнату, он зажег лампу и, присев в бархатное кресло у стола, с удовольствием и в то же время с грустной покорностью судьбе открыл книгу.

Там, за окном, все стонала буря, а там, за бурей, где-то ярко горели керосиновые лампочки деревянного театра, где пела итальянка.

Прости-прощай, веселая жизнь. Теперь кто-то играл за перегородкой... теперь Верочка смотрела своими бархатными глазами; теперь он далеко от соблазнов в своей уютной комнате, и уже выступают перед ним из книги чужие места красивого яркого юга, какой-то загорелый с голыми ногами юноша, хижина девушки, смуглой красавицы юга, с красным платочком на голове. Еще глуше завывала буря, и точно дальше уносила она и итальянку и Шацкого.

Напившись чаю, Карташев продолжал чтение. Вдруг он вспомнил, что надо написать письмо к матери и, оставив книгу, с удовольствием сел за письмо.

За большим письменным столом так удобно было сидеть и так хотелось писать. Теперь он знал, что письмо выйдет и большое и задушевное, вышло и веселое. Его подмывало еще писать, описать свои похождения с

Шацким, но он не знал, как отнесется к этому мать... писать же хотелось, и Карташев, взяв на всякий случай новый лист, начал писать, не зная сам, пошлет или нет это новое письмо матери.

«Какие глупости я пишу, однако,— мелькало в его голове,— а главное, все выдумываю».

Карташев продолжал писать, думая: «Все равно, я потом порву».

Он писал о себе и о Шацком. Но как-то выходило, что это был не он и не Шацкий, и это было так смешно, что Карташев иногда фыркал, стараясь удержаться, чтоб не услышали его за дверью, чтоб не увидала его смеющимся, войдя вдруг, Верочка и не приняла за помешавшегося.

Пред ним носились какие-то образы, какие-то одна смешнее другой сцены, какие-то лица, живые, точно он с ними давно был знаком и знает про них все до самой подноготной, знает, что делают они, думают, говорят. Исписав несколько листов, Карташев вдруг остановился и подумал:

«А вдруг я писатель?»

Он писатель?! Из-под его пера, может быть, уж выходят образы живых людей, вечно живых, которые будут существовать и тогда, когда и его уж не будет. И такой коротенькой показалась ему его собственная жизнь: сколько таких коротеньких жизней проходят, как тени, не оставляя никакого следа? Стоит ли жить для того только, чтобы с органической жизнью кончилось все, жить, чтобы только есть, пить, спать; думать о том, чтобы и завтра было бы что есть и пить...

Карташев откинулся в кресло и смотрел перед собой.

В ночной тишине пробило два часа. А завтра он хотел в восемь уже встать. Карташев быстро разделся, лег и потушил лампу.

Но долго еще он ворочался, пока заснул, наконец, тревожным, прерывистым сном.

Под утро ему снилось, что он плывет по волнам. В этих волнах какая-то очаровательная музыка; они то расходятся, то снова набегают на него, принося с собой еще более чудные звуки.

«Это Вагнера сказка «Мила и Нолли»,— думает, охваченный какой-то особой негой, Карташев и просыпается.

День светлый, морозный. Солнце играет в комнате. Музыка за дверью, торжественная, сильная, несется по дому. Какая-то особая гармония и радость жизни.

«Что случилось со мной радостное?» — думает Карташев.

Ах, да! он писатель!

Что-то точно распахнулось, какие-то образы опять ворвались,— легкие, воздушные, нежные, как музыка, и Карташев лежал уже в живых волнах этих образов, этой музыки.

Он писатель! Эта музыка уже зовет его к перу; Верочка подает ему самовар; он будет писать, а там...

Карташев вздохнул всей грудью; нет, никогда он не думал, что жизнь может быть так прекрасна, может так захватить, как теперь захватила вдруг его. И курить уж не хочется... нет, еще хочется.

Дни шли за днями. Работа кипела. Карташев не смущался больше тем, что у него истощится материал.

Иногда его охватывал такой наплыв образов и мыслей, что он бросал перо и убегал в парк. Там он ходил; ветер шумел голыми вершинами, но он не чувствовал ни ветра, ни зимы.

Он поднимал голову, смотрел в серое небо и видел другое, которое было в нем, внутри него,— безоблачное, прекрасное небо и яркое солнце. Под этим солнцем жили его герои, и он не уставал переносить их на бумагу.

И он писал и писал, забыв обо всем. Изредка навещал его впавший в полную нищету Ларио, еще реже Корнев. Карташев кормил Ларио, давал ему денег и ни слова не говорил ни ему, ни Корневу о своем писании.

Приехал и Шацкий как-то. Карташев и его принял с загадочным, рассеянным видом.

— Да, вот...—говорил Шацкий, осматривая комнату Карташева,— я так и знал, что этим кончится... и счастлив?

— Вполне.

— А итальянка?

— Она умерла для меня.

— Все кончено?

— Да.

— Да, да...— вздохнул Шацкий.— Ну, что ж, декламируй теперь, мой друг!..

И Шацкий с напускным пафосом произнес:

Ну, хорошо, теперь ты власть имеешь!
Сбей этот дух с живых его основ
И низведи, коль с ним ты совладеешь,
Его до низменных кругов.
Но устыдись, узнав когда-нибудь,
Что добрый человек в своем стремленье темном
Найти сумеет настоящий путь...

— Вот он, добрый человек... нашел настоящий путь...

Шацкий пренебрежительно фыркнул и смотрел на Карташева.

Карташев смотрел на Шацкого и думал в это время о какой-то сцене из своих писаний.

— Но что с тобой, мой друг... я боюсь, наконец, за тебя?

Он заходил справа, заходил слева, оглядывая внимательно Карташева.

— Qu'est ce qui a changé cet imbécile? [1]

Но Карташев только весело смеялся.

— Нет, ты окончательно погиб... Ну, прощай...

— Прощай, Миша.

— А итальянка теперь еще больше похорошела... спрашивала о тебе... Да, да... Но теперь уж Nicolas твой заместитель.

— Такого же дурака валяет?

Шацкий рассмеялся, но потом грустно сказал:

— Осмеивать самого себя... что может быть обиднее?

— Господи, что ж ты себе думаешь? Ты, с твоим сердцем и умом... в парижском фраке...

— Если не ошибаюсь, это из «Старого барина»?

— Все равно...

---

[1] Что изменило этого повесу? *(франц.)*

— Одевайся, забирай вещи и едем... живо! на старую квартиру, а вечером к Бергу.

— Нет, Миша.

Шацкий замолчал и устало задумался, смотря в окно. День подходил к концу; из окна виднелся освещенный парк; лучи солнца скользили по снегу, окрашивая его в розоватый отсвет. Что-то будто шевелило душу, звало куда-то. Точно сны детских дней, какие-то грезы светились в этом розовом снеге. Карташев вздохнул всей грудью.

— Ну, а твои дела как? — спросил он.

— Плохи, мой друг,— грустно ответил Шацкий,— если не пришлют мне денег, я впаду в нищету...

— Пришлют...

— Конечно... Ну, едешь? Нет? В таком случае прощай. Я чувствую, что задыхаюсь здесь...

Карташев с Верочкой проводили Шацкого.

— Что ж ты делаешь? — спрашивал уже весело Шацкий, пока Верочка отпирала дверь.

— Занимаюсь, читаю, слушаю музыку, разговариваю.

Шацкий не слушал Карташева. Расставив ноги, он смотрел в упор на Верочку, и его лицо расплылось в глуповатую улыбку. Верочка, наконец, не выдержала и потупилась от разбиравшего ее смеха.

Шацкий остался доволен.

— Недурна,—говорил он Верочке в лицо и, любуясь ею, твердил: — Мило... Даже очень мило...

И вдруг закатив глаза, уродливо перегнувшись, он прошептал:

— La donna e mobile...

Верочка фыркнула, а Шацкий, уже уходя, кивал головой с видом покровителя и говорил:

— Да, да... Прощай, голубушка, прощай, Артур... будьте счастливы...

Верочка захлопнула дверь, с улыбкой посмотрела на Карташева и остановилась, точно ожидая чего-то.

— Верочка, а где хозяйка? — спросил смущенно Карташев.

Верочка даже присела от смеха.

— Да нету же...— ответила она.

— Верочка, какая вы хорошенькая...

Карташев обнял и поцеловал ее... Верочка прижалась к нему и, побледнев, смело смотрела прямо в его глаза. Ноздри ее слегка раздувались.

— Но ведь вы невеста?

— Чья невеста! Все она врет...

И Верочка теперь уже сама быстро и еще сильнее прижалась, поцеловала в губы Карташева и так же быстро исчезла.

Карташев растерянно вошел в свою комнату.

XVIII

Всю неделю Карташев писал, ухаживал за Верочкой и мучился сознанием, что нарушил свое обещание хозяйке, мучился тем более, что и не любил Верочку настолько, чтобы чувствовать какое-нибудь оправдание своим заигрываниям с ней.

А Верочка шла навстречу всяким ласкам и раздражалась, что Карташев только целует ее.

— Как будто вы весь порох уже расстреляли, как старики целуете,— говорила раздраженно Верочка.

— Верочка, вы говорите, сами не понимая, что: гадость очень недолго сделать.

— Га-а-дость?! Убирайтесь вы...

— Верочка, вы хорошо понимаете, что говорите?

— Да что мне здесь понимать?

— Как что?

Она внимательно смотрела в глаза смущенному Карташеву и говорила:

— Так, дурачок вы какой-то... Идите вот под церковь копеечки собирать.

— Верочка!

— Да ну... право же... Вот постойте, я вам игрушку куплю, вам и ее довольно будет...

И на другой день Верочка купила ему пятикопеечную голенькую фарфоровую куколку.

Она с злой улыбкой, мимоходом, сунула ему, когда он лежал еще в кровати, эту куколку за пазуху рубахи и в то же время изо всей силы ущипнула его за бок.

Карташев скривился от боли и, схватив Верочку, посадил ее возле себя.

— Ну, и что ж? — насмешливо вызывающе спросила Верочка, в то же время побледнев и смотря в его глаза.

— Верочка, вы глупенькая,— прошептал, целуя ее, Карташев.

— Целуйте куколку,— вырвалась энергично Верочка и, хлопнув дверью, вышла из комнаты.

Карташев остался в кровати и напряженно, смущенно, в сотый раз обдумывал свои отношения к Верочке. И в сотый раз он чувствовал, что ему хотелось только целовать ее, как красивого ребенка, а не как женщину, страсть которой была ему даже неприятна: когда она бледнела, прижималась и жадно смотрела на него, все увлечение Карташева сразу улетучивалось.

После возбуждения в писании на Карташева напало сомнение.

Однажды он лежал, и вдруг, как молния, сверкнуло в его голове: да писатель ли он?

Карташев вскочил и испуганно подошел к своему столу. Неужели только обман один и все это возбуждение и страсть писания? Но он видел в образах тех, кого писал,— они были живые, полные жизни были эти образы. Но живыми они были, может быть, только там, в его воображении, а на бумагу могли попасть только неудачные снимки?

Карташев тревожно присел и начал перечитывать свою рукопись. Худо, хорошо... хорошо, худо... Карташев все напряженнее перечитывал написанное... Поправить здесь надо, непременно надо... Карташев принялся исправлять торопливо, нервно.

Кончив, он начал опять сначала перечитывать свою рукопись.

Но теперь все подряд уже казалось ему какой-то невозможной мазней.

«Да ведь это же суздальская работа!» — пронеслась вдруг отчаянная, унизительная мысль в его голове, и

Карташев изо всей силы толкнул свою рукопись. Она полетела со стола на пол и рассыпалась.

Карташеву сдавило что-то горло.

Он быстро оделся и выскочил из дому. Он бросился в парк.

Те же деревья, те же дорожки...

Ах, нет, не те. Теперь это уже не друзья, теперь они только свидетели его пережитой славы. На душе Карташева стало вдруг так пусто, что он испугался.

«Ну, что ж? Ну, не писатель. Не все же писатели... живут же... Не надо даже и думать об этом... Вот надо остричься...»

И Карташев быстро зашагал из парка и, выйдя на проспект, стал, ни о чем не думая, озабоченно искать парикмахерскую.

Тот же проспект, те же домики... Еще вчера он шел по этой улице, и жизнь была так полна, все так улыбалось, все так ярко, гармонично отдавалось в душе... а сегодня... он такая же жалкая бездарность, как и вся эта ничтожная толпа, обреченная на прозябание, обреченная только чувствовать и всегда молчать. Он хуже всякого из этих прохожих, потому что они и не мечтали, а он мечтал, пробовал и теперь знает, что он бездарность.

Убегая от себя, Карташев был рад, когда нашел парикмахерскую и когда его усадили перед зеркалом.

Жгучий порыв боли прошел. Он сидел грустный, задумчивый, окутанный простыней и всматривался в зеркало; его красивые волосы падали ему на лоб, и он думал: «Когда я бездарность, что во всем этом?» И опять жгучая тоска охватывала его.

Он опять был на улице. В догорающем морозном дне точно чувствовался какой-то намек на далекую весну. И в небе была весна: синее, нежное, ласкающее, оно проникало, охватывало знакомым ощущением. Но что толку в том, что он, Карташев, чувствует это небо? Будь небо во сто раз синее, загорись оно всеми переливами своих красок, умри он, Карташев, от восторга, хоть растворись в этом небе: что толку, если он не писатель, если он не может передать своих ощущений, не может заставить других переживать то, что переживает сам?!

И жгучее, горькое чувство с новой силой хватало за сердце Карташева; слезы подступали к глазам, и, как ни удерживался он, они капали по щекам, а он быстрее убегал, стараясь в сумерках улицы незаметно вытереть свои слезы, тоскливо-испуганно твердя:

— Как это глупо, глупо, глупо...

Серо и скучно потянулись тяжелые дни томления для Карташева. Рукопись в беспорядочной груде лежала на столе, лекции валялись в углу, и все это мучило, тревожило и отравляло все существование Карташева. Он брал книгу и не мог читать: то другие писали, люди таланта, а он — бездарность.

Ах, чего бы он ни дал, чтобы быть теперь у себя в деревне, заниматься хозяйством и забыть там самого себя, чтобы незаметно как-нибудь добраться до того мгновения, когда, наконец, и его очередь придет сойти с этой непонятной для него сцены жизни. Но и в деревне только ведь кулакам и житье...

Проснувшись как-то, Карташев заставил себя идти на лекции.

Он уныло, с тоской в душе, опять подходил к знакомому зданию. Это длинное здание казалось теперь ему таким же мертвым, как и он сам.

В маленькой аудитории собралось человек пятнадцать студентов; вошел профессор и начал что-то читать. Кончик его тонкого носа тихонько шевелился, шевелились губы, слова, как горошек, сыпались изо рта, издавая какой-то звук при своем падении. Маленькие слоновьи глаза иногда поднимались и смотрели в сонные лица студентов, и тогда контраст черных глаз и бледного лица профессора был еще резче.

После лекции Карташева всего разломило, и с туманной головой и горячими руками он ходил по высокому темному коридору.

Какой-то гул, чем-то пахнет: это запах какого-то старого тела, сотню лет обитающего здесь. Это и не тело и не запах: экстракт запаха, экстракт какого-то скучного, безнадежного старья.

Следующая лекция государственного права читалась в конференц-зале, где много было воздуху, было светло и хорошо сиделось на соломенных стульях. Пришло человек пятьдесят. С некоторыми профессор радушно поздоровался. Кружок столпился около него и слушал: государственное и международное право предполагается сделать необязательным предметом. Какой-то мимический разговор, непонятный Карташеву, а профессор уже подходит к столу и говорит:

— Я по этому вопросу дома сегодня укажу вам...

Какие-то счастливцы бывают, значит, у него на дому.

Идет лекция. Оживленно, звонко, красиво говорит профессор, говорит о Петре Великом, ничего, по-видимому, интересного не сообщает, но отчего с таким интересом некоторые его слушают, переглядываются между собой и улыбаются?

Профессор кончил: веселые аплодисменты, довольные лица. А вот такие же, как и Карташев. Они идут унылые, с пустыми глазами, с пустыми душами, с измятым лицом, идут равнодушные, скучные, неудовлетворенные.

Два каких-то студента говорят, и Карташев старается прислушаться. Говорят о лекции и отыскивают какой-то особый смысл в словах профессора. Каким образом выудили этот смысл эти два студента? Он, Карташев, ничего не выудил и ничего не понял. Но хорошо, что они могут догадаться, а если он не может? Из пятисот человек их десятая часть здесь, и из них он уже не понял, а может быть, и другие такие есть, которые тоже не поняли тонких намеков. Может быть, только эти двое и поняли. Профессор не виноват, конечно, но что это за наука, душа которой, самое интересное в ней — только какой-то непонятный намек, доступный двум-трем аристократам мысли. А остальные? Остальные уйдут в свое время спокойные с аттестатом в кармане. Чего же еще? поступят на службу, и к чему тогда все это? В золотом pinse-nez и другой в длинном черном рединготе идут с гримасой презрения. Для них, конечно, что все это? Что им Гекуба и что они Гекубе? Им отцы их достанут места и дадут деньги. Они садятся в свой экипаж.

Карташев с завистью смотрел им вслед: их не грызет червь сомнения. Их душа не раздваивается. Ах, зачем его не отправили в детстве в пажеский корпус? Зачем познал он намек на какую-то иную жизнь? Без этого и он был бы теперь удовлетворен, и никуда бы его не тянуло. А теперь тянет и в одну сторону, тянет и в другую,— нет средств для одной жизни, нет подготовки к другой.

И та и другая одинаково не удовлетворяют.

Кружок бедно одетых студентов оживленно весел; прощаются на подъезде и кричат один другому:

— Заходи же за мной.

— Хорошо... он сказал в семь?

— Ты пораньше приходи, чаю напьемся.

— Андреев, а ты будешь?

Андреев, высокий, худой, страшный, костлявый, с землистым цветом лица, говорит:

— Нет, я сегодня на Выборгской.

— Скажи Иванову, что я рукопись передал.

— Хорошо...

«Иванов,— думал, идя домой, Карташев,— Иванов? Его знают и в университете. Что же такое Иванов?»

«Надо прочесть Жан-Жака Руссо,— тоскливо думает Карташев, вспомнив вдруг разговор в коридоре университета о чем-то по поводу Руссо.

«Необходимо надо прочесть»,— страстно загорелось в нем, и он прямо пошел в библиотеку, в которой абонировался.

— Что у вас есть из Жан-Жака Руссо?

— Вот список дозволенных книг.

Карташев посмотрел.

— Здесь нет.

— Я думаю, и в других библиотеках вы не найдете.

Карташев внимательно просматривал каталог «серьезных книг» и взял Шлоссера.

Он шел и думал:

«Прочесть разве весь каталог по порядку, тогда уж все будет в голове из дозволенного хоть».

А не пойти ли ему прямо к Иванову и сказать: «Я хочу быть развитым человеком, укажи мне, что читать, какие книги, где их доставать?»

Карташев пришел домой, пообедал и, войдя к себе в комнату, задумался, что ему делать теперь?

«Пойду я к Корневу, захвачу с собой и свое маранье... А вдруг он скажет, что я писатель?»

Карташев собрал свою рукопись и поехал на Выборгскую.

XIX

Группа Корнева держала в этот день по анатомии частичный экзамен у профессора, умевшего заставлять работать студентов не только за страх, но и за совесть. Несмотря на сухую зубрежку непонятных названий, студенты наперерыв друг перед другом посещали анатомический театр и с бою, на зубок, вызубривали трудные названия.

С этими названиями старик профессор умел искусно связывать будущую роль своих слушателей, обращался к студентам, как к докторам: нельзя быть анатомом без знания даже самой скромной аномалии,— жизнь пациента зависит от этого, и без этого знанья это будет не хирург, а шарлатан.

Старый профессор был на страже, чтобы не допустить такого шарлатана к делу, к которому почему-либо человек не годился. Это хорошо знали студенты. Просьбы не помогали, но все было приспособлено к тому, чтобы человек узнал свое дело, и главное из этого всего было налицо: сумбура и намеков не могло существовать в деле, где все было ясно и точно, как часы, как сам угрюмый профессор, представитель западного ученого, образ которого будет всегда связан с медико-хирургической академией, профессор, которого, как огня, боялись студенты и боготворили в то же время, как только можно боготворить человека, несущего нам чистую истину. И когда профессор, мировой авторитет, сурово говорил студенту, осторожно запускавшему свои руки во внутренности трупа: «Господин, снимите ваши перчатки», студент готов был не только свои руки, но и самого себя погрузить в кишки смердящего трупа.

И, боже сохрани, какая-нибудь брезгливая гримаса или даже брезгливая мысль: угадает, обидится и сре-

жет. Срежет не карьерист, не чиновник, не бездарность: срежет европейская знаменитость, старый профессор.

Корнев получил «maximum sufficit» [1] и был на седьмом небе.

Он отправился с экзамена в кухмистерскую, а из кухмистерской с Ивановым за какой-то брошюркой к нему.

Иванов по дороге обстоятельно расспрашивал о Горенко и Моисеенко.

— Могу даже последнюю новость вам сообщить,— говорил Корнев,— они жених и невеста, весной сюда приедут, повенчавшись.

— Я знаю... брак фиктивный, чтобы переменить законно опекуна и избавиться от нежелательных лиц.

— Вот как! — изумился Корнев и сосредоточенно принялся за ногти.

— Отучитесь вы от этой дурной привычки,— сказал Иванов,— а то ведь при анатомии это рискованно: трупы, легко заразиться.

— Да, конечно,— озабоченно согласился Корнев, вытер ноготь и опять начал его грызть.

Корнев искоса незаметно всматривался в Иванова; этот маленький, тщедушный человек с копной волос на голове, с какими-то особенными, немного косыми глазами, которыми он умеет так смотреть и проникать в душу, так покорять себе,— страшная сила. Кто мог думать, кто угадал бы это там, в гимназии, когда два лентяя, Иванов и Карташев, так любовно сидели сзади всех рядом друг с другом? Теперь даже и неловко говорить с ним о Карташеве.

— Моисеенко, когда я знал его,— произнес нерешительно Корнев,— не совсем разделял взгляды вашего кружка...

— Он и теперь их не разделяет.

— В таком случае я не понимаю его.

Иванов заглянул в глаза Корневу и ответил тихо:

— Что ж тут непонятного? важна точка приложения данного момента... у каждого поколения она одна... ведь и вы ее не отрицаете?

---

[1] высшую оценку (*лат.*).

— Да... но принципиальная цель...

Корнев замолчал. Иванов ждал продолжения.

— Я все-таки сомневаюсь,— смутившись, как бы извиняясь, неестественно вдруг кончил Корнев.

— Только одно сомнение, и ничего, никаких других чувств нет?

— То есть как? Я думаю, одно только сомнение...

Корнев еще более смутился.

— Я так думаю, по крайней мере... но может быть...

Он вдруг побледнел, лицо его перекосилось, и он через силу проговорил:

— Что ж? может быть, и страх — вы думаете?

Иванов молчал.

Корнев поднял плечи, развел руками и смущенно, стараясь смотреть твердо, смотрел на Иванова.

— Во всяком случае, я всегда...

— Такого случая при данных обстоятельствах,— грустно перебил Иванов,— и быть не может.

Какая-то пренебрежительная, едва уловимая нота чувствовалась в голосе Иванова во все время визита Корнева...

Корнев, с брошюрками в кармане, выйдя на улицу, вздохнул облегченно и побрел к себе. Теперь, перед самим собой же, он спрашивал себя: что удерживает его действительно? Он смущенно покосился на шмыгнувшую в подворотню собаку и огорченно, без ответа, пошел дальше. И «maximum sufficit» и все удовлетворение слетело с его души так, точно вдруг потушили все огни в ярко освещенной зале.

— О-хо-хо-хо,— громко, потягиваясь тоскливо, пустил Корнев, когда вошел, раздевшись в передней, в свою комнату.

Он чувствовал хоть то облегчение, что он теперь один у себя в комнате и никто его не видит.

Он лег на кровать.

Вошла Аннушка в новой кофте, для покупки которой ходила в Апраксин. Модные отвороты кофты безобразно торчали, Аннушка выглядывала из своей узкой кофты, как притиснутый удав. Она, громадная, с усилием перегибала шею и осматривала себя, поворачиваясь перед Корневым.

Корнев сосредоточенно грыз ногти, не замечая Аннушки.

Аннушка, идя с Апраксина, была очень довольна покупкой, но теперь на нее напали вдруг сомнения.

— То-то надо бы и другие еще примерить,— озабоченно говорила она,— а я так, какую дали.

В передней раздался звонок. Аннушка бросилась отворять. Вошел Карташев.

— А-а! — точно проснувшись, приветствовал, вставая, Корнев.

— Спал?

— Нет...— нехотя ответил Корнев.— Что новенького?

— Целый скандал, Васька,— я писателем стал.

— Вот как...

— То есть какой там к черту писатель... Писал, писал, потом под стол бросил... А потом решил тебе все-таки прочесть.

— Интересно.

— Плохо.

— Посмотрим... Ну, что ж, читай.

— Так сразу?

— Чего же?

Карташев с волнением развернул сверток, сел и начал читать.

Корнев слушал, думал о своей встрече с Ивановым и иногда вскользь, рассеянно говорил:

— Это недурно.

Карташев кончил.

— Ну?

Корнев неохотно оторвался от своих мыслей, посмотрел, развел руками и сказал:

— Мой друг... несомненно живо... Я, собственно, видишь ты...

Он опять остановился.

— Видишь...— опять лениво начал Корнев.— Писатель... Ведь это страшно подумать, чем должен быть писатель... если он не хочет быть, конечно, только бумагомарателем. Как мне представляется писатель-беллетрист. Ты беллетрист, конечно... Это человек, который, так сказать, разобрался уже в сумбуре жизни... осмыс-

лил себе все и стал выше толпы... Этой толпе он осмысливает ее собственные действия в художественных образах... Он говорит: вот вы кто и вот почему... Твой же герой,— ты сам, конечно,— среди общей грязи умудряется остаться чистеньким... Но других пересолил, себя обелил,— надул сам себя, но кого другого надул? И если ты можешь остаться чистеньким, то о чем же речь,— все прекрасно, значит, в этом лучшем из миров. Если бы ты имел мужество вскрыть действительно свое нутро, смог бы осмыслить его себе и другим... Скажи, Тёмка, что ты или я можем осмыслить другим? Мы, стукающиеся сами лбами в какой-то темноте друг о друга! Мы, люди несистематичного образования, мы в сущности нищие, подбирающие какие-то случайно, нечаянно попадающиеся нам под ноги крохи; мы, наконец, даже без опыта жизни, когда притом девяносто девять из ста, что и этот опыт окончательно пройдет бесцельно вследствие отсутствия какого бы то ни было философского обоснования...

По мере того как Корнев говорил, он краснел, жилы на его шее надувались, он смотрел своими маленькими зелеными глазами, впивался ими все злее в лицо Карташева и вдруг, сразу упокоившись, вспомнив вдруг Иванова, пренебрежительно, почти весело махнул рукой:

— Нет, мой друг! Какие мы писатели... И ко всему этому, какой талант нужен, чтобы все это было и не узко и без всякой скучной морали, законно, было бы и вкусно, и понятно, и, наконец, настолько правдиво, чтобы с твоими выводами не мог не согласиться читатель.

— Какой читатель? Иванов может не согласиться, потому что ему тенденция нужна.

— Да какая там к черту тенденция: образование нужно... Есть писатели, на которых все мирятся... И рядом ты... У них, черт их знает, какой размах, и всякая тенденция занимает только свое место... а ты пошлялся с Шацким...

Корнев, заметив угнетенное лицо Карташева, оборвался.

— Я не хотел бы тебя огорчать... У тебя даже есть, если хочешь, несомненная способность передавать свое впечатление, но именно... надо, чтобы и было что передавать. Понимаешь!.. Положим, что у тебя мозоль бо-

лит... Не станешь же ты об этом говорить, хотя бы, может быть, нашелся целый кружок людей, у которых тоже оказались бы такие же мозольные интересы... Самое большее в таком случае: ну, и будешь мозольных дел мастер.

Карташев лег на кровать, закинул руки за голову и, сдвинув брови, молча слушал.

— Это, конечно, верно...— нехотя заговорил он, когда Корнев замолчал.— Какой я к черту там писатель.

— То есть ты, конечно, можешь быть писателем, тянет же тебя... но, как какой-нибудь самоучка с задатками, музыкант, может сделаться артистом только тогда, когда разовьет свой талант... А без этого он будет просто бандуристом.

— Хотя Баян был тоже только бандурист... Гомер не знал современной науки, а останется Гомером навсегда.

— Но Гомер понимал и осмыслил всю свою жизнь... А в нашей обстановке один талант Гомера без знания и понимания современной жизни и ее задач что бы сделал? какой-нибудь крестьянин... что он поймет?

— И все в конце концов сводится,— уныло сказал Карташев,— что если не писать в духе какого-нибудь Иванова, то и нет больше нигде света.

Корнев пренебрежительно махнул рукой, прошелся и сказал:

— Обо всем этом говорить можно разве с точки зрения несоизмеримости того, что требуется от настоящего писателя и что мы с тобой можем дать...

Наступило молчание.

— Но скажи, пожалуйста, ты себя считаешь образованным человеком?

— Я? — с искренним ужасом остановился Корнев.— Никогда, конечно... Такой же запутанный, как и все мы.

— Вася, но как же распутаться? Как же добраться до истины?

Корнев пожал плечами.

— Есть небольшие кружки... но истина ли это, или результат недостаточности истинного знания, откуда я знаю?

— Но, собственно, что требуется для того, чтобы

быть образованным человеком? Что читать? Какие вопросы интересуют теперь образованных людей?

— Видишь ты... Я, конечно, в общем... Во времена Белинского решались разные принципиальные вопросы... Ну, помнишь там... ну, вот вопросы эстетики: искусство для искусства. Но жизнь подвинулась,— собственно, и тогда за этой принципиальной стороной, как всегда, скрывалась также практика вещей, но теперь жизнь подвинулась, и эта практика, ну, осязаемее, что ли, стала, ближе подошли мы к ней... Теперь идет решение разных политических, экономических вопросов...— На Западе теории там известные... У нас своя собственная точка зрения устанавливается: автор «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», автор статей «Что такое прогресс?».

— А кружок Иванова к каким относится?

— Это уже другая разновидность. Они, видишь, взяли свою собственную точку приложения. Они не желают у нас повторения, например, берлинских событий тысяча восемьсот сорок восьмого года, потому что это будет на руку только буржуазии.

— Почему?

Корнев почесал затылок.

— Ты знаешь, какая разница между либералом и социалистом?

Карташев напряженно порылся в голове.

— Собственно...— начал было он и быстро, смущенно кончил: — Нет, не знаю.

Корнев объяснил. Затем разговор перешел на задачи ивановского кружка, и Карташев опять возбужденно слушал.

— Если они отрицают Запад, значит они те же славянофилы? — спросил он.

— В сущности, видишь ты... есть разница... Они считают, что у нас есть такие формы общежития, к которым именно и стремится Запад. И вот с этой точки зрения и говорят они: к чему же излишние страдания и ломка, когда ячейка мировой формулы уже имеется у нас?

— Это община?

— Да.

— Из-за чего же они борются? Это ведь есть уже.

— Видишь ты... Что-то в жизни ломает эту общину: надо такую организацию, чтобы не сломало ее.

Корнев, как знал, объяснял и смущенно кончил:

— Я, собственно, впрочем, не ручаюсь за верность передачи.

— То есть решительно ничего не понимаю,— сказал Карташев.

Корнев смущенно развел руками.

— Чем богаты, тем и рады.

Карташев вздохнул.

— Так и буду всю жизнь каким-то болваном ходить.

— Проживешь... будешь служить, судить... защищать...

— Этим только и жить, Васька?

Корнев пожал плечами:

— Живут...

— Значит, не в этом сила?

— Черт его знает, в чем сила.

Карташев ехал от Корнева, подпрыгивая на своем ваньке, и уныло смотрел по сторонам. Он вздыхал и думал:

«Но если есть действительно непреложные законы жизни, то как же жить, не имея о них никакого представления? Или, может быть, не ему и заниматься придется всем этим? Кто-то там где-то и будет ведать. Но ведь и он будущий этот кто-то... он же юрист». Карташев тяжело вздохнул. «Да, лучше было бы взять себе какую-нибудь специальность. А может быть, и так проживу... живут же люди... Вон идет, и вон, и вон... По мордам видно, что ничего им не снится... Ну, газеты каждый день буду читать... Каждый день в газете какой-нибудь новый вопрос. Два-три года каждый день читать газету, и не заметишь сам, как по всем вопросам будешь все знать... Черт с ним, брошу глупый абонемент, что мне в самом деле скажет какой-нибудь Шлоссер... Подпишусь на газету и буду каждый день читать. И буду заниматься: пора, а то срежусь (сердце Карташева екнуло)... прямо буду зубрить, как Корнев анатомию, и отлично... это вот верно... по крайней мере

теперь чувствую, что стою на действительной почве. Ну, не писатель; экое горе... а все-таки на второй курс перейду, курить бросил, на втором курсе, а там каникулы, домой». Карташев вспомнил о Верочке. «И она пусть убирается к черту... Точно в самом деле так клином и сошелся свет... Проживем!»

Карташев на радостях, что нашел, наконец, выход, прибавил даже лишний гривенник извозчику.

На этот раз Карташев засел за лекции так, как казалось, давно и следовало. Он читал, составлял конспекты, зубрил на память и медленно, но упорно подвигался вперед. Это не было, может быть, истинное понимание, истинное знание, может быть, это даже не был просвет, а был все тот же в сущности мрак, но у Карташева в этом мраке вырабатывалось искусство слепого: он ощупью уже знал, как и где от такого-то пункта искать следующего. Он знал, что каждая философская система, которую он брал теперь одну за другой приступом, будет несостоятельна, и его интересовало: в чем именно несостоятельна? Он старался угадать, но каждая из систем казалась неуязвимой. А когда он заглядывал дальше и узнавал ее слабую сторону, он удивлялся, как сам не мог додуматься до такой простой вещи. Разрушение некоторых систем вызвало в нем самое искреннее огорчение. Симпатична была школа стоиков по ясности изложения, эпикурейцы прельщали содержанием, но уж как-то слишком откровенно все у них выходило; киренаики были тоже в сущности эпикурейцы, но скромнее.

«Вот этой философии я буду последователем,— с удовольствием думал Карташев,— приеду домой: Долба, Вербицкий, Семенов... кто ты? Я киренаик...»

Когда Карташев дошел до Декарта, он думал: «Отчего бы мне самому свою собственную философскую систему не выдумать? ну, хоть маленькую... Ну, вот, допустим, что я тоже философ и решил создать свою собственную философию. С чего я начну?»

Он сосредоточенно смотрел перед собой, стараясь раскопать в своей голове скрытый клад. Но ничего там не находил.

«Мой друг, ты ищешь ночью там, где я днем ничего не нахожу»,— вспомнил он слова из какого-то анекдота.

«Неужели я такой идиот, что не могу создать даже плохенькую философию?.. Ну, всякий философ начинает с принципа и им уже охватывает весь мир, все существо вещей, отыскивает точку приложения данного момента... ну, вот, Декарт говорит: «Cogito, ergo sum» [1] — и поехал... Но вот и я тоже: «Cogito...»

Карташев пригнулся, смотрел на носок своего сапога и уныло шептал:

— Cogito, cogito, а ни черта не выходит.

XX

Мечты Ларио об уроке неожиданно сбылись: по вывешенному в институте объявлению он получил урок.

Ларио веселый пришел к Шацкому.

— Знаешь,— смущенно разводил он руками,— довольно глупое положение: я — гувернер!.. Что из всего этого выйдет, я решительно не знаю. Двадцать пять рублей на всем готовом... Прогулки с сыном... славный мальчик, лет десяти...

— Прогулки эти превратятся, конечно, в свидания с Лизками, Машками...

— Положим, это ерунда, но, понимаешь, мамаша...

— А мамаша какая из себя?

— Не в том дело. Понимаешь, насчет религии пристает... Молитвы с ним по вечерам читать... А здесь я совсем пасс, Миша.

— Сколько лет мамаше?

— Да глупости... Ну, лет тридцать.

— Муж есть?

— Есть... Интендант, что ли; о честности мне лекцию прочел. То есть черт знает что такое...

Ларио пустил свое «го-го-го» и еще смущеннее посмотрел на Шацкого.

---

[1] Я мыслю, следовательно существую (*лат.*).

— Понимаешь, она считает, что в современном обществе недостаточно уважают... черта. Ей-богу! Еще, говорит, одну сторону религии признают, а другую — вот этого самого черта — совсем знать не хотят... отсюда и все зло, потому что, понимаешь, черту только это и надо; ты думаешь, что говоришь с ученым, а это черт... то есть не сам ученый — черт, а черт в него забрался именно потому, что он и не верит в этого черта: кто не верит, к тому он и лезет.

— Что ж она — сумасшедшая?

— Нет...— в гимназии была. «Я, говорит, не могла бы жить, если бы не имела положительных идеалов... жизнь, книги, наука не дают их...» Все они путаются...

— Они или она?

— И не глупая так, а как до черта дойдет, сама хуже черта: глаза загорятся... «Я, говорит, и сыну говорю: никому не верь! мне не верь... иди к батюшке, и если он скажет, ну, тогда ему одному и верь». Понимаешь?

— Понимаю, что тебя вон выгонят.

— Ну, это ты врешь.

— И что ж, молитвы с ним будешь читать?

— Го-го-го... нет, сказал, что я католик...

— То есть черт знает что такое: гувернер, католик.

Через неделю Ларио опять пришел к Шацкому. Шацкий сидел за лекциями.

— Жив еще? — встретил его Шацкий.

— Целую неделю, Миша, как видишь, высидел, ну, а сегодня уж невмоготу: говорю, так и так, тетку надо проведать. «Где живет?» На углу, говорю, Гороховой и Фонтанки. Понимаешь? Не соврал...

— К Марцышке?

— Требуют... Все пять в складчину бенефис мне дают... Да! знаешь, Катя Тюремщица — готова... Три дня тому назад...

— Откуда ты узнал?

— Шурка сказала.

— Значит, сношения есть все-таки с Машками и Шурками?

— Есть конечно, Миша. Почты для всех устроены... Конвертик этакий, почерк приличный: все как следует. Rendez-vous [1] напротив... Полпивная, вполне приличная. Особая комната, все как следует... Раз с Шуркой сидим: слышу, кухаркин голос...

Ларио произнес «кухаркин голос» с той интонацией, с какой говорил «шшиик» и вообще все то, что хотел подчеркнуть.

— Ругает, то есть на чем свет стоит, своих господ, и главным образом не так барыню, как барина.

— За что?

— Подбивается к нянюшке...

Ларио бросил шутовской тон и заговорил серьезно, с своей обычной манерой, скороговоркой:

— Понимаешь, действительно подлец... с виду этакий солидный, брюшко, тут на подбородке пробрито, лет этак пятьдесят уж будет, и вдруг за нянькой, а та совсем еще девочка... ну, лет пятнадцати... И прелесть что за девочка... Боится его, а он пользуется...

Разговор оборвался. Ларио прошелся по комнате.

— Ну, а ты, Миша, как?

Шацкий утомленно закрыл глаза.

— Ты все худеешь.

— Я плох...

Он сделал гримасу и провел рукой по лицу.

— Здешней воды не переношу... Денег нет... и высылать не хотят... Мне, кажется, остается одно: пустить себе пулю в лоб.

— Что ж, пускай, Миша... мы тебя хоронить будем, а ты только этак головкой станешь поматывать... знаешь, как анафема...

— Дурак... Какая анафема?

— Старушка одна такая была. Ну, жила себе где-то, не видала никогда анафему... Ну, и пошла искать. «Видела анафему?» — спрашивают ее. «Видела, батюшка, видела...» Выскочил к ней какой-то волосатый да кричит: «Анафема!!», а она сидит да только головкой поматывает, а он опять: «Анафема!..»

Шацкий не слушал.

---

[1] Свидание (*франц.*).

— Нет, Миша, ты что-то того... действительно плох...

Шацкий встал, оттопырил пренебрежительно нижнюю губу и продекламировал тихо, закатив глаза:

— Волк, у которого выпали зубы, бешено взвыл...

— Миша, не грусти: зубки есть еще у тебя.

Шацкий лениво потянулся.

— Ну, что ж ты? Деньги есть? — спросил он.

Ларио смутился.

— Трешница, Миша, есть... Понимаешь, я того... я как только получу, тебе сейчас же... того...

Шацкий сделал вид, что хочет зевнуть, но не зевнул и, опять падая на диван, лениво произнес:

— Успокойся.

— Понимаешь... хоть и бенефис, а все-таки надо... понимаешь...

— Понимаю,— устало кивнул головой Шацкий.

— А впрочем, Миша, если ты уж так плох...

Шацкий не сразу ответил.

— Не надо...

— Нет, ты послушай...

— Оставь... у меня опять живот болит.

Он побледнел, скривился от боли, а Ларио упорно смотрел на него:

— Ничего, Миша, пройдет: это весна.

Через несколько минут он уже прощался:

— Ну, Миша, мне того... пора. Ты что ж, писал домой?

Шацкий покосился в угол и небрежно ответил:

— Писал, что в госпитале уже...

— Ну?

— Ну, и вот...

— Пришлют, Миша.

— Конечно...

Проводив Ларио, Шацкий устало потянулся, взял лекции дифференциального исчисления и лег с ними на диван. Шел третий экзамен. В году он почти ничего не делал и теперь занимался. У него была какая-то своеобразная, совершенно особая манера знакомиться с предметом: он принимался за него с конца, потом перебрасывался куда-нибудь к средине, возвращался опять к концу, опять подвигался вперед, и так до тех пор, пока

не прочитывал всего предмета. Тогда он начинал опять сначала, и если успевал кончить все чтение до экзамена, то шел и выдерживал его блистательно. Если же не успевал, то тоже шел и выдерживал, всегда обращая на себя на экзамене внимание всех: и студентов и профессоров. Он размахивал руками, шаркал ногами и точно нарочно дразнил самых злых или обидчивых профессоров. Очередные студенты волновались и тоскливо шептались между собой:

— Вот рассердит-таки... и что это за пошлая манера?

Но Шацкий умел брать какой-то такой тон, который не раздражал.

Профессора высшей алгебры, молодую звезду, очень, впрочем, немилостивую к плохо понимавшим студентам, он даже так смутил, что тот в конце концов должен был извиниться.

— У вас конечного вывода нет,— с гримасой, наводившей панический страх на студентов, подошел молодой черненький, во фраке, профессор к доске Шацкого.

Шацкий фыркнул.

— Лагранж и этого не требует... Он дает студентам свою книгу и только просит объяснить ему.

— Я признаю такой способ,— поспешно, покраснев, сказал профессор.— Я не настаиваю... Если вам угодно словесно...

И между профессором и Шацким начался словесный диспут почти по всему предмету.

— Достаточно... Извините, пожалуйста...

Профессор протянул Шацкому руку.

Шацкий положил мел и, стоя рядом с профессором, следил без церемонии за его рукой, ставившей три пятерки.

Он пренебрежительно фыркнул и пошел прочь из аудитории, не замечая или не желая замечать вглядов, почтительных и завистливых, своих сотоварищей.

Но экзаменационные победы доставляли ему только мимолетное удовлетворение: денег не было, здоровье расшатывалось.

— Да, да,— печально говорил сам себе Шацкий,— еще одна такая победа, и я останусь без войска...

В то время как у Шацкого экзамены начались с десятого марта, у Карташева они должны были начаться в мае. Карташев усердно занимался и думал об экзаменах с некоторой гордостью. Пройденное было все в голове и сидело прочно: он открывал наугад любую страницу, прочитывал начало и бойко рассказывал себе дальнейшее содержание.

В разгаре занятий в Карташеве проснулась опять жажда к писанию. На этот раз ему хотелось писать уже не веселое, а что-нибудь сильное, драматическое и жалостное без конца. Он остановился на теме: нуждающийся студент доходит до последней нищеты и лишает себя жизни, выбрасываясь из окна четвертого этажа.

Наступившая пасха помогла придумать рамки рассказа. Карташев ходил ночью под пасху к Исаакию и решил уморить своего героя как раз в эту ночь. Студент стоит у окна. Перед его глазами в темноте звездной ночи вырисовывается как бы окутанный флером, весь освещенный, точно качающийся в воздухе, Исаакий; студент смотрит и вспоминает все свое детство, радостную семейную обстановку былого времени в этот день и, окончив свои воспоминания, собравшись с духом, выбрасывается из окна. Описать последний момент стоило Карташеву большого труда: лично ему, сидевшему до некоторой степени в душе злополучного героя, не хотелось вылетать в окно; он ощущал во время писания ужас и полное нежелание летѣть,— точно какая-то сила отталкивала его, и так живо, что для него было ясно, что он, Карташев, сам ни при каких обстоятельствах в окно бы не вылетел... да и никаким другим способом не выпроводил бы себя за пределы этого мира добровольно.

«А не добровольно?» — задавал себе вопрос Карташев, и, вдумываясь в последнюю минуту такого конца, он на мгновение чувствовал весь ужас ее, вздрагивал и с радостью думал, что, слава богу, в настоящий момент он еще жив, здоров и молод.

Две недели писалась повесть. Много слез за это время было пролито Карташевым,— так жаль было ему своего героя. Не только Карташев плакал: бедная девушка, серая с лица, некрасивая, рекомендация хо-

зяйки для переписки, отдавая рукопись хозяйке, чтобы та уже вручила Карташеву, призналась:

— Мы с мамашей так плакали... Это вот место, где он свое детство под пасху вспоминает, так хорошо... И ведь по примете как раз и вышло: разбил он тарелку тогда с пасхой, а это уж непременно к худому... Очень хорошо...

Так как литература отвлекла Карташева от приготовления к экзаменам, то, чтобы покончить совсем со своим писанием, он решил, не медля после переписки, снести рукопись в какую-нибудь редакцию. В какую? Конечно в лучшую.

Карташев вышел как-то утром из дому с свернутой рукописью.

«Ехать или идти?» Денег было мало, совсем мало, как у самого настоящего литератора, и Карташев подумал: «Конечно идти,— прямо неприлично даже — ехать».

По мере приближения к редакции Карташев волновался все сильнее, и, когда, наконец, подошел к подъезду ярко-красного дома, руки его были холодны как лед, а ноги только что не подкашивались.

«А вдруг откажут? Вдруг крикнут: пошел вон! Ну, положим, так не крикнут, но все-таки все сразу поймут, что отказали. Не назад ли, чтобы не переживать опять душевной тоски? А переживешь...» — неприятным предчувствием вдруг засосало Карташева, когда, отворив дверь, он очутился в небольшой приемной редакции.

При его появлении из внутренних дверей вышел средних лет господин с брюшком, с одутловатыми щеками, с двумя колючими маленькими глазками и молча уставился на него.

— Я желал бы...

— Рукопись? — уныло перебил господин.

— Да, я желал бы...

— Позвольте.

И, получив рукопись, господин ушел, лениво размахивая ею и бросив резко, как команду, на ходу:

— Через две недели.

Карташев, машинально поклонившись его спине, выскочил в переднюю, оттуда на лестницу, выбежал на

улицу и радостно подумал: «А все-таки принял! Может, и напечатают... Неужели напечатают?! Его, Карташева, произведение?!»

Мимо прошел какой-то молодой брюнет с длинными волосами, взглянул внимательно на Карташева и вошел в подъезд редакции.

«Наверно, писатель...»

Карташев оглянулся и посмотрел ему вслед.

— Ехать, что ли? — обратился к Карташеву извозчик.

«Нет, теперь совсем неловко, кто-нибудь из редакции в окно может увидеть, подумает, что денег много... возьмут и откажут... а так, может: бедный студентик... что уж его? Напечатаем... И вдруг гонорар, знакомятся... Надо будет за эти две недели прочитать, что писалось в их журнале, хотя за этот год... Жалко, как раз экзамены... А какой этот господин, который взял рукопись: брр... какой страшный... А может, только с виду, а на самом деле даже очень добрый... особенно, как прочтет... и тема такая подходящая: бедный студент умирает от нужды... и такой ужасной смертью».

Карташев подумал: «Сегодня уж не буду заниматься: пойду к Шацкому,— давно у него не был».

Карташев шел, думал, вспоминал и переживал снова свои ощущения при передаче рукописи. Ему вдруг сделалось грустно; как летит время,— быстро, неудержимо: был давно ли мальчиком, гимназистом, теперь писатель... вся жизнь так пройдет... Мелкие радости, мелкое горе.... Если даже и примут: печатают же ведь и плохие вещи... А все-таки....

И опять веселые мысли полезли в его голову: приедет он домой уже на втором курсе, не курит, литератор... Ах, если бы бог дал, чтобы приняли...

Карташев проходил в это время мимо церкви и, подняв глаза на крест купола, подумал: «Святой Артемий, моли бога обо мне, грешном, чтобы приняли мою рукопись...»

Был ясный, но холодный апрельский день, и Карташев с удовольствием, чтоб согреться, прошел весь путь к Шацкому пешком. Не доходя квартала два до квартиры Шацкого, он неожиданно увидал своего приятеля

на улице за очень оригинальным занятием. На углу Офицерской и Фонарного переулка стоял высокий Шацкий, расставив широко свои длинные ноги, и, держа в руках старые ботинки, что-то очень убежденно и деловито доказывал татарину.

Костюм Шацкого был не из обычных: вместо пальто на его плечи было небрежно накинуто его тигровое одеяло, сложенное вдвое. Некоторые из прохожих останавливались и с интересом следили за продавцом и покупателем.

Ни Шацкий, ни татарин не обращали на них никакого внимания. Татарин то брал в руки ботинки, осматривая их внимательно, то снова возвращал их Шацкому с пренебрежительным видом.

Карташев остановился на противоположном углу и незаметно следил за всем происходившим.

Продав ботинки и получив деньги, Шацкий облегченно вздохнул и повернул к своему дому.

Карташев подождал немного и нагнал приятеля уже на следующем квартале.

— Лорд...

Шацкий радостно и в то же время пытливо остановился перед Карташевым: видел ли он, или нет? Карташев старался сделать самое невинное лицо, но что-то было, и оба приятеля залились вдруг веселым смехом. Затем, взявшись за руки, они пошли рядом, не обращая внимания на глядевших на них прохожих.

— Лорд, погода мне кажется особенно хорошей...

— Не правда ли, граф? Хотя, впрочем, холодно... ладожский лед идет.

Карташев сделал гримасу.

— Да, но пледы нашей Шотландии, лорд...

Карташев заглянул в смеющееся, румяное от холода лицо Шацкого.

Они прошли еще несколько шагов.

— Лорд, вы, конечно, гуляли?

— Как вам сказать? Да-а...

— Хорошая вещь это — прогулка, лорд. Но иногда под видом прогулки происходят ужасные вещи... Вы знаете нашу Шотландию, лорд: убить, например, человека, снять с него ботинки...

Шацкий смущенно хохотал.

— Это не убийство, граф Артур... вы ошиблись... это — нищета...

— А! В таком случае это ничего, лорд. Лучшие роды впадают в нищету, и можно старые ботинки продавать с таким достоинством, какому позавидуют короли...

Они подходили к дому. Шацкий перестал смеяться.

— Не говори только, пожалуйста, Ларио, что я продал его ботинки, а то убьет... я обещал заложить только, но нигде их не берут или дают двадцать копеек.

— Ларио не на уроке разве?

— Какой там урок? Уже прогнали... с городовым... Иди ко мне, а я только куплю к чаю.

Шацкий пошел в лавочку, а Карташев поднялся к нему в квартиру.

В комнате у Шацкого на полу в одном нижнем грязном белье ползал Ларио, внимательно высматривая что-то под кроватью.

Увидав Карташева, Ларио смущенно поднялся, прищурился и поздоровался.

— Ты что это? — спросил, раздеваясь, Карташев.

— Понимаешь, курить хочется черт знает как...

— Окурков ищешь?

— Да уж нет ни одного.

— Плохо.

— Совсем плохо... Вот Миша пошел, может ботинки мои заложит.

— Заложил..., сейчас придет.

— Заложил! — встрепенулся озабоченно Ларио,— как бы не пропал теперь с деньгами?

— Сейчас придет.

— Вот, как видишь, всего меня заложил. И сам в одеяле ходит днем, а вечером в салопе горничной.

— А что ж твой урок?

Ларио только рукой махнул.

В коридоре раздался резкий крик Шацкого:

— Самовар?!

Шацкий вошел, бросил чай, сахар, колбасу и хлеб на стол, сбросил одеяло и выжидательно посмотрел на Ларио.

— Нет, Миша, прежде всего покурить.

Шацкий не спеша вынул пачку папирос и бросил их Ларио, процедив сквозь зубы:

— У-у, животное...

Ларио жадно закурил папиросу.

— А-а,— затягивался он с наслаждением, выпуская дым.

Шацкий, присев, отломил себе кусок хлеба и колбасы и принялся с аппетитом есть.

Ларио, накурившись, тоже начал есть, а за ним и Карташев.

Подали самовар.

Утолив голод, Шацкий вдруг побледнел и, на вопрос Карташева о причине, с капризной тоской в голосе ответил:

— Опять живот...

— Зачем же ты ешь колбасу?

Шацкий не удостоил ответом и, угрюмо сгорбившись, побрел к своей кровати.

— Что, Миша, аль издыхать взаправду собрался? — спросил Ларио, впавший было уже в свое молчаливое настроение после еды.

Шацкий лежал молча.

— Что ж, родные так-таки ничего и не посылают? — спросил Карташев.

Он подождал ответа и задал другой вопрос:

— Что же вы дальше будете делать?

— Понимаешь...— смущенно заговорил вдруг Ларио,— и урочишко, как на смех, сорвался... И ему плохо, и у меня ничего.

— У меня есть георгиевский крест отца, альбом, заложите...

— Нет,— быстро поднялся Шацкий,— ты спроси этого подлеца, как его выгнали.

— Животик прошел, Миша? — спросил повеселевшим голосом Ларио.

— Животное,— ответил ему Шацкий и пересел к дивану.

Ларио любовно смотрел на него.

— Говори, что ты наделал...

Перебиваемый Шацким, Ларио смущенно, скорого-

воркой рассказал Карташеву запутанную историю своего изгнания.

— Понимаешь... паршивый капитанишка, то есть черт знает что с этой бедной нянюшкой сделал... А тут как раз я дрызнул...

— Нет, постой, как дрызнул?

Ларио пустил свое «го-го-го».

— Ну, понимаешь, уехали они в театр... ну, дети там спать легли, а Шурка... пришла значит...

— В семейный дом?

Ларио покоробил вопрос Карташева.

— В этот самый семейный дом и в эту самую даже, можно сказать, спальню...

— Ну, ну, дальше,— перебил Шацкий.

— Что ж дальше? За пивом послали... угостили кухарку: женщина бегала,— она и рассказала нам все. Пошли к няньке: сидит в кухне и плачет. Верно? спрашиваем. Верно. Шурка говорит: «Ну, так я ему, подлецу, все глаза выцарапаю». Ну, а я говорю: «Врешь, я ему выцарапаю, уж коли так». Ну, еще дрызнули... Выпроводил я Шурку, а то ведь действительно, думаю, скандал сделает...

— А сам убить хотел,— перебил Шацкий.

— И убил бы подлеца! — вспыхнул вдруг Ларио.

Карташев с недоверием и страхом смотрел на загоревшиеся глаза Ларио.

— Он и сейчас его убил бы,— проговорил Шацкий,— а что было неделю тому назад.

— Убил бы, убил, Миша...

— У, животное! Вот с этаким в одной комнате и живи. Ты и меня убьешь когда-нибудь?

— Тебя за что убивать,— равнодушно ответил Ларио.

— Ну, что ж дальше было? — перебил Карташев.

— Ну, вот, Шурка ушла, а я думаю: выпью еще пива, может засну. Не тут-то было... пятнадцать бутылок выпил: не пьян, спать не хочу, а во мне вот все так и дрожит: убить его, подлеца, и конец... дух захватывает, и свет не мил, если не убью. Пошел на кухню, говорю: «А что, у вас кухонный нож каков?» — «Вам зачем?» — спрашивает кухарка. «Свинью зарезать». Взял

нож, попробовал, говорю: «Годится...» Да этак на кухарку и посмотрел. Та так сразу и побелела: по-ня-ла! Нянюшка в слезы... «Не плачь», спать ее отправил к детям, взял нож и хожу себе перед лестницей, жду, когда приедут они из театра... Похожу, похожу, выпью пива и опять на часы...

Ларио перебил сам себя и своим обыкновенным добродушным голосом сказал:

— Черт его знает, совсем ошалел и убил бы, если б не случай!

— Хороший случай,— фыркнул пренебрежительно Шацкий.

— Какой случай?

— Думаю: дай я пойду и поцелую в лоб невинную честную, опороченную девушку... И пошел в детскую... Пошел в детскую, лежит она в кроватке... Невинные младенцы кругом... Мой ученик... пять образков над его кроваткой... Ну, подошел я к бедной девочке; вижу,— притворяется, что спит, а сама дрожит. Наклонился я, этакий братский поцелуй ей в лоб...

— Глава пятая: поцелуй разбойника,— вставил Шацкий.

— Врешь, Миша: чистый, святой поцелуй... Она плачет... сам плачу... жалко... Девочка совсем ведь еще... В это время кухарка и успела, подлая, сбегать к дворнику... Вышел я опять на свой пост, заглянул я в кухню: сидит. Я говорю ей: «Ты не бойся!»Она говорит: «Да мне что ж бояться, когда душенька моя ни в чем не повинна».— «Верно»,— говорю. «Да вы бы, говорит, сударь, тоже бы оставили это дело».— «Ну, нет, говорю, за такие советы ответить можешь и ты, потому что я и пьян, может быть, и сам не знаю, что могу сделать». Замолчала, как в рот воды набрала, и не смотрит. Постоял я и ушел. Тут вот немножко уже не помню. Помню, какой-то разговор с ней на лестнице был. Вдруг звонок... смотрю: дверь внизу отворяется... один городовой, другой, пристав... а сзади капитанишка с женой. Пристав уговаривать меня начал, а я кричу ему: «Кто подойдет — убью!» Вдруг сзади, чувствую, схватило меня несколько человек, спереди городовые подоспели, пристав на меня... отняли нож... барыня подскочила

да за волосы меня, а сама визжит благим матом. Отцепили ее, а капитанишка, белый как стена,— знает, мерзавец, в чем дело,— урезонивает ее: брось, брось! Ну, тут я не выдержал и говорю: «Сударыня, вот вы все о чертях беспокоитесь, а не видите, что с чертом живете». Он как заорет: «Ведите его в участок, ведите в участок».— «В участок я, говорю, пойду, а вы все-таки, господин,— подлец, с нянюшкой вашей подлость сделали». Мадам: «Ах!» А он кричит ей: «Да не верь же ты ему, видишь — сумасшедший».

— Ну?

— Ну, го-го-го. Я ему этаким дьяволом расхохотался в глаза. А тут меня тащить стали...

— На другой день,— перебил его Шацкий,— сплю я, стучат в дверь: полицейский. «Господина Ларио знаете?» — «Знаю!» — «Сидит за покушение на убийство в Василеостровской части». Поехали, сидит. «Можете удостоверить личность этого господина?» — «Могу».— «Можете взять на поруки?» — «Могу...» — «Извольте». И вот... как видишь... привез его. «Я, говорит, все-таки паршивого капитанишку убью». Что ж мне с ним делать? Раздевайся...

Ларио, прищурившись, смеялся.

— Теперь вот он смеется, а неделю тому назад... И главное — на вид бык, а нервы, как у бабы... Познакомился я и с капитаном и с женой — очень милые люди. Ездил вещи этого подлеца брать.

— А что ж жена, по-прежнему, осталась с мужем? — спросил Карташев.

— Конечно.

— И нянька там?

— И нянька. Капитан расхваливает и его, одно, говорит, несчастье: сумасшедший. Ну, и я, конечно: «Да, да, сумасшедший». Очень, очень приличное семейство. Отказались от обвинения: сам капитан уладил в полиции все дело. Ну, вот...

Шацкий отбросил руку по направлению Ларио.

Ларио в это время, пригнувшись, перебирался с дивана на кресло и оттуда на кровать. Добравшись до кровати, он свернулся в клубочек и сказал:

— Хорошо, Миша.

— Шурочку бы еще?

— Что ж, не мешало бы.

— Что, наконец, выйдет из этого господина? — спросил Шацкий.

— Дурак ты, Миша,— ответил равнодушно Ларио,— ничего не выйдет...

— И как же тебя опять рекомендовать?

— Порекомендуй меня, Миша, к честным людям и ничего не бойся...

— К Марцынкевичу тебя только и рекомендовать.

— С удовольствием, Миша.

Ларио стал вертеться и рычать.

— То есть зверь, а не человек.

— Го-го-го!

— Нет, этот человек... и катар... и экзамены... все это убьет меня...

— Опять животик заболел, Миша? Не падай духом: все перемелется, мука будет...

Шацкий положил голову на руку и смотрел опять уныло и расстроенно в пол.

— Зачем ты в самом деле отравляешь себя,— сказал Карташев,— ешь колбасу?..

— Что ж мне есть больше? — капризно, с детским раздражением спросил Шацкий,— и на колбасу нет денег.

— А твои экзамены как?

— Что ж экзамены? Я и сам не знаю, как их в этой обстановке выдерживаю.

— А ты, Ларио, не держишь совсем?

— Совсем...— Он поднялся с кровати и вдруг закипятился.— Странно даже задавать такие вопросы: что ж я, в подштанниках, что ли, пойду их держать? Он же заложил все.

— Я виноват...

— Тебя никто не винит, но факт... лекций нет, одежи нет, жрать нечего...— Ларио опять лег, повернулся к стене и добавил:— И самое лучшее, если ничего нельзя переделать, нечего и сил тратить: спокойной ночи.

Немного погодя по ровному дыханию Ларио ясно было, что он действительно заснул.

В окно смотрели какие-то однообразные, серые, унылые, точно преждевременные сумерки.

— Пора домой,— тихо сказал Карташев, нарушая молчание.

Шацкий поднял голову.

— Ну что ж, едем,— устало ответил он,— если крест и альбом даешь... Завтра опять экзамен: на всю ночь засяду.

— Ну, однако, ты совсем так сорвешь себя.

Шацкий фыркнул.

— Не в этом счастье, мой друг... Пожалуй, салоп лучше надеть...

Он ушел в кухню и возвратился в салопе горничной.

Грусть его маленького больного лица еще сильнее подчеркивалась его комичной, высокой фигурой в женском пальто.

Карташеву хотелось сострить, но он не решился.

— Идем,— позвал Шацкий.

Они молча спустились на улицу.

Проходя мимо освещенного подъезда главной лестницы того дома, где жили Шацкий и Ларио, Шацкий остановился перед стоявшим у подъезда швейцаром.

— Ну что? — спросил он швейцара.

— Не говорил еще. Да уж не беспокойтесь,— что можно будет, сделаем,— ответил швейцар.

— Вы уж, пожалуйста...

— В чем дело? — спросил Карташев, когда они отошли.

— Дельце одно... Петьку, подлеца, пристраиваю. Одно семейство за границу собирается,— вот я и хочу Петьку с ними послать.

— Как же ты его пристроишь?

— А вот через швейцара... Очень милый человек... познакомился с ним и узнал...

— Как же это ты познакомился с ним?

— Мой друг, что ты допрос снимаешь? — быстро ответил Шацкий,— знаешь, и деньги есть. Этот Ларио... он меня окончательно убивает... А если бы еще знал, что я продаю его вещи... Ведь все наново покупать придется: какой это процент? И на него же идет...

— Отчего же ты продаешь?

— Да потому, что в кассе мало дают... Я и свои все вещи продал.

— Главное, и я ничего не имею... Может быть, впрочем, я буду скоро иметь...

И Карташев рассказал о своем писании и о своей снесенной в редакцию рукописи.

— Все деньги тебе...

— Mercі,— улыбнулся Шацкий.

— Ты не шути, Миша, а вдруг...

— Крест золотой?

— Да, с эмалью.

— Едем...

Приятели наняли извозчика и поехали.

— Об деньгах и думать даже не стоит,— говорил на извозчике Карташев,— все ведь это такие глупости...

— Ну, нет, мой друг, именно без денег все глупости...

Между приятелями завязалась беседа, что называется, по душе.

Шацкий, что бывало с ним редко, был не только серьезен, но и определенен. Ему хотелось высказаться, и он говорил с своей обычной быстротой и живостью. Только мгновениями, когда его схватывали колики, он кривился и замолкал.

— Васька Корнев считает меня, конечно, так чем-то... явлением понятным, но грустным... Мой друг... таких, как я, сто миллионов; таких, как Васька, ну... сто тысяч... Во всяком случае, place à moi [1], и если он себя считает вправе меня игнорировать, то он должен признать по крайней мере и за мной это право... Постой, постой... а следовательно, Васька сам по себе, а жизнь сама по себе... И эта жизнь в полном противоречии со всеми Васькиными теориями: знать их не хочет... А Ваське жить надо в этой же жизни... Как ему жить? По-своему? Он знает, что его к вечеру же упрячут... и хорошо еще, если только в сумасшедший дом,— там хоть говорить можно все и кормят,— а то ведь и хуже еще может быть... Спрятать свои идеалы и кое-как у этой же жизни свой кусок хлеба отбирать?.. И со

---

[1] место за мной *(франц.)*.

смертью в душе волочить свое раздвоенное существование... вся энергия подорвана... жизни нет... Следовательно, прежде чем ставить себя в безвыходное противоречие, надо обеспечить себе по крайней мере ну хоть свободу действий. Надо платить за все, и за право быть честным прежде всего... А то: «Что вам угодно?» — «Я желаю поступить на службу».— «Ваш образ мыслей?» — «Мой образ мыслей... мой голодный желудок...» Глупо и пошло...

— Ну, уж и пошло...

— И все это понятно... Собственно, у нас масса еще совсем не образованна, а отдельный кружок за облака ушел... ушел так далеко... ну, вот, за веревку тянут,— не там тянут, где привязана она, а там где-то за конец... Пожалуйте тянуть поближе, а не желаете, возьмем других людей, которые даже лучше, если не знают этих: а-а-а... Понимаешь?

— То есть, значит, образованных людей не надо?

— Если эти люди ушли так далеко от остальной массы, то что ж в них толку для данного момента? Они не работники, у них нет точки приложения... Ну, вот Вася... Может он что-нибудь делать из житейского? Нет... Сомневающийся Вася ничего не может... И все-таки этот еще робкостью хоть своего характера возьмет. А возьми такого, который захотел бы быть последовательным, не лгать, не фальшивить.

— Так и надо, я думаю, стараться.

— Ну, вот, старайся. Ну, вот, представь себе, этот самый капитанишка, у которого Ларио жил, проснулся бы однажды и захотел быть вдруг справедливым и последовательным... жене признался бы про няньку, детям объяснил бы, что он из-за них же взятки должен брать; доказал бы и им, что ничего другого, кроме негодяев, из них не выйдет; начальству своему объяснил бы, что он вор... Встретил бы на улице нищих, ничего не евших, отдал бы им от них же награбленное... сам бы очутился в таком же положении... пришел бы сам уже к какому-нибудь пузатому трактирщику требовать и себе еду... ему не дали бы... что ж он? повесился бы или убил трактирщика? В тюрьму или в сумасшедший

дом? Ну, он пристроился, а семья, дети?.. И тяни свою лямку: кто способен ее тянуть, тому и место и в жизни, а кто нет — за борт...

Шацкий замолчал.

— Ужасная теория...

— Ничего ужасного... ужаснее сентиментализм, фарисейство, ханжество... делайте гадости, но не называйте по имени... Швейцар? швейцар и швейцар, а будь у него миллион? завтра же пред ним преклонятся... И нечего и морочить себя: можешь приобрести деньги, а с ними и право быть честным, умным, талантливым, право делать что хочешь,— живи; нет — пулю в лоб, и черт с вами.

Карташев смотрел в лицо Шацкого.

— Ты шутишь или серьезно говоришь?

— Я говорю то, что я и сделаю... А Васька никогда ничего не сделает, потому что в нем не один, а два и даже три человека сидят: один — зависимый от всего остального общества, другой — зависимый от кружка, а третий — он сам, раздвоенный, расстроенный... черт знает что...

Шацкий сморщился от боли и замолчал.

Карташев тоже молчал и вдумывался в слова Шацкого.

— Это ничему не мешает,— отвечал Шацкий.— Есть на свете, конечно, «священный огонь»... У кого он есть, так и есть,— деньги не только ему не помешают, а помогут...

— Да, но если я за деньгами погонюсь, то я там и останусь.

— Значит, не священный огонь!.. В Америке для юноши идеалом ставится богатство, и это не мешает быть у них Брет-Гартам... И всей Америке не мешает шагать черт знает как вперед, потому что, само собой, там каждый, делая свое дело, делает этим самым и общее громадное дело... потому что жизнь не богадельня, а мастерская... А что из этой мастерской выходит, об этом и говорит нам Корнев... и это, конечно, поймет такой же новый Корнев следующего поколения с своего маяка, но жизнь и от него уйдет... Для науки это нужно и для прогресса тоже, но для несущейся мимо жизни

c'est bête comme tout... [1] и жизнь идет, как идет, и вперед ее не забежишь, потому что там впереди еще нет никакой жизни... И вот этот, вот, что развалился в военной форме в своей коляске, он лучше подходит к требованию этой жизни, потому что его прет, и он прет без рассуждения...

— И ты его больше уважаешь?

— Я презираю его столько же, сколько и бессильный протест, но я хочу иметь право презирать... хочу иметь свое войско... деньги... и это американец понимает.

— Что ж американцы? их жизнь вовсе уж не такая симпатичная.

— Да?

— А конечно... эксплуатация самая дьявольская.

— Да, да... у нас ее нет... Вот это и есть гнусный сентиментализм и фарисейство: сами гнием на соломе, соломой питаемся, кулачество, с каким не сравнится никакая Америка!.. сами нищи духом, волей, знанием даже нашей действительной жизни... и ни к черту не годимся, а Америка — дрянь... не симпатичны... Факир индийский — недосягаемый идеал для нас: у того хоть мужество есть — прямо лечь и лежать, отказаться от всего. Глупо, глупо все это... Презрение к подлецам вообще, а в частности у такого же подлеца в услужении?.. нет, мой друг, слуга покорный... Приходи, когда у меня будет несколько миллионов, я тебе с удовольствием один дам на газету, а вы, как тараканы на морозе, полопаетесь... но жалкой, зависимой роли я не желаю играть... Не желаю!! Не желаю!!

Шацкий так закричал, что, если бы не грохот мостовой, на него бы все оглянулись. Но мостовая грохотала, ехали экипажи, телеги, звонили конки, шли прохожие, и приятели продолжали изливать друг другу свои мысли.

— Но каким же путем ты хочешь нажить миллионы?

— Ну, подрядчиком сделаюсь, когда кончу курс.

— Надо знать же это.

---

[1] это глупо, как всё... *(франц.)*

— Узнаю... Надену смазные сапоги, поступлю в десятники.

— Ты? — граф, лорд?

— Буду и графом и лордом — чем захочу... и ты будешь считать за честь сидеть у меня в кабинете.

— И будешь мошенничать на подрядах, подкупать, раздавать взятки?

— Постой... Виктор Гюго нажил миллион своим писанием?

— Ну?

— И не он один. Граф Толстой сотни тысяч нажил... Это уж самый идеальный мир. Однако ж не стеснились взять с людей потому только, что могли это сделать. Почему же я буду конфузиться, если я тоже могу? И я ничем не торгую, а те своими идеалами торгуют. Возьми, чтоб хватило на жизнь: нет, он миллион берет. И все за честь для себя считают хоть посидеть рядом за тем столом, где сидит этот гений...

— Именно за то, что он гений.

— Ого! Почище гению, Пушкину, за это самое всадили пулю, за то только, что авторитет своего гения не мог поддержать презренным металлом. Не хватало средств, а жена, жизнь, вся обстановка тянет. Первый предлог, и готово... нет, mon cher, все это глупо... Представь себе, что все — Корневы: мы бы все и сдохли бы с голоду, замерзли бы на улицах. А вот надо нам всем деньги — и кипит дело: и едим, и освещение, и дома, и театр, и коляски: только приготовляй побольше... и мне скажут спасибо. Памятник поставит потомство... да, да... Черт знает как далеко ты живешь... у этой дуры салоп подбит не ватой, а воздухом.

— Теперь уж недалеко.

Когда подъехали к квартире Карташева, Шацкий, не слезая с извозчика, проговорил:

— Ну, выноси скорее.

— Зайди.

— Ты вежлив, но... можно мечтать, сидя в салопе своей горничной, о миллионах, но смущать этим салопом мирных обитателей... мой друг, у меня еще будет время смутить их. Да и ты сам, как ни вежлив, но

затрудняешься в настоящий момент, как быть тебе с своей горничной при моем появлении в этом виде.

— Я? вовсе нет...

— Тёма, Тёма, как ты прозрачен... Но утешься: Корнев еще больше твоего смутился бы.

— Чудак... Ну, хорошо, я сейчас вынесу тебе.

— A la bonne heure. Послушай, карточки из альбома не вынимай, а то ничего не дадут.

— Там же портреты матери, сестер... Ну, хорошо... только не потеряй.

В комнате Карташева сидел Корнев.

— Шацкий здесь, сидит на извозчике,— говорил Карташев, вынимая георгиевский крест отца и альбом.— Нужда у них с Ларио. Его прогнали... Ларио в одном белье... Шацкий все с него продал и с себя все... сидит в салопе горничной на извозчике и больной совсем...

— Хороши!

— У меня тоже денег нет, вот это заложит... звал его сейчас зайти — не хочет.

— Ну, и пускай уезжает себе.

— На извозчике мне всю дорогу теорию практики жизни излагал....

— Вот как... Послушай, у меня есть деньги, но на время...

— Я недели через две получу...

— Так возьми... сколько?

— А сколько ты можешь?

— Пять рублей могу.

— Давай...

Карташев выбежал к Шацкому: передал ему альбом, крест и пять рублей.

— Заходи,— повторил еще раз Карташев,— Корнев здесь, посидим.

— Мой друг, нам с Корневым нечего делать... кланяйся ему. Спасибо...

— Прощай.

Карташев посмотрел еще вслед отъезжавшему Шацкому, худому, сгорбленному в своем салопе, и пошел в дом.

Корнев принес новости. Иванов попался.

— Я боюсь за Моисеенко,— раздумчиво говорил Корнев.— А у вас в университете...

— Я ничего не слыхал.

— В триста человек, говорят, собралась толпа ваших студентов.

— Когда?

— Да ты ходил на лекции это время?

— Все-таки ходил... ничего не было.

— Было.

— В чем же дело?

Корнев рассказал в общих словах.

— Мне это рассказал ваш же студент... расспрашивать подробности неловко было; на лбу ведь не написано; может, заподозрит еще — для чего мне надо это знать?

— Вот из-за этого и я стесняюсь: вдруг примут черт знает за кого... Приснится, а потом и ходи, пальцем на тебя станут показывать... я уж и молчу... У нас много таких, от которых сторонятся, да в сущности каждый на другого так смотрит, наверно: в душу ведь не заглянешь.

— Занимаешься?

— Зубрю...

— Тоска смертная... То есть ни читать, ни заниматься, рад был бы очень, если бы отнесли уже на кладбище, право... сразу хоть конец...

Корнев потянулся, прошелся по комнате, лег на кровать и запел:

— Со святыми упокой...— Он оборвался.— Ну что ж, Тёмка, скоро и домой... как там...— Он озабоченно принялся за ногти.— Найдут ли в нас перемену? Мне кажется, я постарел лет на двадцать.

— А я сегодня, Васька, стащил-таки свою повесть в «Дело».

— Да?

— Сказали, через две недели.

Корнев молча грыз ногти.

— О чем? Есть черновик?

— У переписчицы остался.

Карташев передал содержание своего рассказа.

— Хорошо написан? Доволен?

— Кто его знает? Кажется, хорошо...

— Да у тебя как-то больше веры, что ли, в жизнь, а я положительно начинаю скисать... Ну, что в самом деле? Так жить, как надо, нельзя, очевидно... жить жизнью изо дня в день не можешь... положительно завидуешь этим, что лезут очертя голову.... и верят, вот что главное...

Карташев начал излагать теорию Шацкого.

Корнев с презрением слушал.

— Ну-с, это уж совсем ватерклозет,— заметил он, махнув рукой.— Для этакой жизни, чтобы все общество ею прониклось, надо еще по крайней мере в течение двух поколений операцией заниматься... Нет, конечно, я верю, что вовсе не к тому идет дело, но и не так уж быстро оно идет, чтобы мозоли готовить.

— Как мозоли?

— Марья Васильевна на днях говорила, будто я рискую, что у меня на руках нет мозолей...

— Я не понимаю.

— Ну, вот, такое время приближается, что все должны будут работать... белоручек не будет...

XXI

Недели через две, в начале мая Карташев отправился в редакцию узнать о судьбе своей рукописи. В этот же день начинались экзамены первой группы его курса у знаменитого профессора. Первоначально Карташев хотел держать именно в первой группе, чтобы скорее ехать домой, но «повесть» отняла много времени, и Карташев перенес экзамен в пятую, последнюю. После редакции он решил зайти в университет, чтобы присмотреться, как экзаменуют, что спрашивают и на что особенно следует ему поналечь. Непройденных оставалось у него всего три последних листа из восьмидесяти четырех листов всего курса. Таким образом, положение дел с университетскими экзаменами обстояло почти блистательно и нимало не тревожило Карташева. Зато волновало, что сегодня ему скажут в редакции.

Быть или не быть? Примут или не примут — одинаковое количество шансов и за и против, и если в данное мгновение охватывало тоскливое предчувствие, что не примут, то дома следующего квартала были такими же свидетелями откуда-то вдруг появлявшейся надежды. Радость, впрочем, и не могла не охватывать: весеннее утро было полно кругом непередаваемой прелести. В парке уже тонкой, прозрачной паутиной нежных листочков окутались деревья, прозрачный туман быстро исчезал в молодых лучах солнца, вдали сверкали какие-то неясные образы — смесь действительности, аромата весны, яркого утра; крупные капли росы еще горели на выбегавшей молодой травке; легкий ветерок, играя, закручивал пыль улицы и уносил ее легко и беспечно далеко вперед.

Сверкнула Нева, могучая, плавная, в дымке тумана, в лучах солнца. На левой стороне ее оставалась тихая, спокойная, как городок провинции, Петербургская сторона с высоким шпицем Петропавловской крепости; по правую — росли один за другим в неподвижном величии громадные многоэтажные дома. Дворцовая набережная, гранит, Летний сад, часовня у входа; яркое утро, нарядные дамы, их кавалеры: военные, штатские в цилиндрах, цветных перчатках, с покроем платья и манерами, которые говорили о чем-то недосягаемом, о другом каком-то мире. Будет ли он, Карташев, когда-нибудь своим в этом обществе? И что лучше: быть в этом обществе или чтобы приняли в редакции его рукопись? Конечно, чтобы рукопись приняли... Последнего ли фасона платье, нарядное или нет, но все это только достояние ведь червей и прах земли. Время смахнет их, и ничего для памяти людей не останется, тогда как писатель!.. Да, да, конечно, писатель все, и за это можно отдать жизнь, радости, счастье.

Сердце Карташева на мгновение замерло в непередаваемом восторге, что он, Карташев, может быть, уже писатель и, следовательно, уже выше всей этой прозябающей толпы.

О, какой чудный аромат, как искрится река, и воздух, и синее чудное небо: точно юг. И последние полосы тумана исчезли, и вся даль, как умытая, яркая,

вырисовалась и застыла в неге и истоме лучистого дня. Только нет белых маркиз юга, нет моря, нет еще чего-то, чего не заменит весь блеск этой нарядной картины... Ах, если он имеет право жить, как хочет, он не будет жить здесь в Петербурге: он уедет назад к себе, в степи, к морю... Странно: когда он жил тогда на своей родине, его так тянуло к северу, к угрюмой зиме; ему казалось, что он не любит юга, а теперь, теперь он чувствует, как замирает от радости его сердце, от мысли, что скоро он опять уж будет на родине... и будет уж студентом второго курса, бросил курить, писатель... слишком много, слишком много счастья...

Карташев с замиранием вошел в контору редакции.

— Не принята! — лаконически, резко, чуть не крикнул ему прежний господин с острым взглядом, возвращая рукопись.

Карташев что-то хотел спросить, но мысли вихрем закружились в его голове, закружилась редакционная приемная, и только неподвижно, точно злорадно все смотрел, пронизывая, тот господин, что возвратил рукопись. «Здесь все кончено»,— промелькнуло в голове Карташева, и вместо всякого вопроса он поспешил, как можно скорее, выскочить на улицу, с ощущением человека, получившего что-то вроде пощечины.

Он спрятал рукопись и быстро пошел с единственной заботой, чтобы никто не догадался, что именно произошло с ним. Он и сам не хотел думать об этом. Ясно одно: случилось что-то большое, нехорошее, что навсегда запирало перед ним дверь иной, какой-то высшей в сравнении со всей этой толпой жизни... Отныне надо навсегда помириться с жизнью этой толпы. И сердиться даже не на кого: не вышел номером, и конец. Ну, что ж, живут же люди, и он, Карташев, такой же, как они... Такой же, конечно; но на душе больно и пусто, и, кажется, нет тех жертв, которых не принес бы он, чтобы иметь право входа туда, куда так тянет... Но никому его жертв не надо, все идет, как идет, все с виду спокойно и благодушно, как этот весенний день, как эта праздничная толпа, все, что называется жизнью и что порой так сразу, вдруг и так страшно оскалит свои зубы.

Карташев пошел по Дворцовому мосту. Здесь почти уж не было пешеходов, здесь можно было уже думать, не боясь, что кто-нибудь прочтет его мысли, и Карташев, дав себе волю, стал напряженно вдумываться во что-то. Во что? Что такое жизнь вообще и почему его рукопись не приняли в частности. Не все ли равно? Но если нельзя жить так, как хочется, то стоит ли жить? И жить не стоит, и умереть — не умрешь только оттого, что хочется этого. Хорошо было бы, если бы можно было умереть от одной мысли, что хочу умереть; подумал только — и нет уж тебя, исчез сразу, как дым, как мысль...

Карташев, пройдя Дворцовый мост, пошел к университету.

Он шел устало, прищурив один глаз и смущенно избегая взглядов прохожих.

«Лучше было бы и не пробовать писать: по крайней мере думал бы, что захотелось, и мог бы стать писателем».

Масса студентов. Сидят на скамьях, стоят у дверей. Перед скамьями маленький стол, за которым посередине сидит старый профессор, по бокам его ассистенты. У окна студент с программой обдумывает свой вопрос, перед профессором в кресле сидит другой студент. Ничего официального, все так просто. Студент что-то говорит, а профессор угрюмо слушает.

— Я,— говорит профессор,— все-таки не могу понять, почему идеалиста Гегеля опять сменяют материалисты Бауэр и Фейербах?

Студент напряженно трет лоб.

— Господствовавшее тогда движение,— говорит смущенно студент,— в обществе, отрицание основ религии не могло не сказаться...

— Позвольте,— резко перебивает профессор.— Я понимаю, можно не знать, потому что не подготовились, можно и читать — и не схватить сути, но так прямо быть уверенным, что все, что бы вы ни сказали людям, всю свою жизнь посвятившим изучению данного вопроса, сойдет... на что тут можно надеяться?!

Профессор энергично заерзал и, уткнувшись в журнал, угрюмо проговорил:

— Я не могу признать ваши ответы удовлетворительными.

Отвечавший студент вспыхнул и, беззвучно поднявшись, быстро исчез из аудитории.

Карташев внимательно слушал. Он так бы ответил: сила в том, что абсолют вне нас, и роль человека при таком положении так ничтожна, такой рок... Фейербах же — последнее слово науки,— центр тяжести перенес в ум человеческий,— воля в нас, в человеке... наш русский философ обосновал эту личность, как властного царя жизни... «Ах,— подумал Карташев,— если бы мне этот билет! И зачем идут, когда не знают? Действительно, глупо! на что надеяться? не гимназия же: только себя конфузят».

Старый профессор все сидел угрюмый, не вызывая нового и не начиная спрашивать очередного, уже успевшего обдумать свой вопрос.

— Так понижается уровень развития,— повернулся профессор к ассистенту,— что еще немного — и придется или оставить чтение лекций, или читать по особым учебникам...

Он наклонился к списку.

— Господин Карташев! — глухо понеслось по аудитории.

Карташев замер, вспомнив только теперь, что он, решив держать в пятой группе, забыл переписаться. Идти или нет? трех билетов только не знает. Боже мой, но разве он не привык рисковать на экзаменах? И когда раньше он был так подготовлен, как теперь?

Карташев уже подходил к столу, где лежали билеты.

— Семьдесят второй.

Всех билетов было семьдесят пять: Карташеву достался билет из последних трех листов.

«Не может быть,— подумал Карташев, отходя к окну.— Это просто какой-то плохой сон... Но что же теперь делать?!» Карташев растерянно сел и начал читать программу.

«Право в объективном смысле... право в субъективном...» — читал он.

И ведь какие легкие всё вопросы: если Гегеля в

конце концов разобрал, то это ведь только раз прочесть... Полчаса каких-нибудь... Но не читал... Зачем он сразу не объяснил профессору, в чем дело! Как это все, однако, глупо...

Карташев уныло сидел, уныло поднимал глаза на аудиторию, полную студентов. На него тоже смотрели. Сейчас он выступит на позорище перед всеми. Если в году смотрели на него и меряли пренебрежительным взглядом, то все-таки оставалась, может быть, тень сомнения,— может быть, он и умный и ученый, может быть, гений даже. Но сейчас уж никакого ни у кого сомнения не будет — он выйдет на свой эшафот, и все узнают, кто он и что он. Но как же все это вышло? Ах, заснуть бы и проснуться в какой-нибудь совершенно другой обстановке, чтобы забыть навсегда, навсегда о том даже, что все это было когда-нибудь... Уехать в Америку, воевать с индейцами, сделаться начальником какой-нибудь шайки авантюристов, разбогатеть и с Шацким вместе опять появиться и всем этим, которые теперь ждут скандала, доказать... Ах, какие это все глупости... Господи, хоть скорее бы... сразу...

Отвечавший студент кончил.

«Надо откровенно признаться,— созрело в голове Карташева решение, когда он садился в кресло перед профессором.— Как удобно сидеть... Эх, лучше бы уж стоять, как в гимназии: знаешь по крайней мере, что начальство — и конец, не стыдно хоть бы было...»

Карташев тихо, мягко начал объяснять профессору, как это вышло, что он не успел прочесть последних трех листов. Он старался придать своему голосу тот испуганный тон, которым привык говорить в гимназии.

— Зачем же вы время отняли? — грубо, с раздражением перебил его профессор.

Карташев подумал напряженно и начал врать.

— Я надеялся, что восстановлю в памяти вопрос по слушанным лекциям.

— Если бы вы хоть раз слышали, вам не составило бы труда ответить... вы надеялись... но я-то здесь при чем?! Теперь вы будете обдумывать новый вопрос, ваш товарищ тоже, а я буду сидеть сложа руки?

«Так он, вероятно, в халате, старая брюзга, брюз-

жит на экономку за плохо выглаженную манишку»,— подумал Карташев и, вдруг переменив тон, ответил:

— Все остальное я могу сразу отвечать.

Профессор совсем огорчился: что-то закипало в его душе; он точно хотел или встать, чтобы уйти, или крикнуть всем этим Карташевым, которые нагло лезут, неподготовленные, неразвитые, изолгавшиеся и изоврашиеся,— что они унижают университет, что alma mater не полицейское управление, где выдают паспорта на жительство. Но профессор только стиснул зубы и несколько мгновений в упор смотрел на Карташева...

— Изучая право,— с подавленным бешенством заговорил он,— вы отказываетесь от определения этого права; могу ли я признать ваше знание удовлетворительным?

— Позвольте мне держать в пятой группе...

Профессор безнадежно отвалился в свое кресло.

— Я не могу...

— Из восьмидесяти пяти листов я не знаю всего трех...

Профессор стремительно и бурно перебросился из кресла к самому носу Карташева.

— Это в лавке... это в лавке торгуются... и меряют аршинами, а не здесь... вы ошиблись, милостивый государь!!

«Милостивый государь!» так же загудело по всей аудитории, как и на первой лекции. Сердце Карташева тоскливо сжалось.

— Я могу только,— опять успокоенно, после долгого молчания, заговорил профессор,— соблюсти формальность закона; извольте брать новый билет.

«Ну и черт с тобой,— подумал Карташев,— по крайней мере хоть студенты увидят, что я остальное знаю».

С лицом приговоренного и озлобленного он вынул новый билет.

— Восемнадцатый: киренаики. Вы сказали, можете не обдумывая отвечать?

— Могу,— раздраженно ответил Карташев.

Карташев начал, но профессор перебил его два раза подряд.

— Позвольте мне,— побелев, как стена, сказал

громко, резко и твердо Карташев,— сперва ответить, а затем уже вы скажете мне свои замечания.

Профессор бросил карандаш и, отвалившись на спинку кресла, подперся уныло рукой.

Карташев говорил уверенно, точно, придерживаясь чуть не вызубренных им лекций. Он говорил, и в памяти его вставало все то, что было и на другой странице, и на третьей, в каком именно углу, и дальше все до конца. Речь его лилась плавно, без запинки, уверенно. И в то же время он не переставал чувствовать всю боль своего незаслуженного унижения, голос его дрожал, и, отвечая, он не смотрел на профессора.

— Это вы знаете... довольно...

У Карташева отлегло на душе, боль и оскорбление сменились опять надеждой на благополучный исход. Профессор обдумывал что-то, а Карташев внимательно, уже извиняясь глазами за свой и за его резкий тон, смотрел ему в глаза. Но маленькие глаза профессора горели из-под нависших седых бровей и смотрели куда-то в угол аудитории.

Он оторвался, наконец, от каких-то своих мыслей и устало, нехотя, угрюмо произнес:

— По закону вам полагается еще три вопроса...

Карташев замер.

— Что такое право в объективном смысле?

— Профессор, я как раз от этого вопроса отказался,— как мог мягче и заискивающе проговорил Карташев.

Профессор помолчал и медленно задал второй вопрос:

— Что такое право в субъективном смысле?

Аудитория замерла.

Карташев понял, что его срежут, и молча взбешенно смотрел на профессора.

Профессор встретился на мгновение с ним глазами и, быстро повторив первый вопрос: «Что такое право в объективном сысле?», загремел на всю аудиторию:

— Довольно!!

Он схватил карандаш и сильным взмахом поставил против фамилии Карташева единицу. Не два, а единицу: толстую, громадную, уродливую.

Карташев вскочил, как ужаленный. Кресло его откинулось и упало на пол. Все замерло на мгновение. Казалось, что вот-вот произойдет что-то страшное. Но ничего не произошло. Карташев только хлопнул дверью на прощанье, выйдя в коридор. «Не посмел,— упрекнул он себя и вдруг вспыхнул: — Пусть только выглянет сюда».

Карташев подождал: никто не выходил, и в аудитории царила мертвая тишина.

Вдруг, как огнем, обожгла его мысль, что то, что происходит теперь за этой высокой дверью, там, в аудитории, его больше не касается. Он, как мертвый, уже вычеркнут из списка всех тех живых, что сидят там... но он жив и в то же время... Это он, он, Карташев, переживает всю гадость этого унизительного мгновенья, и от него некуда убежать...

«Не останусь в университете, домой не поеду, буду готовиться в институт путей сообщения»,— бурей пронеслось в голове Карташева.

Он как ошпаренный выскочил на улицу... к той самой толпе, выше которой еще утром хотел быть.

Дома на вопрос, что с ним? Карташев только ответил: «Я получил единицу по энциклопедии», и бросился в свою комнату. Там, давя и глотая слезы, он присел и написал, не раздеваясь, следующую телеграмму домой:

«Срезался, получил единицу, поступаю в институт путей сообщения, домой не поеду и от всяких денег отказываюсь».

Последнее вышло неожиданно. «Надо»,— подумал Карташев и оглянулся: на столе как лежали с утра лекции, так и остались... и конспект с недоконченной фразой: на мгновение даже восстановилась связь с тем уравновешенным удовольствием, с каким он еще сегодня утром вел этот конспект, пронеслось кошмаром какое-то далекое воспоминание о редакции; обнажилась рана и боль всего только что случившегося, боль и оскорбленное самолюбие... Но ведь он учил, он старался, он почти полгода занимался одним предметом... и слезы опять приступили к горлу.

«Ничего, пускай... Делайте что хотите».

Карташев взял телеграмму и вышел на улицу.

Какой-то туман был в его голове.

Теперь все это еще в нем, но это все быстро уйдет из него, как корни какого-то фантастического растения, которые вплетутся быстро и скоро во все, во все отношения его жизни и навсегда останутся, связав все каким-то непреоборимо прочным цементом. И ничто уж не переменится, весь строй его жизни пойдет уж от этого заложенного прочно фундамента... Карташев точно стоял на обнаженном обрыве своей жизненной постройки и, чем-то смутно тревожимый, о чем-то думал... о чем-то большом, бесповоротном, пред чем и он, и профессор, и все это казалось таким маленьким, ничтожным и в то же время таким безвыходным, неизбежным с точки зрения условий данного мгновенья.

«Ничего: буду ремесленником... Пошлю телеграмму, отнесу объявление в газету об уроке... все перемелется... еще с каким удовольствием вспоминать буду!.. жизнь большая штука, и все это такие глупости и мелочи...»

XXII

Наступили жаркие дни. Контраст молодой травы и жары вызывал какую-то особую истому и лень.

Карташев уже подал прошение об увольнении из университета, получил свои бумаги и отнес их в институт путей сообщения.

Накупив гимназических учебников по математике, он опять принялся за то, что считал уже сданным навсегда в архив жизни.

Опять пошли sinus'ы и tangens'ы, бином Ньютона и логарифмы — все то, что так живо вызывало воспоминания о гимназии, о прежней жизни. Это было приятно. Математика своей определенностью и ясностью как бы снова вводила его в знакомое, хорошо исследованное русло. Нет больше тумана от всех этих *абсолютов* и разных неудобопроизносимых *методов*...

Тем обиднее было, что, срезавшись на восемьдесят третьем листе, Карташев узнал, что уже вывесили объявление, что с будущего года новейшие философские

системы совсем не будут читаться при изучении философии права и исследования будут впредь заканчиваться Монтескье.

— Тем лучше,— махнул рукой Карташев,— чем быть плохим юристом, я лучше буду хорошим ремесленником: буду практиком этой жизни...

Тем не менее, несмотря на занятия и самоутешения, невозможная скука томила Карташева.

В открытые окна, раздражая, врывался то зовущий треск мостовой — кто-то куда-то ехал,— то слышался из парка веселый смех, песня, татарин кричал низким басом: «Халат, халат!», разносился тонкий, звенящий голос торговки: «Селедки галански, се-лед-ки!»

Карташев отрывался от занятий и смотрел в окно: вон два парня в парке борются, один повалил другого, и оба лежат на траве, смеются, и не хочется им вставать; солнце заливает своими лучами и улицу и парк; бежит мимо какая-то простая девушка,— глаза возбужденные, живые,— дарит Карташева веселым взглядом и несется дальше в аромате жаркой весны, истомы чего-то, что тянет к ней, к ее веселости, к ее жизни...

Новость. Верочка подвизается на подмостках какого-то загородного театра. Поет шансонетки: зарабатывает, как может, свой хлеб. И он, Карташев, хотел было зарабатывать, но от матери полетели и телеграммы и письма, получил на дорогу и еще получит. И все-таки ничего, кроме долгов, у него нет: квитанции на все вещи просрочены — верно, и продали уж их... Сюртучная пара, стоившая сорок пять рублей, так и пропадает за семь... Эх, если бы тысячу рублей: сделал бы себе все новое, поехал бы на острова, посмотрел бы на Верочку... А может быть, и у него, Карташева, есть актерский талант, и он бы мог зарабатывать... Вдруг — так, шутя — попробует себя, и окажется у него громадный талант. И он знаменитость, все наперерыв его приглашают, во всем мире известен; за каждое представление по пяти тысяч... Эх, надо заниматься...

Когда он так занимался однажды, раздался звонок, и к нему в комнату вошла худая, с плоской, как доска, грудью, горничная Шацкого.

Она подала Карташеву письмо от Ларио.

Ларио писал, что у Шацкого третий день жар, жалуется на голову, которая вздулась, лицо красно, как бурак, пухнет, а сегодня начался и бред.

«Приезжай, потому что черт его знает, что мне делать: он меня заложил, я его,— и теперь мы даже и выйти не можем».

Карташев, захватив с собой все, какие были у него деньги — а было рубля три,— поехал к Шацкому.

Дело было хуже, чем он ожидал.

Шацкий был неузнаваем под водянистым красным колпаком, раздувшим его нос, губы и щеки. Неподвижно лежа, он что-то выкрикивал по временам, что-то говорил непонятное, горячечное. Очевидно, ему рисовалась его домашняя обстановка: он спорил, торговался или ругался с отцом, с зятем...

Ларио сидел на диване в грязном нижнем белье и уныло смотрел, не сводя глаз, на Шацкого.

В доме не было ни копейки денег. Имелся только чай, сахар да несколько папирос — все, купленное на деньги, вырученные горничной от залога вещей заболевшего Шацкого.

— Ну, спасибо, хоть приехал,— обрадовался Ларио,— а то сумно... того и смотри помрет...

— За доктором посылал?

— Понимаешь... к кому же я пошлю?.. кого?.. я сам, как видишь... эта дура горничная...

— Доктора прежде всего надо,— сухо перебил Карташев.

— Конечно, надо,— обиделся Ларио,— и я отлично понимаю, что надо... затем и послал за тобой...

— Надо Ваське дать телеграмму...

Карташев написал телеграмму и отправил ее с горничной.

Ларио сидел молча, обидевшись и надувшись.

— Давно он заболел? — спросил, как мог мягче, Карташев.

— Понимаешь... собственно вчера...

И Ларио торопливо, озабоченно, полузакрыв свои итальянские глаза, начал рассказывать, как и когда началась болезнь Шацкого.

— Понимаешь... эту ночь я почти всю не спал с ним... Голова болит... Черт знает как это все глупо...

— Ложись, я останусь...

— Ты останешься?

Ларио сразу успокоился и удовлетворенно посмотрел на Карташева...

— То есть черт знает как это все тут вышло,— именно только недоставало заболеть ему... Хлеба нет, чаю нет... Заложил его платье...

Ларио развел руками.

— Заложил?!

— Ну, а что ж — с голоду подыхать? И квитанцию положил ему на столике: помрет — ничего не надо, а жив останется — недорого... рубль семь гривен только и дали... Купил три фунта сахару, четверть чаю, колбасы там, хлеба, пять десятков папирос, дал горничной на дорогу к тебе — и все!

Ларио, точно извиняясь перед Карташевым, развел руками.

— Да-а...— раздумчиво протянул Карташев.

Оба замолчали.

Горничная возвратилась с квитанцией от телеграммы, поставила самовар и подала его.

— Ну, а этот урок за границу, о котором хлопотал для тебя Шацкий? — спросил Карташев.

— Понимаешь, опять сегодня приходил швейцар: просил прийти... ну, а как? Вот я хотел поговорить с тобой... понимаешь, хоть бы на время, только сходить...

— Да, необходимо... надевай мое платье,— я ведь все равно никуда не пойду... Разве вот не спал ты?

— Это ничего... Разве пойти в самом деле?

— Иди, непременно иди... Может, задаток дадут.

— Пожалуй, пойду я... Или уж Ваську подождать? До завтра, все равно уж...

— Нет, нет! сейчас надо... Завтра уж могут другого взять.

Ларио совсем было оделся и опять нерешительно проговорил:

— Неловко, знаешь...

— Что ж, Петя, с голоду же иначе сдохнешь...

Ларио вскипел и с отчаянья только рукой махнул.

— То есть черт знает как не люблю я шляться так, вот к этаким... Была у меня квартирка; как-никак голубя поймаешь, и черт с вами со всеми...

— Лишь бы дело выгорело! — выпроваживал его оставшийся, в свою очередь, в нижнем белье Карташев,— а там опять заведем и голубей и коляску...

Ларио ушел, а Карташев остался с Шацким.

Шацкий чаще вскрикивал, громче говорил что-то и становился беспокойным. Карташев позвал горничную, горничная привела хозяйку, и они втроем стали совещаться, что может быть у Шацкого. Бледная, изнуренная хозяйка, с преждевременно старческим лицом, растерянно смотрела своими добрыми голубыми глазами на Шацкого и говорила осторожно, точно пугаясь собственных слов:

— На рожу похоже... если мелом прикладывать... да сахарной бумаги...— Она вздохнула, сделала страшные глаза и кончила: —А все лучше доктора...

— За доктором я послал... А хуже не будет, если мы начнем прикладывать наши средства?

— Не знаю... не с чего бы... еще красной фланели вот прикладывают...

Карташев, лежавший под одеялом, чтобы прикрыть свою наготу, приподнялся:

— Так давайте будем делать, что можно...

Нашли мел, бумагу, красную фланель. Карташеву пришлось оставить кровать, и он, извинившись за костюм, встал. Хозяйка на его извиненья только махнула рукой: все перевидала она на своем веку, и ей даже не интересно было, как это вышло так, что Карташев тоже очутился в одном белье. Очевидно, так надо, или такова уж эта комната, что все остаются в одном нижнем белье.

Прошло еще два часа. Обвязанный Шацкий заметался сильнее, все порывался встать, чтобы куда-то идти. Карташев постоянно укладывал его и, наконец, поместившись с ним рядом, осторожно обхватил его и слегка придерживал. Шацкий успокоился и лежал опять неподвижно.

Наступила майская белая ночь. Карташев лежал рядом с Шацким и думал, что хорошо бы, если б зажгли

лампу; думал, куда мог деваться Ларио; думал, не умер ли уж Шацкий, как вдруг раздался резкий звонок, и громкий чужой голос спросил:

— Здесь больной студент?

«Слава богу! — подумал Карташев, вставая и зажигая лампу,— хоть вечером приехал: подумает, что я уже разделся».

Вошел молодой брюнет с черными густыми волосами, более длинными, чем обыкновенно носят; бросил свое пальто и шляпу; вытянул манжеты и, широко разведя руками, точно его что-то давило, обратился к смущенно поднявшемуся к нему навстречу Карташеву:

— Вы больной?

— Нет, вот на кровати больной...

— А-га...

Шацкий вдруг заметался и громко закричал:

— Капитанишка!

Карташев не удержался от улыбки.

— Это кого он? — мимоходом бросил ему доктор, снимая бумагу и фланель с Шацкого.

— Тут один был...

— Вы тоже студент?

— Да... то есть я был на юридическом, но срезался...

— Вы бы в доктора...

— У меня не лежит душа: вечно с больной стороной людей возиться...

— Да, это конечно... Кто ж это надоумил вас опутать всей этой дрянью больного?

Карташев рассказал.

— А что, не надо было?

— Да ничего... Дайте-ка сюда лампу...

Доктор молча осмотрел лицо и голову Шацкого, поставил термометр, выслушав пульс, сердце, и, глядя на часы, сидел и ждал, придерживая руку Шацкого.

— Рожа,— наконец, категорически заявил он.

— Это опасно, доктор?

— Н-да... у вас нет царапин? Надо немного... беречься... заразительно.

Карташев стал осматривать себя: нашлась царапина на руке, какая-то ссадина на лбу. Он показал и с тревогой посмотрел на доктора. Доктор сделал гримасу.

— Я вам дам на всякий случай дезинфекционное средство... Хотя все-таки, как врач, я должен предупредить вас... что не гарантирую вам полную безопасность.— Он посмотрел на смутившегося Карташева и спросил пренебрежительно:— А вы боитесь смерти?

— Н-нет... особенно если без мучений, я согласен, хоть сейчас...

— Без мучений...

Доктор вынул термометр из-под мышки Шацкого, сморщился и пошел к столу.

— У больного средства есть?

— Д-да,— ответил с некоторым усилием Карташев.

— Недели три протянется... вы с ним и живете?

— Да... то есть я теперь буду жить.

— Дайте мне чернил и перо.

Карташев нашел бумагу, крикнул горничную, и та принесла перо и чернил.

Доктор прописал лекарство, поднялся, протянул руку Карташеву и, почувствовав в своей руке два рубля, пренебрежительно, но бесповоротно оставил их в руке Карташева.

— Это уж я с вашим больным рассчитаюсь... Завтра часам к двенадцати буду... Корнев просил вам передать, что завтра после экзамена зайдет...

Доктор ушел. Ларио все не было. Где он мог пропадать? Мало ли что могло случиться? Вывеска упала на голову, упал и сломал ногу, мог упасть как раз затылком и разбить себе голову так, что и не пикнул... Лежит теперь где-нибудь под рогожей... А может быть, он встретил своего капитана?! Карташев замер при этой мысли: вероятнее всего, так...

Горничная принесла лекарства, и Карташев согласно наставлениям проделал с Шацким все, что требовалось. Ему хотелось спать, но он боялся заснуть: Шацкий в бреду мог выскочить из комнаты, мог опрокинуть лампу. Комнату можно запереть, лампу потушить; но Шацкий мог выброситься в окно... в бреду это так легко... мог, наконец, и его, Карташева, задушить: мало ли что ему могло прийти в голову.

По приказанию доктора, Карташев сообщил хозяйке, что болезнь заразительна и чтоб она предупредила

квартирантов. В соседней комнате уже укладывался какой-то старичок, чтобы ночью же переехать в гостиницу. Хозяйка тоскливо вздыхала:

— Вот такая и вся моя жизнь: за какое дело ни возьмусь, все еще хуже выходит!

Карташев утешал ее, что ей будет за все заплачено.

— Только и остался студентик в крайней комнате...

Среди ночи, в ожидании Ларио, Карташев и не заметил, как уснул, сидя на диване, с отпертой дверью, горевшей лампой и незапертым окном. Что делал Шацкий ночью, никто не знал, а утром, когда Карташев проснулся, он увидел его спавшим рядом с ним на диване. Голова Шацкого лежала на ногах Карташева, ноги его свесились на пол. Шацкий точно сидел, задумавшись.

Ларио не было. Стоял жаркий беззвучный день, голубое небо заглядывало в комнату с большой, выступом, печью. Было тихо, как в камере тюрьмы, куда не долетает извне ни одного звука. В соседних комнатах, во всей квартире была тоже мертвая тишина.

Одиночество, пустота, соседство безумного, свое собственное безвыходное положение,— что делать? Нечего делать: ждать Ларио, ждать Корнева, напиться чаю, дать лекарство Шацкому и, пользуясь тишиной, почитать что-нибудь. А то разве попробовать написать еще что-нибудь? Нет, нет, незачем и растравлять свою рану...

Карташев увидал на нижней полке книгу и по формату ее сообразил, что это не учебник. Книга оказалась сочинением Вальтер Скотта «Карл Смелый», с биографическим очерком автора.

Он осторожно встал, позвал горничную и вместе с нею кое-как перетащил Шацкого на кровать. Шацкий совсем ослабел за ночь и почти не мог двигаться. Он стал еще уродливее, сильнее вздулось лицо, и только левая половина у рта сохранилась нормальной, напоминая прежнего Шацкого. Дав лекарство, Карташев через горничную переговорил с хозяйкой и занял соседнюю комнату. Он открыл туда дверь, пил чай и читал биографию Вальтер Скотта... И Вальтер Скотт жил в прозаической обстановке, был в долгах, был вообще таким же человеком, как все, так и смотрели на него все. Только под старость уж пользовался он славой, но так и

умер в долгах... Да, да, очевидно, эта жизнь обычная, одна, и рядом другая какая-то жизнь, и если бы Вальтер Скотт не жил этой иной жизнью, он не мог бы и писать того, в чем столько мысли, чувства, красок... Да, что-то такое есть в жизни, есть какой-то ток, какая-то сила, которая в таком писателе, как Вальтер Скотт, собирается в своем чистом виде, усиленно горит, светит и тянет к себе людей... как маяк... Уж нет Вальтер Скотта, а мягкий огонь его маяка все горит, все светит людям... Но ведь не все Вальтер Скотты... Конечно, не все, но капля у каждого есть... Весь мир не переделаешь, но в своем уголке можно много сделать... Его, Карташева, уголок теперь — его новое ремесло, круг его деятельности небольшой, но может быть производительным, а там остальные пусть, как знают... лишь бы он был хорошим...

«Пороки зависят от порядков эпохи, а не от человека,— вспомнил он и подумал:— а китайцы говорят, что от одного хорошего человека уже весь мир делается лучше. Так это или не так? Но надо же на чем-нибудь остановиться: при «Saeculi vitia» [1] складывай руки, нет точки приложения для своего идеала, но у китайцев, при их добром человеке и этой отдельной работе каждого, сколько тысяч лет все только одна проза жизни, все один навоз, а того, чего-то иного, высшего, что есть у гениев культурного человечества, нет и нет, и все пошло, тоскливо... И у нас, когда рвались к этим гениям, была и сила и мощь, а теперь реакция... Вот Рыльский пишет Корневу, что и Иванова движение реакционное... да и я, собственно, срезался ведь, если говорить откровенно, действительно же просто потому, что не подготовлен понимать идеи этого самого Запада... А какую-то идею надо, ну и валяй с плеча свою Америку; вот эти все Ивановы... и я такой же, и нет рамок, гарантирующих от путаницы на всю жизнь. Блуждать в каких-то потемках!..»

Карташев уперся в какой-то угол со своими мыслями и принялся за «Карла Смелого».

Иногда он отрывался от чтения, возвращался к действительности, в сердце точно кто-то вонзал иголку, и он думал: «Да где же Ларио?!»

---

[1] Пороках века (*лат.*).

Раздался звонок: «Вот он!»

Но это был Корнев с какой-то дамой. Карташев, выглянувший было в коридор, поспешно спрятался.

— Вы подождите, Анна Семеновна...

— Кто это? — спросил озабоченно Карташев вошедшего Корнева.

— Горенко... одевайся...

Этого только недоставало! Карташев оживленно рассказал Корневу о своем положении. Горенко провели в соседнюю комнату, и Карташев рассказал и ей через дверь всю правду.

— Есть одно только спасенье,— говорил он,— если я надену салоп горничной, но и тогда я все-таки буду босой.

— Да ерунда, иди,— махнул рукой Корнев, сидевший у кровати Ларио.

— Идите, конечно,— усмехнулась Горенко.

Через несколько мгновений Карташев вышел к Анне Семеновне.

— Как вы выросли! — могла только сказать Горенко, удерживаясь от смеха.

Карташев стоял перед ней, высокий, в длинном салопе, в носках, и сконфуженно смотрел своими наивными, растерянными глазами. Горенко кусала губы.

— Можно подумать, что вы сами больны,— произнесла она с своей манерой говорить сама с собой,— волосы отросли... волнами... настоящий поэт...

Она была одета в черное, просто, но все шло к ней; глаза ее, большие, синие, сделались еще глубже, загадочнее и сильнее магнетизировали. Она показалась Карташеву очаровательной, прекрасной, каким-то слетевшим ангелом.

— Я так рад вас видеть!..

— И я рада...— Она осмотрела его.— Этот костюм вам больше идет, чем теплое пальто, калоши и башлык в июле. Вам все ваши кланяются... Наташа еще похорошела...

Карташев глазами сказал Горенко: «И вы».

Она вспыхнула, отвела глаза и спросила с той строгостью, которая еще сильнее ласкает:

— Ну, теперь расскажите, что вы сделали хорошего?

Карташев рассказал о том, что срезался, что готовится в институт путей сообщения, и спросил о Моисеенко, но Горенко ничего не знала, где он и что с ним...

Она говорила сдержанно, неохотно, и Карташев чувствовал, что здесь с ним только ее тело, а душа вся принадлежит какому-то другому, недоступному для него миру. Его не тянуло в этот мир, потому что он не знал его, зато тянула Горенко, и рядом с ней, красивой, задумчивой, он хотел бы быть везде...

Карташев еще что-то спросил об ее муже.

— Больше меня ни о чем не спрашивайте,— я ничего и не знаю.

Карташев смутился, чем-то обиделся,— ему точно не доверяют,— и замолчал.

Корнев, осмотрев Шацкого, возвратился к ним.

— Тёмка — легкомысленнейшее существо,— говорил он, любовно посматривая на Карташева,— выехал из дома математиком, превратился в юриста, а теперь путеец... и все с одинаковыми основаниями... Эх, ты!

— А его, знаете, совсем рефлекс заел,— обратился задетый Карташев к Горенко.

Корнев покраснел.

— Что ж,— сказал он,— я согласен...

— А у нас все-таки хотя какая-нибудь жизнь.

— Ну, покорно благодарю и за такую жизнь,— вспыхнула Горенко,— уж лучше Сибирь... Ей-богу... для меня ваша жизнь положительно была бы хуже каторги...

Явился Ларио, и не один, а с Шуркой. Они шумно вошли в комнату Шацкого, куда бросился и Карташев. Дело разъяснилось: Ларио получил пятьдесят рублей в задаток и отправился к Марцынкевичу. Карташев обиделся, а «дрызнувший» уже Ларио, чувствуя некоторую вину, как бы извинялся, говоря:

— И, понимаешь, черт его знает, и сам не знаю, как попал туда и вот с этой самой...

— Да ну, ты, черт! — перебила его Шурка,— не ори... видишь, больной...

— А что — как? Был доктор? — спохватился Ларио.

— Господи, что с ним сделалось? — всплеснула руками Шурка.— Да вы его совсем уморили... Этот в салопе ходит. Ха-ха-ха! Черти вы, да и только!

Карташев сидел в полном отчаянии: эта Шурка, свинья Ларио... там за дверью Горенко, которая все это представит себе совсем иначе...

— Что вы смеетесь? — сердито повернулся он к Шурке.

— А что? нельзя? — благодушно-насмешливо спросила она.— Злой? Грр... укусит!.. обезьяна... ха-ха-ха!

Шурка смеялась, смеялись Ларио и Корнев, выглянула Горенко и улыбалась, один Карташев в своем салопе был сердит и расстроен. Он думал: мало того, что возись с больными, мало того, что нарядили человека в шутовской костюм,— смеются еще, и главное — кто смеется? Ларио в его же платье, так бесцеремонно с ним поступивший!

— Тебе меньше всего следовало бы смеяться,— сказал он ему с гневом.

— Мой друг, но чем же я виноват... что ты... действительно шут...

— А ты свинья!

— Ну, ты полегче, а не то и в морду можешь получить.

— Что-о?!

Корнев едва растащил их.

— Господа! полно, что вы! Больной, дамы — перейдите хоть в другую комнату.

Все перешли в другую комнату, все говорили враз, приводили свои доводы, объясняли и объяснялись, кричали. Горенко успокаивала Карташева и Ларио, Шурка извинялась, ругалась и приставала к Карташеву, браня, требуя и умоляя его, чтобы он сейчас же помирился «с подлецом Петькой».

Свежее молодое лицо Шурки разгорелось, и она добилась-таки, что Карташев и Ларио помирились. Шурка радовалась, прыгала, поцеловала Карташева и сказала:

— А все-таки они уморят этого долговязого... Ну, нет... Вот завтра Петьку выпровожу — за границу едет... дурака вон выгонят оттуда...— а сама останусь здесь. Эй ты, салопник, в товарищи берешь меня?

— Едем! — обратилась Горенко к Корневу.

XXIII

Начало учебного сезона в технологическом институте сопровождалось беспорядками.

Еще с весны было вывешено объявление, что откладывать экзамены не дозволяется, но объявление было вывешено поздно, и большинство студентов уже разъехалось по домам.

Все не державшие согласно объявлению считались оставшимися, а все оставшиеся на третий год подлежали исключению. Таких набралось до двухсот человек.

В коридорах, в аудиториях студенты собирались и бурно обсуждали положение дел.

После одной громадной сходки решено было просить отмены сурового распоряжения. Приглашенный на сходку директор пришел в сопровождении инспектора, но раздались крики: «Вон инспектора», и инспектор ушел. Директор был бледен, но тверд. Он старательно избегал всяких объяснений причин и определенных обещаний. Все попытки со стороны студентов ни к чему не привели. Тем более было непонятно поведение директора, что прежде он искал популярности у студентов. Убедившись, что пред ними уже стоит другой человек, студенты, пошептавшись, приняли решение освистать директора.

— Дорогу господину директору,— иронически почтительно крикнул стоявший рядом с Ларио студент, и от средины залы к дверям образовался широкий проход.

В напряженном ожидании толпа замерла.

— Прошу вас, господа,— указывая на проход, проговорил директор тем же, что и студент, тоном,— я выйду последним.

Эти слова были произнесены спокойно, уверенно, даже весело. Взрыв аплодисментов был ответом на находчивость директора.

— Но вы нам обещаете содействие в отмене распоряжения об экзаменах? — спросил кто-то.

— С своей стороны, я сказал, что сделаю все...

Студенты молча переглянулись и один за другим вышли из залы.

Прошло еще несколько дней. Об отмене вывешенного распоряжения не было и помину. На новой сходке решено было прекратить посещение лекций.

Студенты являлись в институт, толпились в коридорах, но в аудитории не шли. В пустых аудиториях стояли профессора и напрасно зазывали студентов,— с популярными профессорами студенты перебрасывались шуточками, а нелюбимых освистывали.

В ответ на эту меру студентов последовала новая репрессалия: технологический институт объявлен был закрытым.

На другой день студенты нашли парадные двери запертыми. Толпа студентов на улице перед запертым подъездом института росла, и, когда их собралось несколько сот, студенты через ворота и двор проникли задним ходом в здание института. Лекций, конечно, не было, но студентов не удаляли, и день прошел спокойно. Главным образом обсуждался вопрос о тех, кто получал стипендии,— получение их как раз совпало с закрытием института, и положение стипендиатов стало сразу критическим. Решено было на другой день опять пригласить директора, но на другой день и задние ходы оказались тщательно запертыми. Полный двор набилось студентов, а на улице стояла густая толпа интеллигентных зрителей.

Прошло еще две недели. В дверях института было вывешено объявление, что лекции начинаются снова, но предварительно студенты, каждый за себя, должны дать подписку, что беспрекословно подчинятся всем правилам института. Библиотека, столовая и касса закрывались.

Несколько дней шли бурные сходки в кухмистерских, на квартирах, в публичных заведениях и в конце концов, в интересах стипендиатов, решено было подчиниться.

В заседание конференции вводились по одному студенты и давали свои подписки. Иногда какой-нибудь студент, чувствуя себя неудовлетворенным, с чувством собственного достоинства, прочитав резкий текст подписки, пробовал возражать:

— То есть позвольте...

— Что там позвольте,— пренебрежительно перебивал его профессор Мальков, от всей души ненавидевший студентов и в свою очередь ненавидимый ими,— пишите или уходите... некогда,— вас много...

И студент, краснея от напряжения, подписывался и выходил, уступая место следующему.

Лекции начались, но не прошло и нескольких дней, как небольшой группой студентов беспорядки возобновились в очень резкой форме: разнесся слух, что одно из лиц администрации получило оскорбление действием. Говорили, что такое же оскорбление получил и Мальков.

Вторично была приглашена полиция и переписала всех студентов.

Профессор Мальков, указывая на того или другого студента, говорил:

— Этого господина подчеркните.

— Особенное обратите внимание...

Начались новые аресты. Многие, угадывая свою судьбу, благоразумно не показывались ни в институте, ни на своих квартирах. В числе их был и Ларио. Но за беглецами зорко следили и ловили их в кухмистерских, в гостях, в ресторанах.

Ларио некоторое время искусно скрывался, но, видя бесполезность борьбы, решил сдаться. Через одно лицо он повел переговоры с канцелярией института и предложил, что, если ему отдадут его бумаги, он добровольно уедет из Петербурга. Получив согласие, он однажды утром явился в канцелярию института, а через четверть часа явилась полиция и, арестовав его, препроводила в пересыльную тюрьму.

Там его встретила знакомая компания студентов громким «ура» и радостными возгласами:

— Давно дожидались! Наконец-то!..

В общей камере был невозможный воздух, было тесно, но весело и сытно. Провизию в изобилии доставляли разные неизвестные посетители. Уныние наступало только тогда, когда того или другого студента со всеми его вещами требовали из камеры. Этот вызванный больше не возвращался, и в толпе распространялось тяжелое предчувствие недоброго конца. Но это бы-

стро забывалось, и толпа, как всякая толпа людей и животных, продолжала опять жить своей обычной жизнью, руководствуясь девизом: живые для живых.

Однажды так вызвали и Ларио, и вечером того же дня в сопровождении жандарма он выехал из Петербурга.

XXIV

Карташев и Шацкий благополучно выдержали экзамены; Карташев вступительный и Шацкий на второй курс, а Карташев даже отличился: выдержал вторым.

— Мой друг, я никогда не сомневался, что ты выдающийся человек,— протянул ему руку Шацкий после экзамена.

Друзья в тот же день приобрели путейские фуражки и поехали на радостях в оперетку.

Там они сидели в литерной ложе. Карташев в левом ее углу, а Шацкий, поставив кресло спиной к сцене и вытянувшись вдоль фасада ложи, так и сидел все время спектакля, корча карикатурные физиономии, долженствовавшие изобличать в нем истинно светского человека. Из публики на него смотрели, и Шацкий был удовлетворен: Петербург его видит.

— Да, мой друг,— говорил он,— это не так легко, и не одно поколение нужно, чтоб сделаться порядочным человеком и не чувствовать стеснения... Вот так...

И Шацкий, забросив ногу за ногу, вздернув свою всегда коротко остриженную голову, смотрел куда-то поверх партера. Карташев тоже выглядывал из-за занавеса ложи на публику и смотрел смущенно, с какой-то затаенной тоскою человека, которому почему-то не по себе.

— Скучно здесь, Миша.

— Едем — итальянку посмотрим.

Поехали и там взяли ложу. Увидел Карташев итальянку. Она скользнула по нем глазами, узнала его, и взгляд ее совершенно ясно сказал Карташеву, что она в это мгновенье взвешивала его денежные шансы. Карташев подумал: «Если мне дома надарят денег, я сошью себе платье у лучшего портного, и она будет моя».

Будет костюм, будут деньги, и сомнения нет, что итальянка его: без всякой идеализации, правда, но это прекрасное тело все-таки будет принадлежать ему, и этим путем он доберется и до того, что светилось иногда в ее глазах, доберется до той чистой, изящной, идеальной женщины, которая непременно должна быть в этом прекрасном теле...

И оба — Шацкий и Карташев — говорили о лучших портных, о том, какие платья необходимо иметь порядочным людям: прежде всего фрак, затем сюртук и какую-нибудь визитку. Шацкий, изложив свои соображения, когда именно порядочные люди надевают то или другое платье, удовлетворенно замолчал и вдруг, точно вспомнив, прибавил:

— Мало этого... она заехала к нам: в чем ты ее встретишь? — пиджак... A-a! c'est grave [1].

После театра друзья поехали ужинать. После ужина Шацкий вынул свой набитый деньгами бумажник и, бегло пересчитав деньги, сказал:

— Итого сегодня: восемьдесят семь рублей...

— Четыре месяца жизни для бедного студента,— проговорил Карташев.

— И один день для порядочного человека,— перебил Шацкий.— И в сущности ничего особенного... Из этого ты видишь, мой друг, сколько нужно, чтобы быть порядочным мальчиком... А для Васи все, конечно, ничего: надел свой сюртук и думает, что уж совершил в земном все земное... Запиши-ка к себе сорок три рубля пятьдесят копеек, а всего с прежними девяносто шесть тридцать...

XXV

Взяв у Шацкого на дорогу еще тридцать рублей, с даровым билетом, за которым, впрочем, надо было заезжать в Москву, Курск и Киев, соответственно с тем, где находились правления дорог, по которым приходилось ехать, Карташев через несколько дней отбыл на родину.

---

[1] это важно *(франц.)*.

Его поездка обратилась в целый ряд приключений. В Москве он натолкнулся на два праздника подряд, и правление Московско-Курской дороги оба дня было закрыто. В ожидании билета Карташев прожился и, чтобы ехать дальше, должен был продать последние остатки великой армии, то есть остатки всего того, чем так обильно снабдила его мать в прошлом году.

В Курске пришлось расстаться даже с подушкой и одеялом, которые он тут же на вокзале и продал, а в Киеве он продал и чемодан за два рубля, правда пустой, но стоивший двенадцать рублей.

В одно прекрасное утро, после шестидневного переезда, Карташев доехал, наконец, до родного города. Радости при встрече не было конца: правда, он приехал, не имея в руках даже самого скромного намека на багаж, приехал после годовой разлуки, точно вот уезжал куда-нибудь ненадолго в город, но приехал студентом первого курса самого трудного заведения, и шапка этого заведения была на его голове. Он приехал утром, и ему подали тот самый граненый громадный хрустальный стакан, то кофе, которое нигде так не приготовлялось, те же сливки и ту же большую двойную просфору, все то, что он так любил, что было так вкусно здесь на родине, как нигде в другом месте.

Мать, дядя, Наташа, Маня, Аня, Сережа сидели вокруг стола, смотрели на него и не могли насмотреться. Тёма вырос, похорошел, пробиваются усы и бородка, голос совсем переменился. И Карташев чувствовал, как он переменился; ему казалось, что все в нем так переменилось, точно он и самому себе стал совсем чужой. Аглаида Васильевна смотрела, читала его мысли и улыбалась счастливой, удовлетворенной улыбкой умной матери, наблюдавшей своего потерявшего вдруг самого себя сына: завтра он опять будет такой же, совершенно такой Тёма, каким и был, да и сегодня он такой же.

— Где же вещи твои?

Карташев глотнул кофе и, бодрясь, ответил:

— Да я так, налегке.

— Без подушки даже?

— Собственно, подушка что ж? не стоит...

— Да как же ты спал?

— А положу голову на выступ скамейки и сплю или кулак подложу... В нашей инженерной специальности то ли выносить придется...

— Неужели и белья не взял?

— То есть я, собственно, взял, но пошел на одной станции поесть, прихожу: нет вещей... стащили.

Дядя затянулся и сказал:

— Слава богу, что хоть тебя не стащил никто...

— Извозчик денег просит,— заявила, войдя, горничная.

Карташев смущенно-весело похлопал себя по карманам и проговорил:

— Мелких нет...

— Нет? А крупные? — переспросил его же тоном дядя.

Карташев рассмеялся.

— И крупных нет.

Мать отсчитывала мелочь.

— Не в деньгах, брат, счастье...— сказал дядя,— и табаку, наверно, нет... кури.

Дядя подсунул ему свою табачницу.

Карташев как-то уже забыл, что он бросил курить, и, вспомнив теперь, вспыхнул от удовольствия.

— Не курю...

Это заявление произвело громадный эффект: это было что-то, с чем можно было уже считаться. Не всякий может бросить курить.

Аглаида Васильевна горячо расцеловала сына.

— Лучшего подарка ты не мог мне сделать...

— Молодец, молодец,— твердил дядя,— это, брат мой, характер и характер нужно... Молодец...

Карташев сразу вырос в глазах всех. Он ушел, сопровождаемый молодежью в свою комнату, а Аглаида Васильевна перебросилась с братом несколькими радостными замечаниями. Ее брат затягивался, качал головой и повторял...

— Молодец, молодец... способный, с характером... громадную карьеру сделает.

Карташев возвратился и по лицам матери и дяди угадал, что речь, и благоприятная, шла о нем. Мать

молча опять расцеловала его и в глаза, и в губы, и в лоб, и в волосы. Карташев ловил ее руки и с удовольствием целовал их.

Мать ушла и возвратилась с сотенной бумажкой.

— Это тебе за первый курс.

Дядя ушел и вернулся с двумя выигрышными билетами.

— А это вот от меня.

— О-го-го!

Карташев опять горячо расцеловался с матерью и дядей.

— Молодец, молодец: в наш род пошел... это хорватовская черта: не удалось в университете — в институт.

У Наташи глаза точно еще больше стали: черные, большие, задумчивые; немного похудела, и кожа точно прозрачная, матовая; черные густые волосы еще ярче оттеняют красивый, строгий овал лица. Ходит за Тёмой; когда говорит он — подожмется и слушает внимательно, серьезно.

— Что с Горенко? Давно ты видел ее? Отчего она писать перестала?

Карташев рассказал о Горенко, об Иванове и Моисеенко и сообщил о том, что держал себя в стороне. Мать перекрестилась.

— Да ведь это и ни с чем не сообразно бы было,— сказал дядя,— если бы человек с такими способностями, как ты, вдруг на детский разум перешел.

Карташеву стало неловко от этих похвал, и он озабоченно произнес:

— Увлекаются, конечно... Дети...

— Преступные дети,— с ударением, строго заметила Аглаида Васильевна,— сами гибнут и семьи свои губят.

— Отчего же у тебя переписка с Горенко прекратилась? — спросил Карташев Наташу.

Наташа посмотрела на мать.

— Она звала меня в Петербург, я писала ей, что мама не пускает меня, она больше и не отвечала.

Наступило неловкое молчание.

Аглаида Васильевна, облокотившись, смотрела, опустивши глаза, на скатерть.

— Тёма,— проговорила она,— ты уж большой и видел Петербург: твое мнение какое — можно ехать Наташе?

Наташа радостно встрепенулась.

Карташев хотя и любил Наташу больше других сестер, но жизнь с ней в Петербурге не улыбалась. Затем выступили и другие соображения. Хотелось и Аглаиде Васильевне доставить полное удовольствие и еще больше вырасти в ее глазах.

— Я нахожу неудобным,— сказал он.

— Брат говорит! — торжественно произнесла Аглаида Васильевна.

Наташа с разочарованием посмотрела на брата.

Карташев, сперва смущенно, а потом оправившись, начал приводить доводы, почему именно неудобно ехать Наташе. Он не хотел, конечно, врать, но хотел быть убедительным. Мать внимательно слушала и изредка убежденно, серьезно говорила:

— Совершенно верно.

Дядя энергично тряс головой и говорил:

— Очень дельно.

Наташа сначала возражала, но брат стал приводить какие-то факты и убеждал с ласковым упреком:

— Наташа, я же знаю и говорю то, что есть...

Наташа, наконец, с своей болезненной гримасой, махнув рукой, проговорила:

— Я не знаю, какие там, но я знаю, кто я...

— Нет, ты слишком молода, чтобы знать себя,— возразила мать.

— Ну, не знаю,— развела руками Наташа и замолчала.

Карташеву жаль было Наташу, и он старался быть с ней особенно ласковым и внимательным. Легкой тучкой набежавшее было сомнение относительно брата быстро исчезло, и Наташа думала: «Что ж, если это его убеждение? Он любит меня и, конечно, желает добра»,— и она была с братом нежна и ласкова. Они ездили вместе по магазинам. Тёма купил ей духов, накупил подарков и остальным сестрам, брату купил большой

перочинный нож, взял ложу в театре, катался с родными на лодке.

— Какой Тёма стал любящий, ласковый,— говорила Аглаида Васильевна.

Пять дней — а только на пять дней и приезжал Карташев — пролетели быстро.

Был Карташев и у Корневых. Говорил с Маней о прошлом, заглядывал в ее будущее, рисовал ей, как она выйдет замуж, в каких дворцах будет жить, просил позволения и тогда быть ее другом. Оба весело смеялись, и Карташев краснел, всматриваясь в ее ласковые карие глазки, в ее шейку, такую же белую, какой была она, когда в первый раз он увидел ее гимназистом. Теперь и шейка и вся она, Маня, была еще красивее, сильнее тянула к себе, без боли, как красивая картинка, прекрасный пейзаж. Наклонился бы, поцеловал это белое плечико и почувствовал бы сильнее прелесть дня, радость жизни, свою и ее молодость... И казалось Карташеву, что она ответила бы тем же или по крайней мере поняла, что влечет его к ней. Засыпая, он думал о Корневой... Прекрасная, стройная, она была где-то близко-близко, он чувствовал ее дыхание, ее голос, взгляд — влажный, жгучий, чудный, как лучшее из всего, что есть на свете. Жениться, увезти ее с собой? Карташев задыхался при мысли о таком блаженстве и долго ворочался под одеялом.

Опять отъезд и проводы. Дали денег на всю дорогу без вычета за билеты, дали на лекции и за лекции, снова нашили всего, кроме платья, на которое дали тоже денег, чтобы заказал его по последней моде в Петербурге.

Карташев признался, что вещи свои в сущности заложил и продал, рассказал, как ехал домой. Аглаида Васильевна больше всего жалела о подушке:

— Лучшую тебе дала...

Крестя и целуя сына, она говорила:

— Все-таки будь, мой дорогой, больше хозяином.

— Ты хоть подушку привези маме,— ласково говорила Наташа.

— Даю слово, подушку привезу.

Наташа ехала с братом проводить его к Зине в деревню. Хотела было ехать и Маня, но у нее уже начались уроки.

Маня стала красавицей в полном смысле слова, с смелым, живым взглядом. Из всех только она одна не выказывала уезжавшему брату почтения.

— Уедет опять мой голубчик,— говорила на вокзале Аглаида Васильевана,— улетит мой орел.

— А голубчик только и думает, мама, как бы ему поскорее уехать,— сказала Маня, кивнув пренебрежительно головой в сторону брата.

— Только и думаю, как бы уехать? — вспыхнул Карташев,— ну, так вот назло тебе сегодня и не поеду.

— Тащи вещи назад,— обрадовавшись, крикнул толстый Сережа и неуклюже, счастливый, потащил сам тяжелый чемодан брата к выходу, боясь, что тот передумает. Все были рады, все целовали Карташева.

— Едем в наш старый дом пить чай,— предложил Карташев.

Старый дом был недалеко от вокзала.

Осень была теплая, ясная; вечер тихий, прекрасный. Точно убаюканное, засыпало синее нежное море, нежный аромат последних осенних цветов разливался по пыльному саду. Вся семья собралась на террасе, пили чай, говорили, вспоминали прошлое, ходили по саду, заглядывали в старый колодезь, взбирались на беседку. Из-за ограды выглядывало то же кладбище, те же памятники, тот же сарай из серого темного камня. Камни на стенах еще потемнели, точно спаленные огненным солнцем: пыль так и осталась от лета и лежала толстым слоем везде — на солнечных часах, на статуях, на мраморных скамеечках. Желтые листья валялись по дорожкам такие же неподвижные и безмолвные, как эти статуи, скамьи, деревья и пыль лета, как то прошлое, что безмолвно, но сильно вставало и хватало за сердце. Все говорило еще об отце, все было делом его рук. Сколько пережито хорошего и дурного, каким длинным казалось тогда время и каким мгновением кажется теперь все промелькнувшее. Как сон какой-то то,— действительно ли то было, или только пригрезилось все то, что было.

— Слушай, Наташа, если хочешь, я поговорю с мамой, чтобы отпустили тебя в Петербург,— говорил Карташев.

— Мама не послушается тебя, только расстроишь...

— Собственно говоря, ведь не стоит, Наташа...

— Это... Довольно об этом...

На другой день Карташев уехал, увозя с собой память о любви и ласке всех близких, и всех ему было так жаль.

В усадьбе у Зины Карташев провел всего день. Зина ходила в ожидании ребенка, обрадовалась брату и была с ним очень ласкова. Мужа ее не было дома. Зина ни одним словом не обмолвилась о своем житье-бытье с мужем и, когда речь заходила о муже, делалась сосредоточенной и серьезной. Карташев кое-что слышал от сестер и матери и не хотел расстраивать сестру расспросами. Он делал вид, что ничего не знает, и гулял с Наташей и Зиной по богатым комнатам ее мужа, по парку, рассказывая о своей петербургской жизни.

Поезд уходил на рассвете. Под вечер Карташев выехал от сестры, оставив у нее Наташу. Зина на прощанье сунула ему в руку пачку денег. Карташеву странно было брать от сестры деньги, но та добродушно-решительно проговорила:

— Бери, бери... Может быть, со временем отдашь,— пригодится больше, может быть, тогда...

Какое-то пренебрежение, сожаление, горечь послышались в голосе Зины; она быстро обняла брата и вдруг заплакала. Но сейчас же вытерла слезы и с улыбкой, стыдливо показывая на свой живот, проговорила:

— У меня теперь глаза на мокром месте... ну, прощай.

— Как ты мне папу напомнила в эту минуту...

— Да, говорят, что я все больше делаюсь похожей на него... Скоро умру...

— Ну, что ты!

— Поезжай, поезжай...

Зина, ласково поцеловав еще раз, повернула его к экипажу.

— Прощайте, прощайте...

Карташев, стоя в легкой щегольской коляске, махал

своей путейской фуражкой сестрам, а сестры махали ему платками, подвигаясь медленно вперед к воротам, пока экипаж не скрылся.

Карташев перестал махать, уселся поудобнее и задумался: о Зине, о Наташе, о матери. Затем, вспомнив о подарке сестры, вынул бумажник и насчитал пятьсот рублей... Еще никогда в жизни у него не было в руках такой суммы!

Сытые, крупные лошади бежали легко и весело среди пустых полей. В бархатной безрукавке молодой кучер Семен лихо правил, покрикивал, и рукава его малиновой рубахи раздувались от встречного ветерка.

Да теперь и сам Шацкий, увидев Карташева, остался бы доволен.

— А что, Артемий Николаевич,— повернулся Семен,— хочу я вас везти на Кривозерни... Бывали там?

— Нет... а что?

Семен помолчал.

— Дорога лучше... Чаю там в корчме можно попить... Дочка у жида хороша, так хороша, и сказать нельзя...

Семен оглянулся и задорно посмотрел на Карташева.

Карташев смущенно улыбнулся.

— Поезжай как хочешь.

— Рахиль зовется...

Семен еще раз повернулся и так усмехнулся, точно он бросил волчонку кусок сырого мяса и смотрел, как угрюмый до того волчонок принялся ласково лизать знакомое ему блюдо. Семен вырос на барском, да еще на гусарском дворе: не давал маху Неручев, не даст, видно, и этот женин брат... Все они, господа, на этот счет хорошо обучены...

Карташев увидел мрачную корчму с высокой соломенной крышей, когда солнце уже почти село, когда густая длинная тень от корчмы спустилась на площадь и закрыла ее почти всю.

Карташев сразу угадал Рахиль. Она стояла у ворот и небрежно, рассеянно грызла семечки. Ее красивые, правильные, с оттенком пренебрежения глаза скользнули по Карташеву. На плече рубаха была порвана,

и оттуда сквозило нежное, белое тело. Об этом нежном теле говорила и шея, белая как снег, там, ниже, у ворота рубахи, и там, где каштановые волосы с золотистым отливом, слегка волнистые, падали на плечи. Рахиль не обращала никакого внимания ни на прореху, ни на свой грязный костюм. Она и в нем была прекрасна, стройна и обворожительна. Яркая, с нежными и тонкими очертаниями лица, она стояла, как сказочная принцесса. Этим сказочным охватило Карташева, он смотрел на нее из экипажа и любовался ее нежной красотой. На этот раз он совершенно не чувствовал обычного смущения. Он подошел к ней свободно, уверенно, с тем особым выражением лица и глаз, которое смутило девушку, и когда она вторично остановила свой взгляд на нем, сердце Карташева сладко замерло.

— Рахиль, можно у вас напиться чаю? — спросил он.

Рахиль смущенно отстранилась и тихо, едва слышно произнесла:

— Идите...

Оба скрылись в темных воротах. Во дворе из-под высоких навесов неслось громкое хрустение лошадей, евших сено, звенели удила, неслась прохлада осеннего теплого вечера. Там и сям в полумраке навесов пробивался из крыши красный свет багряного заката.

Рахиль вошла в высокую потемневшую залу корчмы. В углублении виднелись двери, стояли какие-то станки, большая лежанка выдвигалась от печки, но окна корчмы были малы и высоко подняты над землей, так что в них был виден лишь кусок вечернего неба. Кот спрыгнул откуда-то и лениво, уверенно подошел мягкой поступью к Карташеву. Рахиль стояла посреди залы вполуоборот к Карташеву и смотрела в него.

— Хочешь здесь? — спросила она пытливо, сдержанно.

Что-то такое было в ее голосе, слегка картавом, певучем, как струны какого-то инструмента, что Карташев ласково спросил:

— А разве лучше чего-нибудь нет?

Рахиль улыбнулась, сверкнув жемчужными зубка-

ми, и ее розовые маленькие губы раскрылись, точно готовые уже для жгучих поцелуев.

Карташев, охваченный незнакомой ему решимостью, подошел и сжал ей руку. Рука была маленькая, нежная. Тонкая кожа лица ее вспыхнула, она слегка отвернулась и, словно не замечая, смотрела в окно.

Красный свет заката падал на нее. Она точно думала или вспоминала о чем-то. Легкое напряжение, смущение чувствовались в ней; какая-то сила и в то же время и мягкость и беззаветная удаль — все охватывало страстью Карташева.

Он поднес ее руку к своим губам. Новая краска залила лицо девушки. Он обнял и поцеловал ее. Она все стояла, как скованная... Он повернул к себе ее лицо, и она покорно посмотрела в его глаза своими замагнетизированными глазами.

Он медленно, страстно впился в ее полуоткрытые нежные губы.

Голова Рахили слегка опрокинулась, она сделала губами какое-то движение и точно пришла в себя.

— Довольно... ты как сумасшедший...

Карташев стал целовать ей руку, а Рахиль опять стояла и смотрела, как он целует.

— Моя рука грязная,— сказала она.

— Ничего,— продолжая целовать, упрямо ответил Карташев.

— Отец идет!

Рахиль отскочила одним прыжком и уже стояла чужая, потухшая, с холодным, пренебрежительным видом.

Вошел еврей с длинной бородой и подозрительными глазами. Он осмотрелся и заговорил тихо, ворчливо что-то по-еврейски. Она тоже что-то ответила, и некоторое время между ним и дочерью происходил оживленный разговор. Затем он смолк и тихо, подозрительно спросил Карташева по-русски:

— А чем эта комната не хороша?

Рахиль смотрела на Карташева молча. Карташев, угадывая что-то, ответил небрежным, избалованным тоном:

— Не нравится, и конец. Большая, грязная...

Рахиль удовлетворенно перевела вопросительный взгляд на отца. Отец, избегая взгляда и ее и Карташева, развел руками и повернулся к двери, процедив что-то сквозь зубы.

Когда дверь затворилась, Рахиль лукаво посмотрела на Карташева.

— Ты умный...— сказала она.

Карташев на этот раз сильно и смело обнял Рахиль и несколько раз, запрокинув ей голову, поцеловал ее в губы.

— Ну,— вздохнула Рахиль и, оправив волосы, сказала весело: — Иди за мной...

Они опять направились по коридору и в самом конце его вошли в красивую, нарядную комнату.

Здесь было дорогое, оригинальное убранство, не имевшее ничего общего с остальной корчмой.

— Откуда такая комната? — спросил Карташев.

— Старый скоро будешь, когда все захочешь знать. Не целуй меня теперь! Когда все заснут, я оденусь и приду к тебе... Тогда смотри на меня... и целуй, если хочешь.

— Одевайся для других, а для меня ты и так прекрасна...

Она заглянула в глаза Карташева, подумала и поцеловала их.

— Это чтоб другие тебя не любили...— На мгновение она замерла в его объятиях, опять вырвалась и спросила: — Да откуда ты взялся? Кто ты?

В коридоре послышалось шлепанье туфель.

— Самовар? — переменив тон, как бы спросила Рахиль уже на ходу и скрылась в коридоре.

Карташев слышал какой-то вопрос еврея, обращенный к ней, ее ответ, небрежный, быстрый, на ходу. Затем все смолкло, и только лошади где-то далеко продолжали свою мерную работу челюстями.

Карташев открыл окно, и свежесть осеннего вечера с каким-то ароматным настоем лета ворвалась в комнату. Карташев лег на низкую, мягкую, красиво застланную кровать и, закрыв глаза, забылся в сладкой истоме.

Нигде, ни в каком уголке его сердца не было фальши, напряжения, сомнения ни в отношении Рахили, ни в отношении всей этой оригинальной обстановки.

Он, может быть, и догадывался, что тут не обошлось без Неручева, но какое ему дело? Все шло само собой, и все было так прекрасно, как никогда не было с ним с тех пор, как он на земле.

Рахиль подала самовар, подала булку, еще что-то принесла, еще раз поцеловалась и, шепнув: «Приду нарядная», скрылась.

В комнату вошел Семен, мотнув утвердительно головой по направлению коридора и проговорил:

— Хороша!.. Черт, а не девка...— Он оглянулся.— И убранство какое... Деньги б были — уберешь как захочешь,— покорно прибавил он со вздохом.— Выпить охота,— сказал Семен уже другим тоном.

Карташев быстро вынул трехрублевую бумажку и сунул ему в руку.

— Ну, покорно благодарим... Бывало, в холостых наш барин были, и перепадало же нашему брату,— подмигнул Семен.— А теперь: «Зиночка да Зиночка», а уж этого самого и нет...

Он кивнул пренебрежительно головой, потоптался и вышел.

Фамильярный тон Семена тяжело резал непривычный слух Карташева, но опять вошла Рахиль, счастливая, сияющая; она бросила лукавый взгляд на него и стала рыться в комоде.

У Карташева сразу просветлело на душе, он хотел было подойти и обнять ее, но, заметив ее протест, удержался. Забрав какие-то вещи, она еще раз оглянулась и скрылась.

Время томительно и медленно тянулось в холодной тишине темной звездной ночи. Потемнела площадь, все местечко; где-то далеко-далеко в поле, как свечка, горел огонек костра. Громко стучит сердце. Сонная муха жужжит и бьется где-то над головой. Изредка звякнет повод сонной лошади, и опять все стихнет. Тихо, но в то же время и шум какой-то, точно беззвучно где-то ходят вблизи...

Дверь скрипнула, и легкая, светлая тень скользнула в комнату. Карташев чиркнул спичкой и зажег свечу. Нарядная, в дорогом восточном костюме, стояла перед ним Рахиль. Теперь ее манеры, поза, стройная фигура,

непринужденный взгляд — все еще сильнее говорило о том, что это не простая еврейка.

Он бросился к ней и покрыл ее лицо поцелуями. Она ловила его поцелуи и шептала упрямо, настойчиво:

— А если я задушу тебя?

— Души...

— А завтра ты на меня и смотреть не захочешь?..

— Убей тогда.

— Не-ет! — рассмеялась она.— Завтра ты будешь любить меня больше...

— Да, да...— страстно шептал Карташев.

— Ты уедешь завтра!..

— Мы уедем вместе...

Глаза ее сверкнули счастьем, раскрылись и сожгли Карташева. Она нежно водила руками по его волосам, то гладила их, то брала в обе руки его лицо и старалась разглядеть его глаза.

— Потуши свечку...

Время летело. Полосы света тянулись по далеким крышам, осветилась часть неба, обрисовалась громадная, холодная тень корчмы; взошла луна.

— Скоро будет светло, как днем,— проговорила Рахиль,— а потом и день будет: ты уедешь...

Карташев, пьяный от любви, сонный уже, говорил:

— Мы вместе уедем... Теперь ты моя... Ты не жалеешь?

— Зачем жалеть? Хочешь, в степь пойдем?

Через окно они вышли на площадь и, обогнув дом, пошли в степь навстречу поднимавшейся луне.

То была пьяная луна, пьяная ночь, пьяная ароматная степь.

На душистом сене они сидели обнявшись, и Рахиль дремала на плече Карташева. Он тоже дремал, чувствуя в то же время ее всю, чувствуя аромат и жуткую прохладу безмолвной лунной ночи...

— Скоро уж день! — грустно напомнила Рахиль.

Карташев спохватился, проснулся весь и начал страстно целовать ее. Рахиль отвечала нехотя, но было что-то, что говорило, что она хочет, чтобы ее целовал этот откуда-то взявшийся юноша, целовал сильно и страстно. И опять опьяненные, они забыли все на свете.

Ушла далеко в небо луна и, увидав вдруг на горизонте бледную розовую полоску, точно растерявшись в своей высоте, сразу потеряла весь свой волшебный блеск.

Еще тише, еще ароматнее и свежее стало кругом. Краснеет полоска, и точно сильнее темнеет округа.

Тяжело вставать с душистого сена, тяжело терять последние мгновения и страшно дольше оставаться вдвоем: вот-вот проснутся.

Испуганная, нежная, смущенная, Рахиль смотрела и смотрела в глаза Карташева. Куда девался ее задор, хотя все так же прекрасна она. Карташев хочет насмотреться на нее, но сон сильнее его, и не одна, а две уже Рахили перед ним, и обе такие же красивые, нежные...

— Спишь совсем...

Нежный упрек Рахили ласково проникает в его сердце, он опять обнимает ее, но она тоскливо, чужим уж голосом говорит:

— Пора...

Еще не взошло солнце, не рассвело как следует, а уже звякнул колокольчик и разбудил мертвую тишину сарая. Еще немного, и зазвенел колокольчик по площади, по сонным улицам местечка, потонул и замер в неподвижной степной дали.

Мягко и плавно катится по дороге легкий экипаж. Что-то мучит Карташева, какая-то грусть закрадывается в сердце. Думает и думает он, что за человек Рахиль, а сон сильнее охватывает, легкий ветерок гладит его лицо и волосы. Качается его голова из стороны в сторону. Слышится ласковый, певучий голосок Рахили, сидит он с ней, она гладит его волосы и напевает ему какие-то ласковые, нежные песни.

«Рахиль»,— проносится где-то, несется дальше, звенит под дугой, разливается и охватывает его непередаваемой негой чудного, как сон, воспоминания.

Вот и станция. Семен осадил лошадей. Поезд подходит. Спит Карташев.

— Артемий Николаевич! — окликнул его Семен.

Карташев открыл испуганные глаза.

— Где мы?

Семен усмехнулся:

— Рахиль все снится...

Карташев быстро выскочил из экипажа.

— Семен, больше ни слова о Рахили.

Он сунул ему еще три рубля и пошел на станцию. Станционный сторож понес за ним вещи, и они оба скрылись за большой дверью.

Семен сидел на козлах и смотрел вслед Карташеву. Лицо его было насмешливое и злое.

«Больше ни слова... так, так...— думал он,— ловко я тебе, дураку, пыли пустил: «Зиночка, Зиночка»... да, держи карман, таковский. Ну, да теперь-то вы и без Зиночки породнились».

Семен презрительно сплюнул и тронул лошадей.

XXVI

В одном из ночных притонов, куда как-то попали Шацкий, Карташев и их новый приятель Повенежный, Карташева остановила с теми же бархатными глазами Верочка. Она побледнела, похорошела, скромное платье придавало ей вид порядочной девушки.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я тоже... я певица,— сказала она Карташеву.

— О! и знаменитая певица! — поддержал ее Шацкий.

Верочку познакомили с Повенежным, и приятели увезли ее в один из татарских ресторанов. Друзья поили ее вином, а она пела им песни своего репертуара. После ужина Верочка потребовала, чтобы Карташев проводил ее домой. Она была прежняя Верочка, и по-прежнему Карташева и тянуло и отталкивало от нее. Но, польщенный требованием Верочки, поощрением товарищей, он поехал с ней.

XXVII

Своим чередом читались в институте лекции, и профессора со своими слушателями уходили все дальше и дальше в дебри все больше и больше непонятных функ-

ций, производных, всех этих бесконечно малых и больших величин. Лекции старого профессора казались легким рассказом перед всей этой тарабарщиной, которой сыпали профессора, исписывая ею громадные доски. И все это надо было знать и в свое время на экзамене также без запинки выписать на этих же досках.

Кроме лекций, надо было работать практически. В громадных чертежных толпился постоянно народ, и, таким образом, характера театра, как было в университете, где, прослушав лекцию, не было предлога торчать в заведении, здесь не существовало. Могли оставаться, кто сколько хотел: приходили, уходили и опять приходили от девяти до трех часов, а кто хотел, тот мог заниматься и вечером. Все это давало возможность быстрее и теснее сближаться друг с другом. Были и здесь кружки всяких оттенков, но масса в общем являлась довольно однородной — практической в своих увлечениях, больше склонной в сторону брожения сердечного, чем умственного. К последнему громадное большинство относилось равнодушно. К брожениям же чувства, если оно проявлялось даже в несимпатичной форме фатовства,— относились снисходительно и терпимо. Молодые фаты ходили в коротких куртках, в узких в обтяжку штанах, из бокового кармана которых иногда торчал шнурок табачницы. Они носили на носу пенсне, говорили в своей компании друг другу «ты» и вообще старались держать себя, как держатся, например, воспитанники кавалерийских училищ. Только небольшая кучка студентов, под кличкою «красные», протестовала против таких и презрительно называла их «охолощенными». Иногда протест со стороны «красных» принимал очень резкую форму. Так, Повенежного, явившегося однажды в каком-то модном пиджаке, с бриллиантами в галстуке и на пальцах, когда он спускался по лестнице, компания «красных» освистала.

Повенежный шел с Шацким красный, смотрел своими блестящими, ничего не говорившими глазами, улыбался и шептал ему:

— Я, кажется, доставляю им маленькое удовольствие... Очень рад.

Карташеву очень понравилось отношение Повенежного к демонстрации, и он говорил Шацкому:

— Чтоб так поставить, нужно во всяком случае мужество — не бояться того, что скажут.

— Que dira le monde? [1] Да, да, это верно: мужество стоять у позорного столба,— сказал бы Вася.

«Поставить» на местном жаргоне Шацкого и Карташева значило поступить не стесняясь, эффектно: Альфонс явился где-то в гусарском мундире — Альфонс «поставил». Патти уехала с Николини — Патти «поставила».

«Охолощенные» с инстинктом более слабого зверя благоразумно избегали всяких столкновений с красными — не хотели, не умели и не понимали даже постановки вопросов со стороны этих красных. Просто боялись и думали, что от одного разговора с ними они уж навсегда потеряют репутацию порядочных, воспитанных «мальчиков», как говорил Шацкий. В лице Карташева «охолощенные» неожиданно получили надежное и сильное подкрепление.

Карташев видал виды, в гимназии сам считался красным, считал себя хорошо осведомленным по всем вопросам. После возвращения из дому он с особенной энергией отрекся от всех своих прежних, как он их называл, «фантазий». Он считал всех этих красных мальчишками, а себя человеком, уже поднявшимся на высшую ступень человеческого самосознания. И его коробило и раздражало, что эти мальчишки не желали сознавать своего мальчишества, и мало того, что не желали, даже еще чувствовали какую-то почву под ногами, раздражали своим всегда удовлетворенным, самоуверенным видом.

«Какие-то животные, идиоты», как представлялись кружку передовых все эти Повенежные, Ларио, Шацкие, сам Карташев и множество других,— вся та масса, которая составляет толпу, решительницу всех дел,— для Карташева не были ни животными, ни идиотами: он был плоть от плоти, кровь от крови этой толпы. И это

---

[1] Что скажет свет? *(франц.)*

давало ему ту открытую силу влияния, которой не имели его противники.

Приближалось время бала, который давал ежегодно институт в пользу своих недостаточных студентов. Шли горячие споры, где быть балу: в самом институте или в Дворянском собрании.

На сходке, назначенной по этому поводу, Карташев горячо говорил:

— Их цель,— он показал на Красовского,— устройством бала вне института втянуть нас в беспорядки... Туда к нам ворвется вся эта толпа бунтующих, устроят все по-своему, и, если бы даже мы и были ни при чем, они в наш счет наделают столько скандалов, что и мы будем скомпрометированы, а нашим красным ведь этого только и надо. Им это надо, а нам надо спасти честь нашего заведения, и поэтому я высказываюсь за вечер в институте.

Молодой, красивый студент Красовский, с карими горячими женскими глазами, предводитель своей партии, в малороссийской рубахе, с ненавистью и презрением слушавший Карташева, овладев собой, заговорил мягко и вкрадчиво:

— Но ведь если говорить о скандале и желать его, то ведь, Карташев, его можно сделать везде...

— Нет! Стены этого здания удержат вас от скандала!

— Карташев,— с ласковым ехидством спросил Красовский,— как эти стены, сделанные из камня, песку и извести, могут удержать кого-нибудь?

— Нет, нет, вы оставьте эту детскую игру слов,— вскипел Карташев,— ею, Красовский, в четвертом классе мальчишки стараются наповал убить своих врагов, и если вы до сих пор не научились понимать фигуральных выражений, то ради этого я не буду отвлекаться от существа спора.

— Ну, хорошо,— усмехнулся Красовский.— Будем стоять на существе: какая цель нашего вечера? Я думаю, не столько самим веселиться, сколько собрать побольше денег для своих бедных товарищей. Так?

— Так.

— Я думаю, в Дворянском собрании мы больше соберем, чем здесь.

— Ну, положим,— возразил кто-то из толпы,— в институте мы денег соберем больше: одни почетные билеты дадут нам больше, чем весь сбор в Дворянском собрании, а почетных в Дворянском может и не быть...

— В Дворянское собрание не поедет никто из почетных! — крикнул другой.

— Конечно, в нашем институте сбор будет больше,— раздалось несколько голосов.

Выдвинулся Повенежный. Он стоял боком, с засунутыми в карманы руками, дрыгал ногой и поводил с презрением своими навыкате глазами. Он, с особенным подчеркиванием растягивая слова, проговорил:

— И надо цены на все билеты назначить, по крайней мере по пяти рублей, чтобы быть гарантированными в порядочной публике.

— Но тогда нас и за студентов никто не будет считать,— ответил Красовский.

— И не надо...

— Вам не надо, а мы говорим обо всех.

Повенежный, фыркнув, круто отвернулся от Красовского и посмотрел на Карташева.

— Конечно,— уклончиво согласился Карташев.

Поднялся крик и споры, каждый говорил свое.

— Карташев,— заговорил, пользуясь общим шумом, с восточным акцентом черный большой студент.— Вы не помните меня, а я вас помню: мы вместе сидели с вами когда-то в гимназии: я Августич...

— Я помню вас.

— Если те не понимают, то вы понимаете, что делаете... Вы честный человек. Если вам дорога честь заведения, вы должны знать, что говорят о нем. Говорят, что у нас, если в одном конце чертежной кто-нибудь затянет: «На земле весь род людской», то на другом конце непременно подхватят: «Чтит один кумир священный».

Все рассмеялись. Августич продолжал:

— В этом честь заведения...

Карташев перебил нетерпеливо:

— Да к чему все это? Ведь все дело сводится к тому, что везде беспорядки, а у нас их нет, и вам за-

видно, и вы как-нибудь хотите их создать, и это вам не удастся... И гимназия, где мы были вместе, здесь ни при чем: именно оттого, что я дурака валял тогда, я и не желаю теперь таким же быть... не желаю давать себя и других водить за нос...

— Послушайте, Карташев,— вспыхнул Красовский,— наконец, и у нас же терпенье может лопнуть. Если вы нахально стоите на том, что мы хотим за нос кого-то водить, то ведь и мы станем утверждать то же: вы за нос водите! Вы морочите! Вы в каких-то непонятных целях драпируетесь в какие-то вонючие, скверные, негодные тряпки и уверяете и морочите нас, что это красиво, эффектно и, главное, искренне. Оставьте хоть это и позвольте в свою очередь сказать нам: морочьте других.

— Я не понимаю, на что вы намекаете?..

— На то же, на что и вы.

— То есть как?

Карташева вдруг охватило бешенство.

— Да думайте, что хотите!! Поймите, что я вас настолько презираю, настолько ненавижу... Поймите, что палачом я не был и не буду, и оскорбления палачей не могут достать меня!!

— Вот как?!

— Позвольте поблагодарить вас,— раздался за спиной Карташева чей-то голос.

Карташев повернулся. Перед ним стоял добродушный, любимый студентами, старик директор, случайно попавший на сходку.

Карташев, как ужаленный, смотрел на откуда-то вдруг взявшееся начальство.

— Я совершенно с вами согласен...

Студенты, фыркая, стали быстро расходиться.

— Мне очень приятно,— продолжал между тем директор,— встретить такой светлый, такой зрелый взгляд на дело. Позвольте узнать вашу фамилию?

— При чем тут моя фамилия? — огрызнулся Карташев и бросился за другими к лестнице.

— Ну-с, господин искренний, не палач...— встретил его в дверях Красовский.

— Убирайтесь ко всем чертям! — крикнул ему Карташев, убегая по лестнице.

— В морду его, подлеца! — заревел вдогонку Августич.

Карташев уже летел обратно к Августичу вверх по лестнице с бешеным криком:

— Мерзавец!

Но в это время одни Карташева, другие Августича схватили за руки, и, затиснутые, они только издали, вырываясь изо всех сил, осыпали друг друга отборнейшей бранью...

Добродушный старик директор быстро пробирался за спинами студентов, делая вид, что ничего не замечает.

Вечер был отпразднован в здании института.

Фраков от Сарра на студенческих плечах было много, но студенчество остальных заведений блистало своим отсутствием.

Карташев был в числе распорядителей. Он отводил под руку почетных дам к их местам, танцевал до упада, ухаживая напропалую за всеми.

— Ах, какой милый! Какой красивый! — рассматривая его в лорнет, говорили пожилые дамы.— Очень, очень удачный вечер... С каким вкусом, тактом все устроено... Это молодежь наших времен...

— Надо непременно еще один бал... Как вы находите? — обращался энергичный, решительный генерал к дамам.

— О да, да... Charmant...[1]

Директор среди наступившей гробовой тишины поздравил студентов с новым названием их заведения: «Институт инженеров путей сообщения императора Александра Первого».

— Ура! — задрожало в залах и неслось по лестницам громадного здания.

Бал затянулся до пяти часов. Без счета сводил Карташев по лестнице дам и девиц, укутывал их, нежно пожимал ручки, выскакивал раздетый на улицу, усаживая в сани гостей своей alma mater.

Самый тесный кружок студентов оставался еще долго, пили брудершафт, говорили о порядочности своего заведения, говорили о старинной дворянской крови.

---

[1] Очаровательно... (*франц.*)

Карташев, подвыпив, ехал на извозчике домой с Шацким и, охваченный вечером, говорил приятелю:

— Черт с ними: я сегодня раз десять влюбился... Господи, сколько красавиц на свете...

— Да, мой друг, тебя не хватит: ты и теперь уж на что похож...

— Завтра еду с визитами.

— А я завтра дарю свой фрак первому холую и засаживаюсь за занятия.

— Не говори о занятиях... Я в первый раз пьян: это очень приятно.

— Я не сомневаюсь, что из тебя выйдет пьяница.

— Нет, не выйдет... Денег, денег, Миша, где достать?

— Домой напиши...

— Напишу, что заболел: ведь все равно мне же, Миша, потом все достанется...

— Конечно.

— Миша, можно так полюбить, чтоб забыть все для любимой женщины? Если можно — стоит жить, нельзя — смерть сейчас... Говори: можно?

— Нельзя...

Они ехали по Фонтанке.

— Стой! — крикнул Карташев.

Извозчик испуганно осадил лошадь, и Карташев, быстро сбросив пальто, в одном фраке бросился к реке.

— Дурак! — закричал Шацкий и испуганно побежал за ним.

Карташев громко хохотал, стоя у перил.

— Миша, я забыл, что теперь зима: Фонтанка ведь замерзла...

Карташев с своей партией торжествовали победу над врагами, но громадный сбор с вечера тем не менее попал в руки противной партии, так как беднейшие все были там. Ни Карташев и никто из его партии не подозревал, что из этих бедных никто и не дотронулся до собранных денег и все эти деньги пошли на тех, кто был еще беднее, еще больше нуждался.

Бросив громадную подачку бедноте, Карташев и его компания считали себя вправе смотреть на эту

бедноту, как на облагодетельствованную в некотором роде ими. Тем неприятнее было видеть с их стороны все ту же черную неблагодарность.

— Просто нахалы,— говорил огорченно Карташев.

XXVIII

Впрочем, вскоре институтские и денежные дела, и Верочка, и все новые знакомства — всё сразу вдруг отлетело на самый задний план в жизни Карташева.

. . . . . .

Сифилис! ко всему остальному.

«Вот я все думал, как это выйдет в жизни, а теперь все сразу знаю»,— подумал Карташев. Он оделся, вышел из кабинета врача и, точно проснувшись, подумал: «Что такое я отвечал ему? Кажется, я много глупостей наговорил».

На мгновение мысль о глупостях изгнала все остальные, но сознание возвратилось, и у Карташева от ужаса не хватило воздуху, чтобы перевести дыхание.

Чувствуя, что что-то страшное охватывает его, с чем его воля может и не справиться, Карташев испуганно подумал: «Не надо ни о чем думать...» И он диктовал себе: «Вот я теперь иду и больше ни о чем и не надо думать... иду... теперь пальто надену... надо дать на водку; «водки, Шацкий говорит, разорят меня...» — не разорят, потому что скоро всему конец». Он вышел на улицу и сел в сани.

Но опять защемило и захватило в груди, и опять Карташев гнал страшные мысли и снова каким-то очень быстрым кругом возвращался к ним. То вдруг показалось ему, что все это случилось не с ним, а с другим, или с ним, но во сне, и так хотелось вдруг спать, лег бы на мостовую и заснул навсегда. «Слава богу, кажется, теперь без колебания покончу с собой. Револьвера нет: заехать разве и купить?»

Он не ответил себе на этот вопрос, потому что почувствовал, как все нутро его восстало против смерти. «Но что же делать? — тоскливо спрашивал он себя.— неужели так жить?!» В ответ только уныло дул ветер,

гнал по небу тяжелые свинцовые тучи, и они неслись беззвучно, угрюмо вперед.

Он приехал домой, вбежал по лестнице, чиркнул спичкой в неосвещенной квартире и увидел в зеркале отражение своего бледного лица. Спичка потухла, и осталось впечатление, что там, в зеркале, мелькнул страшный остов какого-то человека.

Холодный ужас сковал его члены, и опять сознание истины во всей ее ужасающей наготе охватило и проникло в его душу.

«Прочь, прочь отсюда! — паническим страхом выбросило его назад на лестницу.— Поеду в театр, условились во фраке: три месяца еще ничего не будет заметно, а через три месяца смерть».

Карташев повеселел даже: три месяца! Много времени! Многие и до завтрашнего утра не доживут.

Он стал мыться, чистить зубы, чесаться и сосредоточенно одеваться.

Силы вдруг оставили его, и он, проговорив тихо: «Господи, что ж это?» — лег на кровать и зарыдал. Тяжелые судорожные вопли вырывались из груди, все существо его вздрагивало, и все новые и новые лились слезы. «Господи, что ж это?» — повторял он все ту же фразу, которая, как молотом, била туда, где был источник этих слез... Фраза перестала действовать, он лежал, закусив подушку, равнодушный, апатичный, спокойный.

Он встал и подошел к зеркалу.

«Волосы есть еще — густые, русые... глаза...»

Карташев показал себе зубы, стиснув рот.

«Может быть, кто-нибудь еще влюбится, а я мертвый уже... Чужой в этом мире, гость на три месяца... Ну, и отлично: не надо ни о чем думать, не сметь думать! Мертвецы разве думают?»

Он умылся еще раз, оделся, надушился, несколько раз растрепал и опять расчесал волосы, надел пальто и вышел на улицу.

В театре кончалось третье действие оперы «Ромео и Джульетта».

Ослепленный светом, во фраке, уверенно, с усвоенной уже манерой баловня судьбы, Карташев не спеша

прошел в первый ряд и небрежно, не смотря на Шацкого, опустился в кресло. В это мгновение смутное удовольствие заключалось лишь в том, чтобы сильнее поразить Шацкого.

— Ну? — тихо, встревоженно спросил Шацкий.

Карташев спокойно-пренебрежительно назвал свою болезнь и, равнодушно подняв бинокль к глазам, начал смотреть на сцену.

Шацкий как сидел откинувшись вполоборота к Карташеву, так и остался, точно окаменел в своей позе.

Он усиленно мигал глазами и смотрел: смотрел на волоса Карташева, на его профиль, на то, как он держал бинокль; осматривал его костюм, ноги и опять, мигая, уставлялся в его лицо. Какое-то удовольствие, какой-то животный инстинкт самосохранения охватил его: не он, а вот этот болен. Он здоров и ни под каким видом не желает быть на его месте. Но затем ему стало жаль Карташева. Какое-то движение его руки, какой-то поворот сказали вдруг о его страданиях.

Шацкий ласково и тепло спросил:

— Тёма, правду говоришь?

Руки Карташева, державшие бинокль, дрогнули, и, прежде чем он успел вынуть платок, слезы закапали по его щекам. Карташев все смотрел в бинокль и незаметно стал вытирать слезы.

Шацкий как-то крякнул и отвернулся к сцене.

Действие кончилось. Успокоившийся Карташев равнодушно обводил глазами ложи, облокотившись о барьер. Горели огни театра и мягко тонули в тени прозрачной голубой обивки литерных лож. В ложах сверкали дорогие наряды дам, хорошенькие лица, в памяти еще сохранилось впечатление сада, фантастической ночи, красных, синих и белых огней, всего аромата нежной сцены объяснения в любви Ромео с Джульеттой. Жизнь и смерть были в душе Карташева, и он говорил, бросая отрывочные фразы:

— Ну, что ж, конец... и без меня будет театр и будет публика сидеть... весь этот блеск... а я буду в могиле...

Карташев оперся о барьер, вытянул далеко вперед ноги, скрестив их, и смотрел рассеянно по сторонам.

Шацкий залюбовался красивым и выразительным лицом Карташева, выражением его детски-мечтательных острых глаз, его стройной фигурой. Он вздохнул и громко проговорил:

— А какой мальчик был! Немножко больше денег, и женщины всего мира были бы у его ног.

— Теперь, когда это все уж не мое, ты признаешь? — усмехнулся Карташев.

— Я всегда признавал.

— Но молчал...

— Мой друг, правду говорят только покойникам.

— Собственно, я имею шансик,— усмехнулся Карташев,— все сразу умирают, а я еще месяца два-три буду смотреть из-за могилы.

— И какой еще шансик! — весело подхватил Шацкий.— Нет, мой друг, ты настоящий джентльмен, был им всегда, таким и в могилу сойдешь...

— Спасибо... Я знаю, Миша, что и не джентльмен я, и не красавец, и вся эта наша жизнь ерунда сплошная, но на три месяца... Миша, стоит ли менять?

— Не стоит, и в твою память я всегда так буду жить.

— Вспоминай меня. Когда ты влюбишься, как тот Ромео в свою Джульетту, вспомни, что я мог бы так же любить, я, который буду уже прах времен. Прошли все: великие и малые, гении и дураки... Не все ли равно, Миша: тридцать лет больше, тридцать лет меньше?

— Все равно. А не напиться ли нам сегодня так, чтобы забыть все?

Карташев молча кивнул головой в знак согласия.

— Теперь я свободный дворянин и на все согласен... Одно обидно: глупо жизнь прошла... Разве поехать и убить Бисмарка? Я часто думал: кому нужна моя жизнь! Так по крайней мере память благодарного потомства заслужить хоть смертью. Если нельзя уже жить как должно, Миша, жить человеком, то хоть умереть человеком.

— Нет, оставим политику, мой друг,— поверь, что это глупо и недостойно джентльмена. Ну, что ж, едем? Черт с ним, с театром.

В этот вечер Карташев был пьян совершенно, но сознания все-таки не терял. Лежа в кровати, где его качало, как в самую злую бурю на море, он говорил:

— Миша, теперь я, как Жучка, в вонючем колодце, и некому меня вытащить... да и не надо, Миша: жизнь такой вонючий колодец... Ведь это еще мы студенты, а дальше что? Миша, верно я говорю?

— Пошел вон!

— Миша, Рахили, одной Рахили жаль...

Карташев оборвался и, помолчав, прошептал сам себе:

— Хорошо, молчи.

Наступило молчание. С непривычки к вину их тошнило, и в темноте ночи их вздохи тяжело неслись по квартире.

Карташев не лечился.

— Я не хочу огорчать мать,— говорил он,— она и так меня не выносит, а там все-таки потом, когда все узнает... а может, не хватит и характеру сразу покончить с собой, но я измором возьму себя.

Он заставлял себя пить. Шацкий наотрез отказался составлять ему компанию, но Корнев в скромной обстановке всегда не прочь был уничтожить бутылку-другую пива.

Иногда, выпив, Корнев вдруг с удивлением спрашивал:

— Послушай, черт Тёмка, вот никогда не думал, что из тебя выйдет тоже пьяница. Ну, положим, я так: мой отец любил выпить, и дед любил, люблю и я. А ты? В кого ты?

Корнев ничего не знал о болезни Карташева.

— А почему и мне не пить?

— Ну, пей... А я буду, ох, буду, как и батько, пьяницей... Вот кончим, в полк врачом поступим, во всем и всегда честь и место господину офицеру, а доктор так: фитюлька. И в собрании даже офицерском — Христа ради... Хорошо... где-нибудь в деревушке, в глуши... Соберу вокруг, как батько, компанию попов и будем тянуть:

Со святыми упокой...

XXIX

Время шло. Каждый час, каждую минуту даже во сне Карташев переживал все то же острое, мучительное сознание конца. Давила тоска, хотелось то плакать, то кричать, то просто забыться. Иногда он начинал лечиться и опять бросал.

— Эх! лучше всего в пьяном виде покончить с собой.

Он купил револьвер и постоянно носил его с собой. Пьяный, он вынимал его из кармана, смотрел, вертел перед глазами, примеривал его к виску.

— Тёмка, черт, что ты все с револьвером шляешься,— говорил ему Корнев,— уж не задумываешь ли что?

— Глупости: я никогда не лишу себя жизни...

— Почему глупости? Если б сила воли была — собственно, самое лучшее...

. . . . . .

В одно утро, когда Карташев был еще в постели и обдумывал, как бы скорее довести себя до твердого решения покончить с собой, раздался звонок, и в комнату вошел его дядя.

Карташев и бровью не моргнул: он смотрел на дядю, как на что-то теперь уж не имеющее до него никакого отношения.

— Ты что ж, и здороваться не хочешь?

— Со мной нельзя целоваться,— отстраняясь, холодно ответил Карташев,— болезнь заразительна.

— Глупости...

И дядя звонко поцеловался с ним по обычаю три раза.

Карташев исподлобья следил за тем, какое впечатление производит его вид на дядю.

— Глупый ты, глупый — вот что я тебе скажу: никакой у тебя болезни нет; просто растешь... у кого из нас, мужчин, не было такой болезни?

— И у вас была?

— И у меня была.

— Как же вы лечились?

— Дал фельдшеру десять рублей.

Карташева разбирало раздражение: ему хотелось сразу осадить дядю.

— Хотите, выпьем?

Сердце дяди сжалось от предложения племянника.

— С утра я не привык пить,— потупился он.

— Напрасно... с утра лучше всего...

И с непонятным для самого себя раздражением Карташев подошел к столу и налил себе из бутылки большую рюмку водки. Выпив ее, он налил вторую и тоже выпил.

Дядя старался делать вид, что ничего особенного не замечает. Он только проговорил упавшим голосом:

— А вот для твоей болезни водку пить не годится.

Карташев молча закусил сардинкой.

— Мама вас послала направить меня на путь истины?

Дядя растерялся, покраснел и замигал глазами.

— Тёма, как тебе не грех,— за что ты издеваешься надо мной? — обиделся он.

Голос дяди задел Карташева и вызвал доброе чувство.

— Бог с вами, я и не думаю издеваться над вами...— ответил он смущенно.

— Издеваешься... надо мной, над матерью, издеваешься над всеми святыми...

— Дядя, голубчик, я не знал, что вы все уже святые... И не думаю издеваться.

— Издеваешься! Потому что ты эгоист, о себе только думаешь и не хочешь подумать, каково-то там отзываются все твои штуки... Ведь та-то, которая тебя на свой позор на свет родила, любит тебя не так, как ты ее; для тебя шутки, ты о ней и не думаешь, а я потерял голову; я оставил ее в кровати уже; кроме тебя, пять душ у нее, и никто не на своей дороге... Зина развелась с мужем... Грех, грех, Тёма!

Карташев сидел облокотившись и молчал.

— Я думаю, что для всех было бы лучше поскорее избавиться от такого, как я...

— Ты думаешь? Если бы ты немножко больше любил тех, кто живет тобой, ты думал бы иначе... Я при-

езжаю к тебе за две тысячи верст, и ты не находишь ничего лучшего, как издеваться надо мной... Я старик... Показываешь, как ты водку пить научился...

Дядя дрожал, голос его дрожал, руки дрожали. Карташев встретился с его глазами и сказал:

— Дядя, голубчик, ну, извините... Теперь уж поздно говорить,— махнул он рукой,— я запустил свою болезнь настолько... Я весь уже пропитан ею.

— Да ерунда все это.

— Дядя, голубчик,— вспыхнул опять Карташев,— только не будем же так сплеча рубить: ерунда, ерунда... Я вам говорю то, что говорит наука, а вы: «Ерунда»!

Дядя задумался.

— Твоя мать поручила мне отвезти тебя к доктору. На что лучше наука...

— На что лучше,— угрюмо ответил Карташев.

— Тут у нее есть какой-то знакомый.

Дядя достал записную книжку и прочел фамилию доктора.

— Ну, одевайся, поедем. Да закуси хоть кофе, чтоб не несло от тебя водкой.

— Вы думаете, я уж настоящим пьяницей сделался? Я пью, но так и не могу привыкнуть.

— Для чего же ты пьешь?

— Чтоб скорее к развязке...— Карташев прочел боль и страдание на лице дяди и добавил: — Впрочем, как ни несносна жизнь, но если доктор скажет, что можно надеяться, я согласен бросить и буду лечиться. Вы взяли вопрос с другой стороны.

— Ты делаешь милость и снисходишь, чтобы жить для нас,— ответил дядя, отворачиваясь и смотря в окно.

— Ну, будет же: на меня не стоит сердиться.

— Тебя мама избаловала, папу на тебя надо было.

— Та-а-к... Это, конечно, было бы лучше, потому что от папы я давно сбежал бы в Америку и по крайней мере стал человеком, а теперь я шут гороховый...

— Ну, брат, уважил ты... стою и думаю: да куда же девался, наконец, мой племянник Тёма?

Карташев усмехнулся.

— Тёма, собственно, умер, осталось только гнилое

тело, в котором шевелятся еще черви,— это вы и принимаете за жизнь.

— Да ты просто с ума сошел!

Карташев рассмеялся.

— Сошел с рельсов, сошел с ума, сошел с колеи жизни... Лечу под откос, а вы разговариваете со мной, как с путным. Я ведь теперь и сам не знаю, что через секунду сделаю и с собой и с вами. Иногда иду по улице и думаю: брошусь и начну всех, всех, как бешеная собака, кусать, пусть не я один пропадаю, пусть заразятся и другие.

— Если бы это говорил какой-нибудь купеческий, избалованный сынок... но человек с высшим образованием...

— Э, дядя, оставьте хоть образование: ходим вокруг да около, а к образованию ума и сердца, как говорил Леонид Николаевич, еще не приступали... Навоз времен мы все с нашим образованием...

— Так ломаешься... не знаешь уж, что и говоришь.

— Не то, что ломаюсь, а изломан уж весь...

— Ну, брось же ты, Тёма, этот тон... Порядочный человек... ну, застрелится, а не будет же через час по столовой ложке...

— Порядочный? так я же и не порядочный...

— Агусиньки! как маленький ребенок.

— Ну, вот, ребенок?.. И все, что я говорю вам, одно ребячество?

— Ребячество.

— И ничего заслуживающего внимания нет в этом?

— Нет.

— По чистой совести и правде?

— Как люблю моего бога.

— Просто с жиру человек бесится?

— Только.

— И можно так жить?

— Можно...

— Душа без тела может жить?

— Может, конечно... на том свете одна же душа.

— А на этом тело без души? Ну, тогда, конечно, больше не о чем и говорить: вы убедили меня, и я хочу

жить!.. И какой же скотиной я сделаюсь, дядя, только ахнете... Возьмите...

Карташев вынул револьвер.

— Ты хотел лишить себя жизни?

— Да.

— Давно ты его носишь?

— Третий месяц.

— Можешь смело носить и дольше,— сказал дядя, положив револьвер на стол.

Карташев покраснел.

— Это зло и справедливо, но это только показывает, как и вы презираете меня.

— Мой друг! честное слово — уважать не за что.

— Конечно... но вы даже не признаете, что я добрый человек.

— Я вижу злость, раздражение, вижу, если хочешь, сумасшедшего человека, вижу массу дурных задатков, но ничего доброго.

— Дядя, голубчик,— захохотал Карташев,— а полгода тому назад что вы говорили?

— Тогда так и было.

— Значит, через полгода я стал другим человеком?

— Что ж? это постоянно бывает.

— А не бывает так, что, когда поля засеют гнилыми семенами и бурьян начнет глушить их, говорят: не то сеяли? Ведь поле-то сеял не я.

— Да, ты святой: перед тобой только свечку зажечь... Экая же, ей-богу, подлость человеческой натуры!.. сам наделал гадостей и всех, всех обвиняет, кроме себя. Ей-богу, Тёма, в тебе нет даже гордости твоего рода.

— Ну, хорошо, гордость есть. Я согласен, что я круглый подлец: так отчего же вы мне не даете убраться к черту?

— Ах, Тёма, я уж болен,— в эти полчаса ты вымотал из меня всю душу. С тобой я сам сойду с ума. Делай что хочешь — стреляйся, вешайся, я еду домой!

Дядя, взбешенный, с налитым лицом, с глазами полными слез, схватился за шапку.

Карташев смутился.

— Ну, хорошо, едем к доктору.

— Слушай, Тёма, в последний раз говорю: ты все эти разговоры со мной брось... с меня как с козла молока — возьму и уеду.

— Только не пугайте. Не уедете: против мамы не пойдете! Оставьте! вы у нее под таким же башмаком, как и все мы. Приедете, и что ж? Что Тёма? И не для меня вы и приехали... а когда я вижу, что вам делается больно, мне и жаль... пожалуйста, не пугайте... поняли?

— Я понимаю, что ты сумасшедший и нагло пользуешься добротой своего дяди.

— Что правда, то правда... Ах, дядя, я теперь перед смертью хочу быть по существу: будьте по существу, и лучшего племянника вы никогда не найдете себе.

— Я уж не знаю, как и быть: я, твой старый дядя, у тебя первый раз в гостях, делай что хочешь: как хочешь, так и принимай меня...

— Вот, вот, вот... Дядя, дорогой мой, как я рад вас видеть... Я ценю все: вы не побрезгали поцеловаться, я целую вашу руку.

Дядя не успел отнять руки.

— Ну, ей-богу же, сумасшедший!

— Вы не хотите видеть водки? Вот она!

Карташев швырнул бутылку за фортку.

— Вы не хотите, чтоб я пил? даю вам честное слово, что не буду... Вы хотите, чтоб я шел к доктору? Иду! Вы, наконец, с дороги хотите чаю, кофе? Сейчас все будет.

Дядя стоял растроганный и, качая головой, шептал удрученно-ласково:

— Дурень ты, дурень...

Карташев вдруг бросился на кровать и, безумно рыдая, уткнулся головой в подушку.

— Тёма, Тёма, Христос с тобой... дитятко мое дорогое!

Дядя ловил его голову, целовал ее, и слезы текли по его щекам.

— Я изболелся,— рыдал Карташев,— я изболелся... Я измучился, все порвалось во мне... все живое рвется, рвется... А-а-а...

Это были вопли и крики такого страдания, такого отчаяния, какое не требовало объяснений и было понят-

но доброму маленькому, с большим рябым лицом, человеку. Он сам плакал горько и жалобно, как плачут только или дети, или очень добрые, с золотым сердцем люди.

Они были у доктора, и старик доктор, осмотрев Карташева, долго качал головой.

— Организм ослаблен. Здесь в Петербурге оставаться немыслимо... на юге, конечно, может быть... Во всяком случае, не теряя времени, надо уезжать.

Выйдя от доктора, Карташев, мрачный и упавший духом, заявил дяде:

— Я не поеду никуда, а тем более к матери.

— Умрешь.

— Умру,— глухо, безучастно повторил Карташев.

Дядя ушел и обдумывал, как помочь новому горю. Приехав домой, он послал срочную телеграмму сестре. К вечеру получена была на имя Карташева следующая телеграмма:

«Если Тёма не хочет маминой смерти, он немедленно приедет. Наташа».

Карташев повертел телеграмму и мрачно произнес:

— Еду...

Послали телеграмму о выезде и приступили к сборам. Выкупили вещи, часы. Тысячи в три обошелся этот год, и еще рублей триста истратил дядя на выкуп вещей, уплату долгов. Он только качал головой. Перед отъездом дядя пожелал, чтобы Карташев свез его к Казанской божией матери.

— Лучше сами поезжайте: я ведь неверующий... хотя и молюсь...— прибавил Карташев подумавши.

— И молись: сегодня не веришь, завтра не веришь, а все-таки придет твой час.

— Пожалеет, наконец, господь?

— Пожалеет.

Дядя настоял на своем, и Карташев поехал с ним в Казанский собор. Там под громадными сводами звонко отдавались их шаги, и дядя, с большим вытянутым лицом, испуганно спрашивал племянника:

— Тёма, где икона?

Карташев оглянулся и показал на одну из икон.

Дядя, запасшийся целым пучком свечей, подошел благоговейно к иконе, поставил свечи и, стоя на коленях, стал читать молитвы.

Карташев стоял в стороне и безучастно смотрел на образ.

— Ежели Казанской,— шепнул ему на ухо сторож,— то не тому образу молятся они...

Карташев быстро подошел к дяде и смущенно сказал:

— Дядя, я ошибся: вон тот образ.

Дядя, оборванный в разгаре молитвы, вскочил и с непривычной горячностью накинулся на племянника:

— Ну, ведь это же просто бессовестно! Ну, что же это? ткнул куда-то... Ну, ей-богу, просто на смех... так вот, чтобы только издеваться...

— Дядя, голубчик, ей-богу же, я не виноват... Честное слово, не нарочно...

— Э! Терпеть уж этого не могу... Ну, где же настоящая?

— Вон, вон...

— Опять что-нибудь окажется?

— Верно, настоящая,— кивнул головой сторож.

— И свечи все истратил!

Дядя мелкими шажками пошел купить новых свечей и направился к указанному образу.

Карташева разбирал смех, но он удерживался, и, когда дядя кончил молиться, он с серьезным лицом пошел рядом с ним из церкви. Дядя шел озабоченно-торопливо и с упреком говорил племяннику:

— Нельзя, нельзя, голубчик, без бога.

— И я говорю,— ответил Карташев, кивнув головой.

— Говоришь, а что делаешь? Не ты один, конечно; все ваше поколение.

— У всякого поколения свой бог...

— У тебя какой?

— У меня нет, и потому я не поколение.

— Кто ж ты?

— Китайский навоз... Там четыреста миллионов каждого поколения уже две тысячи лет насмарку.

Карташев переменил разговор.

— Бросил пить и ни капли не тянет. Хотите, брошу опять курить? Бросаю: честное слово...

Дядя даже рассмеялся, увидя, как Карташев пустил по улице свою табачницу.

— Знаю я, голубчик, что, если б хороший кнут на тебя, ты потащил бы такой воз...

— Кнут — вы, конечно? Не было вас перед французской революцией.

— И поверь, что, если б я был Людовиком Пятнадцатым, так, ей-богу же, ничего бы и не было.

Карташев хохотал до слез.

— Ах, дядя, голубчик, один восторг вы...

Дядя шел быстро, подбирал высоко ноги, улыбался и пренебрежительно повторял:

— Дурень ты, дурень!

Совсем было выехали, как вдруг на вокзале Карташев увидел мелькнувшую Горенко. Сообразив, что и она тоже едет, он наотрез отказался ехать в этот день.

Дядя каждый раз, как племянник проявлял новый каприз, приходил в полное изнеможение. Он бессильно топтался на месте, вытирал пот на лбу и придумывал, как бы опять настроить на лад своего норовистого спутника.

— Но почему же ты не едешь?

— Не все ли равно вам? Сегодня не еду.

— Скажи прямо: может, ты завтра и совсем не поедешь?

— Завтра, честное слово, поеду.

— Но почему же не сегодня?

— Не скажу.

Дядя подумал и произнес решительно:

— Я один еду.

— И отлично.

— Ну, знаешь, честное слово, сколько живу, ничего подобного, никогда такой мороки у меня не было, как эти дни с тобой... я просто болен... живого места нет во мне.

— А я умираю и то молчу.

— Эх, батюшка, все мы умрем... не о том надо думать, а о том, чтоб поменьше мучить близких... Больной, больной, а уж из рук вон!

На другой день опять чуть было не расстроилась поездка.

— Дайте мне карманных денег,— потребовал Карташев.

— На что тебе?

— Не хочу быть от вас в зависимости.

— Да что ты, господь с тобой?

— Мне три месяца жить осталось, и довольно с меня всякой опеки... Я ведь отлично вижу и читаю ваши мысли: вы вот усадите меня в купе, тронется поезд, и тогда я весь в ваших руках. Не хочу: ни в чьих руках я с этого времени никогда не буду... Так и запишите и маме передайте... Я теперь не то, чем был прежде, тогда мне было что терять, а теперь у меня надежный товарищ.

— Кто?

— Смерть.

— Господи, как может измениться человек. Ты совсем негодяй.

— Я вам говорю, дайте денег.

— Ну, дам...

— Сейчас дайте.

— Да что ж ты, Тёма, не веришь, наконец, мне?

— Не верю, не верю, никому не верю...

— Да у меня таких денег и нет: вот все...

— Деньги у вас зашиты в жилете, видел ведь.

— Господи, где ж я тут распарывать их буду?

— Идите в уборную.

— Сейчас звонок.

— Успеете.

— Тёма, ведь я старик.

— Ну, когда ж я такой подлец, что мне решительно все равно — старик вы или нет.

— Тьфу ты! наконец... Да ты действительно тронулся.

Дядя сделал страшные глаза, пожал плечами и пошел поспешно в уборную.

Немного погодя он вручил племяннику сторублевую бумажку.

— Тёма, но если ты будешь пить...

— Угадал значит, что под опеку хотели взять... Успокойтесь, пить не буду: я хоть и разбойник, но честный: дал слово.

— На что ж тебе деньги?

— Буду раздавать на водку за упокой моей души... Книжек накуплю сейчас. Есть серьезные, так называемые хорошие книги, так я их не куплю, хотя они, может, и действительно хорошие; я куплю романчик Габорио или что-нибудь в этом роде... Ведь это и ваша любимая литература?

— Если по-русски, а по-французски читай сам...

— По-русски, по-русски.

Дорогой дядя, выгадывая экономию, незаметно старался, чтоб Карташев платил по буфетам за еду. Сначала Карташев не замечал этого, но поняв намерение дяди, отказался наотрез платить за что бы то ни было.

С тяжелым чувством подъезжал Карташев ранним утром с вокзала к старому дому, где жили теперь для экономии Карташевы. С ощущением арестованного он поднимался по ступенькам террасы в сопровождении дяди. Мысль удрать соблазнительно закрадывалась в его голову. По этой террасе, бывало, отец, поймав его, вел в кабинет для наказания. Он давно уж не говорил дяде резкостей и первую сказал опять, стоя у двери в ожидании, когда ее отворят:

— Вы мой жандарм...

Дядя только головой мотнул.

Заспанная незнакомая горничная отворила дверь. Карташев с ощущением человека, собирающегося лезть в холодную воду, решительно шагнул в переднюю. Он снял пальто, помертвелыми глазами взглянул на дядю и без всякой мысли вошел в гостиную. На него вдруг напала страшная слабость, и он опустился на первый стул. Дядя прошел мимо него в следующую комнату.

Карташеву вдруг ярко вспомнилась картина из раннего детства, когда к его матери привели убежавшего из бывших крепостных поваренка Якима; Яким стоял

в ожидании барыни: губы его были белые, голубые глаза совершенно бесцветны, он то и дело встряхивал своими кудрями. Так и он, Карташев, ни на кого теперь не смотрел, был бледен, вероятно, как смерть, сердце громко билось в груди. Какие-то тяжелые шаги: целая процессия... Дверь тихо отворилась.

Как сквозь сон, смотрит Карташев лениво, апатично, тяжело, как сквозь сон, видит какую-то белую маленькую старушку. Неужели это мать? Ее ведут: с одной стороны дядя, с другой — бледная, как смерть, Наташа.

Он поднялся и пошел медленно навстречу к матери. Мать остановилась, и страшные глаза уставились в него.

— Я думала,— сурово отчеканивая слова, заговорила Аглаида Васильевна,—что вырастила мужественного, честного, любящего, не разоряющего свою семью сына, а я вырастила...

— Мама! не говори...— дрожащим голосом сказал Карташев.

— Мама, не надо...— умоляюще, как эхо, повторила Наташа.

Наступило молчание. Надо было что-то делать.

Карташев, думая, что мир лучше всего, нагнулся к руке матери. Это тупое равнодушие павшего сына резнуло Аглаиду Васильевну по сердцу. Она растерянно поцеловала воздух, но потом голосом тоски, смерти, страдания, отвращения проговорила:

— Я не могу...

Она повернулась было назад, но взгляд ее остановился на образе в углу, и, упав перед ним на колени, она страстно в отчаянии воскликнула:

— Господи, за что же?! За что позор за позором валится на мою голову?!

И глухие рыдания ее понеслись по комнате.

Наташа и дядя подняли ее и увели в спальню. Карташев никогда не вдумывался, как именно произойдет встреча с матерью. Теперь она произошла. Очевидно, мать знала все... Меньше всего он ожидал, что вызовет к себе только чисто физическое отвращение. Он стоял раздавленный и растерянный. Но, оглянувшись и увидев

вдруг в дверях передней Горенко, которая манила его пальцем к себе, он, ничего уж не соображая, как она очутилась здесь, думая только о том, чтобы не выдать своего смущения, скрепя сердце, с выражением пренебрежения ко всему, пошел к ней.

Они прошли переднюю и вошли в кабинет.

Все тот же кабинет: и ружья по стенам, кровать и диван и смятые постели на них. Он только теперь заметил, что Горенко еще не причесана и одета наскоро: она, значит, ночевала у них. Он знал, что перед отъездом в Сибирь она по своим денежным делам должна была приехать на родину. Очевидно, она остановилась у них.

— У вас кровь на щеке, вытрите,— сказала Горенко, с слегка брезгливым чувством отворачиваясь от него.

Карташев вспыхнул, быстро вынул платок и начал перед зеркалом осторожно прикладывать его к ранке. Мысль, какое он должен был произвести удручающее впечатление, тяжело навалилась на него. «Какая каторга, зачем я приехал?» — мелькало в его голове.

— Вчера ночью Маню отвели в тюрьму,— угрюмо проговорила Горенко.

Карташев растерянно присел на край дивана: сцена с матерью осветилась вдруг совершенно иначе. Теперь он понял ее. Машинально повторил он слова матери:

— Какой позор!..

Горенко сразу потеряла самообладание.

— Не позор!! — быстро вспыхнув, бросилась она к нему.— Не позор... Позор не в этом, не в этом. И вы знаете, в чем позор... не смеете фальшивить... Не смеете: старикам оставьте их комедии: глупым, тупым, неразвитым эгоистам... А вы только эгоист, но сознающий! От своего сознания никуда не денетесь... Лгите другим, но не смейте лгать здесь...

Карташев, как во сне, утомленно слушал. Это говорила та, которая когда-то в гимназии была влюблена в него. Стоило ему тогда сказать ей только слово, и она пошла бы за ним, куда бы он только ни захотел. Но они разошлись по разным дорогам и теперь опять случайно встретились. Она стояла перед ним, глаза ее свер-

кали, тонкая кожа обыкновенно бледного лица залилась румянцем и раскраснелась. Она стояла, наклонившись вперед, стройная, точно сжигаемая каким-то внутренним огнем. Откуда у нее эта жизнь, сила, красота? Такой он ее не знал тогда. В такую он, может быть, влюбился бы больше, чем во всех тех, в кого был влюблен.

Верочка и его болезнь безмолвным контрастом сопоставились с этой стоявшей перед ним женщиной. Даже не болело — так безнадежно, безвозвратно было то прошлое.

Он заговорил спокойно, равнодушно:

— Я потерял все... ничего не осталось...— Он остановился, чтобы совладеть с охватившим его волнением.— Даже для семьи я стал чужим... Вы хотите убедить меня, что я не искренний и в убеждениях... Думайте что хотите...— Слезы сжали ему горло, он сделал мучительную гримасу, чтобы подавить их, и кончил: — Передайте матери, что мы с ней больше никогда не увидимся.

— Вы хотите лишить себя жизни? — спросила, подавляя смущение, Горенко.

— Нет.

Он хотел прибавить, что ему осталось два-три месяца до естественной развязки, но удержался.

— Можно передать вашей матери, что вы, может быть, воротитесь к ней... другим человеком?

— Нет, нет... этого нельзя... Ни к ней, ни к вам никаким я никогда не вернусь!..

Он быстро повернулся к двери.

Она крикнула вдогонку первое, что сообразила:

— Возьмите хоть денег на дорогу.

Она догнала его и сунула ему в руку свой кошелек.

Карташев хотел было повернуться, чтобы сказать что-то еще, но слезы заволакивали глаза, он боялся расплакаться и, судорожным движением оттолкнув ее руку с деньгами, исчез в дверях.

Наташа, уложив мать, тихо, рассеянно, равнодушно шла из спальни матери. Она вторую ночь не смыкала глаз; она устала, в ушах был какой-то страшный шум и все вертелась любимая песня Мани. И так отчетливо

она слышала выразительный голосок Мани, так отчетливо, что слезы выступали на глаза, и, подавляя их, она еще равнодушнее смотрела по сторонам. В гостиной брата не было. Она прошла в переднюю, вошла в кабинет и устало спросила Горенко:

— Где брат?

— Он ушел.

— Куда? — встрепенулась вся до последнего нерва Наташа.

— Ушел, чтоб умереть или вернуться в свою семью человеком...— угрюмо ответила Горенко.

Наташа молча, точно не понимая, смотрела на Горенко.

— Зачем вы его не удержали?

— Зачем я буду его удерживать? на что вам такой? а другим не у вас же он станет!

Горенко говорила жестко и резко.

Наташа растерянно присела и с упреком смотрела на подругу.

— У вас нет сердца,— проговорила она и, закрыв лицо руками, как-то взвизгнув, жалостно заплакала.

Она плакала все громче и громче, плач перешел в судорожные вопли, рыдания, а Горенко быстро бегала по комнате, нервно ломая руки.

— Боже мой, боже мой! Наташа, ради бога, точно на разных языках мы говорим с вами. Наташа! было время, я не меньше вашего его любила...

Горенко говорила долго и много.

Наташа стихла. Она положила голову на руки, молчала и только изредка вздрагивала. Острая боль сменилась каким-то сладким успокоением. Где-то далеко, далеко раздается голос Горенко, что-то сверкает, точно в ярких лучах солнца: то церковь стройной вершиной уходит в небо; она с Корневым в их деревенском саду; монахиня на коленях, та, о которой говорил тогда Корнев; несется тихое, стройное, нежное пение:

Свете тихий, святыя славы...

И все вдруг стихло и потонуло в бесконечном покое... Страшный мрак... Растерянная Наташа с диким криком бросилась к Горенко.

— Где я, где я?!

Она обхватила Горенко и тяжело, не удержавшись, опустилась по ней на пол.

— Наташа, милая Наташа! — потрясенная ужасом, закричала в свою очередь Горенко.— Кто-нибудь на помощь!

Часы медленно пробили восемь.

— Боже мой, какой ужасный день, а только восемь часов,— шептала в ожидании прихода кого-нибудь Горенко.

В дверях стояла Аглаида Васильевна и смотрела на нее напряженными горящими глазами.

— Со стороны смотреть — ужасный,— проговорила она,— а переживать его?!

Аглаида Васильевна вдохновено, гордо показала рукой вверх.

— Переживем: тот, кто посылает крест, дает и силы.

И, подойдя к лежавшей на полу Наташе, голосом бесконечной любви и ласки она нежно произнесла:

— Наташа!

Наташа открыла глаза.

— Пойдем с мамой, моя голубка дорогая... пойдем, ляжем... Уснет моя Наташа.

У Наташи дрогнуло лицо, и, поднимаясь, она растерянно, жалобно проговорила:

— Мама?!

— Мама, твоя мама!

И, нежно увлекая за собой дочь, обводя Горенко взглядом твердым, не просящим ни у кого помощи, чистым и спокойным, устремленным куда-то вдаль, туда, где осталась ее молодость, вся ее жизнь, Аглаида Васильевна вышла с дочерью из комнаты.

XXX

Карташев вышел из кабинета, не разбирая, куда идет. Не все ли равно? Одна мысль — никого не встретить, уйти незамеченным. Через темную переднюю он прошел к лестнице, ведущей в кухню, спустился в коридор и вышел во двор к ограде сада.

Он стоял здесь без мысли, без движения, связанный сознанием своей безвыходности. Да, завалило все входы и выходы! Господи, что же делать?! Идти назад к матери и просить прощения? Пробраться в маленькую комнатку и там смиренно ждать, когда пожалеют и позовут? И опять все та же пустая жизнь в пустом ожидании, когда любо станет все, что любо матери, с подорванным вконец кредитом к тому же, в унизительной роли дармоеда?!

И в чем просить прощения? Не заболей он, только не заболей, и он по-прежнему был бы все тот же, правда немного не экономный, немного не серьезный, может быть, даже далекий от идеалов Аглаиды Васильевны, но зато далекий и от всяких других идеалов, и все-таки примерный Тёма, краса и гордость своей семьи именно тем, за что упрекала его Горенко и кричала ему надменно-запальчиво: «Не смеете!» Но мать тоже говорила, отправляя тогда в Петербург: «Тёма, не смей...»

— Не смей, не смей, везде не смей! — шептал Карташев, и какая-то буря отчаянья, злобы, бешенства поднималась в его душе.

«Не все ли равно, что там еще ждет впереди? Э, нет, не все равно! Пусть придет еще все, что есть самого ужасного!.. Иди, иди, проклятое! Рви больней, сильней... Не боюсь! Ненавижу тебя, жизнь! Ненавижу все ваши «не смеете». Все смею! Ценою жизни я купил себе это право... Топчите, бейте, но буду делать, что хочу я, я, я... проклятые!..»

Он забыл, зачем он пришел сюда, забыл, что стоит здесь, забыл, что надо куда-нибудь идти. Ураган, охвативший его душу, точно нес его над какой-то бездной, и в эту бездну летело все: семья, отношения, вся обстановка обычной жизни, полетит он сам, его жизнь, и исчезнет навеки в этой темной, страшной бездне. Смерть, смерть и конец всему...

И опять все стихло, промчался ураган, нет охоты думать, шевелиться, и даже сознание, что надо еще жить, отлетело куда-то. Нет, нет, ничего больше не надо, и эта минута покоя наболевшего тела, разорванной души — эта минута его, и пусть она куплена ценой, которая в глазах других ничего не стоит, но она всего

стоит в его глазах, и не им, тем другим, жить,— тем ведь ничего же не надо: успех — хорошо, нет — выгонят, отвернутся... мать отвернется...

«О, всем прощу, но не тебе... все права ты потеряла сегодня... не сын я тебе, хорошо!.. и ты же мне больше не мать...»

Карташев мутными глазами затравленного зверя оглянулся кругом.

«Нет, нет, не надо,— подумал он,— хорошо, хорошо: я люблю вас всех, но не хочу вашей любви... не хочу: она ничего не стоит...»

«Зачем ненавидеть, зачем? Это такое низкое чувство... Уж если ничего не осталось, то пусть останется хоть сознание, что я все-таки не тот, за кого меня принимают... Пусть они думают там, что хотят... для меня где теперь они? Все погибло, нет семьи, нет друзей, нет карьеры, умирающий... Я один теперь,— я Жучка, брошенная в колодезь, и некому вытащить меня...»

Слезы полились по его щекам.

Он долго плакал, потом вытер слезы и подумал: «Надо уходить».

Он продолжал стоять у ограды.

Было ясное октябрьское утро. Далекое солнце светило холодно. Сверкала желтая, местами ярко-красная, местами еще темно-зеленая сочная листва деревьев. На дорожке, за оградой валялся кем-то забытый, кем-то сделанный, простой из орешника лук. Точно это он сам, как когда-то в детстве, сделал его вчера и бросил, чтобы, проснувшись сегодня радостным и счастливым, найти его и бежать с ним, полный жизни, навстречу начинающемуся веселому дню... О, боже мой, это все было, и как все живо и как сильно вспомнилось вдруг это промчавшееся безвозвратно детство... Жучка, колодезь, тот день, когда он ее искал и вытащил... Тогда тоже что-то случилось с ним, его наказали, и ему во сне приснилось тогда, как вытащить Жучку... Он так и вытащил потом. Был болен... Как любили его тогда... Тогда для какой-нибудь Жучки он не задумался рискнуть жизнью, а теперь? Или нет уж в нем мужества, и он боится смерти? Но разве он и теперь не рискует жизнью, и на этот раз даже и не для Жучки? Разве не сам

он не хотел лечиться, не сам довел себя до такого состояния? Отчего?!

Надо идти отсюда. Надо навсегда оставить дом, родных, все, к чему так привыкли воля, сердце, мысль. Почему надо? Надо.

Он посмотрел на сад, на дом и пошел со двора, огибая террасу.

О чем жалеть?! Он пошел по улице.

Умереть?! А кругом жизнь била ключом и казалась прекрасной и в спокойном прозрачном воздухе, и в безмятежном осеннем небе, и в этом контрасте покоя с шумом улиц, в спешном движении пешеходов, в грохоте телег, экипажей. Утро, полное жизни, сверкает, охватывает, и так мучительно хочется слиться опять со всей этой прелестью жизни, чувствовать силу, крылья, обаянье, блеск этой жизни, лететь туда, в ту чудную даль, где едва заметно, привольно и беззаботно точно купается в синем воздухе свободная птичка. О, как захотелось вдруг жить!

«Хочу жить, жить хочу! — напряженно стучало в висках Карташева.— Но не здесь,— здесь смерть: не здесь...»

Карташев очнулся на вокзале. Какой-то поезд готовился к отходу. «Поеду отсюда...»

Куда? Да, да: куда? Он вдруг вспомнил какой-то городок, где жил друг его дяди. Он раз только и видел его у дяди. Грустный, задумчивый, молчал и все слушал, а глаза, добрые, ласковые, смотрели на него — Карташева.

«Он добрый»,— успокоительно подумал Карташев и пошел покупать билет.

Потом, уже сидя в вагоне, он подумал, что надо все-таки написать матери.

Он позвал посыльного и, вырвав листок из его тетрадки, написал:

«Я попал, как Жучка, в вонючий колодезь. Если удастся выбраться из него — приеду. Если нет — не стоит и жалеть. Прощайте и простите».

Карташев ехал, смотрел в окно вагона, прислушивался к стуку колес, ничего не видя, ничего не слыша. Мысли, как вспугнутые птицы, тревожно,— точно отыс-

кивая местечко, где бы присесть,— носились в его голове. Носились, и он гнал их,— они отлетали, опять возвращались — беспокойные, тревожные. Мысли о доме, матери, о Петербурге, долгах, о Верочке, Шацком, о настоящем мгновении, о смерти — все было загажено, тоскливо, не на чем было остановиться, отдохнуть.

На одной из станций поезд стоял, Карташев, смотря в окно, думал: «Этот стрелочник, который стоит перед его окном и смотрит на него — Карташева, захотел бы поменяться с ним ролями?..»

Какой-то поезд подошел и остановился так, что окно купе, где помещался Карташев, пришлось против арестантского вагона. Вагон уже трогался. В нем было человек пятнадцать. Карташев встал, с любопытством рассматривая из своего окна арестантов. На скамье сидел молодой человек, с гладко причесанными волосами. Перед ним лежали хлеб, какая-то рыба. Сидевший отрезывал ломтиками хлеб и рыбу и не спеша ел. Слегка косые глаза его спокойно, удовлетворенно смотрели куда-то и видели, очевидно, не то, что окружало его. И вдруг эти глаза остановились на Карташеве. Чьи это глаза? Он где-то уже видел их.

«Иванов?!» — мелькнуло вдруг в голове Карташева.

Очевидно, и Иванов узнал его. В его косых глазах мелькнул какой-то ужас, и Карташев, как ужаленный, отскочил и спрятался в глубине купе.

Узнал его или нет Иванов?

Карташев сидел растерянный, подавленный.

«Да, так вот где опять перекрестились наши дороги».

ИНЖЕНЕРЫ

— Довольно!

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташев, стоял, и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

— Довольно!

Там в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташев кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно «довольно», стараясь как можно сознательнее пережить это мгновение. Итак, довольно, он — инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться,— достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье, и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился, теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, нестоящим...

И потом, положив мел и отойдя в глубь залы, Карташев продолжал ощущать все ту же охватившую его пустоту, в которой как будто вдруг потерял себя.

Ему казалось, что нет больше ни его, ни всех этих людей, здесь стоявших, волновавшихся. Что все они только тени, быстро, быстро проносящиеся в пространстве времени.

И что все эти радости, горе? Что вечно среди этого изменяющегося, равнодушного, неудержимо несущегося вперед?

Двадцать пять лет его жизни казались ему теперь только одним промчавшимся мгновеньем, в котором так ярко помнил он все, всякую мелочь. И в то же время так скучно, так ничтожно, так прозаично это все. И все-таки хорош этот день, этот ясный радостный май, в открытых окнах эти ароматные вздохи ветерка, тянущего с собой привет полей, лесов. Он поедет скоро туда, опять увидит свою Новороссию, ее степи, неподвижные, безмолвные, с угрюмыми скирдами сена на горизонте, ясную тихую речку в камышах с далекою далью сел, церквей, белых хаток, высоких и стройных тополей. И спит это все там теперь в ярком сиянье веселого дня, молодой весны, радостных надежд.

Правда, там нет лесов. Здесь под Петербургом он только узнал эти леса, полянки среди них, здесь под Петербургом только узнал он и аромат этих распускающихся лесов и мощное пробуждение их сразу от зимней спячки. Осень на юге, весна на севере. А эти ночи светлые, белые,— дни во сне, молчаливые, светлые, ароматные. Этот аромат распускающихся душистых тополей и сейчас несется с островов. Ах, эти острова, их сочная зелень, близость их друг к другу, голубые полосы окружающей их со всех сторон воды. Карташев вздохнул всей грудью. Везде прекрасна природа, и жизнь ее и красивее и законнее людской жизни. Радость ее — радость всех, а радость одного человека — всегда горе для других.

Вот он, Карташев, радуется, что кончил курс, что инженер он теперь. А основа этой радости? Кончил за счет тысяч других обездоленных. Кончил и обеспечен и будет сыт все за тот же счет других голодных.

А можно как-нибудь изменить все это?

Карташев поднял голову и следил в окно за птичкой, нырявшей в радостной синеве безмятежного неба.

Когда-то в гимназии он думал с другими, что можно. Теперь, когда он узнал жизнь... Теперь он думал, что нельзя? Теперь он ничего не думает. Ему показалось вдруг, что он совсем еще маленький в своем саду, Тёма — которого мама ведет за руку по дорожкам душистого сада в такой же ясный день, а он идет ленивый, беспечный и не хочет даже и думать, куда ведет.

его мама, зачем ведет: умыть ли, ногти остричь, или почитать с ним что-нибудь.

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман — толстый, веселый, добродушный.

— Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташеву и продолжал:

— Ну-с? Я вчера тоже так. Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся, и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился и, весело раздувая ноздри, сказал шепотом:

— Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

— Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

— Хочешь, поедем на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди пообедай теперь, потом выспись и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

— Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташева и сказал: «А теперь я пошел».

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташев двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего и из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: «Самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов».

И сейчас же подумал:

«А может быть, что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?»

Он тревожно стал рыться в голове, что худшего могло бы с ним случиться? Умрет жена, дети, когда он женится? Но он никогда не женится. Что еще? Он приобретет состояние и потом потеряет его? Ему смешно стало. У него-то состояние? Никогда у него ничего,

кроме долгов, не было и, конечно, никогда ничего другого и не будет. И на что это состояние? Иметь разве рублей тысячу... Он увидел швейцара Онуфриева, красное лицо которого теперь расплылось от радости и сверкало, как красный медный шар.

— С окончанием! Потрудились, и наградил господь.

Это он-то, Карташев, потрудился? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:

— Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.

Он только нерешительно сказал:

— Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.

— В последний раз,— ласково-просительно ответил Карташев.

Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:

— Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич,— продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки,— вы уже не обидьте.

— Ну, что, бог с вами, Онуфриев,— усмехнулся Карташев.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:

— Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич,— ведь после тех троек, я на образа крестился, что больше вам не дам.

Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими

тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:

— Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня убьют.

Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубахе, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:

— Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.

Месть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.

Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.

Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.

На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.

За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим личиком, смешно, точно в миньятюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нащупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блюдечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала ею варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив — робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и наверно, если бы Карташев сказал ей,

как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.

После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: «уйди», наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:

— Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына... Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добрее вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете,— по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям...

Карташев энергично замотал головой.

— Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.

— И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать...

— От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам...

— Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия,— хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?

Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

— Ваша бы воля,— перебил его Онуфриев усмехнувшись.— Все в руках божиих: только одно, что Лиза моя тоже не с совсем пустыми руками в люди пойдет. Вот я и хотел об этом с вами посоветоваться. Я так вам, как на духу, откроюсь: скопил я тридцать семь тысяч, вот вы мне и посоветуйте теперь: в каких бумагах мне их лучше держать? — Онуфриев уставился в Карташева совсем близко своими рачьими глазами. Карташеву казалось, что он, как в лупу, смотрит в красную расширенную кожу его лица, где каждая пора рельефно обрисовывалась впадиной и где так много было каких-то белых пупырышков.

«Как в швейцарском сыре»,— подумал Карташев, и ему показалось, что от лица Онуфриева и пахнет, как от швейцарского сыра. Он быстро подавил в себе неприятное ощущение и ласково-смущенно ответил:

— Видите, Онуфриев, я совершенно ничего не понимаю в бумагах.

— А как же... Ведь у маменьки вашей, наверно же, деньги в бумагах?

Карташев отлично знал, что у матери его никаких бумаг нет, что и дом и деревня заложены, но ответил:

— Конечно, вероятно в бумагах, но она мне об этом никогда ничего не говорила. Дом есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

— Ах, пожалуйста...

После этого Карташев стал прощаться, обещал заходить, несколько раз Онуфриев напоминал ему.

— Непременно, непременно,— отвечал озабоченно Карташев.

Как-то Онуфриев спросил:

— А что, от маменьки нет еще ответа?

— Вероятно, скоро будет.

— Вот с этим ответом, может, зашли бы. Обрадовали бы старика, и дочка все про вас спрашивает...

— Ваша дочка такая милая...

— Простая девушка.

— Слушай, Володька,— говорил Карташев, идя с Шуманом после этого разговора из института,—помоги, ради бога, может быть ты знаешь, какие бумаги считаются самыми доходными?

— Тебе на что? Покупать хочешь?

Карташев рассказал ему, в чем дело.

— Тридцать семь тысяч?! Однако твоих сколько там?

— Что моих? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

— Хорошенький процент за триста и за неполный год. Очевидно, таких дураков не ты один.

— Наверно, один. Он сам говорил, что за тридцать лет другого такого он не знал.

— Откуда же у него деньги?

Карташев пожал плечами.

— Кого-нибудь убил, обокрал?— спросил Шуман,— впрочем, я отчасти догадываюсь, я кое-что слыхал, он дает свои деньги инженерам-подрядчикам и участвует в прибылях.

— Ну, а насчет бумаг?

— Все это глупости: он лучше тебя знает толк в бумагах. Он просто хочет женить свою дочку на тебе и таким путем показывает тебе свое состояние.

— Его дочь очень симпатичная...

— И ты, конечно, уже не прочь жениться?

— Я не женюсь, потому что решил никогда не жениться...

— И самое лучшее, что ты мог бы сделать и чего, конечно, не сделаешь. Десять раз женишься...

— И по закону можно только три всего...

— Ну, закон...— махнул рукой Шуман.

— Все-таки что ж мне ему сказать насчет бумаг?

— Насчет бумаг? Много хороших есть бумаг: Брянские. Ты вот что ему посоветуй: Харьковского строительного общества. Это новое дело и обещает очень много.

— Отлично!

На другой день Карташев так и сообщил Онуфриеву. Тем и кончился разговор у них о деньгах, и так больше и не был Карташев в гостях у Онуфриева, если не считать его визит тогда только за деньгами для троек.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташеву, когда он шел по улице в свою кухмистерскую.

Время было еще раннее, и в кухмистерской, кроме одного молодого студента, никого не было. Студент

усердно читал какую-то книгу и ел, или, вернее, пожирал ломти серого ароматного хлеба в ожидании, пока подадут обед.

Все так же стояли белые столы, и каждый стол принадлежал другой девушке. В дверях появилась Ефросинья. То же светлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шее.

— Сегодня рано пришли.

Карташев сегодня как-то ближе вгляделся в Ефросинью и с грустью заметил следы времени на ее лице: как-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородок, сморщилась и сбежалась местами кожа, и не белизну шеи, а желтизну ее подчеркивала уже бархатка.

Пять лет назад это была свежая, еще красивая женщина. И резче подчеркивалась эта перемена, потому что в раскрытые окна смотрел ясный майский день, радостный, молодой, ленивый.

— Как поживает ваша дочка?

Точно кто дернул за невидимый шнурок, и лицо Ефросиньи сбежалось так, что слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новым блюдом. Умерла, что-нибудь случилось? Карташев не решился больше спрашивать.

Когда он кончил, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужие. Теперь уже совсем чужие. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

— Прощайте.

Да, все это чужое уже.

II

Карташев пришел домой и лег спать.

— Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташев с удовольствием вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная, кочевая изо дня в день жизнь. Только бы сегодня как-нибудь.

И сколько ни пробовал Карташев выбиться из этого сегодня, как-нибудь наладиться, так ничего никогда не

выходило из этого. Жизнь точно в гостинице, куда приехал на несколько дней. И так шесть лет день за днем. Что сделано?

Ах, решительно ничего. Никаких знаний не приобретено. Каким-то только чудом сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось ли еще? Через десять, двадцать лет все это еще может сказаться. В сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Разве можно, например, при таких условиях...

Если серьезно вдуматься...

III

Долго будила Агаша Карташева. Были минуты, когда Карташев окончательно решал продолжать спать до следующего утра. Но все-таки проснулся и в шесть часов в штатском пальто и в студенческой фуражке вышел на улицу.

Ради такого торжественного случая он решил, благо деньги были, взять лихача.

— О-го,— сказал Шуман, выходя и увидев лихача.— Прежде всего вот что надо сделать: купить кокарды на шапки.

— Следовало бы и шапки новые.

— Сойдет: даже лучше так,— как будто старые уже инженеры с постройки приехали.

И конец дня был такой же ясный, как и весь день. Веяло прохладой от Невы, заходящее солнце так безмятежно золотило ее гладь, таким покоем, такой радостью веяло от воды, от зелени, от деревьев, такой чудный свежий аромат проникал весь воздух.

Вот Петербургская сторона, вот Александровский парк, вот дом, где когда-то он, Карташев, жил. Там и Марья Ивановна жила. Как безумно тогда он любил ее. Потом разлюбил. Другую полюбил. Как ее звали? Да, Анна Александровна. Она жила против Петровского парка. Он как сейчас помнит подъезд этого дома, переднюю, где однажды, стоя на коленях, он надевал на ее ботинки калоши. Вот Большой проспект. Как часто он гулял здесь под вечер с ней. Что-то было тогда очень

хорошее. Такое хорошее, что и теперь стало Карташеву весело и легко.

— Все-таки хорошо, Володька?

— А? Что? Да ничего.

— О чем ты думал?

— О чем думал? Думал, что надо с завтрашнего дня начать шляться по разным передним: служить надо начинать.

— Давай вместе шляться?

— Гм... Давай, пожалуй.

— Черт возьми, денег ведь дадут, Володька.

— Ну, подождешь еще: нынче с местами не так просто. Те времена, когда со скамьи, да чуть ли не в главные инженеры прямо,— прошли. Теперь, ой-ой, как горб набьешь, пока дослужишься до чего-нибудь.

— Тебе хорошо,— ты все пять лет бывал на практике и всё на постройке, а я ведь только кочегаром ездил.

— Да, трудно будет. Придется учиться у десятников. Ты сразу начальство из себя не торопись разыгрывать, а то дурака сваляешь. Сперва тише воды, ниже травы, учись, а там через несколько месяцев, как подучишься, и валяй.

— Трудно строить?

— Трудно сапоги шить? Научишься, ничего трудного и не будет.

— Что, собственно, из наших институтских познаний пригодится?

— Для практического инженера? Ничего. Практически-то, что знает хорошо десятник, мы так никогда и знать не будем.

— А теорию ведь мы тоже не знаем.

— Научились рыться в справочных книжках,— на все ведь готовые формулы есть...

— Проживем?

Шуман только рукой махнул.

— Эх, Тёмка, Тёмка,— вздохнул Шуман,— бить тебя некому.

— А что?

— Да вот я думаю. Ну я? Ну и бог мне велит. А ведь ты... ведь ты такой талантливый.

— Я-то талантливый?

— Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящим был бы инженером. Я не хочу тебе никаких комплиментов говорить, но ведь занимались же мы с тобой и видел я, как тебе все без всякого труда дается.

— В этом-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я знал, что мне дается с трудом, тогда бы я трудился.

— А без труда тоже нельзя,— пустой ракетой пролетишь... А мог бы... Куда поедем? На Крестовский, что ли?

— Покатаемся еще — и на Крестовский.

Вот и Стрелка. Плоская даль воды. Красный диск на горизонте, вереница экипажей, гуляющих на Стрелке.

Ох, сколько и здесь воспоминаний. Наташа... Сколько их, однако, было? С Наташей большой кусочек жизни ушел. Хороший? Так недавно все это было еще. Болит и до сих пор, лучше и не думать: прошло и не воротится. Тогда зимой на этом озере он ходил с ней, это было в первые дни знакомства, он до сих пор помнит ощущение прикосновения к ее руке в перчатке. Точно мир весь он принимал тогда от нее, замирая от восторга.

Оттуда поехали на Крестовский. И Шуман и Карташев слонялись, скучая в густой толпе собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеям.

— Скучно,— сказал Шуман,— едем домой, с завтрашнего дня надо приниматься за искание дела, пока еще не все кончили свои экзамены. Завтра в девять часов будь готов: я зайду за тобой.

— Так рано?

— Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ложится.

— Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на свете люблю спать.

IV

В девять часов точно на другой день Шуман был у Карташева.

Карташев, конечно, не только не был готов, но и с кровати еще не вставал.

— Даю тебе четверть часа сроку,— сказал деловито Шуман,— если не будешь готов, пойду один.

Он вынул из кармана газету и сел ее читать.

— И разговаривать не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, и черт с тобой.

Карташев начал быстро одеваться.

— Стакан чаю можно выпить?

— Пей. А потом садись и пиши вот такое прошение.

— Это что?

— Это прошение в министерство о зачислении на службу. Это не мешает частной службе, а по министерству будешь числиться. Будут идти чины, эмеритура, пенсия...

— Господи, о чем он думает?

— Все, друг мой, в свое время придет. На старости лет, когда разобьет паралич и кроме исполнительных листов ничего за душой не будет, полтораста, двести рублей в месяц — их, как пригодятся! Будет на что нанять комнату, человека, который будет тебя по носу щелкать.

— Купить, наконец, револьвер, чтобы покончить с собою, вместо того чтобы вести такую гнусную жизнь.

— Кончают единицы,— наставительно ответил Шуман,— а остальные миллионы с жизнью расстаются только поневоле.

Карташев написал такое же прошение, как и Шуман, и приятели отправились в министерство. По дороге они оба купили по маленькому инженерному значку и вдели в борты своих сюртуков.

Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тот привел их в приемную директора департамента общих дел.

Пришлось ждать долго. Наконец, вышел плотный, низко остриженный господин и отрывочно спросил:

— Чем могу служить?

Шуман и Карташев молча подали свои прошения.

— Вы, собственно, куда же хотите поступить?

Карташев и Шуман переглянулись. Куда они хотели бы поступить?

Они хотели бы поступить на постройку какой-нибудь железной дороги.

— Непременно на постройку?

— Непременно.

— В департамент шоссейных, водяных не желаете?

Не только не желают, но Карташев объяснил и причины. И на шоссе и в водяных берут взятки, а так как они этого не желают, то и хотят идти на постройку.

— А на постройке взяток не берут?

— Там платят такое жалование, что люди могут и без взяток жить.

— Гм... Очень жалко, господа, что ничем вам не могу быть полезным, так как в моем распоряжении места только по общему департаменту, где этого,— он дотронулся рукой до значка Карташева,— не надо. Но, если хотите, свободные места у меня есть.

— А с этим что делать? — спросил Карташев, показывая на свой значок.

— Снять.

— Очень жаль, что пять лет тому назад мы не догадались прийти к вам, теперь, вероятно, мы бы уже дослужились...

— Чем еще могу служить? — резко перебил его директор и, не дождавшись ответа, скрылся за дверью.

Карташев и Шуман залились веселым смехом.

— Нет, какая свинья...— начал было Карташев.

Но в это время дверь снова отворилась, и в ней опять показалась фигура директора. Карташев и Шуман бросились в коридор.

— Ну, здесь ловко устроились,— говорил полушутя, полусердито Шуман Карташеву, шагая с ним по панели,— и, если так же успешно дальше пойдет, мы скоро себе составим блестящую карьеру. Послушай: так нельзя!

Его маленькие ноздри раздулись.

— Мы бы еще весь курс с собой прихватили и так и шлялись бы. Надо ходить каждому отдельно.

Шуман вынул из кармана записную книжку и сказал:

— Вот запиши себе, куда идти.

У Карташева не было ни карандаша, ни бумаги.

— Ну, какой ты к черту инженер, если у тебя нет записной книжки. Карточки есть?

— И карточек нет.

Шуман пожал плечами, вырвал листок из своей книжки и записал несколько адресов.

— Сегодня иди вот к этим, а завтра к этим. Не перепутай, смотри, а то будем встречаться. Если еще что-нибудь подвернется, буду нюхать и скажу тебе. А теперь прощай. Прежде всего ступай и купи себе книжечку с карандашом, еще лучше технический календарь, а то вдруг спросят, сколько будет дважды два, так без календаря, пожалуй, и не ответишь. Потом закажи себе карточки, а внизу — инженер путей сообщения. И не будь нахален при ответах. Все-таки с директором можно было бы разговориться: может быть, в конце концов и узнали бы от него что-нибудь. А ведь прошения наши все-таки взяли.

— Что ж с этого толку?

— Зачислят по крайней мере по министерству. Ну, прощай.

Друзья расстались. Карташев заказал себе карточки, купил технический календарь, обошел все правления по записанным адресам, но толку из этого никакого не вышло. Везде более или менее вежливо отвечали, что мест никаких нет. Иногда вскользь спрашивали, бывал ли он на практике, и на отрицательный ответ повторяли опять, что никаких мест нет.

Выяснилось и чувствовалось, что ходи он так и всю остальную жизнь, все только бы и выслушивал он на разные лады тот же ответ. Шуман почти пропал из виду. Исчезли как-то с горизонта и остальные товарищи. Кончились экзамены и в институте, и прежде широко раскрытые его двери теперь были заперты.

Точно карточный домик, развалилось вдруг все связывающее его с товарищами, институтом.

Кончил, и все надо было опять начинать откуда-то сначала, надо было опять взбираться на какую-то неприступную без лестницы башню жизни.

Карташев тоскливо ходил кругом этой башни и не видел ни входа, ни выхода.

Что толку, что он инженер теперь? Никогда на самом деле он не будет инженером, никогда ни одной дороги не выстроит. Но что же делать, как жить дальше?

Идти на шоссе или в водяные?

Лучше совсем распрощаться с инженерством.

«Сделаюсь учителем математики»,— думал Карташев и тут же думал:

«Какой же я учитель, когда я не знаю никакой математики. Любой гимназист сконфузит меня, как захочет».

Поступить разве опять в университет на математический факультет, чтобы стать настоящим учителем? Тогда уж лучше на юридический опять? Чтобы быть лучшим юристом между инженерами, лучшим инженером между юристами.

«Ну, в акциз поступлю,— думал Карташев,— там теперь тоже взяток нет.— Как-нибудь проживу же».

Редкие встречи с товарищами и даже с Шуманом оставляли еще более тяжелое впечатление. Всякий боялся проговориться, всякий таинственно отвечал на вопросы, что он думает делать.

— Еще ничего не известно...

«Все эгоисты, все думают только о себе»,— горько жаловался сам себе Карташев.

Зато из дому слали ему без счета радостные поздравительные письма и телеграммы. Энергично звали его домой.

Конечно, приятнее было бы приехать уже настоящим инженером-строителем, с местом, с бумажником, наполненным деньгами. Но и без этого тянуло туда, где любят и ждут.

— Поеду,— решил Карташев.

Зашел к Шуману, по обыкновению не застал его дома и оставил ему записку, что завтра с почтовым уезжает.

Шуман незадолго до отхода почтового поезда приехал на вокзал.

— Ну, что, как твои дела? — спрашивал его Карташев.

— Клюет,— ответил уклончиво Шуман.

— А у меня ничего не выгорело,— пожаловался Карташев.

— Гм...— промычал в ответ Шуман.

Перед последним звонком появился Шацкий.

В злополучный год болезни Карташева и его Шацкий отстал на один год, и с тех пор бывшие друзья почти не виделись.

Шацкий остался Шацким. Ломаясь, изображая из себя героя того романа из иностранной жизни, который последний прочел, он церемонно и галантно, едва дотрагиваясь до протянутой руки Карташева, проговорил:

— Узнал, что уезжаешь, и счел долгом проводить тебя.

— Ну, а я пошел,— сказал Шуман.— Прощай.

Он запыхтел, покраснел и трижды поцеловался с Карташевым.

— Ну, всего лучшего.

Шуман неуклюжей, проворной походкой, смущенно кивнув Шацкому, направился к выходным дверям.

Шацкий сейчас же после ухода Шумана сбросил с себя шутовской вид и заговорил простым языком.

— Ты грустен? Не могу ли я быть чем-нибудь полезным? Может быть, денег?

— Нет, спасибо. Да, невесело. Вот кончил и решительно не знаю, что с собою делать.

— Очень все это глупо организовано у нас. У одних все пять лет практики, у других ни разу. И моя судьба такая же будет. И в этом году опять никакой практики.

— Иди хоть в кочегары,— посоветовал Карташев.

Шацкий только досадливо дернул плечом.

— Что ж ты будешь делать? Домой поедешь?

— Ну, вот еще. Я уже третий год домой не езжу. Я ведь постоянно на практике, а с практики я еду прямо на лекции, потому что я остепенился, и вот уже три года, как у меня нет ни одного потерянного дня. Что дня? Часа потерянного нет.

— И это, конечно, стоит денег?

— Не будем говорить об этом. Меньше во всяком случае, чем служба моего брата в гусарах.

— Он кем там?

— Солдатом, mon cher, но это стоит десятка полтора тысяч в год. Держит, между прочим, своих лошадей для скачек. Теперь как раз скачки, и он зовет к себе в Варшаву. Старик в восторге: высылает ему и лошадей и деньги.

— Это тот твой брат, который поступал, когда мы кончали?

— Тот самый. В высшее заведение не пошел, и поверь, что сделает лучшую, чем мы с тобой, карьеру. Этот мальчик имеет нюх и поставлен не по-нашему. А мы с тобой... старики уже... Еще живы, еще не в могиле, но...

Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Тряпки, mon cher. Третий звонок, прощай, и если когда-нибудь вспомнишь старого друга, каких теперь уж нет и быть не может...

Шацкий опять впал в свой обычный тон и махал стоявшему в окне вагона Карташеву. Вагоны медленно двигались, Шацкий еще раз махнул, повернулся спиной, постоял мгновение и, карикатурно раскачиваясь, быстро, толкая публику, помчался прочь.

Карташев уныло провожал его глазами.

Скучные мысли ползли ему в голову.

Быстро пронеслось время. Давно ли подъезжал он впервые шесть лет тому назад к этому Петербургу. Шесть лет промелькнули, как шесть страниц прочитанной книги. Он ехал тогда и мечтал, что в эти шесть лет он приобретет знание, которое даст ему прочную возможность независимо стоять в жизни. Но знания нет. Давно, еще в гимназии, потерял аппетит к работе, и если кто-нибудь не сжалится и не даст ему кусок хлеба, то он пропал.

Ах, может быть, и будет этот кусок хлеба, но так тоскливо, так пусто на душе. Назад бы опять, к началу этих шести лет, за работу.

Все быстрее и быстрее мчался поезд по зеленым кочкам и болотам.

Карташев печально смотрел в окно.

V

Приезд домой не освежил Карташева. По крайней мере на первое время. Дома как будто все осунулось, уменьшилось.

Мать постарела, волоса ее побелели еще с болезни Карташева. Давно и эта болезнь была забыта, и отношения установились как будто прежние, но что-то из прежнего оставалось все-таки и навсегда легло между матерью и Карташевым. В той бывшей борьбе слишком уже обнаружилось как-то все и было так неприкрашенно, что всякое воспоминание и с той и с другой стороны о том времени вызывало прозу и горечь. А отсюда постоянное опасение как-нибудь коснуться этого прошлого, этого больного. Опасение коснуться не только на словах, но и в воспоминании.

Наташу часто вспоминали еще, и сильнее тогда вставало в памяти пережитое.

Зина по-прежнему была замужем за Неручевым, но дела их шли все хуже и хуже. Муж ее отчаянно кутил, а Зина толстела и ходила с опухшими глазами.

Аня кончала гимназию, религиозная, влюбленная в мать. Кончал гимназию и младший брат и, хлопая покровительственно старшего брата по плечу, говорил, горбясь:

— Так-то, батюшка, через годик и мы студентами уже будем.

— Ну, что, вас донимают в гимназии?

— Кого донимают, а кого и нет. Везде надо с умом. С умом проживешь, а без ума не взыщи. Мы тоже кое-что маракуем и на вершок сетей наплетем два.

— Не совсем понимаю, в чем дело.

— Не совсем это и просто,— отвечал многозначительно младший брат,— а в общем, как видишь, живем, хлеб жуем.

— Политикой занимаетесь?

— Что политика? Ерунда... Что мы, гимназисты, можем значить в какой бы то ни было политике? Надо быть уж совсем мальчишкой...

— Но все-таки такие мальчишки у вас в классе есть?

Младший брат горбился по-стариковски, делая ироническое лицо, и говорил:

— Есть и такие... Всякого жита по лопате, но суть не в них.

— Суть в таких, как ты?

— Я вижу,— отвечал младший брат,— ты хочешь, кажется, начать иронизировать,— ну что ж, на здоровье. Но если хочешь говорить серьезно, то я отвечу, что суть действительно в таких, как я. Мы ничем себя не воображаем, звезд с неба не хватаем, вершить судьбы любезных сограждан не собираемся, но свое дело, которое под ногой, исполняем и в будущем, надеемся, будем также исполнять. Не в обиду тебе будь сказано,— ведь кое-какая память о вас сохранилась,— вы все были чуть ли не гении, когда кончали гимназию, а знали-то вы, вероятно, ох, как мало. Не знаю, что узнал ты за это время в своем институте.

— Ничего не узнал.

— Ну, что ж, сознание вины — половина исправления, говорят, а все-таки...

— Водку пьете, в театр ходите, собираетесь вы?

— Водку иногда для ухарства пьем, в театр ходим мало, в карты маненько маракуем.

— В какие игры?

— Больше в винт, иногда в макашку.

— Влюбляетесь?

— И не без этого, бо homo sum [1].

— Читаешь?

— Как тебе сказать? Попадется под руки, прочтешь, конечно. Но постоянно читать — времени нет. Если заниматься как следует, то когда же читать? Вы, конечно, в этом отношении счастливее нас были: вы считали возможным игнорировать занятия. Вы гении зато, а мы бедные ремесленники: куда пойдешь без знаний?

Увидев огорченье на лице старшего брата, младший сказал:

— Ты не обижайся. Гении вы не потому только, что там способности у вас, что ли, больше, чем у нас, а и по своему положению, как старшие в семье,— ты, Корнев,

---

[1] я человек (*лат.*).

Рыльский, все вы ведь первенцы, на вас все внимание, а мы подростки, мы всегда в тени,— книги от брата, костюмы от брата, и это через все само собой проходит. И в результате — вам императорскую корону, вам все можно, и вы все можете, а нам зась, мы только вашего величества братья, мы обречены жить и прозябать только в тени ваших лавров. Вы, старшие, словом, съели наши доли, так уж, где же нам сметь и на что больше можем мы надеяться, как не на свои усиленные труды.

— Однако... Ты, любимый братец, лет на десять старше, прозаичнее и скучнее меня... Перед тобой, как говаривал Корнев, я просто мальчишка и щенок.

— Ну, ну, унижение паче гордости.

— В бога ты веришь?

— Осмелюсь доложить, что верю. А ваше величество?

— Нет.

— Но в душе это вам не мешает креститься на каждую церковь и молиться на ночь?

— На церковь я не крещусь, а на ночь молюсь. Но это не молитва: это привычка, благодаря которой я вспоминаю каждый день всех близких мне. Точно так же я люблю все обряды рождества, пасхи, потому что они связывают меня с прошлым, и без этого жизнь была бы скучна.

— Носишь образок на шее?

— Висит и ношу. Куда же мне его деть?

— Видишь ты,— наставительно заговорил младший брат,— я не люблю делать что-нибудь машинально, я люблю давать себе во всем отчет. Я не верю в неверующих людей. Я думаю, что предрассудками ли, поколениями ли, действительной ли своей силой, но вера так связана со всем нашим существом, что, отрешаясь от нее на словах, попадаешь в очень унизительное положение перед самим собой. По существу от нее не отделаться, а снаружи отрекся: ложь и фальшь. Так чем так, я лучше буду на виду у всех крестить себе лоб.

— Неужели ты не можешь допустить мысли, что существуют искренно неверующие люди?

— Охотно допускаю. Я сам начну вдумываться, рас-

суждать и всегда приду к тому, что ничего нет и быть не может. Вся эта сказка вочеловечения, вознесения на какое-то небо, когда мы теперь уже знаем, что это за небо,— все это, конечно, устарелая сказка, и тем не менее все эти рассуждения, как спичка в темноте — пока горит,— светло и видишь, что ничего действительно нет, а потухла — и опять охватывает мрак и образы мрака опять таинственно что-то шепчут, шевелят душу, трогают.

— Да ты бессонницей, что ли, страдаешь, галлюцинациями?

— И не думаю, сплю, как убитый, но я знаю, что я человек моей обстановки и никуда от нее не денусь; и не важно это: верю я там или не верю. Больше скажу тебе: если б я даже действительно перестал верить, я больше бы гордился тем, что все-таки я крещусь, а не стыдился бы того, что вот я крещусь.

Вошла мать, положила младшему сыну руку на голову и сказала:

— Умница: это мой сын, и все они не вашему поколению чета.

— Там умница или не умница — это особь статья, а думать так, как мне думается, это я считаю своим правом.

— Да это, конечно, хорошо,— согласился старший Карташев,— но чтоб думать правильно, нужна гарантия для этого. Гарантия же в развитии, чтении, в знакомстве с мыслями других. Да и этого мало, необходимо руководительство. Знаний так много, что без руководительства запутаешься в них и никогда на торную дорогу не выйдешь.

— А на что тебе торная дорога?

— Потому что в том и жизнь, что наступает мгновение и требует для него решения,— без подготовки и решения никакого быть не может.

— А по-моему, сознание является post factum [1], и всякое решение для действующих лиц всегда является бессознательным. Осмысливают его уже потом историки, ученые, филологи.

---

[1] впоследствии (*лат.*).

— Ты умный,— улыбнулся старший Карташев.

— Вумный,— поправил младший брат.

— Умный с воздуху, как и я, как всякий русский,— палец приложил ко лбу и поехал: выходит гладко, но торных дорог мышления нет, нет степени, нет направления, а потому все мы только рассуждающие балды, очень щепетильно отстаивающие свое право быть такими независимыми балдами.

— Ишь как у тебя сильна закваска старого,— усмехнулся младший брат.— Ну, поживешь еще, проветришь и остатки.

— А его мысли ведь зрелее твоих,— кольнула мать старшего сына.

— Я и то говорю, что он на десять лет старше, скучнее и прозаичнее меня.

— Ишь сердится,— ответил покровительственно младший брат,— друг Горацио, ты сердишься, потому что ты не прав.

— Да ну тебя к черту,— полушутя, полураздраженно сказал Карташев,— надоел.

— Идите лучше черешни есть.

— Вот это верно,— согласился младший брат.

И, взяв под руку старшего, сказал все тем же покровительственным, добродушным тоном:

— Идем, голубчик мой, черешни есть, и черт с ней, с философией, бо морочная дюже эта наука!

— Ах, Сережа, я ведь не отрицаю, что я профан и невежда, но ведь сомнение без знаний — это ведь совсем уж безнадежное профанство.

— Ну и будем безнадежными профанами, но оставим друг друга в покое: ты думай так, я буду по-своему, а черешни будем есть вместе.

— Так, так, так,— согласился старший Карташев.

Больше других жизнь в семью вносила Маня.

Тюрьма на нее не имела никакого влияния: она попрежнему смело, вызывающе смотрела своими прекрасными глазами, густые, вьющиеся от природы волосы ее были всегда в беспорядке, она любила смеяться, в ней

было много юмора, задора, душа нараспашку; она всегда была быстра на решения и действия.

Во время суда в ней большое участие принимал председатель военного суда Истомин. Он и после в тюрьме навещал ее, через нее же познакомились семьями.

Председатель был уже старик, женатый на совсем молодой, и у них была прелестная трехлетняя дочка. Обе семьи очень сошлись между собой и в конце концов поселились в одном доме — Истомины вверху, Карташевы — внизу. В обеих квартирах были большие террасы, и так как дома стояли на возвышении, то с этих террас открывался далекий вид на город и на море и на всю кипучую пристанскую жизнь.

Истомины ждали к себе сестру жены, молодую девушку, кончившую за границей гимназический курс и теперь возвращавшуюся домой. Она ехала морем и, прежде свидания с отцом, решила погостить несколько дней у сестры.

Сестра ее, жена Истомина, Евгения Борисовна, молодая красивая шатенка, немного картавила, говорила с уверенностью и непогрешимостью молодости и вся была поглощена воспитанием своей трехлетней дочки Али.

Маня была очень дружна с Евгенией Борисовной, а Аня сторонилась ее за воспитание Али.

— Мне жаль бедную девочку,— говорила Аня,—она не воспитывает, а дрессирует ее, как собачонку. Так и слышится: пиль, апорт, тубо!

И Аня так комично подражала командорскому голосу Евгении Борисовны, так воспринимала ее манеру, что все смеялись.

С Тёмой Истомины познакомились еще в прошлом году, когда он ездил кочегаром, и Евгения Борисовна относилась к нему с своей обычной покровительственной манерой, в общем очень хорошо.

Эта покровительственность, строгость, дрессировка нравились Карташеву, и он поддавался ее влиянию, и это в свою очередь вызывало к нему еще большую симпатию.

Но генерал Евграф Пантелеймонович, муж Евгении Борисовны, был с ним как-то настороже и даже сух.

В мундире генерал был еще бравый старик, но дома он ходил в халате, носил туфли, за поясом ключи от кладовых.

Все хозяйство было на его руках, и Евгения Борисовна демонстративно ни во что не вмешивалась.

— Зачем нам ссориться,— уклончиво говорила она Аглаиде Васильевне,— он так привык, у него сложившиеся вкусы, взгляды.

Истомины поженились четыре года тому назад.

Ему было тогда пятьдесят четыре года, ей двадцать лет.

Истомин был товарищем по корпусу отца Евгении Борисовны. Истомин уже командовал полком, входил с ним в тот город, где в тот день появилась на свет Евгения Борисовна.

Как ни противился отец этой свадьбе, Евгения Борисовна настояла.

С своей обычной непоколебимостью, она категорически заявила:

— Или я выйду замуж за Евграфа Пантелеймоновича, или уйду в монастырь.

В первое время они очень любили друг друга. Любили и теперь, но уже более спокойным, остывшим чувством. На горизонте их семейной жизни собирались тучки: привычки старого холостяка, аккуратника, педанта давали себя чувствовать. Обижали Евгению Борисовну и халат, и туфли мужа, и весь тот непреклонный режим, который он вел и требовал от жены.

Она и сама была непреклонная, и между ними все чаще происходили столкновения. Но об этом ни прислуга и никто из посторонних и не догадывались. Со стороны все было благодушно, патриархально и гладко. Муж уходил часов в одиннадцать на службу, а жена с Алей и бонной ходила гулять, играла на фортепиано, вела дневник и читала. Читала романы, почти всегда иностранные, так как тоже воспитывалась за границей, читала все, что можно было прочесть по воспитанию, и прежде всего, конечно, Жан-Жака Руссо.

Выглядела она вполне уравновешенным, спокойным и довольным своей судьбой человеком.

Со времени известия о приезде к ней сестры ее Аделаиды, или Адели, как называла ее Евгения Борисовна,— Евгения Борисовна и Маня еще больше сошлись. Маня постоянно бегала наверх и возвращалась оттуда веселая, задорная и, проходя мимо Тёмы, ерошила ему волосы по дороге и ласково бросала что-нибудь вроде:

— Ах ты, Тёмка, урод!

И Евгения Борисовна еще больше покровительственно смотрела на Карташева и говорила с ним как-то загадочно и даже как будто лукаво.

Она не была кокеткой, Карташев не относил это лично к себе и еще более смущался от всего этого.

Иногда вдруг Маня принималась хохотать, как сумасшедшая. Карташев смотрел на нее, на улыбавшуюся Евгению Борисовну, и ему становилось и самому весело, а особенно когда и Евграф Пантелеймонович тоже начинал улыбаться. Прежде он почти никогда не улыбался Карташеву, и Карташев в этом видел, что начинает приобретать симпатии даже и сурового генерала, прежде относившегося к нему с недоверием, а теперь все более и более расположенного к нему. И это Карташеву было очень приятно.

Он любил, чтобы к нему хорошо относились, любил и умел добиваться этого.

— Вероятно,— решил Карташев,— он думал, что я буду ухаживать за его женой, и, убедившись, что не ухаживаю, переменил свое обращение со мной.

Однажды под вечер Карташев пошел прогуляться к морю и возвратился домой, когда уже были сумерки.

Прозрачные, ласкающие окна их квартиры были раскрыты, и Карташев услыхал игру на рояле. Игра была нежная, мягкая, звуки точно лились — и прямо в душу.

Кто это так играл? Игра Мани была бурная, звучная; правда, у Зины было тоже очень мягкое туше, но Зина — в деревне.

Парадные двери были не заперты, и Карташев вошел в гостиную. За роялью сидела незнакомая худенькая женская фигурка с закрученной на голове косой. У рояля сидела лицом к нему Маня и задумчиво, под впечатлением музыки, смотрела в пол.

Шум отворявшейся двери остановил игру. Незнакомая девушка оглянулась на Карташева, перестала играть и смущенно смотрела на Маню.

— Мой брат,— сказала Маня и назвала брату свою гостью: — Аделаида Борисовна Воронова.

И так как лицо Карташева ничего не выражало, то она прибавила:

— Сестра Евгении Борисовны.

— А! — радостно сказал Карташев.

Сестра Евгении Борисовны уже друг и семьи и его, а особенно такая чудная музыкантша, такая изящная, такая скромная, такая застенчивая.

И сколько достоинства, сколько прелести в этой маленькой фигурке, выглядывающей почти еще девочкой.

Обыкновенно первые шаги знакомства — самые тяжелые. Люди натянуты, хотят что-то изобразить из себя необычное. Так по крайней мере всегда бывало с Карташевым. А тут произошло совсем обратное: Карташев сразу почувствовал себя в своей тарелке, стал восторгаться ее игрой, просил ее еще играть. Карташев развеселился, начал рассказывать разные глупости, от которых и он сам, и Маня, и Аделаида Борисовна чуть не до упаду смеялись.

Потом пришли Аня, Сережа. Приехала из города Аглаида Васильевна, пришла Евгения Борисовна, пили чай, сидели на террасе, и вечер прошел незаметно и быстро.

Весь под настроением, Карташев провожал Аделаиду Борисовну и сестру ее наверх, помог ей надеть шотландскую накидку, нес ее шкатулочку из розового дерева, в которой лежало ее шитье.

И накидка, и шкатулочка, и она вся, когда уже ушла, стояли перед ним, и, возвратившись, он в каком-то очаровании слушал рассказы о ней своих домашних.

Всех очаровала Аделаида Борисовна.

Даже Аня сказала:

— Вот это — человек, настоящий, хороший человек.

— Ласковая какая, мягкая, а глаза, глаза,— восхищалась Маня.

Сережа сказал:

— И при этом она ведь и совсем некрасива.

— А, ну, что такое красота? — досадливо воскликнула Маня.— Кукла красивая, а что с нее толку?

— В ней именно удивительная человеческая красота,— качала головой Аглаида Васильевна.— Я много видала девушек на своем веку,— и Аглаида Васильевна точно опять пересматривала их всех в своей памяти,— но такой воспитанной, такой скромной, такой обаятельной...

— А сколько достоинства в то же время? — сказала горячо Маня и добродушно, вызывающе обратилась к старшему брату.— А ты что молчишь? Ты что, очумел, или от природы такой чурбан бесчувственный?

— Маня! — сказала Аглаида Васильевна.

— Да, что ж он, мама, сидит, сидит, как не живой между нами. Ну? Говори...

Карташев с наслаждением слушал похвалы, расточаемые Аделаиде Борисовне, готов был от себя еще столько же прибавить, но когда Маня обратилась к нему, он потянулся и нехотя сказал:

— Девушка как девушка: симпатичная...

— Что?! — взвизгнула Маня.— Ах ты свинтус, ах ты оболтус, ах ты Вахромей!

— Маня, Маня! — звала ее Аглаида Васильевна.

Но Маня не слушала. Ее волосы рассыпались, глаза сверкали, как бриллианты, она наступала на Тёму и визжала:

— Да я тебе, негодному, все глаза твои выцарапаю, своими руками задушу негодяя...

— Я ухожу,— в отчаянии сказала Аглаида Васильевна.

— Хорошо, я больше не буду, но я так зла, так зла...

Она быстро то сжимала, то разжимала пальцы рук и проговорила комично:

— Хоть бы кошка мне, что ли, попалась, чтоб разорвать ее в мелкие клочки.

Все смеялись, Карташев довольно улыбался, а Маня продолжала:

— Нет, как вам нравится? Можно сказать, ангел сошел на землю, а он, чучело...

— Маня, что за манеры?!

— Манеры? Разве с этаким господином хватит каких-нибудь манер?! Ну, хорошо же! Только ты ее и видел! На коленях будешь умолять, ручки мне целовать — никогда!

Она ходила перед Карташевым и твердила:

— Помни, помни — никогда! И заруби это себе хорошенько на своем носу-лопате!

Она остановилась перед братом, взялась в бока и сказала:

— Ну! Повтори теперь еще раз, что ты сказал?

— Сказал, что она очень симпатичная и милая...

— Дальше, дальше.

— Что ж дальше?

— Ну, уж говори прямо, что влюбился,— сказал Сережа.— Я по крайней мере — готов.

— Молодец, Сережка! Вот настоящий мужчина, а не такой кисляй, как ты.

— А нога у нее некрасивая: длинная, на низком каблуке,— заметил Тёма.

— Смотрите, смотрите, успел уж и под платье заглянуть...

— Маня!

— Дурак ты, дурак,— продолжала Маня,— нога ее в великолепном, самом модном, летнем ботинке. И всякую ногу одень в такой ботинок, она будет длинная и узкая, как у обезьяны. И через полгода ты и не увидишь другого фасона. И слава богу, потому что нет ничего ужаснее этого полуторааршинного каблука, торчащего на середине подошвы. И в таком ботинке и нога слона и та будет ножкой, а такие, ничего не понимающие, как ты, будут только вздыхать от восторга: ах! ах! Ну, а играет она как?

— Играет прелестно, и если Сережа уже влюбился в нее, то я тоже влюбился в ее музыку.

— Не беспокойся, черт полосатый, влюбишься и в нее.

— Маня! То есть после тюрьмы у тебя такие стали ужасные манеры, замашки, выражения...

— Одним словом, известно, острожная, пропащий человек и конец.

И Маня хлопнула по плечу старшего брата.

— Ну, ты совсем уж разошлась,— сказала мать,— идем лучше спать.

Но Маня, проходя через гостиную, присела к роялю, и долго еще сперва шумная, а потом тихая музыка разносилась по дому. Под окном кто-то кашлянул. Маня остановилась, прислушалась и встала.

Теперь лицо ее было совершенно другое, напряженное, немного испуганное.

Оглянувшись и увидев на кресле старшего брата, она быстро приняла свой обычный вызывающий вид.

— Ты что здесь делаешь? — накинулась она на него,— пора спать.

— Ну, спать, так спать,— согласился Карташев и пошел в свою комнату.

А Маня дразнила его вдогонку:

— А-га, а-га! хочется поговорить, заслужи сначала! Ты думаешь — такое сокровище даром дают. Надо стоить ее.

— Оставь себе это сокровище,— повернулся к сестре в дверях Карташев и, не дожидаясь ответа, затворил за собою дверь.

Маня не двигалась, пока не затихли его шаги, затем торопливо подошла к окну и кашлянула.

Когда раздался ответный кашель, она наклонилась в окно и тихо спросила:

— Кто?

— Ворганов.

— Проходите через парадную дверь на террасу.— И подождав еще, она пошла на террасу.

Там стоял молодой человек, светлый блондин, в пиджаке.

Маня и молодой человек крепко пожали друг другу руки.

— Благополучно? — спросила Маня.

— Вполне.

— Давно приехали?

— Сегодня.

— Долго пробудете?

— Несколько дней, вероятно.

Молодой человек усмехнулся.

— Жизнь коротка...

— Да, коротка! — вздохнула Маня.

— Жалко, что вы киснете здесь.

— Кисну?..

— Как у вас с матерью?

— Мать уже прошлое. Какую-то сказку,— я помню, читала про страшного волшебника, который жил на дне моря, которому на завтрак было мало кита, а в конце концов от старости он стал таким маленьким, что самая маленькая рыбка его проглотила и не заметила даже.

— Так и во всем нашем деле будет.

— Будет-то будет, доживем ли только мы с вами до чего-нибудь хорошенького?

— Доживем. Особенно наш период будет чреватый. Собственно, организованной работе в деревне конец: урядники, смертные приговоры за агитацию ставят партию в безвыходное положение и волей-неволей поворачивают на путь политической борьбы, пропаганды путем нелегальной печати, политического убийства. Сочувствие со стороны общества во всяком случае большое. Главный симптом — деньги, прилив небывалый.

— В университет назад не думаете?

— Пока работа есть — нет. Вы знаете, что завтра у нас собрание?

— Знаю и буду. Опять шпиона выследили?

Маня сделала брезгливую гримасу.

— Не люблю этих дел. Доказательств всегда так мало, а уж одно подозрение навсегда вычеркивает человека из списка порядочных. Вот Ахматова: у меня положительно впечатление, что она невинна... И если она действительно невинна, тогда что? Что будет она переживать всю остальную свою жизнь? А мы с таким легким сердцем готовы кого угодно заподозрить, забросать грязью. Брр...— Маня вздрогнула.

Дверь на террасу отворилась, и Аглаида Васильевна угрюмо спросила:

— Кто тут?

Маня ответила:

— Я.

— Ты одна?

— Нет.

После некоторого молчания Аглаида Васильевна очень недовольным голосом спросила:

— Спать скоро пойдешь?

— Скоро.

Дверь затворилась.

Когда через час Маня провожала своего гостя, он спросил ее:

— Не влюбились?

Маня равнодушно махнула рукой.

— Я слишком ненавижу, чтоб было еще место для любви.

— Звонко сказано! — усмехнулся молодой человек.— А я вот все мучаюсь и от того и от другого!

— И на здоровье! Дай бог только поменьше удач в любви и побольше в ненависти.

Маня захлопнула дверь, заперла ее и пошла к себе.

Как ни тихо проходила она коридором, сонный голос из спальни окликнул ее:

— Ты, Маня?

— Я.

И Маня быстро шмыгнула в свою комнату, пока опять не заговорила Аглаида Васильевна.

— Маня, зайди ко мне.— После молчания она опять сказала: — Маня!

Никто не отвечал.

— Ушла к себе! — Гнев охватил Аглаиду Васильевну, и первым побуждением было встать и грозно идти к Мане. Но она продолжала лежать в каком-то бессилии. Она только плотнее прижала свою белую голову к подушке и очень скоро опять заснула.

VI

В пять часов утра Аглаида Васильевна была уже на ногах. Она долго стояла на коленях перед своим большим киотом, уставленным образами. Были тут и старые и новые, были и в золотых и серебряных ризах, были и маленькие без всяких риз, совершенно темные. Висели крестики, ладонки, лежали пасхальные яйца, одно маленькое, красненькое, десятки лет уже лежав-

шее, совершенно высохшее и только во время тряски издававшее тихий звук от засохшего комка внутри.

Каждую пасху Аглаида Васильевна брала яйцо в руки и погружалась на несколько мгновений в соприкосновение с тем, что было когда-то.

— Мама, что это за яичко?

— Вам это знать не надо.

Был канун троицы. Аглаида Васильевна ждала сегодня Зину с внуками и внучками.

Она молилась больше часу. Встав, утомленными тихими шагами она прошла в столовую, взяла спиртоварительную кастрюльку, кофейник, кофе, сливки, просфору и вышла на террасу.

Радостное, светлое утро ослепило ее.

В соседнем монастыре уже звонил колокол.

«Хороший знак!» — подумала Аглаида Васильевна.

Она положила все предметы на стол и медленно, удовлетворенно три раза перекрестилась. Затем она села в соломенное кресло и некоторое время отдавалась охватившему ощущению красоты картины.

На террасе была тень, была прохлада, а там на море, на горах солнце уже ярко сверкало.

Как будто настал уже великий праздник и природа в сознании его замерла, охваченная восторгом, счастьем, сознанием своей жизни, бытия.

Только люди густой муравьиной толпою на пристанях копошились, и глухой гул толпы несся оттуда.

Аглаида Васильевна отыскала глазами купол собора, опять трижды перекрестилась. Затем она начала варить себе кофе.

Эти часы были лучшими в ее жизни. Потом проснутся дети, ворвутся, шум и заботы дня у каждого свои, многосложные, перепутанные; приедет Зина с детьми, а теперь часы отдыха, часы, когда она только с богом, когда она набирается сил для всего предстоящего дня.

А чтоб их иметь достаточно, прежде всего мудрое правило — довлеет дневи злоба его, и другое — на все его святая воля. Думала в эти часы Аглаида Васильевна только о приятном.

Вот сын кончил и приехал. Пережить с ним пришлось больше, чем со всеми остальными вместе взятыми детьми. Буквально был вырван из объятий смерти, из объятий ужасной болезни.

Самого его заслуга, конечно, большая, но еще бóльшая Наташи, которая свою жизнь отдала за него. А еще бóльшая, конечно, святого Пантелеймона, которому умирающего тогда сына передала Аглаида Васильевна. Надо сегодня отслужить ему молебен, надо на Афон из первого жалованья сына отправить двести рублей... И непременно заказать образ со святыми Артемием и Пантелеймоном. Конечно, величайшая ее мечта, чтоб к концу жизни ее Тёма, прошедший уже весь тяжелый путь искупленья, в созерцании познанной жизни, последние свои минуты провел уже под схимой, приняв имя подарившего ему жизнь — Пантелеймона.

И еще об одной мечте своей подумала и вздохнула Аглаида Васильевна. Чтоб на этом образе была и та святая, имя которой будет носить подруга жизни ее сына.

«Аделаида»,— где-то в самых тайниках сознания пронеслось это имя, но Аглаида Васильевна отогнала это, как суетное пока, и, крестясь, громко сказала:

— Во всем будет твоя святая воля!

Было много и неприятного, что хотя и гнала от себя Аглаида Васильевна, но все-таки прокрадывалось в голову: Маня и ее отношения к революционной партии! За одно была спокойна только Аглаида Васильевна, что здесь ни о каких любовных похождениях не могло быть и речи.

Все ее дочери в этом отношении больше чем застрахованы. Она сумела внушить им не только ужас, но даже полное отвращение ко всему, что не освящено браком, традициями.

Даже и при таких условиях эта сторона жизни не удовлетворяла их. Пример Зина. Все ссоры и раздоры ее с мужем, разгул мужа, все расстройство его дел — причиной всему было отношение к нему его жены. Эту сторону жизни Зина называла животной и говорила о ней с раздражением, бешенством и тоской.

— Я не могу, не могу выносить его ласки, когда его

лицо делается животным, бессмысленным, это так отвратительно, так невыносимо ужасно!

И прежде Наташа, а теперь и Маня и Аня слушали и сочувствовали ей всеми тайниками своего существа. И даже в детях Зина не находила утешения, потому что и они были порождением того же омерзительного, греховного и тех мгновений, когда и она сама была унижена.

В последнее время особенно обострились отношения между Зиной и ее мужем. Она не хотела больше детей и единственный способ настоять на своем видела в прекращении супружеских отношений. Муж ее рвал, метал, пьянствовал, развратничал и все больше запускал дела. Из последнего займа в пятьдесят тысяч под будущий посев он привез домой только пятнадцать. Это уже знала Аглаида Васильевна из письма. Что-то у них там теперь? Как внуки? Сердце Аглаиды Васильевны радостно забилось. Эти внуки были ей теперь дороже, чем собственные дети, их любовь, их вера в ее силы. Слово — баба,— с которым они постоянно обращались к ней, чувствуя в ней и защиту и высший авторитет, звучало в ее ушах, как лучшая музыка в мире.

Когда все проснулись и пили чай и кофе на террасе, Аглаида Васильевна вышла, уже одетая в обычное черное платье, с черной кружевной косынкой на голове, и сказала:

— Тёма, я не касаюсь твоих религиозных убеждений, и не для тебя, а для себя, я прошу тебя и даже требую, чтобы ты пошел со мною в церковь отслужить молебен святому Пантелеймону.

Карташев смотрел на мать и все еще никак не мог свыкнуться с переменой в ее лице от выпавших зубов. Лицо ее стало от этого приплющенным снизу. Как-то было жалко и смешно смотреть на всю ее и вызывающую и неуверенную в то же время фигурку.

— Я ничего не имею против,— ответил Карташев.

Все облегченно вздохнули, насторожившись было, как бы Тёма не сделал из этого министерского вопроса. В церковь пошли только мать и сын. В ближайшую монастырскую церковь. Надо было только повернуть за угол, и перед глазами уже вставали белые монастыр-

ские стены с большими воротами посреди. Из-за стены выглядывали большие деревья густого тенистого сада. В воротах с кружкой стояла пожилая, полная, благочинная монахиня, которая радостно кланялась поясными поклонами Аглаиде Васильевне. Подойдя, Аглаида Васильевна поцеловалась с монахиней и, показывая на сына, сказала:

— Вот позвольте вам, мать Наталия, представить моего первенца. Приехал из Петербурга, кончил курс, инженер.

Мать Наталия кланяется, кланяется и Карташев.

— Идем молебен отслужить святому Пантелеймону, я вам рассказывала...

— Как же, как же, помню, помню! Радостно видеть своими глазами чудо господне, его святого Пантелеймона и нашего покровителя молитвами содеянное.

— Святой Пантелеймон,— пояснила мать сыну,— покровитель этого монастыря.

Карташев первый год жил на этой квартире и раньше никогда не бывал в монастыре.

Когда Аглаида Васильевна проходила дальше, монахиня ласково-просительно сказала:

— А уж после молебна не откажите с сынком в келейку нашу испить чашечку чаю. Не побрезгуйте,— поклонилась она и Карташеву,— мы вашу матушку чтим, как нашу мать родную, а вас, как брата нашего общего отца и покровителя святого Пантелеймона. Вы образ его на воротах приметили?

— Как же, как же!

Карташев поклонился монахине и, идя с матерью по мощеным плитам монастырского двора, сказал:

— Очень симпатичная и не глупая.

— О, очень не глупая. Она всем монастырем управляет собственно, но и самая смиренная, как видишь, не пренебрегает никаким трудом, никогда послушнице не позволяет прибрать у себя, все решительно сама делает.

Церковь, охваченная с трех сторон деревьями, сверкала своими белыми фронтонами.

— Смотри, как радостно, точно машут нам деревья,— сказала мать.

— Очень уютно и очень чисто,— ответил сын.

Когда они входили под своды церкви, женский хор где-то на хорах звонко пел, а священник, благословляя редкую толпу, говорил:

— Благословение господне на вас.

Мать радостно, тихо шепнула сыну:

— В какой момент вошли — чудный знак!

— У вас ведь плохих нет,— так же тихо ответил ей сын.

Мать встала на колени и погрузилась в молитву.

Обедня кончилась, мать пошепталась с диаконом, и сейчас же начался молебен.

Мать весь молебен прослушала на коленях. В одном месте молебна она дернула сына за ногу и показала на пол. Он тоже встал на одно колено и наклонил голову, думая, долго ли надо ему так стоять. Ноги его затекли, и он опять поднялся на ноги, думая, как это мать может стоять так долго.

Когда молебен кончился, он сказал это матери.

— А завтра три часа придется стоять так!

— Почему?

— Первый день троицы, весь акафист святой троицы — все на коленях.

— Хорошо, что предупредили,— усмехнулся Карташев.

— Глупенький, это твое дело, мне важно было сегодняшнее. Ты мне такой праздник сегодня сделал... Больше, чем окончание курса.

И священнику и диакону мать представила сына.

Священник покровительственно смотрел на Карташева и говорил:

— Ну, стройте, стройте нам дороги, да покрепче, чтоб костоломками не были. Место уже имеете?

— Нет еще.

— Ну, все в свое время. Довлеет дневи злоба его.

— Вот, вот, батюшка,— сказала Аглаида Васильевна,— золотыми буквами в сердце всякого должны быть написаны эти слова.

— А без этого как жить? Разве чирикали бы так беззаботно птички, была бы вся эта божья благодать?

И священник указал кругом. В открытые окна церкви заглядывали зеленые деревья, белые и розовые

кисти цветущих акаций, сверкало там за окнами солнце, еще более яркое от прохлады в церкви. Уже вносили траву для завтрашнего дня, и этот аромат свежих трав, настой мяты, васильков и других полевых цветов слился с свежим и сильным запахом белой акации, сирени.

Они повернулись к выходу, и Карташев вдруг увидел у одной из колонн скромную фигурку Аделаиды Борисовны.

Аглаида Васильевна так и рванулась к ней и, горячо целуя, сказала:

— Голубка моя стоит здесь... Вы были на молебне?

— Да.

— Я никогда вам этого не забуду! Сегодня такой для меня праздник...

Аделаида Борисовна покраснела, как краснеют девушки ее возраста — до корня волос, до слез.

Карташев с несознаваемым восторгом смотрел на нее.

Но при выходе Аделаиде Борисовне пришлось еще раз покраснеть и даже совсем сгореть от стыда.

У притвора стоял нищий, высокий старик, угрюмый, державший себя с большим достоинством.

Аглаида Васильевна остановилась и подала ему.

Аделаида Борисовна достала маленький изящный кошелек, вынула оттуда серебряную монетку и тоже подала.

Старик посмотрел на нее и сказал:

— Да пошлет тебе господь хорошего мужа! Святому Артемию молись.

Выходившая уже Аглаида Васильевна остановилась, как пораженная громом. Она так и стояла, пропустив вперед сына и Аделаиду Борисовну, а затем, повернувшись к церкви, перекрестилась и положила земной поклон. После этого она подошла к нищему и, подавая ему трехрублевую бумажку, сказала:

— Молись, угодный богу человек, чтоб пророчество твое сбылось! — И совсем шепотом прибавила: — Молись за Артемия и Аделаиду!

И Аглаида Васильевна вышла на полянку, где ждали ее сын, Аделаида Борисовна, мать Наталия и другая монахиня, тоже пожилая, маленькая, полная.

— Милости просим!

— Позвольте прежде всего, дорогие мои,— сказала Аглаида Васильевна,— познакомить вас с этой дорогой моей барышней. Она сестра Евгении Борисовны.

— А-а! — воскликнули монахини и жали руку Аделаиды Борисовны.

— Ну, тогда и вас уж тоже позвольте просить для знакомства на чашечку чаю.

Мать Наталия, махнув рукой и добродушно прищурившись, сказала:

— Уж все равно заводить знакомство, чем с одним,— она посмотрела на Карташева,— так вдвоем еще веселее.

Она скользнула по Аделаиде Борисовне и, низко кланяясь, протягивая рукой вперед, кончила:

— Милости просим, милости просим, и да благословит ваш приход господь бог и святой Пантелеймон наш! Мать Наталия и мать Ефросиния, вперед дорогу показывайте!

— Ну, или так — мать Наталия вперед, а я сзади, чтоб не разбежались! — сказала вторая монахиня.

— И я с вами! — сказала ей Аглаида Васильевна.

Так они и шли под боковой колоннадой, и шаги их звонко отдавались по плитам,— впереди мать Наталия, потом Аделаида Борисовна и Карташев, а сзади Аглаида Васильевна с матерью Ефросинией.

Потом пошли длинным желтым коридором с такими же каменными плитами, темными, блестящими и звонкими. В окна коридора лил яркий свет, по другую сторону коридора шел ряд дверей в кельи. Иногда такая дверь отворялась, и оттуда выглядывала голова монашки. Увидев Аглаиду Васильевну, монашки радостно целовались, а Аглаида Васильевна знакомила их с ее сыном и Аделаидой Борисовной.

— А вот и наша хата! — сказала мать Наталия, широко распахивая дверь своей кельи и низко кланяясь.— Не побрезгуйте, Христа ради!

Все вошли в низкую продолговатую и узкую келью с маленьким окошечком в тенистую часть сада. В келье пахло кипарисом, мятой и еще какими-то пахучими травами или маслами.

Вдоль одной стены, ближе к окну, стояла застланная нара, против нее вдоль противоположной стены стенной шкаф со множеством полочек и ящичков.

Ближе к двери простой деревянный стол, покрытый цветной скатертью. Принесли еще два табурета, и все сели.

Молодая монахиня внесла медный, ярко блестевший самовар. Самовар кипел, пышно разбрасывал вокруг себя струи белого пара.

Молодая монахиня поставила самовар и ждала приказания. Это была стройная, красивая, с живым взглядом черных глаз девушка.

— Вот, позвольте вас познакомить,— сказала, привставая, мать Наталия,— наша молодая послушница Мария, во Христе.

— Мы знакомы,— приветливо ответила Аглаида Васильевна и поцеловалась с молодой монахиней.

Молодая Мария прильнула к Аглаиде Васильевне, так же радостно прильнула и к Аделаиде Борисовне и, потупясь, протянула руку Карташеву.

— А теперь, дорогая Мария,— сказала мать Наталия,— принеси нам хлебушка, икорки, балычка, грибков.

Мария бросилась было к дверям.

— Да, постой! — спохватилась мать Наталия,— принеси и сливочек.— И, обращаясь к Аглаиде Васильевне, прибавила: — Что ж нам неволить их? — Она показала на молодежь.— Придет еще время им поститься.

— Какая красавица ваша Мария! — качала головой Аглаида Васильевна,— и какая молодая! Невольно страшно за нее: вдруг — пожалеет.

— Господь спаси и помилуй,— перекрестилась мать Наталия,— у нас в болгарском монастыре был такой случай... Мария ведь тоже болгарка; еще девочкой со мной была! Ох, и перестрадали мы!

Разговор перешел на болгарские монастыри, на Болгарию, откуда мать Наталия только в прошлом году приехала. Начавшаяся война вызвала особый интерес к стране, за которую лилась теперь кровь.

Принесли просфоры, хлеб, икру, балык, грибки и сливки.

Все, не исключая и послушницы, сели около стола. Мать Наталия рассказывала, не торопясь, толково и умно.

— И красивы же болгарки. Таких красивых женщин, я думаю, нигде в мире в другом месте нет. Видала я библию с рисунками. Так вот там только такие лица. И лицом, и складом, и поступью — всем взяли — каждая царица. А мужики у них маленькие, кривоногие, и, прости господи, есть такие уроды, что во сне увидишь — и испугаешься.

И когда все смеялись, мать Наталия смотрела, кивала головой и добродушно повторяла:

— Уроды, уроды...

— Есть и красивые! — сказала послушница и покраснела.

— Старыми глазами, может, и проглядела,— ответила сдержанно мать Наталия и заговорила о своей предстоящей поездке в соседний монастырь.

Напившись чаю, гости встали и, приглашая монахинь, попрощались с ними.

На обратном пути в коридор высыпал весь монастырь. Были тут и старухи и молодые. Все они ласково кивали головами, иногда крестили и по проходе о чем-то шушукались.

Аглаида Васильевна услыхала один этот возглас:

— В добрый час!

И, наклонив голову, перекрестилась.

Прямо из монастыря Аглаида Васильевна поехала по делам в город, а в это время мать Наталия крикнула Аделаиде Борисовне и Карташеву:

— А в садике нашем и не побывали; зайдите посмотреть!

Карташев посмотрел на Аделаиду Борисовну, та — нерешительно на него, мать Наталия настаивала, и оба они возвратились назад в монастырь.

Аглаида Васильевна уже с извозчика оглянулась, но у ворот стояла только мать Наталия, которая и показала ей широким взмахом на монастырь, крикнув:

— Заманила опять ваших голубков!

— Постой!

Аглаида Васильевна сошла с извозчика, и к ней быстро подошла мать Наталия.

— Ведь знаете, мать Наталия, я только сейчас вспомнила свой сегодняшний сон! Стою я будто у окна, и вдруг белая голубка опустилась ко мне на плечо и так воркует, так ласкается...

— Божий сон — в руку сон! Чтоб не сглазить. Да не сглажу — глаза голубые ведь у меня... Сколько живу, сглазу не было... Давай бог, давай бог.

Обе женщины еще раз поцеловались, и мать Наталия, вдруг отяжелев, слегка прихрамывая, пошла в монастырь.

Во дворе уже никого не было. Еще на улице она слышала радостный возглас:

— Пожалуйте, пожалуйте!

Теперь она слышала веселый говор в саду.

Мать Наталия, подумав: «и без меня там справятся»,— пошла по хозяйству.

VII

Дома ждала телеграмма от Зины: «Если Тёма может приехать за мной, то на троицу приеду с детьми».

Карташев в тот же день выехал за сестрой в имение Неручевых «Добрый Дар».

«Добрый Дар» находился в северо-западной части Новороссийского края, где местность уже теряла свой исключительно степной характер.

И здесь также открывались перед глазами необъятные степи, но местами попадалась и взволнованная местность, изрытая крутыми оврагами, подымались тут и там высокие холмы, а иногда торчали скалы, обнаженные, угрюмые, на которых вили свои гнезда сильные орлы, называемые беркутами.

Под вечер сверкнула перед ним красная крыша господского дома, и он опять увидел знакомые места. Вспомнил еврейку и нарочно по дороге заехал в корчму узнать, как она поживает. Но старый еврей Лейба с большой белой бородой, почтенный, солидный, на вопрос Карташева ничего не ответил и даже совсем ушел.

Какая-то дивчина наймичка, с высоко заткнутой за пояс сподницей, из-под которой обнажались до колен ее голые ноги, с большими грудями, болтавшимися под рубахой, торопливо рассказала Карташеву, что дочь Лейбы убежала с соседним барином и теперь в монастыре, где примет христианство и выйдет за барина замуж. А старик Лейба после бесполезных хлопот проклял дочь и никогда об ней больше не говорит.

Весь охваченный воспоминаниями, въезжал Карташев в знакомый двор усадьбы.

Вот каретник, где когда-то произошла смешная сцена с ним и Корневым.

Тогда пара любимых Неручевым лошадей, когда их запрягли, вдруг заартачилась и долго не хотела взять с места.

Неручев тогда рвал и метал, и его громовой голос несся по двору, и всё и вся дрожало от страха, когда вдруг Неручев упавшим голосом, как-то по-детски, сказал:

— Ну, давайте ножи, будем резать лошадей!

Этот переход, хотя и обычный, бывал всегда так смешон, что Карташев и Корнев, стоявшие сзади коляски, фыркнули и присели за коляску, чтоб их не увидел Неручев.

Но как раз в это время кони рванули, наконец умчались, и остались сидящие на корточках Карташев и Корнев, а перед ними Неручев, отлично понимавший, что смеялись над ним. На этот раз, так как взрыв уже прошел, Неручев новым не разразился и, молча повернувшись, пошел от них прочь.

На крыльцо выбежали встречать дети, Зина, бонна. Не было только Неручева.

Зина горячо несколько раз обнимала брата.

Какая-то перемена была в ней: она стала ласковая, мягкая, со взглядом человека, который видит то, чего другие еще не видят и не знают.

Она избегала говорить о себе, о своих делах и с любовью и интересом, трогавшими Карташева, расспрашивала его об его делах.

— Постой...— сказала она, и лицо ее осветилось радостью.

Они сидели на скамье в саду, в широкой и длинной аллее. Она встала и ушла в дом, а Карташев в это время стал раздавать детям подарки.

Зина скоро вернулась с маленьким ящичком. В нем был академический значок, выполненный в Париже по особому заказу Зины ручным способом.

Работа была удивительная.

— Пусть этот знак будет всегда с тобой и напоминает тебе меня.

Голос Зины дрогнул, и она вдруг заплакала.

— Мама плачет! — крикнул встревоженный старший мальчик и, бросив игрушки, кинулся к матери; за ним побежала и маленькая лучезарная Маруся, но второй, черноглазый, трехлетний Ло не двинулся с места и только впился в мать своими угрюмыми черными глазенками.

Но Зина уже смеялась, вытирала слезы, целовала детей, Тёму.

Потом все пошли обедать. И за обедом не было Неручева. Зина вскользь сказала, что он возвратится к ночи.

На вопрос Карташева, как дела, Зина только брезгливо махнула рукой.

После обеда Зина играла и пела.

Вечером они сидели на террасе и прислушивались к тишине деревенского вечера, с особым сухим и ароматным воздухом степей.

Где-то в горах сверкал ярко, как свечка, огонек костра, неслась далекая песня, мелодичная, печальная, хватающая за сердце.

— Ну, ты устал, а потом завтра опять дорога, ложись спать.

Карташева положили в той же комнате, где когда-то они спали с Корневым, и опять воспоминания нахлынули на него.

Так среди них он и заснул крепким молодым сном.

Проснувшись и одевшись, он вышел на террасу, где уже был приготовлен чайный прибор, но никого не было. Он спустился по ступенькам в сад. Прямо от террасы крутым спуском шла аллея вниз, к пруду.

Пруд сверкал и искрился в лучах солнца, окружен-

ный высокими холмами, а местами обнажившимися скалами, угрюмо нависшими над прудом.

У той скалы ловили они с Корневым раков, на том выступе жарили лягушек и ели, в то время как Наташа, Маня и Аня с ужасом смотрели на них.

Несмотря на июнь, было прохладно, и уже покрасневшая трава на холмах говорила еще сильнее об осени, придавая всему особый колорит и особую прелесть.

И небо было сине-голубое, какое бывает только осенью.

Карташев медленно возвращался назад к дому и был уже недалеко, когда двери дома вдруг распахнулись, и из них вылетела в белом пеньюаре с распущенными волосами Зина, а за ней взбешенный, растерянный Неручев.

Зина пронеслась мимо Карташева, бросив ему угрюмо, равнодушно:

— Спаси меня от этого зверя!

Лучшего слова нельзя было подобрать. С оскаленными зубами, страшными глазами, он уже настигал жену.

Он очень изменился с тех пор, как не видел его Карташев. Пополнел, обрюзг, с большим животом.

Худой и тощий Карташев, в сравнении с ним, массивным, коренастым, представлял из себя ничтожное сопротивление. Чтоб увеличить его, Карташев успел схватиться одной рукой за ветку дерева и, пригнувшись, другой обхватил Неручева и тоже схватился за ветку, и таким образом Неручев очутился в объятиях между Карташевым и веткой.

Карташев обхватил его вокруг живота, и ему казалось, что большой, жирный и мягкий живот Неручева переливается через его руки и вот-вот лопнет.

— Пустите! — прохрипел Неручев, безумными глазами впиваясь в Карташева.— Пустите, а то плохо будет!

И Неручев поднял над головой Карташева свои страшные кулаки.

— Я знаю, что плохо, потому обе руки мои заняты, и я в вашей власти. Но, дорогой Виктор Антонович,— заговорил Карташев,— бейте меня и даже убейте, не

могу же я не удержать вас от того позорного, что неизгладимым пятном ляжет на вас. Ведь это же — женщина.

— А, женщина! — бешено закричал Неручев.— Вы знаете, что эта женщина сделала со мною? Она дала мне пощечину.

— Это ужасно, конечно,— заговорил Карташев, продолжая крепко держать Неручева,— это дает вам право прогнать ее, развестись с ней, но ради бога же не унижайте себя, не губите себя, меня...

— Пустите меня,— сказал Неручев уже другим, обессилевшим голосом, напоминавшим Карташеву тот голос, когда он говорил:

«Ну, давайте ножи, будем их резать!»

Карташев выпустил его, и тут же на скамейке Неручев начал плакать, жалобно причитая:

— Господи, господи, кто же когда в моем роду был бит и кто не убил бы тут же на месте за такое оскорбление!

Результатом этой сцены было то, что Зина с детьми в этот же день под вечер выехала с Карташевым, не повидавшись больше с мужем.

Впереди в маленькой коляске ехали Зина и Карташев, сзади в большом фаэтоне — дети.

Дорога из усадьбы спускалась к плотине, а потом уже на другой стороне вдоль пруда поднималась опять в гору.

К вечеру еще похолодело и сильнее пахло осенью. Садилось солнце. И из-за туч какими-то густыми, с красноватым отблеском, лучами освещало и пруд, и сад, и всю на виду теперь усадьбу.

Было что-то бесконечно грустное в этих тонах заката, в безмолвии, холодно сверкавшем пруде, окруженном скалами, над которым взвивались и кричали орлы.

Зина сидела и с горечью смотрела на усадьбу, зная, что она никогда уж не увидит в жизни этого уголка, и думала, зачем она его видела, зачем здесь жила, зачем погибли шесть лучших лет ее жизни, похороненные здесь в этой могиле, и не только могиле шести этих лет, но и всех радостей ее жизни, всех иллюзий, всех надежд.

Она страстно и горько сказала брату:

— Будь все это проклято, будь проклят виновник моей разбитой жизни!

Она замолчала; молчал и Карташев. Село солнце, и заволакиваемая сумерками и угрюмо, точно в тон мыслям, молчала округа.

Зина прервала молчание.

— Боже мой, какая нелепая жизнь! И зачем надо было меня выдавать замуж?

Она еще помолчала.

— Если бы не ты, он убил бы уж меня сегодня... и я ничего бы не испытывала больше!

В голосе ее как будто звучало сожаление.

— Что произошло у вас?

— Э, он стал совершенно невозможным человеком. Весь род его такой выродившийся... Ты себе представить не можешь, какой это ужасный, какой извращенный человек!.. Какой ад я переживала с ним! Он всегда меня упрекал в холодности. Он судил по своей развращенной натуре и не допускал мысли, что я такова по природе. В его развратном, расстроенном воображении всегда гнездятся самые ужасные предположения... Он мне в глаза клялся, что поездка, например, к маме — предлог для того, чтобы в большом городе отдаваться самому ужасному разврату. Это я-то. Он рассказывал, что у него там есть они, которые ему и доносят всю эту ерунду. Наконец, что иногда он сам, переодетый, следит за мной и знает все отлично. Наконец, сегодня утром дошел до того, что... а... стал упрекать меня в связи с каким-то мужиком здешним... Вытаращил свои сумасшедшие глаза и кричал мне на весь дом: «Я сам своими глазами видел, и пускай весь мир провалится, пусть сам бог придет и скажет, что нет, я и ему не поверю». От этого гнусного оскорбления у меня в глазах потемнело, и я даже не знаю, как я его ударила... Но, слава богу, слава богу, теперь конец... Еще раньше я получила от него заграничный паспорт... Он твердо убежден, что и заграница мне нужна исключительно для удовлетворения моих всепожирающих страстей, и в периоде самоунижения жалобно твердит: «Я со всем мирюсь и прошу только об одном, чтобы не на глазах».

Ведь он, негодяй, ездил ко всем и рассказывал все свои клеветы, изображая себя жертвой... Прекрасный человек, несущий терпеливо свой крест. Его знакомых я видеть не могу, потому что знаю, что он им наклеветал все, что можно... И как клевещет! Какие комедии разыгрывает! Боже мой, от одной мысли, что это ужасное свое свойство он передал и детям, я начинаю их ненавидеть, и моя жизнь такая ужасная, такая ужасная!

Из опасения, чтобы не было погони, ехали без остановки. Когда подъехали, наконец, на рассвете к станции, все та же пара прекрасных лошадей, когда-то гордость Неручева, дрожала от утомления, и кучер Петр с грустью говорил:

— Пропали кони, загнали коней.

Поезд, с которым ждали Неручеву с детьми, приходит в шесть часов.

Выехали встречать Зину все.

Ее увидали уж в окошко, и Маня, Аня и Сережа побежали с криком:

— Зина, Зина!

Красивое, суровое лицо Зины смеялось; она улыбалась и кивала головой.

Когда остановился поезд и появилась Зина и детки с бонной и няней, на них накинулись и стали целовать сразу по два — один в одну щеку, другой в другую.

Пока старший шестилетний мальчик радостно подставлял свои щечки, младший трехлетний Ло, кличку которого дал ему его старший брат, не обнаруживал никакой радости, начал огорченно и озабоченно рассказывать Мане о своих невзгодах.

Маня завизжала от восторга, вслушивалась в его воркотню и только отмахивалась от остальных, крича:

— Постойте, постойте!

Мальчик удивительно чисто и гладко, совершенно ровным и как падающая дробь голоском рассказывал, как он себе ехал и никого не трогал, и как тем не менее к нему приставали и один пузатый и один лохматый, и одна женщина его поцеловала.

— И у нее губы были толстые и мокрые, и она замочила мне лоб, и теперь у меня лоб мокрый! — Ло, с чудными черными глазенками, тип малоросса, снял

свою шляпу и, окруженный восторженными лицами своих тетей и дядей и близких, усердно тер ручонкой свой лоб.

— Ах, ты мой бедненький, ах, мой миленький,— умирала над ним Маня, в то время как Зина, пренебрежительно махнув рукой, сказала:

— Вот уж немазаная арба — вечные жалобы и все виноваты!

Их сестра, двухлетняя Маруся, маленькая красавица с остановившимися сияющими глазенками, восторженно смотрела на всех, на Ло, няню, бонну, мать.

— Дядя Тёма, а помнишь, в прошлом году ты обещал мне...

— Май! — возмущенно перебила его мать.

— Помню, помню! — отвечал Карташев,— и вот что: я с тобой сейчас же и пойду прямо к игрушкам.

— Ну, ради бога! — взмолилась было Зина.

Но Карташев настоял. Ло тоже пожелал с ними ехать. Ло Карташев посадил к себе на колени. Май сел рядом, и они поехали.

Их не ждали и пообедали без них.

Наконец, появились и они, нагруженные игрушками.

Май, не снимая шапки, присел на стул, скучающими глазами обвел комнату и спросил:

— А теперича куда?

— Что куда, голубчик? — наклонилась к нему Маня.

— Куда опять поедем?

Все рассмеялись, а Зина говорила:

— Ведь мы все время из имения в имение, с железной дороги в экипаж, из экипажа на железную дорогу — совсем разбешталась.

— Теперича, голубчик, никуда больше, теперича вы кушать будете! — объяснила ему Маня.

Май ел с аппетитом, широко раскрывая рот и громко чавкая, и в это время его раскошенные слегка глазки закрывались нежными, почти прозрачными веками, и во всем лице, во всей фигурке чувствовалось что-то беспомощное, слабое.

Аглаида Васильевна сидела над ним, гладила его тонкие, как шелковинки, каштановые волосы и приговаривала:

— Голубчик мой, шутка сказать, два воспаления мозга перенести.

— А дифтерит еще, баба! — напомнил Май.

— Да, да, и дифтерит.

Ло сидел, сдвинув черные брови, и в упор куда-то смотрел острыми глазенками.

Маруся переходила с рук на руки, с восторгом принималась опять и опять целоваться и радостно, неподвижно смотрела на всякого нового, кто брал ее.

— Солнышко! — говорил Сережа.— Будь и всегда такой: грей, свети, кружи головы. Бог даст, и я еще поухаживаю за тобой. А тот,— он показывал на своего брата,— тот уж нет, тот и теперь старый. Плюнь на него и разотри. Вот так,— Сережа плевал, и Маня, нагнувшись, тоже плевала.

— А теперь вот так ножкой разотри.

Ло слез, никем не замеченный, со стула и важно направился на террасу.

Маня первая схватилась его и бросилась за ним.

Ло уже успел в это время перелезть через ограду и расхаживал по плоской железной крыше подвального навеса. До земли было больше сажени, и каждое мгновение Ло мог полететь вниз.

Маня так и замерла, увидев это.

Она заговорила жалобно:

— Ло, миленький, иди назад.

Но Ло даже не ответил, делая вид, что не замечает ее.

Маня продолжала упрашивать его, а сама незаметно подвигалась к перилам. Но как только она хотела тоже перелезть на крышу, Ло встрепенулся и быстро побежал к противоположному краю крыши.

Совсем жалобно, замирая от ужаса, она быстро заговорила:

— Не полезу, не полезу, вот — даже отойду!

Она отошла и стала ломать голову, как уговорить упрямца возвратиться на балкон.

— Я к вам больше никогда не приеду,— начал сам Ло переговоры.

— А почему, голубчик? — робко спросила Маня.

— А потому, что вы никто со мной не хотите раз-

говаривать, вы любите только Мая и Марусю, а меня не любите. Никто меня не любит, ни мама, ни вы, никто...

— Ой, голубчик, я тебя так люблю, так люблю!

— Нет, нет, не любишь, а я знаю одну песенку и умею играть ее.

— Сыграй же мне, мой миленький, дорогой.

Ло еще подумал и ответил безнадежным голосом:

— Нет!

— Ну, хотя отойди от края!

Ло еще подумал и, уставившись в свою тетю потухшими глазенками, ответил еще безнадежнее:

— Нет.

— Почему же все нет, золото мое?

— А зачем ты ко мне пристаешь все?

В это время на террасу вышел Сережа. Маня прошептала ему:

— Спаси его, я сейчас в обморок упаду.

Сережа с напускной суровостью накинулся на Маню:

— Зачем ты пристаешь к Ло? Зачем ты обижаешь его? Постой же, я сейчас выброшу тебя через перила!

И Карташев потащил Маню к перилам.

— Ло, голубчик, спаси меня! — закричала Маня.

Ло бросился, мгновенно перелез перила и с отчаяньем ухватился за фалды Сережи.

— Ах, ты не хочешь, чтоб я ее бросил! Ну, бог с тобой — держи ее!

— Ах, он спас меня, спас! — обнимала и целовала Маня Ло.— Ты знаешь, Сережа, он знает новую песенку и умеет ее играть.

— Да не может быть!

— Он тебе не верит, сыграй ему!

Ло снисходительно усмехнулся и пошел в комнаты. За ним пошли Маня и Сережа.

Ло подошел к роялю, вскарабкался на стул, и пока собирался, Маня уже успела шепотом рассказать, что было.

— Надо сейчас же запереть дверь на террасу.

Аглаида Васильевна вскочила сама и быстро повернула ключ.

Ло уже начал играть и петь.

Слух и голос у него были удивительные. По време-

нам он торжествующе вскидывал глазенки на Сережу. Кончив, он быстро, никого не удостаивая взглядом, прошел прямо к террасе.

Ему никто не мешал, но когда дверь оказалась запертой,— он на мгновение замер. А мать сурово сказала:

— Хозяин дома видел, как ты ходил по крыше, пришел и запер дверь.

Ло слушал, стоя спиной ко всем, но в следующее мгновение, прежде чем кто-либо успел помешать, вспрыгнул на окно, а оттуда на террасу. Но сейчас же тем же путем полетел туда Сережа, а в растворившиеся двери — все.

Ло барахтался в руках Сережи. Смеялся Сережа, смеялся Ло, смеялись все.

— Вот так огонь! — говорил Сережа.

— Постойте, я с ним поговорю! — сказала Аглаида Васильевна.— На каждого ребенка надо смотреть как на совершенно взрослого и — действовать только логикой.

Аглаида Васильевна занялась с Ло, а Зина начала рассказывать Тёме о своем житье-бытье, о том, какой несносный человек стал ее муж, как между ними не стало ничего общего.

— Последнее наше столкновение началось тем, что он, напившись пьяным, в таком виде полез было ко мне. Этого еще никогда не бывало. Когда я ему крикнула «вон», он грубо схватил меня за левую руку и стал кричать: «Да ты что себе думаешь, да я тебя изобью». Я правой рукой как размахнусь и изо всей силы его ударила по лицу. Он растерялся, выпустил мою руку; тогда я бросилась, схватила револьвер, направила на него и сказала: «Я считаю до трех, и если вы не уйдете, я вас убью». Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и, ничего не сказав, шатаясь, вышел. Я сейчас же дверь на замóк, а на другой день выехала с детьми сюда. Утром было объяснение; я настаивала, чтоб он дал мне двухгодичный заграничный паспорт и две тысячи денег.

Уже было известно, что Зина оставляет детей у Аглаиды Васильевны и едет за границу, может, через Константинополь.

— В общем, ты что же решила?

— Я ничего не решила, ничего еще не знаю. Знаю только, что так жить нельзя. Я убью и его и себя; мне противно все, я хочу прежде всего успокоиться немного, забыться.

Расстройство нервной системы и раздражение Зины бросалось сразу в глаза и тяжелее всего отзывалось на детях. Неровность обращения взвинчивала и детей, делала их несчастными, и даже уравновешенная маленькая Маруся на руках у матери, как только та раздраженно скажет: «Ах, да сиди же ты спокойно, Маруся!» — начинает обиженно собирать губки, а затем кричать, заливаясь слезами.

— Дай ее! — скажет кто-нибудь.

— Ах, да берите — убирайся, гадкая, капризная девочка!

И на руках у других Маруся мгновенно успокаивалась. Личико ее сияло счастьем, глазенки радостно, блаженно смотрели, а слезки сверкали, как роса на солнце.

Пришли Евгения и Аделаида Борисовны.

Обе были в восторге от деток.

— Каждый из них,— авторитетно говорила Евгения Борисовна,— красавец в своем роде: Май — это Андрей Бульба, Ло — Остап, Маруся — красавица паненка.

Аделаида Борисовна только нежно смотрела на детей, хотела поцеловать их и не решалась, пока Маруся сама не забралась к ней на колени и начала ее обнимать и целовать.

Когда Аделаида Борисовна заиграла, Зина, сама хорошая музыкантша, пришла в восторг и упрашивала ее играть еще и еще.

Потом заставили и Зину играть.

Игра Зины была грустная до слез, нежная и глубокая.

— Как это чудно! — прошептала Аделаида Борисовна.— Что это?

— Так, мое! — нехотя ответила Зина и заиграла новое.

Вопрос застыл в глазах, во всей напряженной фигурке Аделаиды Борисовны: так и сидела она пораженная, слушая удивительную игру Зины.

Это была действительно какая-то особенная игра.

Казалось, что пела невиданная красавица, вся усыпанная драгоценными камнями. И горели на ней голубыми и всеми огнями эти камни, и сверкала она вся неземной красотой, но столько бесконечной грусти и тоски было в этой красавице, в ее красоте, в камнях драгоценных, в ее пении, что хотелось плакать, так хотелось плакать. Аделаида Борисовна, едва успев вынуть платок, уткнулась в него и заплакала. И она была такая беспомощная, одинокая, так вздрагивало ее худое тело.

Когда Зина заметила наконец, какое впечатление произвела ее музыка, она бросилась к Аделаиде Борисовне, а та в свою очередь, обняв ее, еще горше разрыдалась. Она шептала, всхлипывая, Зине:

— Мне так совестно, так совестно, так жалко вас стало... и не знаю почему... Вы такая красавица... Дети ваши так прекрасны... А я... я... я так некрасива.

Она камнем прижалась к Зине, и слезы ее сразу протекли сквозь платье на Зинину грудь.

Все остальные вышли на террасу.

— Милая моя, дорогая девочка,— ласкала плакавшую Зина,— разве в этом счастье? Что может быть лучше, прекраснее весны, ее аромата, а вы — весна, и такая же нежная и такая же прекрасная. Вы не красивы? Я не знаю, что такое красота, но прекраснее вас я никого еще не видела, и если вы располагаете даром сразу привязывать к себе все сердца, как мое, то что еще вам надо в жизни? И вас будут любить, и вы будете любить и узнаете то счастье, которого у меня никогда не было и не будет.

Зина заплакала.

И долго они обе не показывались. А когда вышли, наконец, то точно поделили между собой все, что имели,— красоту, ласку, смирение и даже уверенность.

Взгляд Аделаиды Борисовны был глубже, увереннее, как у человека, который что-то вдруг узнал или познал и многое понял. А у Зины чувствовался покой удовлетворения человека, выплакавшего, наконец, то, что камнем лежало на душе.

И весь остальной вечер лицо Аделаиды Борисовны точно светилось, когда, робкая, сосредоточенная, она останавливала свой взгляд на Зине.

На следующий день была троица. Все, кроме Тёмы, были в церкви. Служба так затянулась, что Тёма, соскучившись, пошел тоже в монастырь.

Он обогнул церковь и прошел прямо в сад. Народу везде было много. Нарядной, одетой по-летнему толпой была битком набита церковь, притвор, весь подъезд, все дорожки сада.

В открытые окна церкви неслось пение двух женских хоров, струился синий дымок от кадил. Везде был сильный запах увядшей травы.

Карташев углублялся в сад, отыскивая уединения, когда на одной из скамеек увидел Маню Корневу.

Он еще не успел побывать у них и ничего не знал о том, где ее брат, кончивший в прошлом году медицинскую академию. Он смущенно и радостно подошел к Корневой. Она уже не была той распускавшейся девушкой, в которую когда-то он был так влюблен. Но кожа ее была так же бела и нежна, было что-то прежнее в карих глазах, связь прошлого скоро восстановилась, и они весело заговорили между собой.

Карташев совершенно не чувствовал прежнего смущения перед Маней и даже заговорил о прежнем своем чувстве к ней.

— Ведь теперь можно уже говорить, теперь это уже такое прошлое...— говорил он.

— Но когда же, когда это было?

— Господи, когда! Да когда вы и Рыльский оба с ума сходили; когда я был вашим поверенным, когда спиной своей закрывал вас, чтобы дать вам возможность поцеловаться.

Маня не потеряла свою прежнюю способность вспыхивать и точно загораться краской. Кожа ее еще нежнее становилась, а глаза сделались мягкие и влажные, и грудь, сквозившая из-под батистового платья, неровно дышала. Она ближе наклонилась и, понижая голос, повторяла:

— Не может быть! Но отчего же вы молчали? Отчего хоть каким-нибудь жестом не дали понять? Хоть так?

Она показала как — мизинцем своей красивой длинной руки — и весело рассмеялась. И смех был тот же — рассыпающегося серебра.

Служба кончилась наконец, и толпа повалила из церкви.

— Ну, надо маму идти искать,— сказала Маня,— слушайте, приходите же!

Она так доверчиво и ласково кивала головой.

— Ах, господи, господи!.. если б я знала тогда... Слушайте...— Она смущенно рассмеялась.— Ведь сперва я... ну, да ведь прошлое же... ведь я же в вас влюбилась сперва, но вы были так грубы... Ах!

Они шли через толпу и оба были взволнованы, оба были охвачены прошлым. По-прежнему над ними цвела акация, и аромат ее проникал их, и, казалось, ничего не изменилось с тех пор.

Карташев увидел мать, сестер, Аделаиду Борисовну; он раскланялся с ней и пошел дальше с Маней Корневой, отыскивая ее мать.

Аглаида Васильевна сдержанно ответила на поклон Мани.

Когда нашли мать Корневой, та сделала свою любимую пренебрежительную гримасу и сказала:

— О то, бачите, видкиль взялось оно!

А пока Карташев целовал ее руку, она несколько раз поцеловала его в лоб.

— О, самый мой любимый, самый коханый, солнышко мое ясное...

Карташев проводил их до угла и затем нагнал подходивших уже к дому своих.

Зина осталась в монастыре обедать с монахинями. Она возвратилась только под вечер, когда во дворе под музыку трех странствующих музыкантов-чехов — одной дамы и двух мужчин — танцевали дети.

Танцевали Оля, Маруся, Роли — маленькая девочка, дочь дворника, и маленький мальчик, сын хозяина.

Семья Карташевых присутствовала тут же, сидя на стульях.

Девочки были в венках из васильков. Оля смешно выставляла свои толстенькие ножки, сохраняя серьезное лицо. Маруся не в такт, но легко перебирала ножками, беспредельно радостно смотря своими светящимися глазками. Роли танцевала, снисходительно сгор-

бившись. Ло от общих танцев отказался наотрез, заявив, что танцует только казачка.

Еще что-то заиграли и, наконец, сыграли то, что требовал Ло.

И здесь Ло выступил не сразу, но когда начал танцевать, то привел сразу всех в восторг, так комичен был его танец, так легко и искусно выделывал он ногами па и забирая нога за ногу и приседая.

Уже самое начало, когда он легким аллюром пошел по кругу с поднятой ручонкой, вызвало бурю аплодисментов.

Танцуя, он все время посматривал со спокойным любопытством, какое впечатление производит его танец.

Торжество его было полное по окончании танца, но лицо его сохраняло по-прежнему презрительно спокойное выражение. Зина подошла в разгар танцев, в обществе нескольких монахинь, во главе с матерью Наталией.

— И красота же какая! — восторгалась мать Наталия на детей в веночках,— как херувимчики. Ай миленькие, ай хорошенькие!

Резко бросалась в глаза Зина среди этих монахинь, что-то общее появилось у нее с ними.

Несмотря на праздник, она была в таком же черном платье, с черной накидкой сверху, как и монахини. Даже шляпа ее, тоже черная, остроконечная, напоминала не то монашескую камилавку, не то старинный головной убор при шлеме. Лицо Зины становилось еще строже, и еще красивее подчеркивалась ее холодная красота.

— Что это у тебя за шляпа? — спросила Аглаида Васильевна, всматриваясь.

Монахини переглянулись между собою и усмехнулись.

— А вот,— ответила мать Наталия,— пожелала Зинаида Николаевна, и общими трудами погрешили против праздника и смастерили что-то такое на манер нашего...

Аглаида Васильевна недовольно покачала головой.

— Балуете вы мне моих детей! Не идет тебе это!

Затем она встала и пригласила гостей в комнаты.

Там матушек угощали чаем, вареньем, им играли на фортепьяно. Зина пела им церковные мотивы, затем пели хором.

Матушки принесли с собой запах кипариса, ласково улыбались и постоянно кланялись всем, а когда пришел генерал — встали и долго не решались опять сесть.

Мать Наталия иногда глубоко вздыхала и с какой-то тревогой посматривала на Зину. А потом останавливала взгляд на детях и опять вздыхала.

Такая тревога чувствовалась и во взглядах Аделаиды Борисовны.

Когда монахини ушли, оставшиеся почувствовали себя сплоченнее, ближе, и слово за словом по поводу того, что на время отъезда Зины дети зададут хлопот Аглаиде Васильевне, был предложен Сережей проект старшим съездить в деревню. А Маня предложила ехать с ними и Евгении Борисовне и Аделаиде Борисовне.

Евгения Борисовна сперва сделала удивленное лицо, но муж ее неожиданно поддержал это предложение.

— Что ж, поезжайте,— сказал он,— а мы с Аглаидой Васильевной останемся на хозяйстве.

— Но как же так? — возражала Евгения Борисовна.— Я ведь без Оли же не могу ехать!

— Бери и Олю!

— Что для меня,— сказала Аглаида Васильевна,— то я согласна с удовольствием. С радостью я займусь моими дорогими внуками, приведу их и все хозяйство в порядок. Очень рада, поезжайте!

Евгения Борисовна говорила:

— Да как же так сразу?.. Надо обдумать.

Но остальные энергично настаивали, чтоб ехать. Сдалась и она.

— Только одно условие,— сказала Аглаида Васильевна,— во всем слушаться Евгению Борисовну...

— И меня! — перебил Сережа.

— Всю свою власть я передаю Евгении Борисовне.

— И я буду строгая власть,— с обычной авторитетностью объявила Евгения Борисовна.

— Я уже дрожу! — сказал Сережа и стал корчить рожи.

Решено было ехать, проводив Зину. Она уезжала на

третий день в два часа дня, а в деревню решено было ехать вечером с почтовым.

Ехали Евгения и Аделаида Борисовны, Тёма, Маня и Сережа.

Аня оставалась, потому что экзамены не кончились у нее.

Зина тоже очень сочувствовала поездке. Она обняла Аделаиду Борисовну и сказала ей:

— Вы увидите чудные места, где прошло все наше детство. Тёма, покажи ей все, все... .

— Почему Тёма, а не я? — вступился Сережа.

— Потому что мое детство прошло с ним и Наташей, а не с тобой!

— Ну, а со мной, может быть, пройдет твоя старость!

— Дай бог! — загадочно ответила Зина.

— Ого, ты уже говоришь, как пифия! — подчеркнул Сережа.

Провожать Зину, кроме своих, собрались и несколько монахинь.

— О-хо-хо! — то и дело тяжело вздыхали они.

— Чего эти вороны собрались тут и каркают? — ворчал на ухо брату Сережа.— Давай возьмем дробовики и шуганем их.

Присутствие и, главное, тяжелые вздохи монахинь действовали и на Аглаиду Васильевну; казалось, и в ее глазах был вопрос:

«Что они тут?»

В конце концов создалось какое-то тоскливое настроение.

Сейчас же после завтрака начали одеваться.

Зина уже надела свою остроконечную шапку, опустила вуаль на лицо, когда подошла к роялю со словами:

— Ну, в последний раз!

Она заиграла импровизацию, но эта импровизация была исключительная по силе, по скорби. Местами бурная, страстная, доходящая до вопля души, она закончилась глубокими аккордами этой замершей боли. Столько страдания, столько покорности было в этих звуках! Слышался в них точно отдельный звон и точно

сперва удары разбушевавшегося моря, а затем плеск тихого прибоя того же, но уже успокоившегося, точно засыпающего моря. Все сидели, как пригвожденные, на своих местах, после того как кончила Зина.

— Ради бога! научите меня этой мелодии! — прошептала Аделаида Борисовна.

— Идите!

Через четверть часа на месте Зины сидела уже Аделаида Борисовна, и те же звуки полились по клавишам.

Слабее была сила страсти и крики души, но еще нежнее, еще мягче замерли далекий звон и волны смирившегося моря. Зина стояла, и при последних аккордах слезы вдруг с силой брызнули из ее глаз, смочили вуаль и потекли по щекам.

Аделаида Борисовна встала и бросилась к ней: у нее по щекам текли слезы.

— В память обо мне играйте! — шептала Зина и горше плакала.

Плакали и все монашки.

Аглаида Васильевна недоумевала, точно угадывая что-то, смотрела, точно желая провидеть будущее, с тревогой и недоверием спросила:

— Ты что это, Зина, точно навек прощаешься?..

Зина быстро вытерла слезы и, смеясь, плачущим голосом ответила:

— Ах, мама, ведь вы знаете, что мои нервы никуда не годны, а глаза у нас, у Карташевых, у всех на мокром месте. А тут еще я вместо Наташи Делю полюбила.

И Зина уже совсем весело обратилась ко всем:

— Деля — можно так вас звать? — моя сестра, и горе тому, кто ее обидит!

На последнем она остановила свой взгляд на Тёме и сказала ему:

— Ну, прощай, и да хранит тебя бог!

Она горячо поцеловалась с ним и прибавила:

— Ох, и твоя жизнь будет все время среди бурь. Бери себе надежного кормчего,— тогда никакая буря не страшна.

— Нет, нет, сперва сядем по обычаю,— сказала Аглаида Васильевна,— а потом уже прощаться.

И все стали рассаживаться. Марусе не хватило стула.

— Иди, дорогая моя, к бабе на колени.

— Ну, теперь пора,— сказала Аглаида Васильевна и начала креститься на образ в углу.

Все стали креститься, и все встали на колени.

— Отчего все это торжественно так сегодня выходит? — спросил Сережа.— Уж кого, кого, а не Зину ли мы привыкли провожать чуть не по сто раз в год.

Монахини пошли провожать и на пароход.

Пароход, уже совсем готовый, стоял у самого выхода.

На пароходе было чисто, свежо, ярко. Совершенно спокойное море сверкало лучами, прохладой и манило вдаль.

— Эх,— хорошо бы!..— говорил Сережа, показывая рукою.

Вот и последний звонок, свисток, последняя команда:

— Отдай, кормовой!

И заработал винт, и забрызгал, и заиграла, шипя и сверкая под ним, светлая, яркая бирюзовая полоса.

На корме у борта стояла Зина. Ей махали десятки платков, но она не отвечала, стояла неподвижно, как статуя, широко раскрыв глаза и неподвижно глядя на оставшихся.

VIII

В тот же вечер выехали те, которые предполагали выехать в деревню.

Опять перед глазами сверкала вечно праздничная Высь и вся ее даль с белыми хатками, колокольнями, садиками и камышами с высокими тополями.

Все тот же непередаваемый аромат прозрачного воздуха, цвет голубого неба, печать вечного покоя и красоты.

Та же звонкая и нежная песнь под вечер, те же стройные девчата, всегда независимые и всегда склонные к задору паробки.

Среди них много сверстников Сережиных, но уж никого нет из Тёминых.

Тёмины уже давно поженились, переродились и теперь покорно тянут лямку общественных и супружеских своих обязанностей.

— Ей, панычу,— говорили Тёме из таких остепенившихся:— та вже пора и вам женытыся, бо вже стары становытесь, як бы лихо не зробилось.

Аделаида Борисовна первый раз была в малороссийской деревне. И деревня, и сад, и дом очаровали ее.

Она умела рисовать и привезла с собой сухие акварельные краски, кроме того, она вела дневник в большой тетради, запиравшейся на замочек.

Любимым ее местом в саду стало то, где сад соприкасался с старенькой, точно враставшей в землю, церковью.

Тёма учил ее ездить верхом, и часто они ездили в поле. Евгения Борисовна и Маня в экипаже, Аделаида Борисовна, Тёма и Сережа верхом.

В поле пахали, и начался сенокос. Пахло травой, на горизонте вырастали новые скирды сена, и около них уже гуляли стада дрохв.

Лето было дождливое, мелкие озера не пересыхали, и степь была полна жизни: крякали утки, кричали, остро ныряя в прозрачном воздухе, чайки, нежно пели вверху жаворонки, а в траве — перепела.

А то вдруг гикнет дружная песнь, и польются по степи мелодичные звуки.

Однажды на сенокосе катающихся захватила буря и дождь.

Как раз в то время, как Тёма косил, а Аделаида Борисовна училась подгребать накошенное.

В мягком влажном воздухе клубами налетели мокрые тучи, быстро сливаясь в беспросветно-сизо-темный покров, там на горизонте, и черно-серый, точно дымившийся над головой. Страшный гром раскатился, на мгновение промелькнула змеей от края до края молния, стало тихо, совсем стемнело, упало несколько передовых крупных капель, и сразу пошел как из ведра ароматный дождь.

С веселым визгом побежали работницы и работники под копны собранного уже сена.

Под одну из таких копен забились и Аделаида Борисовна с Тёмой.

Им пришлось сидеть, плотно прижавшись друг к другу, в аромате дождя и сена. Сено мало предохраняло их, но об этом они и не заботились. Им было так же весело, как и всем остальным, и Аделаида Борисовна радостно говорила:

— Боже мой, какая прекрасная картина.

Мутно-серая даль от сплошного дождя прояснялась. Все словно двигалось кругом и в небе и на земле. Земля клубилась волнами пара, и казалось, что сорвавшаяся нечаянно туча теперь опять торопилась подняться кверху; в просвете этих волн вырисовывались в фантастических очертаниях скирды, воза, копны, и вдруг яркая от края до края радуга уперлась в два края степи. А еще мгновение — и стала рваться темная завеса неба, и пятном засверкало между ними умытое, нежно-голубое небо. Выглянуло на западе и солнце — яркое, светлое — и миллионами искр засверкало по земле.

Природа жила, дышала и, казалось, упивалась радостью. Точно двери какого-то чудного храма раскрылись, и Аделаида Борисовна вдруг увидела на мгновение непередаваемо прекрасное.

И это она — счастливая. Они оба сидели в этом храме, смотрели и видели, смотрели друг другу в глаза, и все это: и эта чайка, и это небо, и даль, и блеск, и все это — в ней и в них, это — они.

Крики чайки точно разбудили ее. Она провела рукой по глазам и тихо сказала:

— Как будто во сне, как будто где-то, когда-то я уже переживала и видела это...

Приближался вечер, и работа не возобновлялась больше.

Мокрые, но довольные, потянулись рабочие домой и запели песни.

За ними тихо ехали Аделаида Борисовна и Карташев, слушая песни и наслаждаясь окружавшим.

Небо еще было загромождено тучами, а там, на западе, они еще плотнее темными массами наседали на солнце.

Из-под них оно сверкало огненным глазом, и лучи его короткими красными брызгами рассыпались по степи.

Вечером собрались на террасе, и Тёма громко читал «Записки провинциала» Щедрина. Он сам хохотал как сумасшедший, и все смеялись. Иногда чтение прерывалось, и все отдавались очарованию ночи.

Деревья, как живые, казалось, таинственно шептались между собой. Их вершины уходили далеко в темно-синюю даль неба там, где крупные звезды, точно запутавшиеся в их листве, ярко сверкали.

Маня запевала песню, Сережа вторил, и казалось, и звезды, и небо, и деревья, и темный сад надвигались ближе, трепещущие, очарованные.

У Тёмы с приездом в деревню обнаружился талант: он начал писать стихи, и все, а особенно Аделаида Борисовна, одобряли их.

Но Карташев, прочитав их, рвал и бросал.

Он и сегодня набросал их по случаю дождя. Карташев долго не хотел читать их, но, прочитав, разорвал и бросил.

Аделаида Борисовна огорченно спрашивала:

— Почему же вы так поступаете?

— Потому что все это ничего не стóит!

— Оставьте другим судить!

— Я горьким опытом уже убедился, что никакого литературного дарования у меня нет.

— Но то, что вы пишете, то, что вас тянет,— уже доказательство таланта.

— Меня тянет, постоянно тянет. Но это просто пунктик моего помешательства.

— Я думаю,— ответила, улыбаясь, Аделаида Борисовна,— что пунктик помешательства у вас именно в том, что у вас нет таланта.

— Видите,— сказал Карташев,— я делал попытки и носил свои вещи по редакциям. Один очень талантливый писатель сделал мне такую оценку, что я бросил навсегда всякую надежду когда-нибудь сделаться писателем. Уж на что мать, родные — и те писания моего не признают; вот спросите Маню.

Маня подергала носом и ответила, неохотно отрываясь от чтения:

— Да, неважно, стихи, впрочем, недурны.

— А что вы делаете с вашим писанием? — спросила Аделаида Борисовна.

— Рву или жгу. Тогда, после приговора, я сразу сжег все, что копил, и смотрел, как в печке огонь в последний раз перечитывал исписанные страницы.

Однажды Карташев подошел к Аделаиде Борисовне, когда та, сидя у церкви, рисовала куст.

— Можно у вас попросить этот рисунок?

Аделаида Борисовна посмотрела на него смеющимися глазами.

— А можно вас в свою очередь попросить то, что вы пишете и что вам не нравится, дарить мне?

— Если вы хотите... На что вам этот хлам? Вы единственная во всем свете признаете мои писания, потому что я даже сам их не признаю.

Аделаида Борисовна в ответ протянула ему руку и на этот раз с необходимым спокойствием сказала:

— Благодарю вас.

— Ах, как я бы был счастлив, если б мог вам дать что-нибудь сто́ящее этого василька.

— Давайте, что можете! — смущенно ответила Аделаида Борисовна.

Для робкой и застенчивой Аделаиды Борисовны было слишком много сказано, и она покраснела, как мак.

В первый раз в жизни Карташев увлекся девушкой, не ухаживая.

Ему очень нравилась Аделаида Борисовна, ему было хорошо с ней. Он часто думал — хорошо было бы на такой жениться,— но обычное ухаживание считал профанацией.

Раз он надел было свое золотое пенсне.

— Вы близоруки?

Карташев рассмеялся.

— Отлично вижу.

— Зачем же вы носите? — с огорчением спросила Аделаида Борисовна.

В другой раз он убавил свои лета на год.

Маня не спустила.

— Врешь, врешь тебе двадцать пять уже!

И опять на лице Аделаиды Борисовны промелькнуло огорченное чувство.

— Не все ли равно,— спросила она.

— Если все равно,— ответила Маня,— то пусть и говорит правду.

— Я и говорю всегда правду.

— Ну уж...

— Аделаида Борисовна, разве я лгу?

— Я вам верю во всем! — ответила просто Аделаида Борисовна.

— Пожалуйства, не верьте, потому что как раз обманет.

— Аделаиду Борисовну? — Никогда!

Это вырвалось так горячо, что все и даже Маня смутились.

Карташеву было приятно, что в глазах Аделаиды Борисовны он является авторитетным. Она внимательно его слушала и доверчиво, ласково смотрела в его глаза. Он очень дорожил этим и старался заслужить еще больше ее доверие.

Десять дней быстро протекли, и Евгения Борисовна стала настаивать на отъезде.

Как ни упрашивали ее, она не согласилась, и в назначенный день все, кроме Сережи, выехали обратно в город.

— Праздники кончились! — сказала Маня, сидя уже в вагоне и смотря на озабоченные лица всех.

Евгения Борисовна опять думала о своих все обострявшихся отношениях с мужем.

Аделаида Борисовна на другой день после возвращения собиралась ехать к отцу и жалела о пролетевшем в деревне времени.

Мане предстояла опять надоевшая ей работа по печатанью прокламаций.

Карташев тоже жалел о времени в деревне и думал о том, что он сидит без дела, и казалось ему, что так он всю жизнь просидит.

Он смотрел на Аделаиду Борисовну и думал: «Вот, если бы у меня была служба, я сделал бы ей предложение».

Но в следующее мгновение он думал: разве такая пойдет за него замуж? Маня Корнева — еще так... А то даже какая-нибудь кухарка. А самое лучшее никогда ни на ком не жениться.

И Карташев тяжело вздыхал.

Дома скоро все вошло в свою колею.

Накануне отъезда поехали в театр и взяли с собой Ло, так как шла опера, а Ло любил всякую музыку и пение.

Был дебют новой примадонны, и успех ее был неопределенный до второго действия, в котором Ло окончательно решил ее судьбу.

Артистка взяла напряженно высокую и притом фальшивую ноту. Музыкальное ухо Ло не выдержало, и он взвизгнул на весь театр бессознательно, но в тон подчеркивая фальшь.

Ответом было — общий хохот и полный провал дебютантки.

Бедная артистка так и уехала из города с убеждением, что все это было умышленно устроено ее врагами.

Уехала Аделаида Борисовна, и прощание ее с Карташевым было натянутое и холодное.

«Эх,— думал Карташев,— надо было и мне, как Сереже, остаться в деревне, тогда бы иначе попрощались! С Сережей даже поцеловалась тогда на прощанье...»

IX

После отъезда Аделаиды Борисовны Карташев скучал и томился. Однажды Маня, сидя с ним на террасе, спросила с обычной вызывающей бойкостью, но с некоторым внутренним страхом:

— Говорить по душам хочешь?

Карташев помолчал и, поборов себя, неуверенно ответил:

— Говори.

— Мы влюблены? То есть — не влюблены, но нами владеет то сильное и глубокое чувство, которое единственно гарантирует правильную супружескую жизнь.

Мы глубоко симпатизируем, мы уважаем; отсутствие дорогого существа для нас — тяжелое лишение, и мы сознаем, что она, конечно, была бы лучшим украшением нашей жизни. Помни, что быть искренним — главное достоинство и поэтому или отвечай искренне, или не унижай себя и лучше молчи.

— Я буду отвечать искренне,— серьезно и подавленно ответил брат.— Несомненно сознаю, что лучшим украшением жизни была бы она. Я не решился бы формулировать свои чувства, но мне кажется, что, узнав ее, никогда другую уже не захочешь знать. И я не буду знать: ни другую, ни ее. Для меня она недосягаема по множеству причин. Она чиста, как ангел, я — грязь земли. Мало этого: я прокаженный, потому что, что бы ни говорили доктора, но твердой уверенности нет, что болезнь прошла. Если не во мне, то в детях она может проявиться. Дальше: она богата, а у меня ничего нет, потому что от наследства я отказался, воровать не буду, а при моем характере, даже при хорошем жалованье, ни о каких остатках и речи быть не может. При таких условиях я — бревно, негодное в стройку, в лучшем случае — годное на лучины, чтобы в известные мгновенья посветить при случае кому-нибудь из вас. И все-таки я очень благодарен Аделаиде Борисовне, потому что ее образ настолько засел во мне, что она отгонит всех других, и я тверже теперь пойду по тому пути, по которому должен идти.

Маня сидела, слушала, и — чем ближе к концу — она пренебрежительнее кивала головой.

— Ты так же знаешь себя, как я китайского императора. Запомни хорошенько: прежде всего ты — эгоист и один из самых ужасных эгоистов, которого природа одела в красивые перья, наделила лаской, внешней как будто беззащитностью. И с этим качеством ты многое выманишь у жизни. У тебя и хорошие есть стороны: ты хорошо и искренне сознался, что ты — грязь, а она — ангел. И эта искренность, которая в тебе несомненно есть и хоть post factum, но всегда явится и может сослужить тебе службу...

Маня затруднялась в выражениях.

— Ну, хоть в смысле познания, что такое человек,

из каких противоположностей он создан. На этой почве я даже допускаю мысль, что из тебя мог бы выработаться и писатель. Но только не скоро, очень не скоро. Когда перебурлит, когда вся грязь сойдет, когда мишура жизни будет сознана, а честолюбие — у тебя его бездна — все-таки останется. И вот тогда, может быть, твоим идеалом и явится Жан-Жак Руссо. И то, впрочем, если твоя жизнь сложится так, что будет молотом, дробящим эту мишуру, а то так и расплывется в ней без остатка. И тогда ты будешь окончательная дрянь, которую в свое время и отвезут, как падаль, на кладбище те, которые к этому делу приставлены.

При всем своем неверии будешь и крест целовать, словом, можешь, как сложится жизнь, превратиться, полностью превратиться в одну из тех гадин, которые неуклонно, каждая с своей стороны, охраняют существующую каторгу всей нашей жизни. Вся надежда, повторяю, на твою искренность, которая, просыпаясь от поры до времени, будет, помимо, может быть, и твоей воли, разрушать то, что уже будет создано тобой. А может быть, я и ошибаюсь. Во всяком случае, я теперь посылаю Аделаиде Борисовне книги и пишу ей; от тебя кланяться?

— Кланяйся, конечно. Но, умоляю тебя, не затевай ничего из области неисполнимого. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю. С чего ты взял, что я хочу быть свахой? Если ты сам не хочешь...

— Не не хочу, а не могу.

— Ну, не можешь... Во всяком случае, можешь быть уверен, что уж меня-то ты никогда не причислишь к людям, исполняющим твои желанья, помогающим тебе жить, как ты хочешь.. Дудки-с...

Маня сделала брату нос и ушла.

Она писала в тот день, между прочим, Аделаиде Борисовне:

«Тёма у нас ходит грустный, пустой и занимается самобичеванием. Сегодня мы с ним говорили о тебе. Он говорил, что ты ангел, а он грязь. А я ему еще прибавила. Теперь он сидит на террасе и безнадежно смотрит в небо. Кроме того, что тебя нет, его убивает, что он до сих пор без дела, и с горя хочет ехать на войну в

качестве уполномоченного дяди Мити по поставке каких-то транспортов, подвод, быков, лошадей. И пускай едет: с чего ни начинать, лишь бы начал, а в Рим все дороги ведут».

Карташев действительно после некоторых колебаний принял предложение дяди быть его представителем.

Дядя Карташева взял на себя поставку двух тысяч подвод. Из них: его собственных — четыреста, Неручева — шестьсот, а остальные — тысячу — они получат.

Сдача подвод назначалась в Бендерах, а затем Карташев с этими подводами должен был отправляться, под наблюдением интендантских чиновников, в Букарешт и далее на театр военных действий.

Самым неприятным в этом деле были сношения с интендантством.

— Ты должен будешь,— пояснял ему дядя,— их кормить и поить, сколько захотят. Затем за каждую подводу, за соответственное количество дней они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они удерживают с каждой подводы по два рубля.

— Но ведь это значит взятки давать?

— Тебе какое дело? Никаких взяток давать ты не будешь. Будет у тебя квитанция, скажем, на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что получил десять, а получишь восемь. Вот и все... Ведь это же коммерческое дело: не мы же что-нибудь незаконное делаем. Так всегда и везде делается: дают цену хорошую, отделить два рубля можно, а не отделишь — все дело погибнет.

— Я боюсь, что я вам не буду годиться для этого дела.

— Именно ты и будешь годиться, потому что тут расходы, которых нельзя учесть, и единственное — это выбор надежного человека, который меня не обманет. Жалованье я тебе назначаю пятьсот рублей в месяц, содержание мое. Две тысячи тебе дано на экипировку и десять процентов от чистой пользы. Это может составить двадцать и даже тридцать тысяч.

— Да, но вот эта ужасная сторона с интендантством.

— Да ничего, ей-богу, ужасного нет, по крайней мере жизнь узнаешь. И интендантов много знакомых: в транспортах почти исключительно все наши помещики.

Дядя называет фамилии.

— И неужели они таки будут брать?

— А, дитя мое! Да, слава богу, что берут. Слава богу, что Василий Петрович, тот, конечно, брать не будет,— и зачем только лезет,— не в транспортах. Едва уговорили его не идти в транспорт и не портить дела...

Василий Петрович Шишков был сосед и даже далекий родственник Карташевых, когда-то очень богатый человек, но теперь очень обедневший, с одним имением, заложенным по нескольким закладным. Всегда чудак и оригинал.

— Ах, какая все-таки гадость,— удрученно повторял Карташев.

— Да никакой же гадости, сердце мое, нет,— повторял дядя.— Я хочу заработать деньги, тридцать тысяч. Гадость это?

— Вы подрядчик, и если вы выполните ваш подряд... Хотя тоже...

— Ну, что тоже? Ведь и железная дорога тоже подрядчиками строится — концессионер, жидовский приказчик, значит, и дорогу тебе строить нельзя. Куда же ты денешься? В монастырь? Так все девочки из вашей семьи и так туда тянут.... Теперь слушай дальше: все они такие же помещики, как и я, все так же пострадали от освобождения крестьян, от новых условий, все в долгу, как в шелку: почему мне не поделиться с ними, если у меня осталось настолько больше, что я могу, а они не могут стать такими же подрядчиками? Считай, наконец, что они такие же подрядчики на мое имя.

— Тогда зачем же они жалованье получают?

— Да что это за жалованье? Две тысячи четыреста в год? Ну, они из своего заработка эту двадцатую, тридцатую часть и отдадут назад государству, тем же бедным, кому хочешь. Но из этого ты уже видишь, что все это сводится к форме, а не к существу дела. А если мы возьмем по существу, то или жить — или в гроб живым ложиться? Ты же не мальчик уже, и все детские

бредни в багаже взрослого человека вызовут только смех, и серьезные люди с тобой дела иметь не будут.

Карташев не хотел быть мальчиком, еще меньше хотел быть смешным в глазах серьезных людей.

Да и бредней-то в багаже его никаких почти не оставалось. Он и не думал перестраивать мир, давно бросил все фантазии, относящиеся еще к гимназической жизни. Словом, он мирился со всем существовавшим положением вещей и только не хотел... или, вернее, хотел, чтобы вся эта, может быть и неизбежная, грязь жизни протекала как-нибудь так, чтобы не задевать его.

До сих пор он твердо верил, что всегда и можно так устроить свою жизнь, чтобы уберечь себя от этой грязи.

Теперь эта вера пошатнулась, и инстинкт подсказывал ему, что чем дальше в лес, тем больше дров будет.

И тоска разбирала его сильнее от этого, и чувствовал он себя совсем хуже прежнего парализованным всеми этими новыми для него перспективами жизни. Даже физически он чувствовал себя расслабленным и разбитым.

Маня говорила:

— Тёма ходит таким разваренным, точно уже сто лет варится.

Перед отъездом в Бендеры было получено письмо от Зины из Иерусалима.

В нем она объявляла, что так жить больше не может, а иначе жить, как хотела бы, не видит возможности, и потому и отказывается совершенно от жизни и поступила в монахини. Монашеское имя ее — Наталья, и она просит в письмах иначе и не обращаться к ней. Детей она поручала Аглаиде Васильевне и умоляла мужа согласиться на это.

Письмо произвело впечатление ошеломляющее на всех и больше всего — на Аглаиду Васильевну.

Ее сердце сжалось тоской и каким-то ужасом. Судьба преследовала ее и точно задалась целью неумолимо доказывать ей, что не ее волей будет идти жизнь, и ужас охватил Аглаиду Васильевну от мысли, где предел этой неумолимости. В первый раз Аглаида Васильевна захотела умереть и с мольбой и тоской

смотрела на образ, а по щекам ее текли обильные слезы.

В это время Ло, у которого движения обиды и любви всегда чередовались, войдя в комнату и увидев, что происходит с бабушкой, пошел к ней и, пригнувшись к ее коленям, угрюмо проворчал:

— Скажи мне, баба, кто тебя обидел, и я убью того.

И когда Аглаида Васильевна продолжала плакать, не замечая его, он тоже заплакал, уткнувшись в ее колени.

Когда Аглаида Васильевна, наконец. заметив, нагнулась к нему и спросила, о чем он плачет, и он ответил, что ему жаль ее, она с воплем: «О, бедный мальчик!» — схватила его и осыпала горячими поцелуями.

Кризис прошел. Ло вырвал ее сразу из объятий отчаяния в свет. Аглаида Васильевна уже плакала слезами радости и говорила:

— Его святая воля: у меня прибавилось еще трое детей.

В это время к дверям подошла кухарка с своим младенцем, которому вдруг что-то не понравилось, и он закричал благим матом. Кухарка начала его шлепать, а Аглаида Васильевна горячо сказала:

— Разве так можно обращаться с детьми? Дай сюда его.

И действительно маленький бутуз на руках у Аглаиды Васильевны мгновенно успокоился.

А Сережа сказал:

— У вас, мама, не трое детей прибавилось, потому что этот тоже ведь ваш, и, пока вы будете жить, ваш дом будет всегда какой-то киндер-фабрикой.

Маня присела к роялю и заиграла импровизацию сестры, последнюю перед ее отъездом.

Торжественно замирали стихающие аккорды морского прибоя, колокольного звона монастыря, куда уже ушла и навеки теперь скрылась Зина.

И сильнее плакали и Аглаида Васильевна и Аня, и у Мани текли слезы.

Все вечера говорили о Зине, вспоминали многое из прошлого, все мелочи из ее последнего пребывания, и

теперь всем ясно было, что она исполнила все, что, очевидно, уже давно задумывала.

Пришла мать Наталья и с сокрушенным покаянием подтвердила это.

— Мучилась я, мучилась,— говорила мать Наталья,— но ведь наложила она на меня, прежде чем поведала, обет молчанья, и должна была молчать, только мучилась да вздыхала. Все-таки ложь была, ну и то, как написано, ложь во спасение... В вечное спасение.

И опять плакали все, и с ними мать Наталья, вспоминавшая свой когда-то уход из дому и пережитые с ним страданья.

В письме Зины, теперешней уже матери Натальи, было обращение и к брату.

«Тёма,— писала сестра,— сутки состоят из дня и ночи,— вечно бодрствовать одному нельзя. Жизнь — это море, и пока мы в жизни, каждый капитан на своем корабле. Весь успех зависит от надежного помощника. Переищи весь мир, и лучше Дели не найдешь. Возьми ее себе, благословляю тебя и предсказываю тебе великое счастье с ней».

Карташев, раздвоенный, подавленный, в душе завидовал смелому Зининому выходу из жизни. Приглашенье ее жениться на Аделаиде Борисовне еще болезненней подчеркнуло его душевный разлад. Теперь, когда и он, с целой стаей разных обирателей, потянется в хвосте армии, чтобы служить только маммоне, контраст между выбором Зины и его становился еще ярче и оскорбительнее.

О женитьбе в первый раз было сказано открыто, и, насторожившись, все ждали, как отзовется Карташев на призыв сестры.

— Я никогда, если бы даже она согласилась,— заговорил угрюмо и взволнованно Карташев,— не женюсь на Аделаиде Борисовне. Свои советы Зина могла бы оставить при себе. Если бы когда-нибудь я и вздумал жениться, я не спросил бы ничьего совета, ничьего согласия, ничьего разрешения. Женюсь, на ком захочу...

Голос Карташева был раздраженный, вызывающий, хотя он и не смотрел на мать.

— И, вероятнее всего, женюсь на кухарке,— с детским упрямством и упавшим тоном закончил Карташев и посмотрел на мать.

На мать смотрели и Маня, и Аня, и Сережа.

Вместо сцены, которой ожидал Карташев, мать, стоявшая у перил террасы, сделала ему церемонный реверанс и ответила:

— А я вперед благословляю. И если ты хотел меня удивить, то — напрасный труд, жизнь уже столько удивляла меня, что уж теперь трудно удивить меня чем бы то ни было.

— Дурак ты, дурак,— сказала Маня.

— И дурак и подлец,— ответил дрожащим от слез голосом Карташев и быстро ушел с террасы.

X

Бендеры — маленький городок, с маленькой одноэтажной гостиницей с деревянной серой крышей и большим садом, был похож на село.

В этой гостинице, с коридорами, как в казармах, с большими висячими замками на номерах, толпилась масса всевозможного штатского и военного народа. Военные — большею частью интенданты, штатские — евреи — поставщики армии. Большинство из них молодые, энергичные, с жгучим взглядом людей, идущих, не сомневаясь, к своей цели.

В этом будущем обществе Карташева он чувствовал себя подавленным, раздвоенным, жалким. Дядя знакомил его с интендантами, его будущим начальством, и они покровительственно говорили ему: «молодой человек», хлопали по плечу и приглашали выпить.

Высокий, начавший уже жиреть, бритый, с седыми усами штаб-ротмистр, не стесняясь, громко и цинично говорил, сидя за столиком, незаметно глотая рюмку за рюмкой, вытаскивая пальцами падавших мух, что сдерет шкуры с своих подрядчиков.

— Что?! Он, подлец, миллион себе в карман положит, а я своим детям голодным вместо хлеба камень в глотку засуну, и в этом будет моя совесть и честь?!

Врешь, на вот тебе, выкуси,— и он толстыми пальцами складывал шиш и тыкал им в воздух,— свою гордость и честь я буду видеть в том, чтобы заставить тебя поделиться со мной половину наполовину, а иначе и ты, подлец, без таких же, как и я, штанов будешь. На тебе! Ты миллион себе засунешь в карман, а чтобы потом моему сыну, когда он будет у тебя милостыню просить, сунуть ему пятак и чувствовать себя порядочным человеком, который имеет право сказать сыну моему: «Твой отец дурак был, кто же ему виноват?» Нет, врешь, мерзавец, когда я выдерну у тебя твою половину, ты тогда сам скажешь: «Ой, ой, какой умный, сделал и без капитала то, что я с капиталом». И шапку еще снимешь да низко поклонишься... Да, да,— довольно, брат, с нас этих шкур. Довели до разоренья, до нищеты. Охотников разорять, отнимать последнее — конца свету нет: и государство, и мужики, и проклятые газеты, и книги, и если сам себе не поможешь, то и иди к ним с протянутой Христа ради рукой. И если я сам себе не помогу, кто мне поможет?! Дурак и подлец я буду, если и этим случаем не воспользуюсь спасти свое имение, спасти детей от голодной смерти. Нет, дудки, старого воробья на мякине больше не проведешь: раз свалял дурака благодаря этому благодетелю,— он ткнул толстым пальцем в Василия Петровича,— отпустил на даровой надел неблагодарное мужичье,— весь уезд тогда одел, а теперь и сам не лучше нашего кончил, такой же интендант. И главное, и тут еще собирается дурака валять: валяй на здоровье, но уж будь спокоен, за собой никого не поведешь...

Василий Петрович Шишков всей своей фигурой резко отличался от остальных интендантов, и хотя он тоже бодрился, неопределенно отшучиваясь от фамильярного панибратства своих коллег, но Карташев сразу почувствовал в нем свояка по положению и прильнул к нему всей душой.

Василий Петрович увел его в гостиничный сад и, забравшись в глухую аллею, спросил Карташева:

— Вы что, с ума, что ли, сошли? Ну, я старик, жизнь моя разбита, имение не спасти, дети с голоду

умирают, я сам ничего не знаю и никуда не гожусь, но вы... вы... ведь вы же инженер, перед вами широкая дорога, а вы хотите замарать себя в самом ее начале так, что потом вам все двери же будут закрыты. И нам наш позор уже не долго нести — десять лет и в могилу, а волочить его через всю жизнь...

— Но куда же мне деваться? — с отчаянием ответил Карташев.— Я искал инженерного места — нет. Да и инженер я ведь только потому, что у меня диплом, но я ведь ничего, решительно ничего не знаю.

Василий Петрович ходил рядом с Карташевым и молча слушал.

— Послушайте,— перебил он вдруг Карташева,— знаете что? Вы слыхали, что сюда вчера приехал инженер строить дорогу на Галац?

— Нет, не слыхал. Да и приехал-то он, вероятно, уже с набранным штатом.

— Кого-нибудь из инженеров вы знаете?

— Ни одного человека, кроме своих товарищей по выпуску.

— Пойдите на всякий случай к главному инженеру.

— Нет, не пойду. Если бы вы знали, как это унизительно — идти просить и получить, наверно, отказ...

— Плохо, плохо,— говорил огорченно Василий Петрович.— С такими задатками пассивно плыть по течению затянет вас в такую тину жизни...

Он нетерпеливо вздохнул.

— Эх, русская нация! голыми руками бери и вей какие хочешь веревки... И кто говорит? — Я...

Василий Петрович с добродушным комизмом ткнул себя в грудь и посмотрел на часы.

— Ну, а все-таки, хоть и на проклятую службу, а время идти...

Были сумерки. Дядя ушел еще и еще толковать с интендантами, а Карташев лежал на своей кровати и смотрел в полусвет окна, выходившего в сад.

Дверь номера отворилась, и раздался голос Василия Петровича:

— Кто-нибудь есть?

— Я,— ответил Карташев.

— Вас мне и надо. Ну, я познакомился и переговорил с главным инженером,— он вас просил прийти к нему.

— Когда? — испуганно поднялся с кровати Карташев.

— Сейчас.

— Ну? Надо одеться.

Карташев зажег свечу и начал быстро одеваться в самое парадное свое платье.

Одеваясь, он расспрашивал Василия Петровича, как же все это вышло.

— Да просто пришлось обедать за одним столом, познакомились, разговорились, я сказал, что у меня есть здесь один знакомый инженер, он сказал сначала, что все места уже заняты, а потом подумал и сказал: «Пускай придет ко мне».

Карташев радостно слушал и верил.

В действительности же Василий Петрович еще утром, говоря с Карташевым, задумал и привел в исполнение свой план. После службы, надев мундир, он отправился в номер, где жил главный инженер, представился ему и с просьбой не выдавать его рассказал о фальшивом положении Карташева.

Главный инженер ответил ему:

— Места все заняты... Я мог бы его взять, дело, может быть, развернется, но на первое время ему придется помириться с очень скромной ролью.

Карташев торопливо причесывался и взволнованно отдавался радостному чувству: неужели он все-таки будет инженером, неужели он опять инженер?

— А вы не пойдете со мной? — спросил в последнее мгновенье Карташев, держа в руках свидетельство об окончании курса.

Василий Петрович только рассмеялся и махнул рукой.

— Ну, идите...

Карташев, прежде чем выйти, разыскал коридорного и просил его доложить о нем главному инженеру.

Загнанный, сбитый с ног коридорный долго не мог понять, чего хочет от него Карташев, и все повторял ему с хохлацким выговором:

— Ну, когда надо, так и идите, чем же я тут могу помочь? Ось и дверь не заперта.

И в доказательство коридорный действительно приотворил дверь.

— Кто там? — раздался густой голос.

Карташеву ничего не оставалось больше, как скрепя свое сильно бившееся сердце перешагнуть порог и остановиться с разинутым ртом. На полу, перед ним, лежало два человека. Один толстый, в рубахе с расстегнутым воротом, из-за которого выглядывала волосатая грудь, уже пожилой, другой более молодой, худой, нервный, бритый, с черными усами, с строгим лицом и недружелюбным взглядом своих черных, мечущих искры глаз. Оба лежали на карте, толстый водил по ней красным карандашом, а худой внимательно следил.

В отворенной двери несколько мгновений постоял и коридорный, тоже чем-то как будто вдруг заинтересовавшийся, но, вспомнив, вероятно, о своих текущих делах, побежал дальше, затворив за собой двери.

При входе Карташева худой только недовольно покосился на него, а толстый продолжал вести карандашом линию по карте.

— Здесь,— сказал толстый,— перевальная выемка будет, вероятно, две — две с половиной сажени. Тут пойдут нули, нули... Тут косогором подход к Пруту, затем по берегу Дуная, а последние пятнадцать верст уже прямо разливом Дуная с насыпью, вероятно, что-нибудь вроде сажени.

Карташев сообразил, что идет наметка будущей линии, подвинулся ближе и через головы следил за карандашом.

— В общем,— кладя карандаш, сказал толстый,— тысячи две кубов на версту все-таки выйдет.

Он сел лицом к Карташеву и сказал, сидя на полу:

— Здравствуйте. Вы инженер Карташев?

— Да.

— Видите, места у меня теперь нет, пока что я могу взять вас на затычку. Вы в этом году курс кончили?

— Да.
— На практиках бывали?
— Только кочегаром ездил.
— Ну, это... где ездили?
Карташев назвал дорогу.
— На угле?
— Да.
— Какой уголь?
— Брикеты из Кардифа, а сверху нью-кестль.
— На паровозе двое было: машинист и вы, или еще кочегар?
— Нет, только машинист и я.
— Долго были?
— Пять месяцев.
— Значит, выносливость приобрели?
— Я думаю.
— На изысканиях не были никогда?
— Никогда.
— Теорию знаете хорошо?
— Плохо.
— Но проектировать можете все-таки, например, мосты?
— Составлял проекты в институте,— нехотя ответил Карташев.
— Составляли или заказывали?
— Больше заказывал.
— Ну, какой самый большой проект деревянного моста несложной системы?
Карташев подумал и ответил:
— Три сажени.
— Значит, и по проектировке не годитесь,— сказал раздумчиво главный инженер.
Он еще подумал и сказал:
— Я, право, не знаю, что мне с вами делать. Нам нужны люди, но знающие, а вы ведь первокурсник студент по знаниям. Я могу вас взять только практикантом.
— Я согласен.
— Жалованье тридцать пять рублей в месяц.
— Я согласен.
— Ну, кормить будем.

— Об этом нечего говорить,— ответил Карташев.— С моими знаниями я никакого жалованья не стою.

— Вы возьмете его в свою партию? — спросил толстый худого.

Худой свирепо сдвинул брови и, сверкнув на Карташева своими глазами, угрюмо сказал:

— В таком случае завтра в пять утра выходите на площадь перед гостиницей.

А толстый, протягивая руку, сказал:

— Ну, а теперь прощайте.

Карташев пожал руку толстому, поклонился худому и пошел к двери. Уже у двери он остановился и сказал:

— Я постараюсь оправдать ваше доверие.

И, выскочив в коридор, он подумал: «Как это все глупо вышло, и каким я дураком вышел в их глазах... Ну, и отлично, а все-таки начало сделано, переживу еще много тяжелых унижений, но сразу все пройду от изысканий до постройки...»

— Ну?! — встретил его Василий Петрович.

— С большим скандалом, но принял,— смущенно и радостно ответил Карташев.— Вы знаете, уже завтра в пять часов утра...

— С места в карьер: отлично.

— И в поле на изыскания. Я так боялся, что меня засадят за проекты, но бог мне помог по поводу проектов такую чушь сморозить, что сразу решили, что я никуда не гожусь. Вот теперь не знаю только, как с дядей быть?

— Дядю вашего я беру на себя. Теперь сидите, я пойду к нему, а потом вместе ужинать будем.

Уже сгорбленная фигура Василия Петровича скрылась за дверью, когда спохватился Карташев и подумал: «Эх, забыл поблагодарить!»

Карташев напрасно беспокоился относительно дяди. Дядя уже и сам тяготился своим выбором, бранил в душе племянника кисляем и, основательно опасаясь за результат своего громадного дела, подыскал ему молодого энергичного помощника Абрамсона. Теперь этот Абрамсон, племянник главы фирмы, которой дядя Кар-

ташева продавал свой ежегодный урожай, становился во главе дела.

Уверенность этого красивого, с строгим римским овалом лица, в золотом пенсне Абрамсона была такова, как будто с рождения всегда он был во главе больших дел. С интендантами он держал себя покровительственно, как с маленькими людьми, и запугивания Конева на него мало действовали.

За ужином, где присутствовал и Карташев, и присутствовал даже с удовольствием, так как это уже была чужая, посторонняя для него компания, где он только наблюдал,— пьяный Конев приставал к Абрамсону:

— Если ты мне не дашь заработать чистоганом сто тысяч — сто! Ни копейки меньше, то пиши духовное завещание.

— Я не помню, когда мы пили брудершафт,— ответил с достоинством Абрамсон.—Что касается заработка, то можно и двести заработать, было бы за что...

— Конечно, не даром.

— Прежде всего надо действовать с умом...

— Я всегда с умом...

— И поэтому надо прежде всего молчать, а когда придет время, тогда и поговорим...

Абрамсон многозначительно смотрел в глаза Коневу, другим интендантам, Конев впивался в его глаза и, обращаясь к дяде Карташева, говорил с восторгом:

— Вот это шельма! Это выбор! Даром, что молоко у него на губах еще не обсохло, я знаю вперед, что он и тебе даст кусок хлеба, и нам, и себя не забудет. Черт с тобой, хоть и жид ты, а давай брудершафт пить, потому что у тебя голова золотая. А на меня надейся... Мне твоего даром не надо. Хочешь, тебе сейчас квитанцию на сто пар павших быков выдам да на сто пар сейчас же вновь купленных, ну-ка, чем пахнет, что дашь? Говори?!

Конев так орал, что с соседних столиков на него оглядывались, и сидевшие с ним за столом напрасно уговаривали его.

— Что вы мне тут толкуете,— кричал он.— Разве я своими глазами не видел сегодня этих павших быков. Ступайте на сваи, они и сейчас еще лежат там, а сколько их лежит во всю дорогу до Адрианополя. Что?!

Он лукаво и пьяно подмигивал компании и говорил:

— Бывали в передрягах! Только разве во чреве китовом не побывал еще, а в остальных — все входы и выходы во как знаем! И кому какое дело? Моя голова, я под суд пойду, если уж на то пошло! И никого не выдам! Наливай! Я, братец, из коммерческого училища: там товарищество — ой-ой-ой! Только выдай!

Конев сжимал свой волосистый громадный кулак и, потрясая им над головой компании, кричал:

— Так вздутетенят и плакать не позволят! Раз мы в училище забрались под пьяную руку в известный дом...

Следовал рассказ о жестокости над женщиной, отвратительный, совершенно неудобный для передачи. Результат был тот, что, несмотря на всю снисходительность нравов училища, пятерых исключили из него и в том числе Конева.

— Ну и что ж? — закончил Конев,— человеком, как видишь, все-таки остался. Годом позже был произведен, а в глаза каждому могу смотреть: все-таки никого не выдал и не выдам! А вот что Артемий Николаевич с нами не едет — это умно. Что умно, то умно,— гусь свинье не товарищ,— нет, нет! Выпьем за его здоровье, и пусть он себе остается и получает свои тридцать пять рублей с полтиной и харчи!

Благодушный и пьяный комизм Конева смешил всех и Карташева, и все снисходительно и доброжелательно чокались с ним.

Возвратившись в номер, дядя заявил Карташеву, когда тот приступил к денежному вопросу:

— Ни копейки от тебя назад не возьму. Теперь у меня деньги есть, и выданные тебе две тысячи — капля для меня в море теперь. Может быть, придет другое время, а тогда ты будешь уже на ногах, не мне, так детям моим: жизнь — колесо,— что сегодня внизу — завтра наверху, и наоборот.

— Ну, дядя! Те деньги, которые я истратил, ну, уже так и быть...

— Да что ты, ей-богу! С кем ты торгуешься? Мне мать твоя не сестра, что ли? Не одна грудь нас кормила? Не одна мы семья и до сих пор? Мы никогда в

жизни с твоей мамой не поссорились. Наташу мне кто посватал? Была первая и по красоте и по богатству невеста. И если бы не мама, я мог бы жениться? Мама твоя такой министр, какого не было еще и не будет. Будешь еще ты торговаться со мной. Садись лучше и пиши маме письмо...

— Нет, я уж завтра.

— И думать нечего! Не дам спать, пока не напишешь! Знаем мы ваше завтра. Вот головой тебе отвечаю, что за все лето это будет первое и последнее письмо... Садись, садись...

Карташев нехотя сел:

— Все мысли в разброде. Диктуйте мне...

— Пиши, голубчик,— ответил дядя, укладывая что-то в чемодан,— пиши: «Дорогая мама, дожив до двадцати пяти лет, я, слава богу, научился писать под диктовку, лет в сорок научусь и сам писать письма...»

Дядя диктовал совершенно серьезно, а Карташев смеялся.

— Ну, пиши же, сердце. Ты думаешь, ей не будет радость, что ты опять инженер? Охо-хо, какая радость. Только молчала она, а уж видел я, какие кошки скребли ее...

Карташев, наконец, вдохновился и засел за письмо.

Дядя успел заснуть и опять проснулся.

— О, дурный! То не уговоришь, то не оторвешь! Два часа, а в четыре вставать. Бросай писать, спи!

— Кончаю.

XI

В четыре часа утра дядя разбудил Карташева.

На этот раз Карташев вскочил, как встрепанный, и быстро оделся.

Он долго выбирал из костюмов, во что ему одеться, и надел лакированные ботинки, щегольскую, вроде гусарской, куртку, форменную шапку и золотое пенсне.

Дядя его, с черепаховым пенсне на конце носа, внимательно осмотрел племянника.

— Ну, господи благослови тебя на новый и дай бог, чтобы был славный путь.

Дядя торжественно, по-архиерейски, благословлял племянника и усовещевал:

— Не топырься, не топырься! Все мы, голубчик мой, начинали с отрицанья бога, а кончали, как и ты в свое время кончишь, что без божьего благословенья ни от одного дела не будет толку.

Ровно в пять Карташев был на площади перед гостиницей.

Солнце, яркое и уже раскаленное, стояло над горизонтом. День обещал быть знойным. Но пока еще чувствовалась прохлада, и обильная роса еще сверкала на траве и деревьях, окружавших площадь.

У ворот гостиницы стоял дядя и наблюдал.

Худой инженер с черными огненными глазами уже был там. Он был еще мрачнее вчерашнего, быстро пожал руку Карташева и, махнув куда-то в сторону, буркнул:

— Познакомьтесь.

Карташев повернулся к группе рабочих, человек в двадцать, с которыми о чем-то энергично переговаривался маленького роста господин, с шляпой-панамой на голове, сдвинутой на затылок.

Господин повернулся, и Карташев увидел темное молдаванское лицо с маленькими лукавыми и веселыми глазенками.

— Ба! — добродушно и пренебрежительно сделал жест в воздухе господин в шляпе-панаме,— Карташев? Ну, здравствуйте.

— Знакомые? — спросил старший.

Маленький опять сделал пренебрежительный жест.

— До шестого класса в гимназии сидели рядом, пока меня не выгнали за то, что сказал учителю латинского языка, что его предмет яйца выеденного не стоит.

— А вы... Сикорский...— замялся Карташев.— Как же попали на наше инженерное дело?

Сикорский иронически усмехнулся и развел руками.

— Вот, как видите... извините, пожалуйста, тоже инженер, хотя и не признанный Россией, Турцией, Николаем Черногорским, Абиссинией и прочее и прочее. Кончил в Генте.

— Давно?

— Да вот уж два года.

— И на практике уже были?

— На постройке двух дорог уже начальником дистанции успел быть.

— Значит, вы совершенно опытный инженер,— обрадовался Карташев,— и меня выучите?

— А вы, конечно,— ни папа, ни мама, ни бе, ни ме, ни ку-ку-ре-ку, как, бывало, по-латыни? Не конфузьтесь — имел честь достаточно познакомиться и с вашими дипломированными инженерами и с вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совестно, хуже всяких юнкеров. В девять часов он глаза продирает только, все в таких же лакированных сапожках, пенсне...

Сикорский рассмеялся мелким, замирающим смехом.

— Как они идут, бывало, получать жалованье, я всегда их спрашиваю: «Слушайте, вам не совестно?» Ай-ай-ай...

Сикорский раздраженно покачал головой.

Старший инженер, наклонив голову, неопределенно слушал. Он сделал нетерпеливое движение.

— Ну, что ж не несут планы?!

И, быстро повернувшись в сторону Сикорского, угрюмо бросив: «Я сам пойду», решительно зашагал в гостиницу.

— Слушайте,— говорил Сикорский Карташеву,— зачем вы таким шутом нарядились? Может быть, для прогулок с дамами это и очень подходит, да и то не в такую жару, но как же вы будете по болотам шляться в ваших ботинках? По вашему костюму очевидно, вы никакого представления не имеете о том, что вас ждет?

— К сожалению, да.

Одетый в легкую чесунчевую пару, в парусиновых сапогах, Сикорский покачал головой и вздохнул:

— Боже мой, боже мой! Что только делается в этом государстве! До двадцати пяти лет людей, как малолетних, вымаривают, превращают их в каких-то институток, куколок и выпускают... вот...

Сикорский возмущенно хлопнул себя по бедрам руками.

— И что ж? — продолжал он.— Их ждет голодная смерть? Нет! Их ждет карьера. Будете, будете и главным инженером и министром... Тварь! Гадость!

Карташева коробил тон Сикорского, но над этим господствовало сознание, что Сикорский в сравнении с ним неудачник, что диплом иностранного инженера никогда его дальше начальника дистанции и не пустит и что он был бы только комичен среди настоящих инженеров со всеми своими претензиями.

Еще более было странно видеть Сикорского в этой новой роли обличителя, что воспоминания о нем из гимназии не вязались с этим.

Карташев помнил Сикорского, когда во втором классе его однажды привел надзиратель во время перемены и оставил его в классе.

Все ученики обступили маленького, черного, как жук, мальчика, с маленькими насмешливыми, вызывающими глазенками, смотрящими лукаво из-под полуопущенных век.

Он стоял у окна, окруженный толпой учеников. И эта толпа и новичок смотрели друг на друга, не зная, что предпринять дальше.

И вдруг новичок быстрым движением поймал муху на стекле окна и, сунув ее в свой рот, сжевал и проглотил ее.

— Фу!

— Гадость!!

— Тварь! — закричали все, отплевываясь, корчась и вертясь.

Так и осталось это чувство какой-то брезгливости к нему.

Опять потом выдвинулось в памяти событие: Сикорский сразу потерял отца и мать. Отца повесили за участие в убийстве жандарма, мать отравилась.

Это было в четвертом классе. Сикорский с братом остались без всяких средств, ему достали уроки, и он этим жил и содержал брата и друга своего старшего брата, тоже ученика, по фамилии Мудраго. Мудрый был очень ограниченный человек, таким же был и брат Сикорского. Оба последние были товарищами Тёмы по учению в четвертом параллельном классе.

Сикорский иронически называл Мудраго le plus sage[1]—и брата le plus grand[2], не стесняясь, ругал их в глаза и за глаза. Это ироническое отношение ко всему и ко всем было отличительной чертой Сикорского. В товарищеской жизни младший Сикорский не принимал никакого участия и не играл никакой роли. Но однажды в каком-то деле он пострадал, не протестуя против того, что пострадал несправедливо. Это вызвало к нему симпатии и уважение.

Произошло это уже в шестом классе, когда взапой читался Писарев, Шелгунов, Зибер, Щапов, Бокль, Милль и все старались жить по-новому.

Ко всему этому Сикорский был совершенно равнодушен. Тем более удивила всех его выходка с учителем латинского языка, когда он объявил, что принципиально не желает изучать такую ерунду, как латинский язык.

Реакция тогда уже надвигалась. Реакционный элемент торопился выслуживаться, и Сикорского исключили. Немного раньше, за какую-то скандальную историю в публичном месте, были исключены старший его брат и Мудрый.

Все трое сразу как-то канули в вечность, и до этой встречи Карташев ничего не знал о всей их дальнейшей судьбе.

Может быть, при другой обстановке Карташев и иначе отнесся бы к приему Сикорского, но на этот раз было неблагоразумно ссориться с ним.

Ища соглашения своих действий с своей совестью, Карташев думал, что такой представитель своего ведомства, как он, Карташев, не может и служить его украшением.

— Вы только в том отношении не правы, Сикорский, что судите по мне. Я был в исключительных условиях.

И Карташев рассказал, как неудачны были все его попытки попасть на практику.

— Ну, а почему же вы рабочим не пошли? Ведь за границей всякий студент путей сообщения, технолог, горный, если не зарекомендует себя рабочим,— никакой карьеры сделать не может.

[1] самый мудрый (*франц.*).
[2] самый великий (*франц.*).

— Я ездил кочегаром,— ответил Карташев.

— Так почему же вы на постройку не пошли рабочим?

— Почему? — Карташев не знал. Может быть, потому, что кочегаром ему казалось все-таки менее обидным служить, чем просто рабочим. Кочегарами ездили и технологи-студенты, но рабочими никто не служил еще.

— Слушайте, Сикорский, вы так ругаете инженеров, а этот инженер, наш старший, не обижается?

— Да разве вы не видите, что это тоже не ваш инженер? Стал бы ваш в четыре часа вставать? Подождите, вот вы еще увидите своих, что это за цацы...

— Как его фамилия?

— Семен Васильевич Пахомов,— один из крупных даниловских орлов. А кого Данилов орлом называет...

Карташев знал, что Данилов — тот толстый инженер, который вчера намечал линию на карте.

— Он тоже не наш инженер?

— Нет правил без исключения: ваш. Хоть он и говорит при этом: «Извините, пожалуйста», и вашей братии терпеть не может.

Семен Васильевич с картой в руках вышел из гостиницы и быстро шел к ним.

Некоторое время он с Сикорским рассматривал карту, поглядывая в то же время и кругом, затем потребовал лестницу и полез на крышу гостиницы.

— По крышам дорогу поведем,— заметил один рабочий.

Некоторые из рабочих фыркнули, пожилой рабочий пренебрежительно махнул рукой, и, сев, достал из мешка хлеб и огурец, и принялся есть. Остальные последовали его примеру. Одни ели, другие сидели, обхватив руками колени.

К Карташеву нерешительно подошел дядя.

— Ну что, как?

Карташев рассказал, что этот другой инженер — его товарищ из гимназии.

— Ну, и слава богу,— это очень хорошо. Ну, прощай, я так и передам маме.

Дядя сегодня с поездом уезжал из Бендер.

Уходя, он лукаво подмигнул племяннику:

— А тебе на крышу рано еще?

С крыши в это время уже спускались инженеры; Семен Васильевич быстро, отрывисто крикнул:

— Вешки!

Рабочие быстро поднимались. Из толпы вышел, подслеповатый на вид, маленький блондин, средних лет, с виду подмастерье, десятник Еремин, как потом узнал Карташев, а за ним, лениво переваливаясь, пухлый гигант-рабочий Копейка, державший в руках охапку тонких белых, с железным наконечником, вешек.

Семен Васильевич нервно и быстро установил теодолит, еще раз оглянулся кругом и пригнулся к трубе.

Еремин, с двумя вешками в руках, лицом к трубе, пятился, пока не раздалась отрывочная команда:

— Стой!

По движенью рук Еремин двигался то вправо, то влево.

— Держи вешку прямо: между ногами и перед носом. Так! Ставь.

Вешка была воткнута, выровнена. Еремин взял новую вешку у Копейки и пошел вперед. Шагах в сорока он остановился на окрик:

— Стой!

И опять установил вешку.

Третью вешку уж без команды установил Еремин по двум предыдущим и услыхал вдогонку отрывистое:

— Ладно! Кол!

Сикорский подал Пахомову кол.

Пахомов написал: «SW, 13°», а Сикорский в это время отвесом определял точку стояния центра инструмента. Инструмент убрали и вместо него забили кол с надписью, предварительно проверив кол по линии. Били долго, и несколько раз Пахомов пробовал качать его.

— Ну, начало сделано. Убирайте по очереди вешки, забивайте вместо них колья и пишите на них направление и начинайте пикетаж. Неси за мной инструмент.

Пахомов, широко шагая, пошел вперед по тому направлению, где уже скрывался в длинной улице Еремин, а Сикорский остался на месте.

Пахомов повернулся и крикнул:

— Строго наблюдайте, чтобы при пикетаже колья с направлением не выдергивались!

— Ну, с богом! — обратился Сикорский к технику-пикетажисту с напряженным молодым лицом, усиленно вытиравшему лившийся с него пот.

— Ну, а теперь и я,— сказал Сикорский, устанавливая нивелир.

— А я когда? — спросил Карташев упавшим голосом, видя, что на его долю никакой работы, по-видимому, не осталось.

— Вы будете разбивать кривые. Вот вам Кренке, вот цепь, вот гониометр и эккер, вот колья, вот ваших пять рабочих.

«Разбивка кривых,— подумал Карташев,— как раз тот вопрос по геодезии, на который он отвечал месяц тому назад на экзамене».

И тогда он исписал целую доску, говорил и получил пять.

Что он отвечал тогда? Мысли, как воробьи, разлетались во все стороны, и он напрасно ломал свою пустую голову.

«Надо успокоиться. Ведь не сейчас же еще разбивка. Наверно, вспомню. Вспомнил теперь».

По мере того как они подвигались вперед, пред глазами Карташева вставала большая черная экзаменационная доска, на которой он видел сделанные им чертежи. Он всегда очень плохо чертил, и на этот раз было не лучше. Пред его глазами и теперь эта черта, долженствовавшая изображать прямую. Какая угодно кривая, но только не прямая. А сама кривая каким уродом вышла. От такой кривой поезд и двух саженей не сделал бы. Надо было бы хоть теперь когда-нибудь позаняться чертежами. Конечно, это неважно... Знать, что чертить, а вычертит любой чертежник. Да, это хорошо знал Карташев, и все его проекты, хотя уставом института это и запрещалось, вычерчивал такой чертежник. А теперь совсем вспомнил... Кривая может быть и по кругу и по эллипсу...

— Какую кривую надо, по кругу или по эллипсу? — спросил Сикорского Карташев.

— По кругу.

— Все равно, значит, надо будет определить угол...— Ох, уж эти отсчеты по лимбу; он всегда путался в них, азимутальный, румбический углы. Особенно эти румбические. А как же определить такие оси без логарифмов?

Карташев обратился к Сикорскому.

— Прежде всего все ваши лекции забудьте. Так, как в лекциях описано, так теперь никто нигде и давным-давно не работает. Вот эта книжонка, которую я вам дал, разбивки кривых Кренке, слыхали что-нибудь о ней?

Кажется, эта фамилия где-то в примечаниях упоминалась в лекциях. Пред Карташевым предстало желтоватое от времени, литографированное толстое издание лекций. Он даже помнил, что если это примечание есть, то оно внизу на правой стороне стоит вторым под двумя звездочками и тут же след раздавленной присохшей мухи.

Он почувствовал даже запах этих лекций, немного могильный, затхлый.

— О Кренке есть у нас, но что именно — не помню.

Первая небольшая кривая была у выхода из города.

Сикорский подошел к угловой вешке и списал с нее в новую записную книжку:

угол лево 1° — 9′ № 2° R. 200 ty. bis

длина кривой.

— Этот корнетик возьмите себе и записывайте в него по порядку все углы. Прежде всего, переписавши в корнетик даты вешки, надо всегда опять проверить записанное. Затем надо сверить румбические углы. Буссоль у вас есть, и поэтому вы можете проверить сами румб. Верно. S. W. 11°, а первая линия была S. W. 13°, следовательно дополнение существенного угла будет действительно 11° влево. Теперь по Кренке проверим ty abi-длину. Так как таблицы Кренке рассчитаны на радиус в тысячу саженей, то, чтоб получить для радиуса в двести, нужно дату разделить на тысячу и умножить на двести. Итак, ищем таблицу для 11°. Вот она. От этих пяти столбцов эти три для тангенса, биссектрисы и длины кривой. Умножить и разделить.

Умножив, Сикорский вторично поверил умноженное, заметив при этом:

— В нашем инженерном деле умножение без проверки — преступленье. Все так тесно связано в этом деле одно с другим, что одна ошибка где-нибудь влечет за собой накопленье ошибок, часто непоправимых. На одной дороге ошибка на сажень в нивелировке на предельном подъеме стоила два миллиона рублей. Инженер несчастный застрелился, но делу от этого не легче было, и компания разорилась.

— Все-таки глупо было стреляться.

Сикорский сделал гримасу.

— Карьера его, как инженера, во всяком случае была кончена.

«Черт побери,— подумал Карташев,— надо будет ухо держать востро».

А Сикорский продолжал:

— Вы счастливо попали, вы в три месяца пройдете все дело постройки от *а* до *зет* и сами скоро убедитесь, что все дело наше строительное сводится к тому же простому ремеслу, как и шитье сапог. И вся сила в трех вещах: в трудоспособности, точности и честности. При таких условиях быть честным выгодно: вас хозяин сам озолотит.

— Вы много уже заработали? — спросил Карташев.

— С двух дорог две премии целиком в банке — двенадцать тысяч рублей. Эту дорогу кончу и уйду в подрядчики. Сперва мелкие, а там видно будет.

— А почему же не будете продолжать службы?

— Потому что заграничным инженерам и теперь ходу нет, а чем дальше, тем меньше будет. Вы вот другое дело: тогда не забудьте...

Сикорский иронически снял свою шляпу и встал.

— Ну, теперь прежде всего отобьем.

Когда разбивка и проверка кривой кончилась, Сикорский сказал:

— Следующую вы сами при мне разобьете, а дальше я вас брошу, и работайте сами.

Третья кривая, с которой Карташев справлялся один, была уже за городом, в долине, где линия уходила вдаль по отлогим покатостям долины.

Кривая была большая, приходилось работать в виноградниках, и, когда он, наконец, кончил, сзади

на него насели и пикетажист и Сикорский с нивелиром.

— Собственно, время и обедать,— сказал Сикорский.

Выбрали лужайку повыше под деревьями и присели; под одним деревом Сикорский, пикетажист и Карташев, а под следующими деревьями рабочие.

Подъехала подвода, из которой Сикорский, пикетажист и рабочие стали вынимать свои мешки с провизией.

— А вы что? — спросил Карташева Сикорский.

— Я не сообразил и ничего не взял,— ответил Карташев.— Да и есть не хочется: жарко...

— С завтрашнего дня дело наладится, да и сегодня вечером на привале в деревне нам приготовят обед; мой брат — помните того le plus grand — уж поехал вперед, а теперь как-нибудь поделимся чем бог послал. Днем мы всегда будем как-нибудь есть: некогда, и не так есть, как пить хочется,— завтра будет чай, а сегодня уж как-нибудь... Вы не засиживайтесь; поедим, и уходите вперед, чтобы не задержать нас: верст десять надо сделать сегодня...

В корзинке Сикорского, в чистых бумажках, лежали красивые бутерброды: вестфальская ветчина, маленькие куриные котлетки, несколько огурцов, редиска, масло.

— Возьмем по рюмочке,— сказал Сикорский, доставая маленькую бутылку.— Это ракия, а эта ветчина из Рагузы, она по несколько лет у них вылеживается. Совершенно особенно приготовляется. Нравится?

Карташев выпил и закусывал ветчиной.

И ракия ему понравилась и ветчина с сильным ароматом и особым вкусом.

— Ее необходимо резать очень тонкими пластами. Чем тоньше, тем вкуснее. Там, на Адриатическом море, пластинки чуть ли не как кисея тонки и прозрачны.

Карташев ел с наслаждением, усиливавшимся, после утомительной и непривычной еще работы, прохладой под деревом, после зноя, от которого плохо предохраняла форменная фуражка.

Полузакрыв глаза, он ел, ни о чем не думая, смотря на открывавшуюся даль Днестра, на далекие линии на

горизонте, сливавшиеся с синевой неба. Там небо синее было, а над головой ярко-мглистое, раскаленное. В садах, с пригорка, где они сидели, видны были широкие листья винограда, густо укрывшие кусты, землю; правильными рядами тянулись фруктовые деревья. Между ними клумбы с ягодами: видны были уже краснеющая клубника, кусты красной смородины, крыжовника.

Хорошо бы, как в детстве, перелезть чрез низкую ограду и нарвать тайком.

Еще лучше забраться в те баштаны, где расползлись по земле длинные плети огурцов, дынь, арбузов.

А там за баштанами потянулись поля уже высокой кукурузы. И ко всему прибавлялось радостное, бьющееся, как живое, сознание в душе заработанной еды, заработанного дня, сознание, что он, Карташев, получающий теперь даже меньше рабочего, больше не дармоед и ничего общего не имеет со всей той ордой хищников, с которыми еще вчера, казалось, связала его роковым образом судьба.

Даже мысль о том, что он ничего не знает, больше не смущала его.

Теперь его незнание обнаружено. Теперь учиться, учиться и учиться. Учиться у рабочего, десятника, техника, у Сикорского. Карташеву казалось, что точно для него нарочно вся эта дорога задумана и выстроится в три месяца, чтобы успел он прийти и наверстать все недочеты. Всего через три месяца он постигнет свое ремесло, он с правом скажет:

— Я инженер.

А Сикорский подбавлял масла в огонь, характеризуя ему их общую специальность.

— Основное правило в нашем деле: за незнанье не бьют, но за скрыванье своего незнанья — бьют, убивают и вон гонят с дела. Незнающего научить не трудно, но негодяй, который говорит — знаю, а сам не знает, губит безвозвратно дело.

Да, да,— думал Карташев,— это та логика, которая всегда бессознательно сидела в нем, подавляемая всегда сознанием, что до сих пор это было не так, что до сих пор, напротив, шарлатаны как будто и пользовались

успехом в жизни. Тем лучше, и слава богу, что он сразу объявил, что он ничего не знает.

— Начальства у нас нет,— продолжал Сикорский,— кто палку взял в нашем деле, тот и капрал. Это значит, что кто хочет работать, кто может работать, тот скоро и становится хозяином дела, помимо всякой иерархии служебной.

«Буду, буду хозяином»,— напряженно стучало в голове Карташева.

— И рядом с этим надо учиться быть смелым, решительным, находчивым. У меня был старик десятник, у которого я учился в первых своих шагах инженера. Он всегда говорил: «Глаза робят, а руки уже делают...»

Неужели,— думал Карташев,— так случайно выбранная им карьера инженера действительно подойдет ко всему складу его натуры, души?

— Ну, поели? И ступайте.

Карташев вскочил свежий и радостный.

— Я эту проклятую куртку к черту брошу, на эту телегу.— Карташев снял куртку и жилетку и остался в одной рубахе.

— Вечером,— сказал Сикорский,— пошлем le plus grand в город за вашими вещами. Завтра надевайте только панталоны, ночную рубаху, высокие сапоги, и пусть вам шляпу с большими полями купят. Да бросьте вы эту балаболку.

Сикорский указал на болтавшееся на груди Карташева золотое пенсне.

— У вас в гимназии же было хорошее зрение.

— Оно и теперь хорошее.

Карташев ощупал свое пенсне и с размаху бросил его в соседний сад.

— Ну, это уж глупо,— сказал Сикорский.

Карташев вспомнил, как однажды в деревне Аделаида Борисовна, краснея и смущаясь, сказала ему с ласковым упреком: «Зачем вы носите пенсне?»

Может быть, он когда-нибудь расскажет ей, при каких условиях расстался он с своим пенсне.

И ему еще веселее стало на душе. В первый раз он почувствовал, что Аделаида может быть его женой.

Что до рабочих Карташева, то они далеко не были

в таком праздничном настроении, как хозяин, и, идя за ним, роптали.

— Так без отдыха начнем махать,— и сапоги и ноги скоро обработаем.

— Чтоб вам обидно не было, я сегодня вам от себя прибавлю по двадцать копеек на человека,— сказал Карташев.

Это произвело хорошее впечатление. Ропот прекратился, и рабочие уже молча шли за Карташевым.

— Ничего,— сказал с длинной шеей худой молодой рабочий, с подслеповатыми глазами,— добежим как-нибудь до смерти.

Он комично потянул носом, покосился на товарищей и с глуповатой физиономией продолжал:

— За прибавку, конечно, спасибо... Только наш брат, известно, дурак,— ему, что коню, в брюхо бы только что воткнуть.

— Вы же поели?

— Поесть-то поели, а выпить вот и забыли.

Веселый смех остальных поддержал рабочего.

— Водки хотите?

— А неужели воды?

Рабочие опять расхохотались.

— Ты ему сунь воды,— показал рабочий на обрюзгшее от водки лицо соседа,— а он тебе в морду, пожалуй.

Рабочие совсем развеселились.

— Да где же здесь достать водку? — спросил Карташев.

— Э-во! — ответил парень.— Только доставалки были бы, а то в один миг...

— Ты, что ли, пойдешь? — спросил Карташев.

— А неужто,— показал парень на опившегося,— его посылать? Туда-то он махом, а назад раком. Лучше я пойду.

— Тебя как звать?

— Тимофей, что ли...

Тимофей взял деньги и, пока приступал Карташев к разбивке, уже возвратился с водкой.

Другой рабочий позаботился и об закуске, забежав по дороге в баштаны и сорвав несколько огурцов.

— Вот что, ребята,— сказал Тимофей,— присесть надо.

И, обращаясь к Карташеву, сказал:

— Ты пять минут нам дай сроку, а потом мы тебе на рысях отзвоним тебе,— и танцса твоего и бисестриц...

Карташева сильный соблазн разбирал при виде огурцов, только что, да еще воровски, сорванных с баштана. Всегда в детстве такие огурцы казались ему особенно вкусными. Он не утерпел и, поборов смущение, нерешительно сказал:

— Может быть, есть лишний у вас огурец?

— О?! — радостно ответил Тимофей,— бери сколько хочешь,— у нас кладовая во какая.

Тимофей махнул рукой на всю даль баштанов.

Нашелся и нож, и соль, и темный пшеничный хлеб с особым ароматом.

Присев под дерево, Карташев разрезал огурец, посолил его, потер обе половинки и стал есть его с хлебом.

— Ну-ка, лети еще за огурчиками,— скомандовал Тимофей одному рабочему.

Выпив, рабочие заедали огурцами без соли и хлебом. Челюсти их медленно, как работу, жевали пищу.

— Еще один, еще два,— поднес Тимофей Карташеву в поле рубахи огурцы.

Рабочие выбирали уже желтевшие огурцы, а Карташеву хотелось зеленых.

— Я сам себе выберу,— не утерпел Карташев и пошел сам на баштаны.

— Го-го! — пустил ему вдогонку Тимофей,— из наших, видно, тоже...

Как раз, когда наклонился к огурцам Карташев и стал рыться в зеленой листве их, из-под которой сверкали желтые цветы, из шалаша вышел сторож с ружьем и медленно пошел к Карташеву.

Карташев сорвал три огурца и ждал сторожа.

Рабочие с любопытством следили за развязкой.

Когда сторож подошел, Карташев сказал:

— Вот мои рабочие и я сорвали десятка два огурцов. Рубля довольно за них?

— Я не хозяин,— ответил флегматично хохол сторож, уже старик.

— Ну,— сказал Карташев, протягивая ему рубль,— что следует хозяину, отдай, а остальное себе возьми.

— Хм...— сказал хохол,— хиба вин сдачу мне дасть? Отбере усе...

Тогда Карташев достал мелочь и сказал:

— Вот двадцать копеек отдай хозяину, а вот эти восемьдесят себе возьми.

— А за що?

— Да так просто...

— Хм...

Хохол еще подумал и, решительно отдавая деньги, сказал:

— Ни, не возьму.

— А водки хочешь?

— Хиба есть?

— Пойдем.

Хохол пошел за Карташевым, и рабочие угостили его водкой.

— На, диду,— сказал Тимофей.

Перед тем как выпить, хохол снял шляпу, перекрестился, лицо его сделалось ласковое, умильное, и, почтительно кивнув Карташеву, сказал:

— Ну, дай же ты, боже, що нам гоже, а що не гоже...

Хохол беспечно махнул рукой.

— Того не дай, боже...

Он выпил, крякнул и, взяв огурец, подсел к рабочим.

— Старый, дид? — спросил Карташев, принимаясь за новый огурец.

— Старый,— мотнул головой дед.

— Сколько лет? Годыв скольки?

— Не знаю... Помню ще Екатерину. В косах ходили солдаты, ще мукой посыпали их. А вшей, вшей в них,— не доведи, боже... Гайдамашку ще помню...

— Сам, чай, гайдамакой был,— подсказал Тимофей.

— Ни, чумаковал... Пара волов, воз соли два карбованца стоил, а теперь и за полтыщи не ухватишь.

— Ну, дид, еще горилки.

Дид опять встал, перекрестился, покивал на все стороны и, выпив, крякнул.

— Добра...

— Еще осталось... Кому отдать? Пьянице,— решил Тимофей и передал рабочему с одутловатым лицом.

Рабочие вставали; Карташев, съев третий огурец, тоже поднимался.

— Ну, дид,— сказал Тимофей,— иди спать теперь, а мы тоже уйдем: никто больше красть у тебя не станет.

— А що хоть и возьме кто? Всем у бога хватит. Только вот хлопоты мне с этим,— показал дид на двугривенный,— куда его сховать?

Карташев опять предложил ему деньги.

— Ну! — брезгливо махнул дид рукой и побрел к своему шалашу.

— Ну, ребята, смотри только как бока отбивать! — весело командовал Тимофей.

Кривая была быстро разбита. Последнюю кривую, когда уже солнце длинными лучами скользило по долине, Карташев разбивал на глазах у Пахомова, нагнав его.

Пикетажист и Сикорский остались далеко позади и не были видны.

Пахомов, кончив работу, стал и молча, сдвинув брови, смотрел, как на рысях команда Карташева, совершенно приспособившаяся, вела свою работу.

Карташев боялся только, как бы рабочие не начали при Пахомове свою болтовню и не выдали бы его, Карташева, начальственную слабость. Но самый строгий глаз не заметил бы малейшей непочтительности или чего-нибудь такого в обращении, что напомнило бы, что он, Карташев, вместе с этими самыми рабочими воровал сегодня огурцы с огородов.

Когда разбивка была кончена, Пахомов подошел ближе и внимательно, с видом знатока, смотрел на колья, обозначавшие кривую. Местность была открытая, пологая, красивая кривая ясно обозначалась кольями, и Карташев, затаив дыхание, следил за Пахомовым.

Он, очевидно, остался доволен, но ничего не сказал и только, сильнее сдвинув брови, буркнул:

— На сегодня довольно. Идем в эту деревню.

Пахомов с Карташевым пошли вперед, а рабочие, значительно отстав, смешавшись с рабочими Пахомова, шли веселой гурьбой.

Напрасно ждал Карташев, что Пахомов хоть одним словом обмолвится... Так молча и дошли они до просторной молдаванской избы, чисто, опрятно выбеленной белой глиной.

На пороге избы уже стоял, выжидая, брат Сикорского и, согнувшись, почтительно пожал руку Пахомова.

— Все в порядке? — сухо спросил Пахомов.

— Все, Семен Васильевич,— ласково, с особым тоном почтительной фамильярности своего человека, ответил Сикорский.

— Ну, вот познакомьтесь,— буркнул Пахомов.

Сперва Сикорский важно было протянул руку Карташеву, но затем весело и с уважением в голосе крикнул:

— Кого я вижу? Один из столпов нашей революции в гимназии. Ведь, Семен Васильевич,— он, Корнев и Рыльский были наши самые первые главари, бунтари. Писарев, Шелгунов...

— Вот как,— ответил односложно Пахомов, усаживаясь на широкую деревянную скамью и скользнув с любопытством по Карташеву.

— Да как же? Наши светила...

— Ну, вот,— смущенно отвечал Карташев, и польщенный и с тревогой думавший, как посмотрит Пахомов на то, что он когда-то был бунтарем.

Изба была просторная, прохладная, с чисто вымазанным глиняным полом, с сильным и приятным запахом васильков. Посреди избы уже стоял накрытый стол, на нем тарелки, деревянные ложки, водка, вино, разные закуски.

— Не взыщите, как умел,— говорил Сикорский.

На что Пахомов только сильнее сдвинул брови, и Карташев, внимательно наблюдая его, не знал, что это значило: доволен он или нет?

Когда пришли младший Сикорский и пикетажист, сели ужинать.

Младший Сикорский, войдя, сделал презрительную гримасу и жест в воздухе.

— Семен Васильевич,— сказал он,— вы бы его дубиной,— указал он на брата.— Что он тут за разврат развел? Закуски, анчоусы. Тварь!

Старший Сикорский, только растерянно оглядываясь на всех и мигая маленькими глазами, повторял:

— Ну вот, ну вот...

Пахомов нервно, громко и коротко рассмеялся и опять уже угрюмо сказал:

— Ну, будем есть.

— Я сейчас,— ответил младший Сикорский.

Он ушел, вымыл лицо и руки, расчесался и возвратился к столу, когда уже ели борщ из свежей капусты, помидор и утки с салом.

Младший Сикорский сделал еще раз пренебрежительный жест, показав на закуски, причем у старшего брата Леонида опять появилось испуганное выражение лица, и принялся за закуски. Он ел сардинки, пикули, икру. Ел помногу.

Леонид сказал:

— Ругал меня, а один ест закуски.

— Не пропадать же,— ответил младший брат.

— А ты лучше суп ешь. Всегда вот так: закусок наестся, а остального не ест.

На второе подали синие баклажаны по-гречески.

— Это я буду есть! — сказал младший Сикорский и, обходя борщ, наложил полную тарелку баклажан.— А кайенский перец есть?

— Есть и кайенский,— с гордостью ответил старший брат. И, обратясь к Пахомову, жалобно сказал: — Вот так он всегда, Семен Васильевич: ворчит, что много, а чего-нибудь не окажется — ругаться начнет. Больше, господа, ничего нет.

— А чай будет? — спросил Пахомов.

— Эй, Никитка, живо самовар! Убирай все тут...

Никитка, проворный и глуповатый парень, быстро стал приготовлять чай.

Старший Сикорский, наклонившись к Карташеву, в это время громким шепотом говорил:

— На все руки парень... Раздобудет хоть черта из ада.

— И девиц? — иронически бросил младший брат.

— Ну да, кому они нужны,— засмеялся, краснея, старший брат и, впадая опять в благодушный тон, весело прибавил: — Написал записку ко мне и подписал: «Ваш всенижайший раб Никитка — как собака преданный».

— А ты и рад? Тебе бы поручить,— снова рабство завел бы.

— Вовсе не завел бы, но приятно встретить преданного человека.

— Э, дурак! Ну с чего он будет тебе предан?

И столько было презрения в тоне младшего Сикорского, что тот опять покраснел, замигал усиленно глазками и уныло замолчал.

Карташеву было от всей души жаль старшего Сикорского.

— Я чай пить не буду,— сказал младший Сикорский,— а пока светло еще, выверю инструменты. Вам тоже выверить, Семен Васильевич?

— Пожалуйста.

Карташев пошел за младшим Сикорским.

— Отчего вы так к брату резко относитесь?

— Резко! Его бить безостановочно надо.

— Все-таки он вам брат.

— Ну, это мне странно слышать от вас, Карташев; сколько помню, в вашем кружке в гимназии расценка слову «брат» была сделана. Что такое брат? Хороший честный человек — брат, а прохвост, хоть и брат,— прохвост. Для меня нет ни брата, ни родных. Когда после смерти родителей мы с ним остались, мне было четырнадцать лет. Вся эта сволочь-родня нам гроша ломаного не дала. Своими руками и себя и этого оболтуса кормил. А что он мне стоил за границей!

— Он тоже был там?

— Куда ж я его дену?

— И тоже инженер?

Сикорский помолчал и с презрением бросил:

— Тоже!

Еще помолчал, занявшись установкой нивелира, и потом продолжал:

— За границей рядом с настоящим аттестатом выдают аттестаты хоть ослам. Вот такой и у моего братца.

— Отчего же он у вас не на деле, а по какой-то провиантской части?

— Ему нельзя никакого дела, кроме этого, поручить: он так наврет, так все перепутает, что до чумы доведет. Я никогда бы не взял на себя ответственность поручить ему какое бы то ни было дело. И это дело не я ему поручил; я уговаривал Семена Васильевича, но он все-таки взял его. И не сомневаюсь, что в конце концов выйдут неприятности.

— Какие?

Сикорский не сразу ответил.

— Воровство,— нехотя сказал он.— Никитка его будет обворовывать, а он нас.

Карташев ушам своим не верил.

— Вы слишком строги.

— Ну, оставьте... Я и вас предупреждаю: очень скоро он будет у вас просить взаймы. Нет на свете такого человека, зная которого он не взял бы у него взаймы.

Карташев слушал и в то же время внимательно смотрел за проверкой, стараясь восстановить в своей памяти лекции. И опять было что-то не то. В конце концов эти воспоминания только путали его, и, отбросив их, он принялся за усвоение практических приемов. Кончив проверку, младший Сикорский позвал брата и, отойдя с ним, долго что-то говорил по-французски.

Брат оправдывался, вынимал свою записную книжку, вынимал портфель, кошелек.

Карташев ушел подальше от них, сел на завалинку избы и смотрел на горевшую последними лучами волнистую даль Днестра. Солнце уже исчезло, и только из-за далекой горы, точно снизу, вырывались лучи, золотистой пылью осыпая верхи холмов. И на темном уже фоне окружавшие холмы казались прозрачными, светлыми, повисшими между небом и землей. Там в небе стояли всех цветов и тонов облака, меняя свои яркие и причудливые образы. И каждое мгновение появлялись новые сочетания; они казались такими установившимися и прочными, а в следующие их сменяло уже новое и новое.

Далекий отблеск земли и неба будил в душе какой-то отблеск чего-то далекого, забытого и нежного. Этот

тихий вид догорающей дали, как музыка, ласкал и звал. Хотелось тоже ласки, хотелось жить, любить, хотелось, чтобы жизнь прошла недаром. Сегодня уже несколько раз касались в разговорах прошлого Карташева, когда он был красным еще. Таким он и остался в глазах Сикорских и теперь в глазах Пахомова. И ему как-то не хотелось разубеждать их в этом. Да разве и была такая большая разница между ним прежним и теперешним? Ведь не против сущности, а только против достижения цели, против мальчишеских приемов восставал он. Но там, где-то в глубине души, он чувствовал, что это уже новый компромисс, на котором трудно ему будет удержаться, что рано или поздно, а надо будет стать определенно на ту или другую сторону. Ну что ж, он и станет там, куда его увлечет жизнь. Он вовсе не из тех предубежденных людей, которые, раз сказав что-нибудь, так и будут стоять на этом до конца жизни. Никаких предубеждений! С открытыми глазами идти смотреть и искать истину.

А если так ставится вопрос,— подумал вдруг Карташев,— то, пожалуй, истина там, где была, когда он был в гимназии. Тем лучше!

Карташеву стало весело и светло на душе. Он вдруг вспомнил Яшку, Гараську, Кольку, Конона, Петра. Опять все они, и сегодняшний Тимофей и все его рабочие сегодняшние, были близки ему, так близки, как когда-то в детстве Яшка, Гараська, Колька.

К нему подошел Тимофей и, наклонившись, дружески сказал:

— Рабочим надо бы дать, что обещано.

— Конечно, конечно,— заторопился Карташев и полез в карман.

— А вместо Сидора, этого пьяницы, лучше бы нам взять Копейку.

— Неловко.

— Что неловко? Вы у Еремина попросите — он согласится.

— Почему не Сидора?

— Спаивать нас будет; он только об водке и думает. Все надеется, что работа лучше пойдет с водкой, а налакается и опять не может. Днем не надо пить.

Лучше же вечером, с устатку. А днем лучше чайком бы их побаловать. Вот если б чайника нам добиться! Да еще подводу нам надо раздобыть: у всех есть, только у нас нет.

— Чайник будет,— ответил Карташев.

Старший Сикорский, окончив скучный разговор с братом, собирался с Никиткой в город. Карташев поручил ему привезти кое-какие вещи из его чемодана, широкую шляпу, купить высокие сапоги.

— Хотите мои? — предложил Леонид.

— Не берите,— брезгливо сказал Валерьян,— гадость какая, лакированные, как у лакея, и для болота совершенно не годятся. Вот какие сапоги надо! — Сикорский протянул ногу, показал некрасивые из толстой кожи сапоги.

— Хорошо, я вам такие куплю,— покорно согласился Леонид.

Карташев поручил купить большой чайник, металлических кружек шесть штук, чаю, сахару.

— Чай, сахар — общие.

— Мне еще нужно для рабочих.

— Это уж лишнее,— заметил сухо Сикорский.

— По-моему, тоже,— авторитетно поддержал Леонид.

— Мне надо на рысях все время работать, чтоб не задерживать вас,— оправдывался Карташев.

— Только по крайней мере не делайте на виду, чтоб остальных рабочих не взбаламутить.

В избе стало темно, и зажгли свечи.

Пахомов стал вычерчивать план, а Сикорский подсчитывать нивелировочный корнетик. Пикетажист диктовал Пахомову, а Карташев сверял свой корнетик с наносимой на план линией.

В десять часов Пахомов кончил и решительно сказал:

— Теперь спать!

— Сейчас и я кончаю, Семен Васильевич,— ответил младший Сикорский.

— Жребий, кто где будет спать! — сказал Пахомов.

Попробовали было протестовать, но Пахомов настоял. Карташеву досталось на полу, на свеженакошен-

ной траве, закрытой рядном. Подушка его была в городе, и вместо подушки было взбито побольше травы.

Карташев лег, свечи потушили, и он сразу утонул в аромате своей постели, во мраке вечера, смотревшего в открытые окна. Там на небе не осталось уже ни одной тучки, и синее, напряженное, усыпанное большими яркими звездами, оно смотрело в маленькие окна избы и звало к себе на волю, чтобы рассказывать какие-то неведомые, душу захватывающие сказки.

«Да, жизнь — сказка,— думал, укладываясь, Карташев,— и только тот, кто верит в эту сказку,— у того и будут силы, и ковер-самолет, и волшебная палочка; и моя жизнь сказка: я уже умирал и опять живу, и опять инженер, и вижу, что это моя дорога, и я на ней уже!» Мысли его как ножом обрезало, как только голова плотно прилегла к изголовью, и он заснул крепко, без снов, ровно до четырех часов утра, когда резкий пронзительный свист над ухом заставил его вскочить.

На скамейке, смеясь, сидел Пахомов со свистком в руках. А на столе уже стоял кипевший самовар, стаканы, масло, свежий хлеб, брынза, сыр, колбаса.

— Скорей, скорей!..— торопил Пахомов.

Когда кончили чай, подъехал и Леонид Сикорский. Он был растрепанный, маленькие глаза красные и воспаленные.

— Хорош! — бросил пренебрежительно брат.

— Да, хорош,— тебя бы послать! — жалобно огрызался старший брат.

Никитка в торопливой выгрузке привезенного старался скрыть себя.

Карташев получил шляпу и сапоги.

— Ваши остальные вещи,— сказал Леонид Карташеву,— я сложил в номере главного инженера. Он сам предложил; чего же вам платить даром за свой номер.

— Отлично! Очень вам благодарен.

— Хотите, сейчас рассчитаемся или после?

Карташев давал Сикорскому сто рублей.

— Конечно, после.

Уходя на работы, Пахомов сказал старшему Сикорскому:

— Обедаем в Киркаештах.

— Слушаюсь, Семен Васильевич, я сейчас же прямо туда и поеду со всем скарбом.

И, наклонившись к уху Карташева, старший Сикорский шепнул:

— Ни одной минуты не спал ночью!

Тимофей хозяйничал энергично: вещи рабочих, чайники, чашки, сахар, чай, кое-какая еда, небольшой багаж Карташева, колья — все это было уложено на подводу, и не было еще пяти часов, когда потянулись из деревни партии с рабочими.

Впереди широкими шагами выступал Пахомов рядом с Карташевым.

— Надо в четыре часа на работе стоять,— бросил Пахомов Карташеву,— период изысканий обыкновенно три-четыре летних месяца. Это период летних работ крестьянина, и если он, при своей плохой еде, может выдерживать шестнадцатичасовую работу, то, конечно, можем и мы.

Это была первая речь Пахомова, обращенная к Карташеву, и Карташев ответил:

— Конечно.

Пройдя с версту за деревню, Пахомов остановился на линии, развернул карту и заговорил громко:

— Эту прямую можно было бы продолжить еще версты три, но я боюсь, что этот загиб реки заставит нас тогда сделать довольно большой входящий угол, а так как всякий входящий удлиняет, то чем меньше он будет, тем лучше. Если здесь сделать что-нибудь около десяти градусов, то прямая получится верст в семь, если, конечно, карта верна.

— Вы как находите, карта вообще верна?

— Для двухверстной — да. Есть и одноверстные, но не успели достать. Попробуйте установить и снять угол.

Карташев вспыхнул от удовольствия, покраснел, как рак, ему сразу сделалось жарко. Он, как реликвию, слегка дрожащими руками принял от Пахомова маленький теодолит.

— Поверку сделать? — спросил он.

— Сикорский вчера сделал. Пожалуй, сделайте.

Карташев быстро проделал усвоенное вчера.

Когда инструмент был установлен и сведены лимбы, Пахомов показал ему рукой направление.

— Держите вот на то деревцо, немного правее, чтоб не рубить его.

Карташев повернул трубу. Еремин вешил впереди вешками. Подражая манерам и тону Пахомова, Карташев, с таким же, как у Пахомова, угрюмым и сосредоточенным лицом, бросал: «Право... лево... Между ногами и перед носом...»

Он так вошел в роль, что, как и Пахомов, когда Еремин по трем вешкам пошел уже самостоятельно, полез в карман пиджака за платком. Но он был только в ночной рубахе, подштанниках, а потому из этого движения ничего и не вышло, и Карташев смущенно, но так же угрюмо, буркнул:

— Кол! — и стал писать на нем угол, румбы, радиус.

— Какой радиус, Семен Васильевич?

Пахомов сдвинул брови и угрюмо заговорил:

— Идеал — прямая. Всякий угол, всякий радиус уже зло, и чем больше он будет, чем ближе будет подходить к идеалу прямой — тем лучше. Поэтому, если местность позволяет, то чем больше радиус, тем лучше. Возьмите тысячу сажен: всегда надо приблизительно на глаз, в уме, отбить биссектрису, прикинуть длину тангенса, и кривая уже обрисуется, и вам тогда видно будет, встречаются ли на местности какие-нибудь препятствия.

Когда угол был снят, Пахомов бросил, уходя:

— Справитесь, догоняйте!

Карташев догнал на третьей версте Пахомова.

— Вот вам бинокль,— сказал Пахомов,— и следите за линией.

Иногда Пахомов брал бинокль у Карташева и проверял. Так как вешек было ограниченное количество, то по мере удаления старые вешки снимались и вместо них через одну забивался кол с направлением. За этой работой Пахомов очень внимательно наблюдал.

— Вследствие несоблюдения этого сплошь и рядом в постройке вместо прямой получаются ломаные линии. Так сломали на Фастовской прекрасную пятнадцати-

верстную прямую. И надо, чтоб эти колья заколачивались так, чтоб их потом выдернуть нельзя было. Надо постоянно самому пробовать.

Как Пахомов сказал, так и вышло: прямая получилась в семь верст.

После нескольких объяснений на карте Карташев под руководством Пахомова сделал новый угол. Было уже одиннадцать часов утра.

— Ну, здесь тоже опять что-нибудь вроде семи верст будет. До вечера не дойдем. Разбейте кривую и ведите сколько успеете дальше линию, а я поеду в город и вечером приеду прямо уже в Киркаешты. Карту себе возьмите. Вам ничего в городе не надо?

— Нет, благодарю вас.

Пахомов сел в парный экипаж, все время ехавший невдалеке, кивнул головой и поехал, а Карташев принялся за разбивку кривой.

Когда экипаж скрылся, Еремин, бросив вешить, возвратился к Карташеву и сказал:

— Как прикажете? Время обедать.

— Я разобью еще эту кривую, а вы, пожалуй, со своими рабочими садитесь обедать, разведите огонь, вскипятите пока воду, пошлите в эту деревню, может быть, можно немного водки купить, не больше как по стакану на человека.

Рабочие с полуоткрытыми ртами слушали насторожившись; Еремин угрюмо-недовольно сказал:

— Слушаю-с.

— Ну, скорее разобьем эту кривую! — крикнул Карташев.

И работа везде весело закипела. Двое ереминских рабочих уже бежали в соседнюю деревню. Копейка обламывал сучья сухого дерева, вытащил чайник и побежал за водой.

В то время, как Карташев незаметно входил в роль Пахомова, Тимофей входил в роль Карташева. Одну половину кривой разбивал сам Карташев, а другую Тимофей и, смотря в щелку эккера, грозно кричал:

— Черт полосатый, тебе говорят: вправо. Ладно! Бей!

И новый кол забивался.

Кривую кончили, баран жарился, чайник кипятился, стояла наготове водка. Под одним деревом сидели все и в ожидании еды вели непринужденный разговор.

Тимофей гордился приобретенным влиянием над Карташевым и от поры до времени старался показать это перед рабочими. Карташев выше головы был доволен своей новой ролью и, добродушно щурясь, не мешал Тимофею командовать.

Когда уже все устроилось и предлогов командовать больше никаких не было, Карташев спросил полулежавшего Тимофея:

— Ты сам откуда, Тимофей?

— Я издалека... из-за Волги...

— Места там у вас привольные.

— Было, да сплыло,— сплюнул Тимофей.— Земли — оно много и сейчас, да за чужими руками, а наш брат, мужик, не хуже как в каменном мешке бьется на своем сиротском наделе.

— А земля в чьих руках?

— У господ, у купцов, удельная, казенная... А порядки везде такие, что стало хуже неволи. А особенно у купцов. Они цену тебе назначили пятнадцать рублей за десятину и рубль задатку. Паши, сей, жни, молоти даже, только зерно к нему в амбарт. До покрова отдал деньги — бери зерно, нет — в покров по базарной цене хлеб остался за хозяином. А в покров нет ниже цены,— барки ушли, сразу на полцены хлеб упадет. И выходит так, что весь хлеб отдал, а заверстать его не хватило. Еще пять — три рубля остается в долгу на мужике. Вексель пиши. Вся работа, значит, пропала, семена отдал да еще долгу накрутил себе на шею. В крепостных были, половина работы шла на барина — три дня твоих, три дня моих, праздник ничей, а тут все твои и с праздником, да с семенами, да с долгом еще: отрабатывай зимой по рублю за месяц... Так сладко, что некуда больше...

— У вас,— степенно заговорил Копейка,— хотя по пятнадцати рублей да мера сотенная, а у нас сороковка по тридцати.

— А ты откуда?

— Из Елисаветградского уезда, села Благодатной.

«Дядя Хорвата?» — подумал Карташев.

— Хорвата?

— Его самого. А за все штраф: всю кровь пьют. А уж этот приказчик у него, Конон...

— Конон Львович?

— Он самый! Такого аспида сам черт у цицки своей выкормил да и пустил на свет на пагубу добрым людям.

Карташев смущенно слушал. Тот самый Конон Львович, который был и у его матери. Он вспомнил тогдашнюю историю, когда с Корневым они поскакали утром в поле.

И остальные рабочие, каждый из своего угла России, говорили о той же неприглядной картине жизни простого народа.

Если бы все это Карташев читал в какой-нибудь прогрессивной газете, он читал бы с предубежденным чувством, что все это подтасовано, сгущено, предвзято.

Таких подозрений здесь не могло быть. Люди эти никаких газет и не читали, и читать не умели, и даже не знали, что где-то кто-то тоже заботится об их интересах.

И ясно было одно, что это действительно сброд обездоленных, несчастных людей, для которых кусок мяса, стакан чаю, ласковое слово — уже праздник жизни.

Конечно, не в его, Карташева, власти изменить неизбежный тяжелый ход жизни, но в его полной власти эти несколько дней, на которые судьба свела его с этими людьми, превратить в возможный праздник для них, сделать все, что от него зависит.

Поели барана, достали опять огурцов, выпили водки. Угостили и Карташева, и он хлебнул. И такой вкусный и сочный был баран, что всего его съели без остатка, а кости побросали увязавшейся собачонке, лохматой, несчастной, но уже ставшей общей любимицей и получившей кличку «Черногуз» за свой черный зад.

Карташев хотел было сейчас после еды начинать, но рабочие попросили час-два заснуть.

Тимофей авторитетно посоветовал Карташеву согласиться:

— Наверстаем,— подмигнул он.

Карташев согласился и с часами в руках сидел под деревом. Потом ему пришло в голову устроить сюрприз рабочим и вскипятить новый чайник. Он наломал новых сучьев, сходил за водою. Чайник успел вскипеть, он сам выпил еще стакан чаю.

Потом разбудил рабочих.

Сюрпризом рабочие были очень тронуты, жадно роспили приготовленный чай и начали энергично собираться на работу.

Прошли прямую в шесть верст, Карташев на свой риск сделал еще угол и прошел по новой линии еще три версты.

В Киркаешты возвратились они уже в сумерки. Все и Пахомов были уже налицо. Узнав о положении дел, он только молча кивнул головой.

Дни потянулись за днями в непрерывной напряженной работе.

Карташев все больше входил во вкус этой работы.

Высокий пикетажист заболел такими жестокими приступами лихорадки, что его пришлось отправить назад.

Карташев взял на себя и разбивку кривых и пикетаж, с обещанием не задерживать Сикорского...

Обещание свое он больше чем выполнил. При прежнем пикетажисте не проходили больше восьми верст в день, Карташев же проходил, в то же время разбивая и кривые, по двенадцати верст в день и мечтал о пятнадцати.

Пахомов, ушедший настолько вперед, что хотел было почевать с Карташевым отдельно от Сикорского, теперь передумал, так как Карташев, чуть только приходилось Пахомову менять неудачно взятое направление, уже наседал на него.

Отношения и Пахомова и Сикорского к Карташеву резко изменились. Он был признан вполне равноправным членом их общества, а его работоспособность была настолько вне конкуренции, что в интересах, чтобы рабочие его не разбежались, Пахомов сам просил его охладить немного свое рвение.

Карташев был и поражен и смущен, когда однажды его рабочие в полном составе, с Тимофеем во главе, вечером, после работы, обратились к Пахомову с жалобой на него, Карташева.

— Не можем, никак не можем... Один-два дня вытерпеть на рысях в этакую жару, а ведь вторая неделя кончается. Зайцы мы, что ли? Ну что с того, что он водки да барана дает? Гляди, как мы полегчали: тень осталась от людей. Опять обувь... Дождь не дождь, гонит, как на пожар. Словно без ума... Разве так можно?! Ноги все опухли, точно язва их ест.

На другой день Карташев вошел в дополнительное соглашение с рабочими.

— Ну, давайте сделаем так: урок пусть будет восемь верст, а если двенадцать выйдет, я вам плачу, кроме водки и еды, двойное жалованье.

Рабочие думали.

— Эк тебя нудит,— раздумчиво заметил один рабочий.

— Господа, ведь еще неделя,— и конец всей работе: вы же больше заработаете...

— Заработаешь на больницу.

Порешили, наконец, на том, чтобы не неволить. Кто согласен — согласен, а не согласны — расчет, и набирай новых.

Бо́льшая половина рабочих в тот же вечер рассчитались. Вместо них поступили молодые парни молдаване из местных жителей.

Это были добродушные, но ленивые, почти не понимавшие русской речи, люди.

Еле-еле прошли восемь верст.

А на другой день молдаване рабочие и совсем отказались идти на работы, апатично заявляя:

— Сербатори, нуй лукрали! — что значит: праздник, нет работы.

И хотя в святцах 23 июня никакого особого праздника не значилось, но молдаване ссылались на церковный звон.

С маленькой деревянной колокольни села, где ночевали инженеры, действительно неслись и разливались в

утреннем воздухе ровные мирные звуки церковного колокола.

Сикорский весело рассмеялся и сказал:

— Вот шельма! Это за вчерашнее... Ведь здешний народ первобытный: в полной власти у своих попов. Слава богу, я сам молдаванец и хорошо знаю, что это за цаца.

Вчера вечером приходил к ним местный священник: молодой, высокий, пухлый, с черными, как воронье крыло, волосами и оливковым цветом лица.

Пахомов во все время визита высокомерно и угрюмо молчал, а Сикорский с нескрываемым сарказмом выпытывал у батюшки, сколько он берет за свадьбу, крестины, похороны... Священник хотел щегольнуть и говорил очень высокие цены, а Сикорский, возмущаясь, доказывал ему, что он грабит народ.

Священник в конце концов так разобиделся, что ушел, едва простившись.

— Отвадили,— пустил ему вдогонку Сикорский при общем смехе.

Даже Пахомов смеялся сухим едким смехом, скаля зубы и сверкая глазами.

Теперь, когда звон произвел такое действие, Сикорский не сомневался больше, что это месть.

Он пожал плечами, сказав презрительно:

— Надо идти мириться,— и пошел к церкви.

Звон скоро прекратился, и Сикорский появился вместе со священником, который объяснил рабочим, что это не праздник, а заказная обедня.

Рабочие согласились идти на работу, и все двинулись в путь, напутствуемые добродушными пожеланиями священника.

— Как вы с ним поладили? — спросил Карташев.

— Как? Сунул в зубы пятишницу, обещал позвать на молебен и дать ему две телки.

В тот же день произошла и первая встреча с полицией в лице местного станового. Он подъехал в тарантасе к Карташеву и спросил, не зная, с кем имеет дело:

— Что за люди?

По внешнему виду было действительно трудно угадать в Карташеве не только инженера, но даже и интеллигента.

Его ночная рубаха и подштанники были так же грязны, такого же серого цвета, как и белье рабочих. Дешевая соломенная шляпа поломалась, и поля ее точно изгрыз какой-нибудь зверь. На ногах вместо сапог, страшно натерших ноги, давно уже были лапти Тимофея.

— Инженеры,— ответил Карташев,— изыскания делаем.

— Где старший?

Сикорский в это время подходил уже со своими рабочими, и Карташев указал на него.

На глазах у всех рабочих Сикорский, поговорив немного, вынул двадцать пять рублей и с обычной гримасой презрения дал их становому.

Становой взял деньги, пожал руку Сикорскому и уехал.

Карташев, совершенно пораженный, пошел к Сикорскому.

— Вы ему взятку дали?

— Как видите.

— Ну, а если бы он вас за это ударил?

— Он?!

Сикорский расхохотался.

— Слушайте, даже стыдно быть таким наивным. Ведь это же полиция!

— Как же вы ему дали?

— Как дал? Сказал, что будем строить дорогу, что полиция будет получать от нас, что ему будем платить по двадцать пять рублей в месяц, а за особые происшествия отдельно, и что так как он уже тут, то пусть и получит за этот месяц. А он спрашивает: «А когда будете брать справочные цены, это как будет считаться — особо?» Пришлось разочаровывать его, что справочные цены только у военных инженеров да в водяном и шоссейном департаментах.

— Это что еще за справочные цены?

— Только по таким, утвержденным полицией, ценам ведомства эти утверждают расходы. Например,

пусть доска стоит в действительности пятьдесят копеек, а если утверждена справочная цена два рубля, то так и будет. Цены эти, кажется, утверждаются два раза в год. Вот к этому времени все эти полицейские и собирают дань. Неужели вам никогда не приходилось иметь дело с полицией?

— Нет.

— Ну, будете...

— А меня он, верно, принял за старшего рабочего?

— Да, знаете, угадать в вас трудно того франтика, который две недели тому назад явился к нам в золотом пенсне, расшитой куртке и шапке с кокардой. Теперь вы жулик, форменный золоторотец.

Карташев, оглядывая себя, довольно улыбался, а Сикорский сказал:

— Ну, идите, идите...

Карташев часто старался дать себе отчет, что захватывало его, точно переродило и неудержимо тянуло к работе.

Конечно, самолюбие, желание доказать, что и он на что-нибудь годится, было на первом плане; удовлетворенное сознание, что он может работать, тянуло его дальше — он хотел достигнуть предела того, что он может, предела своих сил.

Его прежняя практика, езда кочегаром, являлась своего рода масштабом для него.

И, в сравнении с тем масштабом, ему казалось, что теперь он очень мало работает. Ведь в сущности все сводится к приятной прогулке по двадцати верст в день.

Могло ли это сравниться с утомительным стоянием без перерыва по тридцать два часа перед горячим паровозом, с перебрасыванием ежедневно трехсот пудов угля из тендера в топку, с работой на тормозе, утомительным лазаньем с тяжелыми резцами в руках под паровоз, с невыносимой борьбой со сном, когда исчезает понятие о дне и ночи, когда вдруг мгновенно сон сковывал его, стоявшего на паровозе, и превращал в окаменевшую статую? А это постоянное напряжение при наблюдении за исправностью паровоза, эта тряска, ослепляющий блеск топки и жар от этой топки, когда

спина мерзнет от холодного ночного ветра, часто с дождем? И так постоянно: грязный, мокрый, изможденный до такой степени, что острые куски черного угля под боком и такие же под головой казались самой мягкой, самой желательной постелью,— только бы прилечь, и мгновенный, крепкий, как сталь, сон охватывал тело. Здесь он ни разу еще не чувствовал того сладостного утомления, когда хотя бы ценой жизни, но берутся несколько мгновений безмятежного отдыха.

Он удивлялся жалобам рабочих на непосильный труд и не верил им.

Но и помимо всякого самолюбия и удовлетворения, сама работа увлекала его.

Карташев объяснял это тем, что, вероятно, наследственная страсть его предков к охоте переродилась в нем тоже в своего рода охоту: линия — это тот же зверь, которого тоже надо уметь выследить по разным приметам, требующим знания, опыта, особого дарования.

Он выследил, например, в одном месте этого зверя. Пахомов, доверяясь карте, повел линию иначе, но Карташев все-таки выгадал время, успел сделать изыскание, и его направление было и более выгодное и более короткое. И, вопреки карты, при этом не оказалось болота, а напротив, твердые засеянные хлебами поля. Вечером Пахомов выслушал Карташева, а на другой день утром, осмотрев его линию, согласился с ним.

Кончив осмотр, он угрюмо протянул ему руку и сказал:

— Поздравляю и предсказываю вам в будущем хорошего изыскателя, потому что основное свойство изыскателя — не верить никаким авторитетам, отцу и матери не верить, не верить картам, своим глазам, черту не верить, ничему не верить, тогда только будет уверенность, что линия выбрана правильно. А в этом все. Та экономия, которую могут дать изыскания, пред экономией самой постройки всегда ничтожна. И хорошие изыскания — это все, это основа всей постройки.

В другой раз Пахомов сказал Карташеву:

— Я не уверен, что я теперь иду правильно. Сделайте вариант мимо той деревни.

Вариант длиною был около пяти верст, и до прихода Сикорского Карташев, сделав этот вариант, успел и его и линию Пахомова пройти пикетажем, разбив и все кривые. В этот день он прошел в общем семнадцать верст и почувствовал, наконец, то блаженное состояние утомления, о котором так мечтал.

Он даже и есть не мог и, нанеся план, сейчас же завалился спать.

Что до рабочих, то, несмотря на награду по три рубля на человека, все, кроме Тимофея и Копейки, взяли расчет, хотя и оставалось работы всего на три, четыре дня.

Единственным слабым местом теперь у Карташева оставалась нивелировка. Чтобы подучиться, решено было, что обратно в город он пойдет поверочной нивелировкой, причем один день проработает с ним Сикорский, а затем он пойдет уже самостоятельно. Так и поступили. Окончив линию и связавшись с следующей партией, Пахомов уехал в город, поручив Карташеву на обратном пути сделать еще несколько мелких вариантов.

Сикорский пробыл с Карташевым только полдня и, выписав ему репера, тоже уехал.

В распоряжении Карташева остался Еремин, семь рабочих, в том числе Тимофей и Копейка, а также и старший Сикорский.

Но старший Сикорский, с отъездом Пахомова и брата, только раз лично привез провизию Карташеву.

Держал он себя при этом важно, читал нотации Карташеву, что у него много выходит, и что, вероятно, Тимофей ворует у него и в конце концов, ссылаясь на то, что брат его куда-то теперь командирован и что у него вышли подотчетные деньги, взял у Карташева двести рублей. О раньше взятых ста Сикорский не заикался.

Вместо Сикорского приезжал Никитка и, подражая Сикорскому, тоже изображал из себя недовольного хозяина. Провизию он привозил все худшую и худшую, и наконец Карташев, после совещания с Ереминым и Тимофеем, сказал Никитке, чтобы он больше не возил провизии и не ездил к нему.

— Вы разве нанимали меня? Хозяин вы, что ли, чтоб мне приказывать? — нахально спросил Никитка.

— Хозяин!! — заревел Карташев, и глаза его налились кровью, а руки сжались в кулак.

Никитка не стал испытывать больше его терпенье, вскочил в тарантас и уехал. А Карташев, придя в себя, был смущен охватившим его вдруг бешенством, но при воспоминании об испуганной физиономии Никитки испытывал удовлетворение и думал: «Будет на следующий раз ухо востро держать, да и остальные видели, что ласков и покладлив я, когда хочу и когда со мной не нахальничают...»

XII

На восьмой день Карташев подходил к городу, сделав в среднем по двенадцать верст. Раз сделал он семнадцать верст, но двадцать две, о чем рассказывал ему Сикорский, он так и не мог сделать. Он утешался, что Сикорский сделал это в степи, беря взгляды по двести сажен в обе стороны, в то время как при здешней местности не выходило и ста. Да при этом вследствие неопытности приходилось часто возвращаться назад вследствие несходности отметки с отметкой репера.

При этом он каждый раз мечтал, что накрыл на этот раз Сикорского. Но проверка опять показывала, что он опять ошибся. Так ни разу и не накрыл он Сикорского. Теперь, подходя к городу, он рад был этому, потому что знал, что этим обрадует Сикорского.

Уже на расстоянии тридцати верст от города он видел толпы рабочих, землекопов, развозимый материал. Топтались поля, кукуруза, виноградники. В одном месте через сад тянулась сквозная просека. На земле валялись срубленные яблони, груши — с массой зеленых плодов на них. Садилось солнце и золотой пылью осыпало деревья, и ослепительные лучи горели между листьями. Где-то мелодично куковала кукушка, и Карташев насчитал семнадцать лет остающейся еще ему жизни. Это было слишком много, и Карташеву с ужасом представилась его сорокадвухлетняя фигура. Уже

тридцать лет казались ему какой-то беспросветной и безнадежной старостью.

Безмятежным покоем вечера веяло от садов и дач, Днестра и неба, с его золотистыми переливами, с его голубыми перламутровыми облаками. Точно воды протекли и оставили песчаный свой след. Но песок был яркий, блестящий, с переливами всех цветов. И только там, под солнцем, вплоть до горизонта был однообразный нежно-золотистый тон.

Из какого-то густого сада и домика в нем Карташева окликнул голос младшего Сикорского, и сам он показался на улице.

— Ну, здравствуйте, сошлось?

— Совершенно сошлось! — радостно говорил Карташев, горячо пожимая руку Сикорского.— Несколько раз думал было вас накрыть, но так и не выгорело.

Сикорский весело смеялся.

— Ну, довольно. Здесь уж строят, и тридцать верст отсюда уже была вторая нивелировка. Идем к нам, я вас познакомлю с сестрой и зятем.

Карташев оглянулся на свой костюм. Правда, он уже третий день одевал панталоны, а сегодня надел и куртку, но и куртка и панталоны изображали из себя теперь только грязные лохмотья, да при этом изгрызанная, поломанная шляпа, истоптанные, с перекошенными на сторону высокими каблуками сапоги, которые он надел, так как в лаптях ходить по городу и совсем было неудобно. На мягких полях эти свороченные на сторону каблуки еще не так давали себя чувствовать, но на твердой мостовой он при каждом движении чувствовал и боль и неудобство ходьбы.

— Ну, пустяки,— сказал Сикорский.— Моя сестра привыкла к разным фигурам.

— Ну, тогда постойте,— сказал Карташев и, присев на мостовую, вытянув ногу, сказал рабочему с топором,— руби каблуки!

Когда каблуки были отрублены, Карташев, правда, чувствовал себя в каких-то широчайших башмаках, но зато не испытывал больше ни боли, ни неудобства.

Затем он рассчитал рабочих, оставив только Тимо-

фея и Копейку, и с Ереминым, подводой и инструментами отправил их в гостиницу.

— Мне, право, совестно,— покончив, обратился Карташев опять к Сикорскому.

— Да идите, идите!

— Вы понимаете, благодаря этой дыре,— он показал на одну половину своих штанов,— я могу показываться только боком.

— Ну и отлично.

Они вошли в маленькую калитку и очутились в густом саду, дорожкой прошли к террасе дома и взошли на террасу.

Посреди террасы стоял стол, покрытый белоснежной скатертью. На ней стоял вычищенный, сверкавший медью, кипевший самовар. Посуда, масленка с маслом и льдом, стаканы и чашки — все было безукоризненной чистоты. Так же светло и чисто одет был Сикорский, его зять, начинавший полнеть блондин, его сестра, молодая, похожая на брата, несмотря на надменное выражение, все-таки с симпатичным, привлекательным лицом.

— Ну вот, знакомьтесь,— бросил пренебрежительно Сикорский.

— Петр Матвеевич Петров,— поздоровался блондин.— Прошу любить и жаловать.

— Тебя полюбишь,— сказал Сикорский.

— Молчи,— ответил Петр Матвеевич.

Карташев боком пробрался к сестре Сикорского и пожал так протянутую из-за самовара руку, точно протягивавшая не совсем была уверена, что надо это сделать.

— Ты попроси его повернуться,— предложил ей брат.

Петров уже видел дефект Карташева и раскатисто смеялся, его жена улыбалась и казалась еще симпатичнее.

— Не обращайте на них внимания,— заговорила она красивым музыкальным голосом,— и садитесь. Чаю хотите?

Карташев поспешно сел на стул, вдвинул его как можно глубже под стол и, пригнувшись, ответил:

— С большим удовольствием.

— Петя,— обратился Сикорский к зятю,— надо тебе было видеть этого господина месяц тому назад, каким франтиком он выступил отсюда.

Он обратился к Карташеву:

— Идите сюда к зеркалу. Посмотрите на себя. Волосы одни чего стоят, сзади уже в косичку завивать можно: в дьячки хоть сейчас идите...

Но Карташев только головой покачал.

— К зеркалу не могу идти.

Он молча показал на свой разорванный бок, и все опять смеялись.

Карташеву дали чай, любимые его сливки, такие же холодные, как и масло, любимые бублики, и он, теперь всегда голодный, пил и ел с завидным аппетитом.

— Вы знаете,— заметил ему Петр Матвеевич,— как здесь на юге немцы-колонисты нанимают рабочих? Прежде всего садят с собой за стол есть. Ест хорошо — берут, нет — прогоняют. Вас бы взяли. Покажите руки.

Карташев показал.

— И руки хороши: мозоли есть.

— Это, вероятно, еще от кочегарства.

— Вот попались бы вы к этому господину,— показал Карташеву Сикорский на зятя,— этот бы и вас замучил на работе.

— Тебя же не замучил,— ответил Петр Матвеевич.

— Только и спасла вот она,— ткнул Сикорский в сестру.— Вижу, что забьет, я и подсунул ему сестру. Ну, и пропал... Теперь и половины от него уже не осталось. Толстеть стал.

— Ну, ври больше,— ответил Петр Матвеевич и встал, взяв лежавший тут же корнетик.

Жена его тоже поднялась и спросила:

— К ужину придешь?

— Да, приду.

Они с мужем ушли, а Карташев сказал Сикорскому:

— Я не знал, что у вас есть сестра.

— Целых две,— они у дяди жили раньше.

— А Петр Матвеевич тоже инженер?

— У него нет диплома инженера, но уже лет десять начальник дистанции. Я у него и начал свою прак-

тику. Очень дельный человек. Точный, как часы. Его дистанция первая от Бендер. Кстати, хотите быть моим помощником: моя третья отсюда дистанция?

— С удовольствием, конечно.

— Мы так и порешили с Пахомовым. Жалованье вам назначено по двести рублей в месяц, подъемные шестьсот, на обзаведенье лошадьми триста. Идите завтра и получайте, да ко всему еще за два месяца уже прослуженных.

— Один месяц.

— Штаты утверждены с мая. А деньги вы отдайте на сохранение сестре.

— Отлично, а то я их в конце концов потеряю.

Карташев вынул портфель, пересчитал, оставил у себя пятьсот, а тысячу рублей вынул и положил на стол.

Когда сестра Сикорского возвратилась на террасу, брат сказал:

— Марися, возьми у него эти деньги и спрячь, чтобы не растерял. Завтра еще тебе столько даст. Да зачем вы столько оставили себе?

— Так, на всякий случай.

— Давайте лучше мне, целее будут,— сказала ласково сестра и добродушно кивнула головой.

— Нет, мне нужно восстановить свой гардероб.

— Ну, что вы здесь, в Бендерах, найдете! А знаете что! Вы можете дня на два, на три пока что съездить в Одессу, к своим. Я вам завтра это устрою.

Карташев очень обрадовался.

— И мне купите кой-что.

— Зине кланяйтесь,— сказала сестра Сикорского.

— Вы ее разве знаете? Теперь она уже монахиня.

И Карташев рассказал, как она уехала в Иерусалим.

Сикорский возмущался, качал головой и говорил со своей обычной гримасой:

— Ой, какая гадость! Фу! Вот до чего доводит людей религия! бросить детей... Ой, ой, ой!..

Сестра Сикорского слушала, вдумывалась и сказала:

— Я тоже не понимаю этого... Бросить детей!.. Я знаю и вас; я была в младшем классе, а она в стар-

шем, и она меня очень любила; я видела и вас, и Корнева, и вас с Маней Корневой.

Она рассмеялась и немного покраснела.

— А что, не дурак поухаживать? — спросил брат.

— Ого! и какой еще! Иди сюда, Ваня.

Сестра вышла в комнаты, а за ней ушел и брат.

Затворив за собой дверь на террасу, сестра заговорила:

— Баня у нас еще горячая. Сведи ты его в баню, ведь от него, несчастного, так и разит; дай ему хотя Петино белье, и костюм, и ботинки. Дай ему частый гребень: пф!.. и жалко и противно...

— Ну, хорошо, ты уходи, приготовь там все, а я с ним поговорю.

В это время в комнату вошла младшая сестра Сикорского.

— Постой,— добродушно махнула ей старшая сестра,— не ходи еще туда: пусть его сначала обмоют, а то он теперь такой, что и чай пить не захочешь.

Сикорский возвратился к Карташеву, поговорил еще с ним и спросил:

— Давно не умывались?

— Откровенно сказать, как расстался с вами.

— Восемь дней?!

— Куда-то задевалось полотенце, да и вообще — проснешься, торопишься на работу... На изысканиях, собственно, некогда умываться.

— Ну, это только русские способны... Вы возьмите англичан на изысканиях: каждый день три раза ванну: резиновые походные ванны. Знаете что, сегодня у нас вследствие субботы баня: идите в баню.

Карташев сделал было гримасу.

— Очень длинная история. Начать с того, что у меня с собой никакого чистого белья нет.

— Белье будет... Послушайте, нельзя же, если сказать по-товарищески, такой свиньей ходить. Ведь от вас пахнет, как от свиньи.

Карташев понюхал свое платье и немного обиженно сказал:

— Ну, уж это неправда!

— Чтобы убедиться — вы вымойтесь, переоденьь-

тесь и потом понюхайте свое грязное белье. И волосы вычешите, потому что вши у вас уже и по лицу ползают.

И так как Карташев не верил, он взял его осторожно за руку и подвел к зеркалу.

— Черт знает что! — брезгливо согласился, наконец, Карташев.

— Ну, ступайте. И так как вы наверно сами вымыться не сумеете, то я пришлю к вам банщика.

— Я терпеть не могу с банщиком мыться.

— И придете назад с грязными ушами. Нет, берите банщика.

Карташеву дали белье, частую гребенку, дали верхнее платье, ботинки, дали банщика и отправили в баню.

Карташев на цыпочках проходил по блестящим, как зеркало, полам, по комнатам, сверкавшим голландской чистотой.

«У них в роду чистоплотность»,— подумал он.

И смутился, вспомнив гримасу отвращения на лице сестры Сикорского.

Сейчас же по его уходе сестра Сикорского позвала горничную и вместе с ней занялась обмыванием той части пола и стула, на котором сидел Карташев. Затем она внимательно осмотрела скатерть, стряхнув все крошки, покачала головой и сказала:

— Порядочная свинья: как грязно ест, всю скатерть измазал.

Когда Карташев вернулся из бани, одетый в летний костюм Петрова, только сестры Сикорского были на террасе.

Старшая сестра, Марья Андреевна, встретила его уже, как старого знакомого.

— Ну вот... и вам, наверное же, самому приятнее...

— Мне все равно,— ответил весело Карташев,— хотя теперь я себя чувствую отлично.

— Ну, вот с моей сестрой познакомьтесь.

Младшая сестра Сикорского была похожа на какую-то маленькую миньятюру, легкую и воздушную. Микроскопическая ручка, прекрасные неподвижные черные глаза, поразительная белизна кожи, несмотря на лето, на общий загар, хорошенький полуоткрытый рот и ряд мелких белых зубов — все вместе производило

впечатление видения, которое вот-вот поднимется на воздух и исчезнет.

Голос ее был еще мелодичнее, еще тише и нежнее, чем у сестры.

В тихом вечере в саду нежно и звонко пела какая-то птичка, и Карташеву слышалось что-то родственное в этом пении и голосе младшей сестры Сикорского.

В ее лице не было надменности старшей. Напротив: в глазах светилась поразительная доброта, ласка, интерес.

Карташев сразу почувствовал себя хорошо в обществе двух сестер.

Солнце зашло, но еще горел светом сад и сильнее был аромат поливавшихся садовником роз, клумбы которых окружали террасу.

— Вы знаете, на изысканиях,— говорил Карташев,— я научился любить природу. Природа — это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот язык надо изучить. Я его изучил, и теперь чтение этой книги доставляет мне такое непередаваемое наслаждение. Все остальное на свете ничего не стóит в сравнении с ней.

— Потому что все-таки это она,— сказала старшая сестра, и все рассмеялись.

— Хотите посмотреть,— тихо и смущенно предложила младшая сестра,— вид с нашего обрыва в саду?

— Ну, идите, а я буду приготовлять к ужину.

По извилистым дорожкам сада Елизавета Андреевна и Карташев прошли к обрыву над Днестром, где стояла вся обросшая диким виноградом беседка.

Карташев сел рядом с ней и казался сам себе таким маленьким и неустойчивым, что все боялся, что вот он ее толкнет, и она, вздрогнув, растает, сольется с тем живым и прекрасным, что было перед глазами: сверкающая лента Днестра, неподвижная полоса зеленых камышей, прозрачное небо непередаваемых тонов. И все: небо и река, камыши и воздух замерли в своей неподвижности, и только где-то песня, протяжная и нежная, нарушала неземную тишину этой округи.

Песня смолкла, Карташев спросил:

— Кажется, очень хорошо спето?

— Хорошо... Это на соседней даче один больной чахоточный студент поет.

— Какая это песня?

В ответ Елизавета Андреевна вполголоса запела песню — так мелодично, так музыкально, что Карташев боялся пошевелиться, чтобы не нарушить очарованья.

Когда она кончила, Карташев сказал:

— Ах, как хорошо вы поете; наверно вы и играете отлично,— это сразу чувствуется. И знаете, пенье бывает — помимо того, хорошее ли оно, или нет,— умное или глупое. У вас умное, очень выразительное. Ничего лучше нет на свете пенья, музыки...

— Природы...— лукаво подсказала Елизавета Андреевна.

— А разве это не проявленье все той же природы? Все один и тот же общий, гармоничный аккорд одного и того же оркестра, где природа, музыка, красота — под общей дирижерской палочкой.

— А кто дирижер?

— Кто? Молодость.

— А когда молодость пройдет?

— Впрочем, нет, не молодость. Чувство красоты, любви к музыке, к природе остаются вечно в человеке. Напротив, молодость мешает созерцательному настроению. Она отвлекает, она, как буря на море, постоянно волнует поверхность, закрывает даль тучами и не дает возможности отдаваться полностью наслажденью сознания, что живешь и чувствуешь. Я буду очень счастлив, когда эта молодость со всей ее ненасытимостью оставит меня.

Елизавета Андреевна улыбалась, и теперь Карташев сравнивал ее с той единственной звездочкой, которая появилась на горизонте и робко, нежно и нерешительно искрилась там.

Он вспомнил вдруг Аделаиду Борисовну и горячо сказал:

— И вы знаете, в молодости человек при всем желанье не может быть честным.

— Напротив, я думаю, только в молодости, пока земное не коснулось еще, и может быть и честен и идеален человек. Никто же сразу не берет взяток...

— Я не об этом, это уж полная гадость, о которой и говорить не стоит. Нет, а вот возьмите так: вы кого-нибудь любите — хотите его любить всю жизнь, и вдруг чувствуете, что вам и другой уже начинает нравиться...

— Значит, не очень любите.

— Не знаю, на своем веку я очень любил, а никогда застрахован не был.

— Может быть, еще полюбите и застрахуетесь. Не большой еще ведь век ваш.

— Больше вашего во всяком случае.

— Тот большой век, кому меньше жить осталось,— ответила грустно, загадочно смотря вдаль, Елизавета Андреевна.

— А кто это знает? — спросил Карташев.

— Знаю,— кивнула головой Елизавета Андреевна и, встав, сказала: — Сыро, пойдем домой.

Становилось действительно сыро. Свет оставался только еще там, над рекой, какой-то призрачный, словно из открытого окна другого мира, и вместе с этим светом вставал призрачный туман и поднимался все выше и выше.

Под нависшими деревьями сада было уже совсем темно, и казалось, и сад расплывался и уходил в эту темную туманную даль. Только около самого дома светлые пятна из окон падали на клумбы, и ярче вырисовывались в них розовые кусты центифолий.

На террасе уже стоял накрытый стол, такой же белоснежный и яркий. Карташеву опять хотелось есть.

Елизавета Андреевна прошла к тут же стоявшему роялю и стала наигрывать сначала одной рукой, а затем и двумя.

Вошла старшая сестра и сказала:

— Лиза, надень накидку.

— Мне не холодно.

— Опять будет лихорадка. Играй, я принесу тебе.

Сестра пришла и накинула ей на плечи черную кружевную накидку. Накидка эта очень шла к Елизавете Андреевне, и Карташев смотрел на нее и ломал голову, где в Эрмитаже, между старинными картинами, видел он такой бюст, такую античную головку герцогини или маркизы, а может быть, и королевы.

— Что вы, как жук, приколотый булавкой, сидите? — спросила его старшая сестра.

Младшая тоже посмотрела на Карташева и, бросив играть, рассмеялась нежным серебристым смехом.

Карташев тоже рассмеялся.

— Знаете, ваша сестра какая-то маленькая волшебница...

— Ну, вы, однако, поосторожнее, потому что, если это услышит ее жених...

Карташев почувствовал что-то неприятное, как резнувшая вдруг ухо фальшивая нота, но быстро ответил:

— Жених только счастлив может быть, что у него такая невеста, и не во власти всех женихов в мире отнять у вашей сестры ее свойство...

— Не слушай его, Лиза, потому что мне Ваня говорил, что он и сам уже заинтересован одной барышней.

— Если это так, то тем сильнее я только чувствую все прекрасное.

Старшая сестра только головой покачала.

— Ну, ну, хорошо язык ваш подвешен, и беда тем, кто на тот колокольный звон ваш попадется.

Пришли Петров, оба брата Сикорских и сели ужинать.

— Ну, надо водки выпить,— сказал Петров и налил себе объемистую рюмку.— Вам наливать? — обратился он к Карташеву.

— Я не знаю,— ответил Карташев.

— Попробуйте,— сказал Петров и налил Карташеву такую же рюмку.

Но в то же время Марья Андреевна протянула руку, взяла рюмку Карташева и, подойдя к краю террасы, выплеснула ее.

— Нечего развращать людей,— сказала она.

— Ого, значит и вас уже посадили на цепочку, но все-таки зачем же добро выливать? не он — другой кто-нибудь выпил.

Подали ароматные на поджаренном луке бризольки, свежепросоленные огурцы; Карташев съел и два раза накладывал себе еще.

— Валяйте, валяйте,— говорил ему Петров,— этим лучше, чем чем-нибудь другим, вы заслужите ее ми-

лость. Смотрите, смотрите, какими любовными глазами она смотрит на вас.

— Я очень люблю, чтобы у меня ели хорошо,— ответила ласково Марья Андреевна и еще ласковее спросила Карташева: — Не хотите ли еще?

— Кажется, довольно,— неудачно проглатывая последний кусок с третьей тарелки, ответил Карташев, смотря на Марью Андреевну.

— Маленький,— кивнула она ему головой, слегка подняв при этом по привычке правое плечо.

И так как Карташев нерешительно молчал, то она сама положила ему еще один увесистый кусок и щедро полила его прозрачным сверху, с темным осадком внизу, соусом.

Карташев съел и этот кусок и оставшийся соус, обмакивая в него, как бывало в детстве, хлеб.

— Ну, кажется, я сыт теперь,— сказал он.

— Подождите: еще вареники со сметаной и маслом, а потом молодая пшенка,— говорила Марья Андреевна.

— Ой-ой-ой!

— Ну, а потом уж пустяки самые останутся: молочная каша, пироги с вишнями в сметане, мороженое, черешни, кофе, чай...

Каждое блюдо Карташев должен был есть, и на вопрос: «Разве вы его не любите?» — отвечал:

— Самое мое любимое,— и когда все смеялись, он говорил: — Ей-богу, любимое!

— Не удивительно, потому что вы сами же южанин,— поддерживала его Марья Андреевна.

— И южанин, и так вкусно все, что я в конце концов лопну.

— Ну,— сказал ему Петр Матвеевич,— теперь она и спать вас оставит у себя.

— В доме негде, а вот, если не боитесь в беседке над обрывом,— предложила Марья Андреевна.

— Я с наслаждением,— ответил Карташев.

— Он на все согласен,— рассмеялась, махнув рукой, Марья Андреевна.

Общее настроение за столом портил только старший Сикорский. Он сидел мрачный и молчаливый.

Старшая сестра нехотя спросила его:

— Ты это что сегодня, Леня?

— Так, ничего,— угрюмо ответил старший Сикорский.

Марья Андреевна помолчала и спросила мужа:

— Что с ним?

Муж кивнул на младшего Сикорского и сказал:

— Спрашивай его.

Младший стал серьезным, сделал презрительную гримасу и сказал:

— Обиделся, что главным инженером его не назначили.

— Да, главным! — горячо и обиженно заговорил старший Сикорский.— Бьешься, как рыба об лед, стараешься, других, в десять раз меньше работавших, помощниками поназначали, а меня каким-то паршивым техником на затычку, да еще в контору.

— Я, что ли, назначаю?

— Мог бы отлично взять меня к себе в помощники, чем чужих брать.

Младший Сикорский только презрительно фыркнул.

Старший повернулся к Карташеву:

— Я ничего против вас не имею и признаю даже ваши заслуги, но согласитесь, что же это за брат...

— Совестно даже слушать,— ледяным голосом бросил младший брат.

— Тебе все совестно, когда надо чем-нибудь помочь брату.

Карташева, который знал, как неспособный старший со всеми своими извращенными наклонностями ехал на младшем,— коробило. Он ценил младшего, который ни одним словом не подчеркнул несправедливости и нахальности своего брата. Впрочем, старший Сикорский, излив свой гнев, сказал строго сестре: «Дай мне еще пирога», успокоился и за чаем уже рассказывал так смешно про свои похождения в главной конторе по части добывания себе лучшего места, что все, и он сам, хохотали до слез.

После ужина он предложил младшей сестре выучиться новому танцу — вальсу в два па,— сыграл этот

вальс на пианино, заставил старшую сестру подобрать его, начал танцевать с сестрой. Выучив сестру, он начал учить Карташева, а потом заставил танцевать этот вальс Карташева и сестру.

Карташев танцевал с удовольствием, обнимая стройный стан Елизаветы Андреевны, держа в своей руке ее маленькую ручку.

И даже, когда кончили танцевать, несколько мгновений она не отнимала, а он все продолжал держать ее руку, стоя у барьера террасы. Луна взошла, и неясные тени движущимися образами серебрили уходивший к оврагу сад.

— Правда, что-то волшебное в этом? — спросил ее Карташев.

В ответ она отняла свою руку, а он сказал:

— Вот теперь волшебство пропало...

И оба рассмеялись.

— Ничего и удивительного нет,— начал было разъяснять Карташев,— раз волшебница...

— Знаю, знаю,— ответила Елизавета Андреевна,— спокойной ночи.

— Вам уж там в беседке готово,— сказала, прощаясь, Марья Андреевна.

— Смотрите, русалки заберутся к вам с Днестра,— сказал, крепко сжимая руку, Петр Матвеевич.

На скамейке беседки лежал тюфяк, покрытый двумя белыми простынями, и две подушки.

Когда Карташев разделся, лег и потушил свечу, в дверях беседки показалась чья-то фигура.

— Кто тут? — окликнул Карташев.

— Это я, Леонид.

Старший Сикорский присел возле Карташева на скамью и начал молча вздыхать.

Карташев помолчал и спросил:

— В чем дело?

— В том дело, что сегодня я пулю себе в лоб пущу. Вы понимаете, какое положение: до сих пор я вел расходы по конторе. Теперь назначен Рыбалов. Черт его знает, как я просчитал около пятисот рублей. Прямо физической возможности нет все записать. Я рассчитывал, что меня назначат помощником, дадут двести

рублей, а дали всего сто двадцать пять рублей, и теперь у меня двухсот рублей не хватает.

— Так возьмите у меня.

— Неужели вы можете? Мне так совестно, я уже должен вам триста... Я отлично помню, как видите, свои долги.

Карташев полез под изголовье, зажег свечку и отсчитал двести рублей.

— Пожалуйста, только брату не говорите.

— Там кто еще?

— Никитка.

Проснувшись утром, Карташев полез в портфель, чтобы дать на чай горничной, но в портфеле ни мелких, ни крупных денег не было.

С выпученными глазами Карташев некоторое время смотрел перед собой.

Он вспомнил, как вчера сверкнули глаза Сикорского, когда он прятал под подушку портфель, и подумал: неужели? И на мгновенье тенью старшего брата покрылась и вся его семья, и гадливое чувство охватило Карташева. Но он сейчас же и прогнал эту мысль, вспомнив, как Марья Андреевна уговаривала его отдать ей на сохранение все деньги.

— Хорошо, что хоть тысячу отдал.

Потом он вспомнил, что и Никитка вчера тут же был, и решил, что украл деньги Никитка.

В конце концов он подумал, вздохнув:

«Э, черт с ними! Пропали, так пропали... Могли бы еще убить. И как-никак я все-таки перебил дорогу этому старшему Сикорскому, и без меня он, очень может быть, был бы тоже помощником начальника дистанции».

И к Карташеву опять возвратилось то приятное и веселое настроение, в котором он уже месяц жил. Какая-то безоблачная радостная жизнь, и за все время не было ни разу этого обычного, владевшего им всегда, чувства какого-то страха, что вот-вот вдруг случится что-то страшное, неотразимое и непоправимое.

Было просто весело, легко и радостно на душе, как радостно это утро, река в лучах солнца, куковавшая где-то кукушка, этот сад, манивший своей прохладой, ароматом роз и спелой малиной.

Хорошо бы перелететь теперь туда на Днестр, выкупаться и возвратиться назад.

Он еще раз заглянул в маленькое зеркальце, стоявшее на столе беседки, подумал, что надо прежде всего сегодня остричься, и пошел вверх по дорожке к террасе.

Около розовых клумб он еще издали увидел легкое розовое платье и угадал Елизавету Андреевну.

Она повернулась, и лицо ее сверкнуло ему такой яркой и доброжелательной лаской, что пошлый комплимент, вертевшийся уже в голове Карташева относительно роз и ее розового платья,— так и не сошел с его языка.

— Хорошо спали?

— Отлично,— ответил он, горячо пожимая ей руку.

Она кивнула ему головой и своим нежным голоском сказала:

— Идите пить кофе, я только цветов нарву.

За столом была только Марья Андреевна. После обычных вопросов, как спал, хорошо ли себя чувствует, Карташев принялся за кофе, густые с пенкой сливки и свежие бублики с маслом.

— Знаете, Марья Андреевна,— говорил он,— в вашей Лизочке...

— Смотрите, пожалуйста!

— Не считайте меня нахалом. Я говорю в смысле глубочайшего уважения и благоговения к ней. Как к богу, когда говорят ему ты. В ней такая непередаваемая прелесть. Это птичка, это самый нежный цветочек, это волшебница, фея. Я помню в детстве, наслушавшись сказок, так благоговел перед феей, доброй волшебницей, и радостный ждал, что вот-вот она появится. И если б тогда вошла ваша Лизочка, я бы, вероятно, сразу заболел нервной горячкой. Отчего она такая неземная у вас?

Марья Андреевна опустила глаза и тихо ответила:

— У нее чахотка. Она проживет очень недолго.

Карташев долго молчал, пораженный.

— Господи! Как это ужасно! Все светлое, все радостное является только для того, чтобы еще мучительнее подчеркивать что-то такое страшное и неотразимое, что сразу руки опускаются и спрашиваешь себя: зачем все

это, к чему жить? В этом, конечно, и утешение, что и сам не долго переживешь тех, кто прекрасен, кто дорог, близок, но зато так скучно делается от этого сознания, что готов хоть сейчас в могилу.

— Ну, эти погребальные разговоры теперь бросьте, потому что идет Лизочка.

Елизавета Андреевна взошла по ступенькам, держа в руках нарезанные цветы. Она подошла к Карташеву и, откинув голову, показала ему розы, гвоздики, левкои.

Карташев восторженно смотрел на Елизавету Андреевну, тоже со стыдливым выражением смотревшую на него.

— Ах, если бы я был художником, я бы так и написал вас с цветами. Я написал бы вас в ста видах и составил бы себе этим одним и громадное имя и состояние.

— А все-таки и состояние? — не пропустила Марья Андреевна.

— Да, конечно, и состояние. Я не денег хочу, но я хочу могущества, хочу сознавать, что я все могу, а без денег этого не будет.

— Э, стыдно, бросьте. Когда человек только начинает думать о деньгах, он уже пропал.

— С этим я согласен, и никогда я об них и не думаю, но как-то так уверен, что в один прекрасный день у меня вдруг появятся миллионы, и столько миллионов, сколько я захочу.

— Для чего?

— Не знаю. Во всяком случае не для себя. Этот месяц я жил жизнью дикаря и счастливее никогда себя не чувствовал.

— И покамест так будете жить и будете счастливы.

Карташев кончил, и Марья Андреевна сказала ему:

— Брат вас просил приехать в управление. Вы знаете, где оно?

— Нет.

— Всякий извозчик знает. Я пошлю сейчас за извозчиком.

Марья Андреевна ушла, а Елизавета Андреевна принялась внимательно составлять букет.

— Вы венок себе сплетите,— предложил Карташев.

— Когда я умру, вы мне сплетите!

— Когда вы умрете, тогда все мы сразу, весь свет умрет, и некому будет плести венки.

Она тихо засмеялась и еще внимательнее принялась за букет.

— Когда у вас денег будет много,— голос ее глухо звучал из-за цветов,— тогда устройте дворец. И в этом дворце пусть рассказывают блестящие сказки, не похожие на жизнь. Или только сказки жизни, той, которая будет когда-нибудь не там, на небе, а здесь, на земле. Для этих сказок есть уже храмы...

Она остановилась и смотрела, спрашивая, немного испуганно, своими прекрасными глазами Карташева.

— Всякого другого, кто бы это сказал, я бы иначе слушал. Но чувствую, что вы сказали мне самую свою сокровенную мечту. И, конечно,— вы можете верить или не верить мне,— но если у меня когда-нибудь будут, действительно, миллионы, я выстрою такой дворец. А над входом этого дворца будет жемчугом выбито: «Богине любви», и под этой надписью будете вы с цветами в платье. У меня сестра была, Наташа...

— Я ее знала...

— Она на вас похожа, но... без ваших горизонтов. Она запуталась в религии, как и Зина. Мать их запутала. Но она из такого же теста. Я и ее портрет помещу у входа в замок. Только будут женские портреты, и именно таких женщин.

— Поместите и Корде... которая убила Марата...

И в лице ее вдруг появилось странное сочетание нежной прелести глаз с чем-то хищным, сверкнувшим в улыбке белоснежных мелких и острых зубов.

— Ну, извозчик готов,— сказала, входя, Марья Андреевна.

Управление занимало большой двухэтажный, плохо устроенный, плохо ремонтированный, какой-то полицейский дом. Штукатурка на стенах обвалилась, на потолках растрескалась и грозила упасть на головы, полы рассохлись, и половицы так и ходили под ногами.

В громадной зале, где прежде, вероятно, веселились и танцевали, теперь стояли ряды столов с чертежами и торчавшими над ними головами чертежников.

Как в муравейнике, кипела работа в обоих этажах.

Толстый главный инженер, тот, который принял Карташева на службу, не видимый ни для кого, заседал в одной из нижних комнат.

Пахомов был его помощник и начальник технического отделения.

Помощником его был инженер Борисов, полный, большой, с большими, умными и добродушными и лукавыми глазами. Он был красив, с густыми русыми волосами, лет тридцати.

Младший Сикорский, представляя ему Карташева, захотел было сказать несколько лестных слов о своем помощнике. Борисов, со своей пренебрежительной манерой, немного заикаясь при начале каждой фразы, махнул рукой и сказал:

— Знаем, все знаем уже, и просим вас больше не беспокоиться по этому предмету.

— Кстати,— обратился он к Карташеву,— тут на вас ссылается машинист Григорьев, говорит, что вы ездили у него кочегаром. Дельный он господин?

— О, очень дельный.

И Карташев одушевленно стал характеризовать Григорьева.

— По тракции у нас пока никого еще нет...

Борисов позвонил и сказал вошедшему курьеру:

— Позовите машиниста Григорьева.

— Григорьев! — крикнул в коридор курьер и пропустил его в комнату.

Вошел приземистый, с большим красным носом, с загорелым лицом, пожилой человек в пиджаке. Входя, он усердно вытирал цветным темным платком лившийся по его лицу пот. Ему было, очевидно, невыносимо жарко в его пиджаке из толстого кастора, таких же штанах и жилетке.

Увидев Карташева, он и радостно и нерешительно кивнул ему головой.

— Здравствуйте,— весело поздоровался с ним Карташев, горячо пожимая его руку.— Как поживаете?

— Да вот, нос все лупится,— угрюмо ответил Григорьев.

— Ну вот,— обратился к машинисту Борисов,— инженер...

Он показал на Карташева.

— Ого...— довольно перебил его Григорьев.

— ...дал о вас блестящую аттестацию...

— Я же говорил вам,— перебил его опять Григорьев.

— ...и мы принимаем вас на службу.

— Ну, вот и слава богу. А то так,— обратился он к Карташеву,— нашего брата гоняли: ты, говорят, только испытанный кочегар, в школе не был: не ученый.

— Жалованье сто рублей, а поверстных и премии то же, что и на Одесской дороге.

Григорьев, все вытирая пот, кивнул головой.

— Завтра приходите сюда получить подъемные и инструкцию.

Григорьев опять кивнул головой, тяжело подошел к Карташеву,— протянул ему руку и, подмигнув добродушно, сказал:

— Инженер?

— Как ваша дочка поживает?

— Тут, тоже с нами: куда ж ее денешь? И Лермонтов с нами. Помните, тот, что вы мне подарили. И старый есть. Что не хватало — я списал с нового и вставил. Старый читаю по будням, а новый по воскресеньям. Дочка так и знает уж, так и готовит мне. Заходите, если не побрезгаете.

— А где вы живете?

— Да покамест тут в одном заезжем дворе устроились. Нет, уж лучше я сперва квартиру найду: увидимся еще, а покамест прощайте.

— Дочке вашей Анне Васильевне кланяйтесь.

— Ишь, помните все-таки...— кивнул головой Григорьев, скрываясь в дверях.

Прощаясь с Карташевым, Борисов ласково и серьезно сказал ему:

— Часа в четыре сегодня не придете чайку напиться?

— С удовольствием,— ответил Карташев и записал его адрес.

— Ба, ба, ба! — встретил Карташева угрюмо-приветливо Пахомов, со своим обычным широким размахом руки.— Кого я вижу. Кончили?

— Кончил, Семен Васильевич.

— Наврал? — показал Пахомов на младшего Сикорского.

— Нет.

— Ну, и отлично. Вы знаете уже, конечно, что вы у него помощником.

— Знаю, от души благодарю и употреблю все усилия...

— Не сомневаюсь.

— Я сейчас с ним поговорю о вашей поездке в Одессу,— шепнул Сикорский Карташеву,— а вы пока идите в кассу и получайте свои деньги.

Карташев получил всего тысячу триста рублей, и, в ожидании Сикорского, подсчитывал свои капиталы. Итого у него теперь — две тысячи триста рублей, то есть на триста рублей больше того, что он привез с собой месяц назад. А могло бы быть три тысячи триста рублей. Из этой тысячи двести рублей ушло на рабочих, триста с мелочью украдено из портфеля сегодня ночью, около пятисот взял Сикорский. Ну, двести на рабочих не жаль, а восемьсот могло бы быть в кармане. Сколько подарков он мог бы накупить на эти деньги матери, сестре, брату!

Он стал думать о том, что подарить, когда пришел Сикорский.

— Вас зовет главный инженер. Вас отпускают и дают вам письмо к инженеру Савинскому, главному поверенному Полякова, который теперь в Одессе.

— Ну, здравствуйте,— встретил его главный инженер в своем кабинете, сидя в широком кресле за большим столом.

Главный инженер был все такой же толстый. Очевидно, изнывая от жары, он сидел в одной рубахе из чесунчи, уже довольно грязной, или казавшейся такой, потому что рубаха была покрыта обильными пятнами пота.

— Присаживайтесь!

Карташев пожал через стол широкую пухлую руку Данилова и смотрел в прищурившееся, ласковое лицо инженера.

— Ну, что же, наладились? Не так черт страшен, как его малюют? И все дело наше легче ремесла сапож-

ника, была бы только охота. Вот это письмо передайте, пожалуйста, Николаю Тимофеевичу. Он живет в Лондонской гостинице, знаете, на бульваре? Кланяйтесь ему, расскажите, что знаете, и ответ привезите.

Когда Карташев уже откланялся, Данилов сказал ему:

— Кстати, ведь ваши вещи у меня. Вы где здесь остановились?

— Пока еще нигде.

— Останавливайтесь у меня. Вещи ваши так и лежат в отдельной комнате, там и живите.

Карташев начал было говорить, что стеснит его, но Данилов перебил:

— Если бы стеснили, то и не звал бы вас. Я один в пяти комнатах. И обедайте у меня.

Карташев поблагодарил и вышел.

Вместе с Сикорским они возвратились на дачу обедать. Когда Карташев рассказал за столом о своем свидании с главным инженером, Петр Матвеевич воскликнул:

— О-го! В гору идет человек; надо выпить...

— Это очень важно, что вы теперь познакомитесь с Савинским; это гога и магога всего поляковского дела. Я четвертый год у Полякова работаю, а Савинского и в глаза не видал.

— Он наш инженер?

— Ваш, но умный. Умнее всех остальных ваших инженеров, за исключением Данилова, всех вместе взятых. Если понравитесь ему...

Сикорский покачал головой.

— Понравится,— махнула рукой Марья Андреевна и рассмеялась.

— Ну, нет, это не дамы,— сказал старший Сикорский.

Старший Сикорский как будто чувствовал себя не совсем в обычной тарелке.

— Не дамы?— огрызнулся Петр Матвеевич.— А Данилов, у которого он жить теперь будет? А Пахомов? А Борисов, который на чай уже позвал его? Борисов порядочная колючка... Пахомовым вертит.— Петр Матвеевич махнул рукой и весело сказал: — Понравится и

Савинскому, уж видно, что пролаза. Ну, за нашего пролаза...

Обед прошел весело. Карташев разошелся и рассказывал про себя всякие свои похождения.

Иногда, чувствуя, что надо усилить эффект, он прибавлял что-нибудь, особенно в комическую сторону.

Благодарная аудитория не оставалась в долгу, все весело смеялись, а веселее всех, до слез, по-детски, смеялась Елизавета Андреевна.

В три часа Карташев начал прощаться.

— Куда же вы так рано? — спросила Марья Андреевна.

— Я хочу сперва заехать на квартиру Данилова, немного одеться, уложить и приготовить вещи, а оттуда поеду к Борисову.

— А оттуда к нам?

— Конечно!

— Вы успеете еще поужинать с нами. Поезд идет только в двенадцать часов ночи.

Пять комнат Данилова — тоже в каком-то необитаемом доме — были почти пусты.

В комнате Карташева стояла кровать, неокрашенный деревянный столик, такая же табуретка с простым умывальником, и на полу лежал его чемодан, покрытый толстым слоем пыли.

Карташев раскрыл чемодан, стал искать свой черный сюртук и не нашел его там.

Данилов, уже выспавшийся, в одной рубахе без подштанников, босой, заглянул к Карташеву в комнату.

— Вы что ищете?

— Да вот не знаю, куда девал свой сюртук...

— Семен! — крикнул Данилов.

В коридоре показался заспанный угрюмый человек.

— Сюртук инженера не видал?

Семен, отгоняя мух, сонно махнул головой с шапкой густых волос, подумал немного и безучастно ответил:

— Не видал.

Данилов ушел к себе, а Карташев, убедившись, что сюртука нет, начал запирать чемодан.

— Это не ваш сюртук? — спросил Карташева Дани-

лов, появившись в дверях и держа что-то очень грязное и замазанное в руках.

Карташев сперва отказался было, но, всмотревшись внимательно, сказал:

— Нет, мой!

— Под кроватью у меня был,— сказал, уходя, Данилов.

В дверях появился Семен и все тем же безучастным голосом сказал:

— Давайте почищу.

— Так вот что, пожалуйста, Семен. Вы его почистите и уложите в чемодан и заприте его. Я сегодня еду в Одессу и перед поездом в половине двенадцатого зайду. Постойте еще...— Карташев слазил в карман, достал трехрублевую и передал ее Семену.

Затем, взяв шляпу, стараясь быть незамеченным, юркнул в коридор, а оттуда на улицу, где ждал его извозчик. С извозчиком он уже подружился, и теперь извозчик, молодой веселый парень из великоруссов, фамильярно спросил его, взбираясь на высокие козлы своего фаэтончика:

— Ну что, потрафил в акурат?

— В акурат.

— Скоро вы!

Железный, точно весь из бубенчиков, экипаж загрохотал по мостовой, и, разговаривая, и извозчик и Карташев должны были кричать чуть не во все горло.

У Борисова обстановка была иная.

Белый одноэтажный домик опрятно выглядывал из маленького скромного садика. Только по ограде росли в нем деревья, а остальное пространство было занято огородными грядками клубники.

И внутри домика в маленьких комнатах было сравнительно чисто.

Сам хозяин сидел с книгой за столом на большой террасе, выходившей в сад. На столе уже кипел самовар. Хозяин был тоже только в рубахе. При входе Карташева он положил на стол книгу и, здороваясь, спросил:

— Прикажете одеться?

На просьбу оставаться так он сказал:

— Ну, тогда и вы снимайте ваш пиджак. Постойте, постойте...

Борисов внимательно всмотрелся в пятно пиджака и сказал добродушно, заикаясь:

— А ведь я сейчас городового позову: пиджак-то этот Петрова.

Карташев рассмеялся и подтвердил, что пиджак действительно Петрова.

— Ну, повинную голову и меч не сечет. Снимайте и садитесь. Чаю хотите?

И, наливая Карташеву чаю, он говорил:

— Вот, как видите, так и живем. Захочется огурца, клубники, пойдешь в сад...

Перед Борисовым лежала открытая книга. Карташев заглянул в нее и увидел, что это не беллетристика, да к тому же и написано было по-немецки. Подняв взгляд на Карташева, хозяин сказал шутливо:

— У меня, надо вам знать, пунктик своего рода — философия. Теперь вот одолеваю Гегеля.

Хозяин махнул рукой.

— И сам по себе он невыносимый господин со своей тарабарщиной, а в такую жару просто нестерпимо. Спасибо, что пришли и выручили.

Карташев вспомнил лекцию Редкина и сказал:

— Да, повозился и я с ними. Тез, антитез, синтез, бытье, становление, небытье, диалектический метод...

— Э! Да вы откуда знаете всю эту премудрость?

— В свое время зубрил их всех от Фалеса до Тренделенбурга.

— Батюшки, караул, такого и не слыхал.

Он усмехнулся и заговорил:

— Это чтение своего рода отвлечение. Самое интересное было бы проникнуть в сущность современной жизни, но...— он широко развел руками.— О чем позволяет говорить цензура, то никому, конечно, не интересно. Экивоки и эзоповский язык литературы дает мало, совсем не дает понятия, что творится там, в тайниках нашей жизни. Тайники эти такой заколдованный круг, что мне при всем желании так никогда и не удалось соприкоснуться с ними. За границей ни разу не был... А мозги требуют пищи. Мозги ли одни? Вот так,

волей-неволей, и отвлекаешь себя такой отвлеченностью. Как почитаешь часа два, ну и не захочется на тот день ломать себе больше голову, как быть, как жить, чтобы уважать и себя и людей. А вы соприкасались с нашим революционным миром?

— Почти нет.

Борисов усмехнулся.

— Положим, не так-то просто и открыться первому встречному...

Пришли еще два инженера. Оба молодые. Один худой, в темных очках, маленький и угрюмый, Адам Людвигович Лепуховский. Другой, полный и жизнерадостный, Владимир Николаевич Панов.

— Это вот две мои свинки,— говорил хозяин,— одна грустная, другая веселая. Называется этот веселый господин Володенькой, знаете, про которого в песне поется:

> Инженер молоденький, а зовут Володенькой.
> Он не курит и не пьет...

Жизнерадостный инженер хлопнул хозяина по спине и сказал:

— Ну, будет тебе...

— Вы знаете, мы все — и еще есть два — называемся бандуристами. Вы знаете, что такое бандуристы? Непокойный народ, которому нигде не сиделось, точно шило у них было, скандальники первоклассные, которых в конце концов всегда выставляли из компаний. Несмотря на нашу молодость, и нас уже с нескольких дорог выставили. Выставят и отсюда. И мы уже начали выводить свою линию, решив на первый случай осадить всю правительственную инспекцию. Мало того, что они, помимо своего казенного жалованья, получают и от нас, они вздумали изображать из себя настоящее начальство. Вот мы и решили их осаживать. Во-первых, ни одного проекта им на утверждение не посылаем; во-вторых, наотрез отказались носить форму — и вы тоже, очевидно, не ее поклонник; в-третьих, демонстративно им визитов не делаем... Вы уже были у них? — спросил он у Карташева.

— Во-первых, я еще первый раз о них слышу, а

во-вторых, раз решили вы, чтобы не делать визитов — и я, конечно, не буду делать.

— Как будто тоже наш, бандурист! — обратился Борисов к товарищам.

Лепуховский, в своих темных очках похожий на скелет, бледно улыбался, оскалив большие зубы, а потом сказал:

— А коли наш, так пива давай!

Принесли пива, и Панов выпил первый стакан залпом.

Остальные отказались от пива.

— Вы и Сикорского предупредите, чтобы не смел с визитами ездить. Он что за человек в этом отношении?

— Он человек осведомленный,— авторитетно ответил Карташев,— и, конечно, относится отрицательно ко всей нашей русской жизни.

— Что до Петрова,— продолжал хозяин,— то уж бог с ним; он и семейный человек, и позиция его здесь на первой дистанции, где всякий может совать свой нос, опасная...

— Я к вам с большой просьбой, Борис Платонович,— сказал Карташев.— Еду я в Одессу и должен передать письмо Савинскому. И Данилов просил, чтобы я ему рассказал, что у нас делается. Но я, собственно, ничего не знаю, что у нас делается.

— Извольте, это мы вам расскажем.

Борисов обстоятельно сообщил Карташеву о положении дел.

— Ну, не забывайте,— сказал, прощаясь с Карташевым, Борисов; — из Одессы привезите гостинцев.

— А вы что любите?

— Семитаки и альвачик.

— Привезу.

— Да не сто́ит, я шучу.

От Борисова Карташев заехал остричься, потом купил себе новую шляпу и поехал к Петровым. Он ехал и думал, что как странно, что все принимают его за красного. И это не только не вредит, а, напротив, вызывает к нему интерес и даже уважение. Борисов даже думает, что он ближе к революционным кружкам, чем

хочет показаться. А, собственно, и то, что он, Карташев, сказал там, ложь; ведь решительно же никакого отношения к революционным кружкам не имел и тем паче не имеет.

Карташеву стало неприятно, и он подумал:

«Ну, все-таки с Ивановым встречался... А Маня! — радостно вспомнил он о своей сестре.— Маня говорила, что она и до сих пор поддерживала прежние отношения. Ах, как жаль, что я про нее не вспомнил у Борисова. Ну, ничего, когда приеду — брошу вскользь, это еще сильнее будет, и надо будет с Маней поближе сойтись...»

На террасе Карташев застал младшего Сикорского и двух сестер.

— Ну, рассказывайте,— сказала ему Марья Андреевна.— Малины со сливками хотите?

Карташев стал есть малину и рассказывать.

Рассмешил своим визитом к Данилову и передал свое чаепитие у Борисова.

— Они меня спрашивали, кто вы и что вы,— обратился он к Сикорскому,— и высказали предположение, что раз вы были за границей, то глаза у вас должны быть открытые. Я сказал, что, по-моему, это так и что вы относитесь ко всей нашей жизни отрицательно.

Сикорский безнадежно махнул рукой.

— Видите, я одинаково отрицательно отношусь и к вашему правительству и к вам, красным, и ко всему русскому народу, потому что вековое рабство так сгноило его, что я уже не верю, чтоб этот народ мог когда-нибудь встать на ноги.

— Этот народ? — переспросил Карташев.— Ваш народ?..

— Нет. Мой народ, моя родина там, где мне хорошо. Для меня нет ни француза, ни немца, ни англичанина, ни тем менее русского, румына, турка, китайца.

— Почему же вы живете в России?

— Потому что здесь легче всего заработать столько денег, чтобы потом жить, где хочешь и как хочешь.

— И всегда опять воротишься сюда же,— сказала Марья Андреевна.— Родные, знакомые, привычки, вкусы.

— Ерунда! — презрительно махнул рукой Сикорский.

— Вы знаете,— сказал Карташев,— они, между прочим, просят всех не делать визитов инспекции.

— Ну, конечно, не буду. Эту сволочь за людей нельзя признавать. Я понимаю еще какого-нибудь станового, попа, берущего взятки. Но свой брат инженер, цинично, открыто берущий и требующий еще уваженья к себе... Тьфу! Наглость, выше которой ничего не может быть! Как-то на днях сюда к нам забрался этот пьяница старший инспектор — я удрал.

— А Пете что оставалось делать? — подняла плечо Марья Андреевна.— Когда он чуть не силой влетел к нам?

— И о Петре Матвеевиче говорили, и все признали его безвыходное положение как начальника первой дистанции.

— Вы понимаете, всё под носом здесь; выехал на пикник, а рапортует, что на линии был, за работами следил. Петя говорит, что на мосту от них отбоя нет. Извозчик к мосту всего двугривенный стоит, а он разъездов, которые наша же контора оплачивает, выведет себе на сто рублей.— Ну! прямо совестно смотреть на это бесстыжее отродье. Пьян, ничего не знает, ничего не понимает, несет такую чушь, что уши вянут.

— А попробуй с ним не поладить!

— Самое лучшее, конечно, избегать их, как чумы.

— Деньги получили? — спросила Марья Андреевна.

— Получил.

— Ну, давайте их сюда.

— Нет, Марья Андреевна, эти деньги я решил истратить.

— Куда?

— На подарки матери, сестре, брату.

— Слушайте, так хоть сделайте толковые подарки. Знаете, что б я вам посоветовала: деньгами им дайте, а то ведь накупите всякой ненужной дряни, как вот он,— она показала на брата,— а того, что нужно, и не купите.

— Ну, матери, например, как же деньгами?

XIII

Карташев приехал в Одессу утром. Его никто не ждал и тем более обрадовались.

Нашли его помолодевшим, поздоровевшим и таким жизнерадостным, каким уже давно не видали.

Пошли за дядей Митей, который в это время был в городе, и, слушая Карташева, и мать и дядя постоянно крестились.

— Ну, слава тебе, господи, слава тебе!

Когда мать услыхала, что он уже помощником начальника дистанции, получает уже по двести рублей в месяц, она встала, прошла в спальню и долго там молилась, стоя на коленях перед образом.

Возвратившись, она горячо поцеловала сына в лоб и сказала:

— От всей души тебя поздравляю и не сомневаюсь, что мой сын будет и умный, и дельный, и будет украшением своей корпорации. Теперь сделай своей матери подарок: подари мне двести рублей.

— Я хотел вам больше подарить! — рассмеялся Карташев.

— Больше не надо. Дай свой портфель — я сама возьму.

Она взяла из портфеля, возвратила портфель сыну, а двести рублей держала в руках.

— Когда ты был безнадежно болен, я пообещала из первого твоего жалованья послать эти двести рублей на Афон, и сегодня они будут посланы.

Маня дергала носом и, протянув руку к матери, лукаво сказала:

— Лучше дайте мне...

— Нет, нет,— решительно сказала мать.

— Конечно, не отдавайте, сестра,— поддержал ее и дядя,— и я и от себя еще дам.

Он тоже вынул двести рублей.

— Тогда я закажу также на Афон, на эти двести рублей, образ с тремя святителями: Пантелеем, Дмитрием и Артемием, и этот образ,— обратилась она к брату,— мы подарим не ему, а жене его. Согласен?

— Так ведь он кухарку же собирался взять себе в

жены! — рассмеялся дядя и, обняв племянника и целуя его, сказал: — Сердце мое, как люблю я тебя.

А мать сказала:

— Это уж его право выбирать себе жену; кого возьмет, та и будет моей дочерью.

— Да, жалко, жалко, что Деля теперь не видит тебя,— сказала Маня,— она, кстати, тебе кланяется.

— Спасибо,— сказал Карташев и посмотрел на часы.— Мне надо ехать в город.

Он рассказал, что привез письмо главному уполномоченному Полякова, инженеру Савинскому, и что хочет его сейчас же отвезти, заехав предварительно в магазин купить себе летний костюм.

Дядя Митя сделал большие глаза, почтительно наклонил голову и сказал:

— Помяните мое слово: блестящую карьеру сделает.

Дядя Митя пользовался в родне репутацией очень умного человека и сердцеведа.

Матери были очень приятны слова брата.

Карташеву тоже была приятна эта похвала. Он усмехнулся и сказал:

— Говорят, что я тоже похож на Бертензона.

Доктор Бертензон, еврей, был старинный домашний доктор Карташевых, и в памяти его остались как-то шутливо сказанные слова отца, что мать его увлекалась Бертензоном.

— Глупости говоришь,— сказала мать, и Карташеву показалось, что она смутилась.

А дядя весело прибавил:

— Если твоя мама, смотря в свое время на него, высмотрела и его пронырливый ум для тебя, так и слава богу, и благодари ее за то...

— Ну, господа, вы оба глупости заговорили.

— Да так же, сестра, всегда бывает — от большого ума всегда на малый сходят.

— Хочешь, вместе едем, Маня?..— предложил Карташев.

— Едем,— весело согласилась сестра.

— Отлично, поезжай,— сказала мать,— и поторгуйся за него.

— Ну, как живешь? — спросил сестру Карташев, сидя с ней на извозчике.

— Живем,— ответила сестра и насторожилась.

Наступило молчание, и сестра спросила:

— Ты что это вдруг заинтересовался моей жизнью?

— Я, во-первых, всегда интересовался, но раньше я тебе совершенно не сочувствовал, а теперь сочувствую.

— Гром и молния! Что ж это значит?

— Да я сам еще не знаю. Видишь, я все время, с гимназии еще, уперся лбом, что все это только мальчишество, плод, так сказать, незрелой мысли. Ну, а в этот месяц я встретил такую массу людей, которых очень уважаю и которых упрекнуть в незрелости мысли никак нельзя. С рабочими изо дня в день целый месяц прожил их жизнью, их мыслями. Все это как-то отвело меня от стены, и может быть, и я сам отстал и уже сам являю из себя плод незрелой мысли. Я и хотел с тобой поговорить. Если у тебя есть что почитать, я с удовольствием прочту.

— Приятно слышать во всяком случае,— сказала, помолчав, сестра.— Две брошюры есть, я дам их тебе.

— Можешь ты мне в кратких словах передать сущность вашего ученья?

— Могу, конечно... Земля принадлежит крестьянам, народу. Народ, темная масса, этого не сознает и отдает себя в кабалу. Пробудить самосознание в этой темной массе, сделать ее хозяином в государстве, где она составляет девяносто процентов населения — вот основная задача партии. Правительство, конечно, против этого и ведет с нами борьбу. Эта борьба все больше и больше обостряется, и на этой почве страсти с обеих сторон разыгрываются. Все больше и больше приходим мы к заключению, что, при полной нашей бесправности, мы не можем вести мирную оппозицию. Пока что-нибудь успеешь уяснить неграмотному крестьянству, тебя уже схватят и сошлют на каторгу. Ну, тогда уж сам собою ставится вопрос: на каторгу так на каторгу — было бы за что! Репрессия идет очень быстрыми шагами вперед; может быть, и казни начнутся, тогда опять — раз казнь — было бы за что! И каракозовская попытка может повториться в более широких размерах. Я лично не

сочувствую всему этому ужасу, да, собственно, и все наши — тоже, но роковым образом само собою это идет все дальше и дальше, и хотя страшно уродливо, но логически вытекает одно из другого. Некоторые из наших считают уже теперь бесполезной работой хожденье в народ и высказываются только за политическую борьбу, за борьбу с правительством и самодержавием путем, конечно, единственным, который имеется в распоряжении партий,— путем террора, убийства тех, кто особенно стесняет жить, действовать, проводить свои взгляды.

— Такая борьба, ты думаешь, приведет к успеху?

— Что к успеху приведет — в этом нет никакого сомнения. Ты же знаешь мировую историю, и не из другого же теста и мы, русские, сделаны; но когда будет успех, конечно, нельзя сказать. Россия так громадна, так разнообразна и в ядре своем так некультурна, что сказать что-нибудь определенное вряд ли можно. Лично я так смотрю: и я, и ты, и все мы — грибы своего времени. Этим временем и определяется свойство грибов, и в этом отношении и я и ты, мы — стихийные силы, которые должны руководствоваться прежде всего инстинктом. Этот инстинкт толкает и создает в конце концов общечеловеческую историю.

— Ты, значит, считаешь, что партия только в начале своей деятельности?

— Конечно.

— Но, ты говоришь, уже раскол есть?

— Что ж из этого? Раскол — это работа мысли, и его бояться нечего.

— У вас сношения с заграницей есть?

— Есть. Если слишком сильны будут репрессии, то центр тяжести может опять, как при Герцене, перенестись за границу.

— А Герцен уже потерял значение?

— Да, на социальной почве он слаб. Его заело в значительной степени славянофильство, уверенность, что мы, русские, из другого теста созданы. Он носится со своей общиной, как ячейкой будущей социальной формы, забывая, что у нас эта община такой же пережиток, каким в свое время она была и на Западе. Наша община прежде всего фискальная, служащая интересам только

правительства, и в той форме, как она существует, по-моему, источник только всякого мрака. В этом вопросе я, впрочем, расхожусь почти со всеми. По-моему, единственный Глеб Успенский не вводит себя в обман относительно общины. И видишь, раз дело перейдет на политическую борьбу, тогда само собой все эти вопросы отойдут на задний план.

— Ну, а деньги у вас есть для борьбы?

— Насчет денег — трудно!

— Я хотел тебе сделать подарок, но не знаю, деньгами или подарком.

— Деньгами, конечно! — весело рассмеялась Маня.

— Я тебе дам пятьсот рублей.

— Ты с ума сошел! Больше пятидесяти не возьму.

Карташев стал убеждать, и Маня скоро согласилась.

— Давай! — сказала она.— Все равно так же пропадут, отдашь первому встречному или украдут...

Карташев вспомнил Леонида и рассмеялся.

— Ты знаешь, с твоим кружком очень жаждет познакомиться один инженер, Борисов. Очень дельный и умный человек. И чистая душа, это сразу чувствуется. Он и деньгами, наверно, поможет. Я как-нибудь его привезу.

— А он не выдаст нас?

— Ну, что ты, бог с тобой! Он хочет работать, и я уверен, что он мог бы быть большой силой.

— Ну что ж, вези!

— Вот, если бы ты за него замуж вышла — то-то парочка была бы!

— Ну, ну... Если не хочешь, чтоб он сразу мне опротивел, о замужестве не говори.

Подъехали к магазину готового платья с большим зеркальным окном.

Карташев нашел для себя легкий чесунчовый костюм, похожий на костюм Сикорского, и был очень доволен.

— Ты знаешь,— сказала ему Маня, выходя с ним из магазина,— у тебя даже манера говорить и голос переменился — нет, ты мне теперь положительно нравишься!

Карташев чувствовал себя Сикорским, а еще больше Пахомовым, делая такие же резкие, размашистые дви-

жения, то сдвигая, то раздвигая брови, бросая отрывочные фразы.

— Ты только не засиживайся,— сказала ему сестра, когда они подъехали к Лондонской гостинице.

Инженер Савинский сейчас же принял Карташева. Он был одет в оригинальный, скромный, изящный, летний белый костюм, красиво обрисовывавший его нарядную фигуру.

Карташев представлял его себе уже пожилым инженером, что-то вроде Данилова, и увидел очень живого красивого брюнета. Лицо Савинского было небольшое, но глаза большие, веселые и ласковые и в то же время проницательные и умные.

Особенно оригинальны были его седые волосы, которые еще ярче подчеркивали молодость лица.

— Пожалуйста, садитесь,— радушно встретил Карташева Савинский, откладывая в сторону поданное ему письмо.— Вы давно из Бендер?

— Сегодня приехал.

— Это очень любезно с вашей стороны сейчас же и завезти мне письмо. Вы здесь один или у родных?

— У своих.

— Тем больше ценю. Новости, которые вы привезли, очень меня интересуют, но я не хотел бы быть эгоистом. Здесь еще есть один инженер, который тоже принимает участие в нашей дороге. Мы сегодня с ним завтракаем в час. Если и вы были бы так любезны позавтракать с нами здесь в общей зале.

— С большим удовольствием,— сказал Карташев, вставая и откланиваясь.

— Уже! — удивилась Маня.

— Отложил разговор до завтрака, сегодня в час здесь.

— О-го! как сказал бы дядя Митя.

Когда дома Карташев сказал, что будет завтракать с Савинским, Сережа крикнул:

— Пойду непременно на бульвар и загляну в окна ресторана, чтоб хотя издали увидеть твое начальство, як воно выгляда!

Ровно в час Карташев вошел в общую залу ресторана и среди разбросанных за маленькими столиками

групп увидел у окна инженера Савинского и другого, молодого, высокого, с длинной тонкой шеей, с английским прибором. Когда Савинский знакомил их, Карташев сказал:

— Я вас сразу узнал,— вы Лостер? Вы кончили гимназию, когда я поступил в нее.

— Вы эту гимназию и кончили?

— Да, эту.

— Довольно редкий случай. И сколько вас так поступивших в первый класс дошли до конца?

— Я один,— ответил Карташев.— И помню, как крепко меня побил мой товарищ в первом классе, когда я ему сказал: «Вот, когда я буду в седьмом классе...»

Смеясь, все трое сели за столик, на котором в безукоризненной чистоте были поставлены — водка, еще какая-то бутылка, креветки, редиска со льдом и — тоже со льдом — свежая икра.

— Прикажите джину, водки?

Лостер совсем отказался, а Савинский, наливая себе в маленькую рюмочку немного джину, сказал:

— Ну, а я, старый пьяница, выпью, по слабости своей к англичанам, джину.

— Пока нам подадут, может быть расскажете нам, что у вас теперь делается?

Карташев со слов Борисова передал о положении дел, и оба инженера очень внимательно его слушали.

— А вы сами, когда возвратились с линии? — спросил Савинский Карташева.

— Я возвратился третьего дня.

— И уже так хорошо вошли в курс дела?

Карташев покраснел и увидел в это время в окне смешно вытянутое, заглядывающее лицо брата, который, очевидно, не ожидал, что наблюдаемый им оказался так близко сидящим к окну. Увидал Карташев и море, сверкавшее синевой и прохладой, и еще веселее стало ему на душе.

— Нескромный вопрос,— сказал Савинский, смотря на Карташева,— вообще благосклонно дамы к вам относятся?

Карташев смутился и только махнул рукой, а Савинский, смеясь, сказал Лостеру:

— Что, Николай Павлович, совсем ведь еще юноша?

Он ласково смотрел в глаза Карташева и, пододвигая к нему чашу с ботвиньей, говорил:

— Пожалуйста!

— Вино белое или красное? — спросил Савинский.

— Белое, конечно,— сказал авторитетно Лостер.

— Белое,— сказал и Карташев.

— Дайте нам... дайте нам... ну, гут-дор.

— Вы знаете,— обратился он к Карташеву,— разницу в винах? Если вы хотите быть веселее — пейте рейнское. Если хотите крепко спать — бордо. Если хотите ухаживать за женщинами — пейте бургонское. Англичане предпочитают это вино, и так как я имею слабость к англичанам...

Савинский выставлял себя пьяницей, но пил очень мало, еще меньше пил Лостер.

Прощаясь, Савинский сказал Карташеву:

— Очень вам благодарен за все сообщенное. Я ответное письмо сегодня же напишу и пришлю к вам. Вы дома будете?

— Да, я прямо домой еду.

Савинский записал адрес Карташева.

— Это ваша сестра сегодня утром была с вами?

«Черт побери,— подумал Карташев,— он в окно, значит, увидел».

— Да, сестра.

— Сходство есть.

У выхода Карташев столкнулся с братом.

— Ну, едем скорее,— устало проговорил Сережа.— Тебе там хорошо было прохлаждаться, а у меня, братец мой, только слюнки текли, и теперь брюхо так подвело...

Сережа хотел было сесть на извозчика, но Карташев, сделав знак извозчику, сказал:

— Пройдем немного пешком.

— Это еще зачем?

— Я тебе потом объясню.

Пройдя и сев на извозчика, он рассказал, как Савинский в окно увидел сегодня Маню.

— Ну, так в чем же дело? — обиделся Сережа.— Тебе совестно, что ли, что я твой брат и ты со мной едешь?

— О, чучело! — рассмеялся Карташев.— За твой голод я хочу тебя вознаградить. Я куплю тебе свежей икры, балыка...

— Валяй!

— Куплю персиков, всяких фрукт...

— Валяй, валяй!

— И подарю тебе сто рублей.

— А вот это и совсем умно,— развеселился окончательно Сережа.— Это очень умно, пожалуйста, почаще приезжай.

В фруктовых лавках Сережа говорил брату:

— Смотри, смотри, свежие фисташки в кожуре, а вот уже и виноград константинопольский и свежие орехи.

Накупили всего. Увидел Сережа на улице продающийся альвачик и обратил и на него внимание брата.

— Мне и его надо,— сказал старший Карташев.

— А теперь знаешь,— предложил Сережа,— чтобы закончить, заедем и выпьем квасу на углу Успенской и Александровской. Ты, наверно, давно его не пил?

— С гимназических времен.

— Любил его?..

— Очень.

Старший Карташев, отпив, сидя на зеленой скамье под навесом у входа в погреб, где разливали квас, сказал:

— Прежде он был вкуснее.

— Погоди еще годков десяток,— ответил Сережа,— и еще вкуснее станет тот прежний. Отличный квас.

И Сережа жадно тянул розовую ароматную холодную влагу, смешанную с пеной.

Домой приехали братья нагруженные выше головы.

У подъезда Сережа таинственно заметил брату:

— Если ты не забудешь своего щедрого подарка, то сделай это так, чтоб твоя правая рука не знала, что творит левая...

Старший Карташев достал сторублевую бумажку и в левой руке, сам отвернувшись, протянул ее брату.

— Правильно,— ответил брат, пряча бумажку в то время, как девушка отворяла дверь.

Все уже пообедали и теперь усадили обедать Сережу, а старший брат с Маней пошли наверх с визитом.

Генерал и Евгения Борисовна радушно приняли Карташева и горячо поздравляли его.

К четырем часам они спустились вниз на террасу к общему чаю, к которому приехал и дядя Митя послушать о результате визита племянника к Савинскому.

У Сережи с Аней шли обычные пререкания.

Он говорил брату:

— Ты совершенно напрасно подарил ей сто рублей. Ведь так и будут лежать, пока не сгниют.

— А что ж, лучше так, как ты, выбросить за окошко? — отвечала бойко, тараща на брата глаза, Аня.

— Умница, Аня! — говорила мать.

— Так я по крайней мере живу,— говорил Сережа и потянулся за громадным персиком,— а ты что? Прозябаешь. Стираешь воротнички свои — жизнь прачки.

Аня обиделась и, поджав губы, сказала:

— По крайней мере у мужа моего будет всегда чистая рубаха.

Это вызвало громкий смех, и среди смеха Аглаида Васильевна твердила:

— Умница моя, умница...

В это время вдруг приехал, никем не ожиданный, Савинский. Это внимание с его стороны было очень оценено и Аглаидой Васильевной и братом ее, а Сережу это так поразило, что, пока знакомились с Савинским старшие, он, прикрыв рот, торопился справиться с непомерно большим персиком, который от неожиданности сразу засунул себе в рот.

Дядя Митя, торопливо застегивая свой пиджак, почтительно раскланялся с Савинским. Савинский был в форме с погонами действительного статского советника, Владимиром на шее и шпагой.

Как светский, умный и образованный человек, он быстро уловил общий тон и не только не стеснил общество, но еще прибавил оживления.

Усаживаясь и принимая стакан чаю, он весело говорил:

— Я из передней услыхал такой подмывающий, беззаветный смех, какой в России редко слышишь. И сразу

оставили меня всякие мысли, заботы, и мне захотелось самому смеяться, и я рассмеялся. Вероятно, ваша горничная приняла меня за ненормального, судя по крайней мере по ее лицу.

Виновница смеха, Аня, залилась ярким румянцем, когда остановился на ней взгляд Савинского, а так как и все посмотрели на Аню, то опять последовал взрыв смеха, а Аня, вскочив, убежала.

Когда Савинскому объяснили, в чем дело, он сказал:

— Это так прелестно, что я, заклятый враг до сих пор женитьбы, переменил бы свое решение, если б не был уже стариком.

Маня ответила ему:

— Своими седыми волосами, во-первых, не кокетничайте, а во-вторых, позвольте притянуть вас к ответу: что в таком случае вы понимаете под женой?

Дядя Митя, все время настороженный, недовольно смотрел на Маню.

— Под хорошей женой, подходящей женой? Под хорошей женой, как и под всяким подходящим товарищем, я понимаю человека, могущего по возможности обходиться без посторонней помощи, годного на все,— от самой черной работы до высшей.

— Что значит высшей?

— Вплоть до участия в революции,— ответил, улыбаясь, Савинский.

— Берегитесь,— сказала Маня,— здесь председатель военного суда.

— Я уже имел честь познакомиться с его превосходительством и не сомневаюсь, что как вы, так и я не продолжим знакомство с ним до скамьи подсудимых.

Маня рассмеялась.

— Ну, если вы так уверены в себе, как во мне, то не поздравляю вас, потому что мое знакомство с Евграфом Пантелеймоновичем и началось с этой скамьи.

На этот раз не только дядя, но и Аглаида Васильевна почувствовала себя неловко. Смутился и Карташев.

Но Савинский весело и непринужденно ответил:

— Тем лучше и для вас и для меня. Для вас — что все так благополучно окончилось, а для меня — что так

же благополучно окончится. У меня к тому же есть преимущество, которого у вас нет. А именно. При всем моем уважении к господам русским революционерам я все-таки не могу не заявить, что если вся русская жизнь отстала от европейской лет на полтораста, то и жизнь интеллигентной России отстала также лет на сорок, пятьдесят. То слово, которое нашими революционерами признается последним словом, на Западе уже очень отжитое слово. Все эти Фурье, на которых воспитался Чернышевский, все это народничество, все это учение, стремящееся к земному раю, утверждает, что достаточно пожелать, и рай земной сойдет на землю. У нас все еще удостаиваются внимания давно подорванные авторитеты. Продолжаются утопические попытки перепрыгнуть, так сказать, через эту пропасть социальных противоречий, в то время как уже начался естественный переход через эту пропасть, я говорю о таком мировом факте, каково появление первого социалистического депутата в германском парламенте — Бебеля, действующего по законам, выработанным Марксом, это не учитывается совершенно нашей молодежью. Если бы наша молодежь считала обязательным для себя европейское образование, она не теряла бы своих сил даром там, где это, как уже выяснил мировой опыт, только бесплодная потеря сил. Я очень извиняюсь перед обществом, но раз я был уже привлечен Марьей Николаевной на скамью подсудимых, может быть признают за мной, обвиняемым, право сказать несколько слов, если не к оправданию, то к уменьшению своей вины.

И при общем смехе Савинский слегка поклонился в сторону Евграфа Пантелеймоновича.

— К полному даже оправданию,— ответил Евграф Пантелеймонович,— потому что из слов вашего превосходительства очевидно, что раз Бебель депутат, то этим самым и ученье его признано законным. А при таких условиях и военному суду нечего было бы делать, и я бы теперь, вместо того чтобы идти в скучное заседание, продолжал бы сидеть в таком в высшей степени интересном обществе. Очень, очень жалею, что надо уходить.

Евграф Пантелеймонович встал, попрощался со

всеми и ушел, а за ним пошла и Евгения Борисовна, сказав:

— Я только провожу мужа!

Савинский еще долго просидел, рассказывая о своих инженерных скитаниях.

— Вы знаете, с Европейской Россией мне пришлось так ознакомиться, что чуть ли не во всех ее бесчисленных углах перебывал, имея перед глазами весь разрез нашей жизни, от крестьянской избы и последнего рабочего до самых высоких палат.

Коснулся Савинский и войны, заметив иронически, что расчеты правительства на нее, как на отвлечение, после понесенных неудач, разлетятся в прах, и вместо отвлечения получится совершенно обратное.

— Я уверен, что мы гораздо ближе к конституции, чем думают наши правители.

Маня, очевидно, произвела на Савинского впечатление. Он постоянно обращался к ней и даже предложил быть посредником с заграницей по части получения всяких книг, журналов и газет, объяснив, что он получал все это без цензурных помарок.

Между прочим, он сказал:

— Я сразу догадался, что вы сестра Артемия Николаевича, увидав вас сегодня утром на извозчике.

Маня покраснела, улыбнулась и ответила:

— И, увидав меня, вы были так любезны, что не задержали брата ни минуты. Вот как невольно можно явиться помехой в деле.

— Помехи никакой.

Прощаясь, Савинский передал Карташеву письмо к Данилову, заметив вскользь:

— Ничего спешного в нем нет.

Аглаида Васильевна, прощаясь с Савинским, приглашала его бывать и благодарила за сына.

— Помилуйте, мы должны благодарить Артемия Николаевича, что он попался к нам. Я жалею, что не захватил письмо Данилова, вы увидели бы из него, как он относится к вашему сыну. Называет его даже орленком. Кто знает, что такое даниловские орлы, только тот оценит, что это значит.

Когда Савинский уехал, все были в восторге, все были очарованы им.

— Ай, какой умница! — говорила горячо Аглаида Васильевна.— И как образован. Теперь я только понимаю, что такое инженеры. Если во французской революции такую видную роль сыграли юристы, то в нашей, я уверена, сыграют инженеры. И такой отзывчивый, простой, все понимающий. Вот это мой идеал русского образованного человека. И как была я права, когда настояла на том, чтобы не пускать тебя в Пажеский корпус.

— Вы, сестра, вспомните мое слово — Савинский будет министром. И раз уже твое такое счастье,— обратился дядя к племяннику,— то держись за него, мое сердце, и руками и ногами...

— И зубами,— перебил Сережа.— Вот так!

И Сережа скорчил уродливую физиономию, оскалив и плотно сжав зубы.

— А чтоб ты и знал, что так! — сказал дядя.— А потом и сам будешь министром.

— Ой-ой,— замахал руками Сережа,— такая высокая компания не по плечу больше мне, и я бегу...

— И я иду,— сказала, вставая, Маня.

Была суббота, монастырский колокол мирно и однозвучно звонил к вечерне.

Аглаиде Васильевне очень хотелось заманить сына в церковь, но, боясь отказа, она незаметно, поманив Евгению Борисовну в комнаты, сказала ей:

— Дорогая моя, мне хочется повести Тёму в церковь. Попросите его быть вашим кавалером — тогда он пойдет.

Евгения Борисовна, лукаво улыбаясь, подошла к Карташеву и сказала со своей обычной манерой, и ласковой и повелительной:

— Будьте моим кавалером в церковь.

Карташев поклонился и предупредительно ответил:

— С большим удовольствием.

— Ну, так я только пойду оденусь и посмотрю, что делает Аля.

— Может быть, и ты с нами? — обратилась к брату Аглаида Васильевна.

— А что ж? С удовольствием пойду.

Немного вперед шла Аня в своей круглой соломенной шляпке, короткой накидке и коротком платье, тут же сзади Аглаида Васильевна с братом, а значительно отстав шли Карташев с Евгенией Борисовной.

Сначала шли молча, потом она сказала:

— Получила от Дели письмо, кланяется вам.

В голосе Евгении Борисовны почувствовалась Карташеву особая нотка.

— Очень, очень ей благодарен. Пожалуйста, кланяйтесь от меня ей. Я никогда не забуду того короткого времени, которое провел в ее обществе. Как она теперь поживает?

— Пишет, что скучно. На днях она уезжала к сестре в имение в Самарскую губернию — там у нас у всех имения, а на зиму опять возвратится к отцу. Весной же мы с ней и мужем думаем поехать за границу. Пасху она проведет с нами здесь, и после пасхи вместе уедем.

Евгения Борисовна помолчала и сказала с своей обычной авторитетностью:

— Деля очень хороший человек и даст большое счастье тому, кого полюбит.

— О, я в этом не сомневаюсь,— горячо ответил Карташев. И печально докончил: — И я даже представить не могу человека, который стоил бы ее.

— Кто оценит, кто полюбит ее, — тот и будет стоить.

— Ну, этого мало еще; тогда слишком много бы нашлось охотников.

Карташев опять проходил монастырский дворик, и сердце его радостно сжалось от охватившего воспоминанья о том, как шли они здесь с Аделаидой Борисовной.

Вспоминалась и Маня Корнева, ее сверкавшая сквозь кисею белизна кожи, сильный запах акаций, васильков и увядавшей травы. Так прозрачно, так нежно было над ними небо, а там вверху черные вершины деревьев тихо и неподвижно слушали пение женских голосов, выливавшееся из открытых окон церкви. Пела и та стройная красавица монашка, которая подавала самовар в келье матери Натальи.

Карташев вздохнул всей грудью и вошел в церковь. Прихожан было очень мало, по звонким плитам церкви глухо разносились его и Евгении Борисовны шаги.

Наверху мелодично, нежно и так печально пел хор: «Свете тихий».

И «Свете тихий» и «Слава в вышних богу» были любимыми напевами Карташева.

Его охватило с детства знакомое чувство,— бывало, маленький он так же стоял и прислушивался к этим мотивам, тихо и торжественно разносившимся по церкви. А сквозь облака ладана, прорезанные косыми лучами солнца, строго смотрели образы святых.

Пение кончилось.

Подняв голову, Карташев рассматривал образа на куполе.

Всё там, на том же месте, и тот рядом с головой быка, и тот другой, пашущий, и все они вечные, неподвижные при своем деле. И те там вверху были, конечно, чистые и сильные; не они виноваты, во что превратилось их учение; все то, о чем на каждом шагу Христос твердил:

— Понимайте в духе истины и разума!

А свелось к тому же языческому, к тому же идолопоклонству, к грубому мороченью, эксплуатации, уверению в том, чего никто не знает, не может знать и что в конце концов так грубо, грубо.

И несмотря на то, что часть общества уже вполне сознательно относится к суеверию, сколько еще веков, а может быть и тысячелетий, сохранит человечество эту унизительную потребность быть обманутым, дрожать перед чем-то, над чем только стоит немножко подумать, чтобы все сразу разлетелось в прах. Хотя бы то: где все эти бородатые боги заседают, на какой звезде, на каком куске неба и что такое это небо? Географию первого курса достаточно знать. Отчетливо конкретно представить себе только это — и точно повязка с глаз спадет и сразу охватит унизительное чувство за этих морочащих, и хочется сказать им:

— Идите же вон, бесстыдные шарлатаны.

И Карташев уже сверкающими злыми глазами смотрел на стоявшего на амвоне священника.

«Лучше в сад уйду»,— подумал он и вышел из церкви, как раз в то время, как туда хотела войти Маня.

— Не застала дома,— сказала она,— ты куда?

— В сад.

Маня пошла с ним, и он говорил ей:

— Иногда так наглядно, так осязательно чувствуешь всю комедию и ложь религии, что сил нет выносить охватывающее тебя унижение.

Он сел на садовой скамье.

Маня была задумчива.

— Как тебе понравился Савинский?

Отрываясь от своих мыслей, она рассеянно ответила:

— Он очень интересный, наблюдательный, умный и начитанный.

— Ты как относишься к его возражениям?

Маня пожала плечами.

— Несомненно, что мы очень мало обращаем внимания на образование. И может действительно случиться, раз прицел неправилен — ошибочен и выстрел; в данном случае жизнь пойдет насмарку, даром пропадет. А жизнь одна — и хотелось бы использовать ее как можно правильнее. А с другой стороны, что-то роковое идет, так идет, что захватывает, тянет. Знаешь, я думала о тебе. Нет, ты в нашу компанию не залезай, не торопись. Перед тобой такой путь, который рано или поздно, а откроет тебе глаза, и тогда уже иди сознательно, проверивши, имея возможность проверить, а мы ведь, собственно, лишены этой возможности. Мне кажется, новая жизнь будет длиннее нашей. Ты как-то не торопишься жить, ты старше меня, а ребенок еще во многом. Поздно развиваешься, растешь. И расти. Если б еще жена тебе попалась хорошая. С тобой можно говорить на эту тему?

— Говори...

— Лучше Аделаиды Борисовны не найдешь, Тёма.

— Я знаю.

— Если знаешь, то зачем же ты тянешь?

— Видишь, если говорить серьезно, то теперь мне кажется, это более достижимо, чем было тогда. Я теперь инженер, эта дорога по мне, уже теперь я получаю две тысячи четыреста рублей в год. Говорят, чуть ли

не такую же и премию дадут. Таким образом, и себя и жену я смог бы содержать. Теперь, конечно, горячка будет строительная, ведь в сорок пять дней решено выстроить двести восемьдесят верст. По быстроте постройки это будет первая в мире дорога...

Служба кончилась. С Аглаидой Васильевной вышли и мать Наталия и красавица послушница.

Мать Наталия рассыпалась в поздравлениях, а послушница молчала и загадочно и смело смотрела своими глазами на Карташева.

Смотрел на нее и Карташев, и хотелось бы ему заглянуть на мгновенье в ее душу, чтоб узнать вдруг все ее сокровенное.

А мать Наталия, очевидно, совсем не хотела этого и торопливо-почтительно стала прощаться.

XIV

Карташев, не успевший сделать нужных покупок, мог выехать только в понедельник и приехал в Бендеры во вторник утром.

С этим же поездом по делам уезжал старший Сикорский, и его провожала Елизавета Андреевна. Таким образом, Карташев встретился с ней на вокзале, страшно обрадовался и вместе с ней поехал на дачу.

После первых радостных приветствий, пересказа того, что случилось в Одессе, передачи привезенных Марье Андреевне разных отсутствовавших в Бендерах фрукт и сделанных ею поручений, младший Сикорский сказал:

— Ну, а теперь едем в управление принимать чертежи, проекты, бумагу, инструменты, потому что нас гонят на линию, и через два дня едем.

В управлении Карташев, передав Пахомову письмо Савинского, пошел с Сикорским к Борисову.

— Вот ему сдавайте все,— сказал Борисову Сикорский.

— Что значит «все ему сдавайте»? На руках он все это унесет? Нужны ящики, люди, подводы наконец, чтоб увезти отсюда все сданное. Готово все это?

Карташев молча отрицательно мотнул головой, а Борисов ответил:

— А нет — так и проваливайте, потому что и настоящего дела по горло.

Сикорский отвел Карташева в сторону и сказал:

— Разыщите Еремина и вашего Тимофея, пусть Еремин купит ящики какие-нибудь, ну, хоть из-под апельсинов, пусть найдет подводу и едет сюда. Собственно, конечно, Борис Платонович мог бы пока и так выдавать, складывали бы пока на полу.

— Совершенно не мог бы,— ответил услыхавший Борисов,— не дальше, как вчера, вот так как раз отпускали, а пока послали искать ящики и извозчиков, половину растаскали. Поверьте, что в ваших же интересах призываю вас к совершенно справедливому, во всех парламентах даже и в коммуне принятому, порядку.

— Ну, идите,— махнул рукой Сикорский.

Через час Карташев с Ереминым и Тимофеем принимали от помощников Борисова по спискам принадлежащее им и укладывали в ящики.

— Вот что,— сказал Карташеву Борисов, отрываясь от работы и выходя из-за своего стола,— какая ни на есть, а будет материальная отчетность, и если у вас счетовода еще нет, то пока вы хоть ведите реестр получаемого.

— Я ведь беру опись.

— Ну-у...— заикнулся слегка Борисов,— а если вы потеряете опись,— где у вас след того, что такая опись была? А вы заведите книжку себе,— на книжечке напишите...

И Борисов взял со стола книжку и написал на первом листе:

«Опись получаемого имущества и материалов».

— Вот... Теперь разделите это на графы...

Карташев провозился с приемкой часа три.

— Вот теперь у вас все в порядке,— говорил ему Борисов,— и, сдавая все это вашему счетоводу, или заведующему материальным складом, или кому там, вам останется только передать ему эту книжечку с прилагаемыми документами. Так-то, а теперь пойдем ко мне обедать, потому что у Сикорских отобедали уже.

Когда пришли к Борисову, прежде обеда Борисов снял со стены две рапиры, две маски, нагрудники и спросил Карташева:

— Фехтовать умеете?

— Нет.

— Одевайтесь, буду учить.

И с полчаса учил Карташева, немилосердно тыкая его рапирой.

— Ну, теперь, располировав немножко кровь, можно садиться за обед.

Обед был простой, из двух блюд: борщ малороссийский с ушками и салом и вареники с маслом и сметаной.

Кончив обед, Борисов, евший с таким же аппетитом, как и Карташев, махнул рукой и сказал девушке:

— Убирайте, и самовар нам! А вы,— обратился он к Карташеву,— рассказывайте теперь, что делали в Одессе?

Карташев рассказал.

— Похвалили меня за то, что так обстоятельно с ваших слов передал о положении дел.

— Выругать инспекцию не забыли?

— Конечно, и Николай Тимофеевич на днях с Лостером сам едет в Букарешт к главному инженеру Горчакову.

— Это хорошо; Горчаков человек толковый, он их живо подтянет.

Карташев сообщил Борисову также и об интересовавшем его предмете.

На столе уже лежали привезенные альвачик и семитаки. Теперь Карташев вынул из кармана две привезенные и в дороге уже просмотренные им брошюры.

Мимоходом он упомянул о сестре и высказал свой взгляд на революционную партию, причем, как и в вопросе передачи Савинскому, явился только популяризатором идей сестры и Савинского.

Борисов внимательно слушал, и Карташев, кончая, сказал:

— Если соберетесь как-нибудь в Одессу, я вам дам письмо к сестре.

Борисов покраснел и, напряженно потянувшись, горячо пожал руку Карташеву.

— Непременно...

Но в это время пришли Лепуховский с другим инженером, темным, загорелым, и третий молодой, Игнатьев.

— Это ты что так горячо его трясешь? — спросил добродушно, выпячивая живот, Лепуховский.

— Не твоего ума дело,— ответил Борисов, а Карташев стал прощаться.

Выйдя от Борисова, он отправился на свою квартиру к Данилову.

Ящики из управления уже стояли в комнате, и тут же стояли рейки треноги.

Заглянул Данилов в одной рубахе и повел Карташева к себе в комнату.

— Хотите идти купаться? — спросил он.

— Хорошо,— согласился Карташев.

Данилов натянул летние штаны, надел пиджак, на голову широкую соломенную шляпу, на босую ногу туфли, простыню накинул на плечи, как шарф, и сказал:

— Ну, идем...

И так шли они по городу, обращая внимание прохожих.

Кто знал, что этот толстый неряха в туфлях на босую ногу — Данилов,— останавливался и долго еще смотрел ему вслед.

В купальне Данилов долго сидел в воде, и фыркал, и полоскался, как бегемот.

Карташев одевался и думал, как бы ему отделаться от него.

Выйдя из воды, Данилов спросил Карташева:

— Ну, вы куда теперь?

— Надо свое начальство разыскать. Мы послезавтра хотим ехать.

— Пора, пора... ну идите, не по дороге: я отсюда в управление.

На даче Марья Андреевна встретила его с упреком:

— Это очень мило. Мы его ждем с обедом, не едим...

— Но, ради бога!..

— Да ели, ели,— успокоил его младший Сикорский и спросил, принял ли он все в управлении?

— Все, кроме тех чертежей, которые у них еще в работе. В этих списках обозначено.

Карташев показал списки, свою книжку.

Сикорский посмотрел, кивнул головой и сказал:

— Это, значит, в порядке. Завтра утром надо ехать на ярмарку покупать лошадей, тарантасы и завтра же нагрузить на них весь наш скарб, и с Ереминым и еще одним десятником, которого я взял, отправить в Заим, оставив себе только тарантас и мою тройку, и послезавтра налегке, чтобы к вечеру быть в Заиме, выедем.

Выбранное резиденцией третьей дистанции село Заим ясно встало в глазах Карташева.

Ужинали, гуляли по саду, пели, играли, разговаривали.

В половине одиннадцатого Сикорский сказал:

— Ну, а теперь спать. В пять утра я буду вас ждать на ярмарке.

А Петр Матвеевич, у которого уже слипались глаза, сказал:

— Слава богу, кажется, начинает водворяться порядок.

Когда Карташев приехал на свою квартиру, он увидел спину Данилова, наклоненную над столом.

Быстро раздевшись, он лег, потушил свечку и сейчас же заснул, попросив разбудить себя в четыре часа.

Извозчик у него был уже договорен, все тот же молодой парень из России.

Апатичный Семен в четыре часа уже будил Карташева, а немного погодя принес ему чай, масло и хлеб.

Умываясь, Карташев заглянул в коридор и, увидев в кабинете опять неподвижную спину Данилова, подумал:

«Что ж он, так не вставая и сидит за работой? А на вид лентяй, какого и не выдумаешь».

Когда он уходил, Данилов, тяжело повернувшись, спросил его:

— Куда?

— Лошадей покупать.

— А вы понимаете в них?

— Немного, но там будет и Сикорский, и Еремин, и Тимофей, и мой извозчик.

Карташев заехал за Ереминым и Тимофеем и с ними проехал на ярмарку.

Она представляла бесконечное количество конных рядов, и только где-то в стороне стояли балаганы с наваленными перед ними кадками, колесами, лопатами и другими деревянными изделиями, да высокие молдаванские каруцы с углем и разным лесом. Были пряники с сусальным золотом и лошадки из картона, крашеные и полированные, с их особым запахом кислого клея, но все это уже не интересовало Карташева.

Маленький Сикорский вынырнул из-за одной из телег и крикнул ему:

— Идите сюда!

Он уже облюбовал тройку для себя и теперь отчаянно торговался с цыганами.

Глазки Сикорского сверкали лукаво, щурился он так же, как и цыгане, хлопал их по ладоням и твердо выкрикивал свою цену.

Черный цыган, сняв свой картуз и вытирая платком пот, говорил:

— Ай, ай, барин, уж не цыган ли ты сам?

Сикорский весело хохотал и уходил, а цыган, после долгого раздумья, кричал:

— Ну, бог с тобой, красненькую прибавь и бери!

Но Сикорский, не поворачиваясь, кричал ему свою прежнюю цену.

И с отчаянием опять кричал цыган:

— Бери!

Сикорский возвращался и говорил:

— Нет, после мы еще запряжем, а вы, господа, смотрите лошадей.

И Еремин, и Тимофей, и извозчик осматривали лошадей еще раз. Смотрели в зубы, наступали им на копыта, сжимали им ноздри, водили перед глазами соломинкой, выворачивали губы, щупали под челюстями и осматривали все пятна на спине, запускали руки под ноги. Потом запрягли.

Купили тройку, купили трех рабочих лошадей, купили тарантас, телеги.

Карташев совершенно случайно нашел и для себя то, что искал.

На маленькой, красиво сделанной тележке, запряженной молодой гнедой кобылой, сидел пожилой мещанин.

— Купите, барин,— сказал он проходившему Карташеву,— всю справу продаю.

Карташев остановился.

— Продаю без обмана; я не цыганин и не барышник. Лошадка выросла у меня в доме, и думал: никогда не расстанусь. Да вот, пришлось. Купите, будете благодарить и вспоминать меня. Присаживайтесь, попробуйте.

Когда Карташев сел, хозяин сказал:

— Берите сами и вожжи и поезжайте, куда хотите.

Карташев взял вожжи, выехал в улицу и поехал. Он поворачивал и направо и налево, пробовал и кнутом ударить, пускал полным ходом и поехал опять шагом.

Лошадка словно чувствовала, что выдержала экзамен, и весело-задорно вздергивала головой.

— Послушная лошадка, говорю вам, и умна, как человек: воспитанная скотинка, руками своими воспитал. Бросьте вожжи, уходите куда хотите,— сутки простоит и не шелохнется. Вот, постойте, смотрите.

Хозяин слез, зашел вперед лошади и сказал:

— Машка, за мной.

И умное животное, вытянув шею, осторожно ступая, шло вслед за своим хозяином.

Карташеву очень понравились и лошадь и тележка.

Лошадка действительно была красивая, стройная, с тонкими ножками и блестящей нежной гнедой шерстью.

— Какая цена?

— Без запросу полтораста рублей.

— А дешевле?

— Нет, пожалуйста, не торгуйтесь. От нужды ведь только продаю. Раньше ни за какую бы цену не отдал.

— Хорошо, я беру.

И Карташев торопливо, пока не подошла компания, отдал деньги и, сев в тележку, поехал разыскивать своих.

Он радостно думал:

«С такой лошадью и кучера мне не надо. Уложу нивелир, рейку на тележку и буду ездить».

— Смотрите, смотрите,— закричал Сикорский, увидев Карташева,— это что? Купили?

— Купил.

Все стали внимательно осматривать покупку.

Лошадь, правда, оказалась молодая, неиспорченная, но цену нашли дорогой.

— Семьдесят пять рублей цена, ну, через силу восемьдесят пять,— сказал извозчик.

Сикорский из-под полуопущенных век насмешливо смотрел на Карташева. Рот его был полуоткрыт по обыкновению, уши как будто еще больше оттопырились, и, качая головой, он говорил:

— Эх вы... Ну что позвать бы было нас!

Но Карташев был доволен.

Его поддержал и проходивший мимо бывший хозяин:

— Не сумлевайтесь, сударь,— будете благодарить. Это не цыганское отродье.

— Ну, ты! — закричал на него высокий черный цыганище и так сверкнул своими громадными, иссиня-белыми белками, что бывший хозяин махнул на него и, торопливо уходя, бросил:

— Бог с тобой, бог с тобой...

— Я на этой лошадке и назад поеду. Садись, Тимофей, со мной.

Карташев подкатил к даче и весело побежал звать дам смотреть его покупку. Марья Андреевна очень внимательно и деловито осматривала лошадь, а Елизавета Андреевна стояла и радостно повторяла:

— Прелестная лошадка и тележка хорошенькая!

— Хотите попробовать?..— предложил ей Карташев.

Елизавета Андреевна посмотрела на сестру.

— Поезжай, только не долго ездите, через час обед. Какая хорошенькая лошадка!

Елизавета Андреевна и Карташев уехали, а Марья Андреевна, прикрыв рукой глаза, долго еще смотрела им вслед.

Возвращаясь назад, правила уже сама Елизавета Андреевна, а Карташев то смотрел на нее, то на лошадку, то на окружающие дачи, Днестр, небо и чувствовал непередаваемую радость жизни.

— Теперь,— сказал он, высаживая Елизавету Андре-

евну,— когда я буду одиноко разъезжать по линии, со мной будет всегда прелестная маленькая волшебница Лизочка.

Елизавета Андреевна только покраснела, махнула рукой и быстро скрылась в саду.

Собиралась гроза, в небе неспокойно двигались облака, и на горизонте собирались уже целые баталионы из темных грозных туч. А между ними, как в амбразурах, еще нежнее, еще безмятежнее просвечивалось небо. В воздухе сразу посвежело.

— И куда вы едете на дождь! — говорила Марья Андреевна.

— Надо, надо,— решительно отвечал, попрощавшись и направляясь к тарантасу, Сикорский.

— Промокнете.

— Не сахарный.

— Господи! — удержала за руку Марья Андреевна Карташева,— неужели вы уезжаете? Я так привыкла к вам, как будто мы уже сто лет жили вместе.

— Слышите, слышите? — говорил ее муж,— нет, уж лучше уезжайте...

— Не забывайте же нас.

Карташев, сидя уже в тарантасе, кланялся и смотрел на Марью Андреевну и ее сестру. Елизавета Андреевна стояла грустная и молчала.

Отъехав и встав на ноги, Карташев крикнул ей:

— Еду строить воздушный зáмок!

Она кивнула головой, а он все стоял и смотрел, и так много хотелось бы ему теперь сказать ей, Марье Андреевне, ее милому мужу ласкового, любящего, чего-то такого, что переполняло его душу и рвалось из нее.

Но экипаж уже повернул, группа скрылась, и все быстрее и быстрее мелькали последние сады и дачи.

Что до Сикорского, то он весь был поглощен вниманием к своим новокупленным лошадям; то откинувшись на пристяжную с своей стороны, то, вставая, смотрел на другую, на коренника, как тот, забирая рысью, нес на себе высокую дугу с разливавшимися под нею колокольцами. А пристяжные давно уже поднялись вскачь, с загнутыми на сторону головами, все больше и больше

свертывались в клубки, выбивая сразу всеми четырьмя ногами облака пыли.

— Эй, вы, соколики! — прикрикнул кучер, едва передернув вожжами, и резвее взвились пристяжные, и совсем вытянулся, широко махая, коренник.

— Хороший кучер,— тихо сказал Карташеву Сикорский,— и лошади очень удачно подобраны: коренник выше, пристяжные поменьше; я еще куплю им бубенцы и буду тогда настоящий жених-становой.

Он весело рассмеялся.

— А вы знаете,— говорил он,— я вот заплатил за все это пятьсот рублей, а попомните меня, что продам за тысячу, а вы вашу Машку, дай бог, чтоб за пятьдесят продали.

Но Карташев совершенно не интересовался теперь ни тройкой, ни тем, за сколько он продаст потом свою Машку. Его захватывала езда, какие-то образы также быстро проносились перед ним, и щемило душу сожаление о том, что все так быстро проносится в жизни.

Особенно хорошее...

А дождь уж лил, и от края до края, по всему темносерому небу, сверкала зигзагами молния, и, страшно перекатываясь, гром грохотал, казалось, над самыми головами. В наступившей темноте вдруг точно разорвалось все небо, и громадная ослепительная молния упала перед глазами. Испугавшись, лошади сразу подхватили, понесли и мчали куда-то в неведомую даль в серой, сплошной от дождя мгле. Напрасно, откинувшись совсем назад, тянул кучер, напрасно помогали Карташев и Сикорский. Казалось, неземная сила гнала лошадей, крылья вдруг выросли у них, и летели и они, и экипаж, и три пигмея в нем. И вдруг треск — и сразу упали и лошади, и экипаж, и, как пробки из бутылок шампанского, разлетелись из него и Карташев, и Сикорский, и кучер.

Наступила на мгновение тишина, совпавшая с тишиною в небе.

Первый поднялся кучер и, хромая, пошел к лошадям. Затем встал с земли Сикорский и усталым голосом спросил:

— Карташев, вы живы?

Карташев лежал в луже и ответил лежа:

— Кажется, жив.

— Ну, так вставайте.

— Сейчас: я немного ошалел от падения. Кажется, головой ударился.

Он сделал усилие встать, но кружилась голова, ноги так дрожали, что он опять присел и, чувствуя боль в голове, начал мочить голову водою из лужи.

— Ну, теперь, кажется, ничего.

Карташев опять встал и пошел к экипажу и лошадям.

Лошади уже были на ногах и тоже дрожали.

— Кажется, благополучно,— говорил, осматривая их, кучер.

Экипаж оказался в порядке, стали собирать вещи. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Все побилось, промокло: еда, закуски, вина, фрукты.

— Тем лучше,— махнул рукой Сикорский,— сразу по крайней мере перейдем на походное положение. Как голова?

— Ничего.

— А твоя нога?

— Не знаю, болит,— ответил кучер и горячо заговорил, указывая на коренника:— Теперь, когда характер его узнал, врешь: я ему сейчас покамест из ремешка сплету вторые удила, он и не сможет тогда уже закусывать, а как станет ему рвать челюсть — небось остановится тогда. И трензель, чтоб и голову драть ему нельзя было бы.

И кучер принялся плести ремешок.

А гроза тем временем уже пронеслась, и выглянуло яркое, умытое небо.

И все больше выглядывало, пока не сверкнули первые густобагровые лучи солнца по серой грязи земли.

Собрав и наладив всё, промокшие насквозь, сели и поехали дальше.

Немного погодя начался крутой спуск, и, покачивая головой, кучер говорил:

— Ну это все-таки, слава богу: не дай бог до этой кручи донестись бы...

Сдерживая коренника, кучер не кончил и только энергичнее тряхнул головой.

— Спустим ли? — спросил тревожно Сикорский.

— Бог даст, спустим.

И, как бы в ответ на это, осевший совсем на задние ноги коренник энергично замотал головой.

— Я все-таки слезу,— сказал Сикорский и быстро соскочил.— Слезайте и вы! — крикнул он Карташеву.

Если слезть — неловко перед кучером, не слезть — перед Сикорским.

И Карташев, продолжая сидеть, все думал, как ему быть, а тем временем лошади спустили, но все-таки Карташев, за несколько саженей до конца, тоже спрыгнул.

— К чему рисковать? — сказал ему Сикорский.

— Конечно,— согласился с ним Карташев.

Солнце село, но еще горел запад и грозными крепостями сверкали золотистые верхушки темных туч. Приехали, когда потухли и эти огни, и только бледный отсвет остался там, в небе, и в нем яркий серп молодого месяца, да зарница перебегала, освещая на мгновение темную бездну под ними.

XV

На другой же день с утра Сикорский, захватив с собой Карташева, сопровождаемый толпой подрядчиков, выехал на линию.

Он расставлял подрядчиков, показывал Карташеву, как делать разбивки, полотно, как назначать отводные и нагорные канавы; разбили станцию, пассажирское здание, наметили места для будок и только к вечеру, усталые и голодные, возвратились домой. Дома их уже ждали новые наехавшие подрядчики. Подрядчику мостов дали выписку, и бесконечные ряды подвод с лесом потянулись через деревню.

— Пожалуйста, завтра не задержите работу,— просил мостовой подрядчик,— у меня в четырех местах сразу начнут.

— Не задержим, не задержим,— отвечал Сикорский.

Наскоро поев, Сикорский сказал:

— Ну, теперь садитесь, и я вам объясню, как делается разбивка моста и даются обрезы свай, потому что завтра, чтобы поспеть везде, мы поедем с вами в разные стороны. Берите себе на завтра короткий хвост дистанции к Бендерам, а я поеду в другую сторону.

Село Заим было расположено так, что до конца дистанции в сторону Бендер было пять верст, тогда как в сторону Галаца было двадцать пять.

— А теперь спать, чтобы завтра в четыре часа уже выезжать нам.

В четыре часа на другой день, в то время, как Сикорский на своей тройке поехал вправо, Карташев, сам правя, выехал на своей тележке, запряженной Машкой. В тележке лежали нивелир, рейки, угловой инструмент, эккер, лента, цепь и рулетка, топор, колья и вешки, лежал и узелок с хлебом и холодным куском мяса, а через плечо была надета фляжка с холодным чаем.

Начинавшееся утро после вчерашних дождя и бури было свежо и ароматно. На небе ни одной тучки. На востоке едва розовела полоска света. Этот восток был все время пред глазами Карташева, и он наблюдал, как полоска эта все более и более алела, совсем покраснела, пока из-за нее не показался кусок солнца. Оно быстро поднялось над полоской, стало большим, круглым, без лучей, и точно остановилось на мгновение. Еще поднялось солнце, и сверкнули первые лучи, и заиграли разноцветными огнями на траве капли вчерашнего дождя. И звонко полились откуда-то с высоты песни жаворонков, закричала чайка, крякнули утки на болоте вправо. И еще ароматнее стал согретый воздух. Карташев вдыхал в себя его аромат и наслаждался ясной и радостной тишиной утра.

В двух местах уже ждали плотники у сваленных бревен, спешно собирая копер. Карташев остановился, вынул профиль, нашел на ней соответственное место и начал разбивку.

— Ну, господи благослови, в добрый час! — тряхнул кудрями плотный десятник подрядчика, сняв шапку и перекрестясь.

Когда Карташев уже приказал забивать первый кол, он кашлянул осторожно.

— Не лучше ли будет, начальник, в ту низинку перенести мост,— воде будто вольготнее будет бежать туда — вниз, значит.

Карташев покраснел, некоторое время внимательно смотрел, стараясь определить на глаз, какое место ниже, и, вспомнив о нивелире, решил воспользоваться им.

Десятник оказался прав, и мост был перенесен на указанное им место.

Окончив разбивку, Карташев с десятником проехал на самый конец дистанции и разбил и там мост.

По окончании десятник сказал:

— На тот случай, если потом вам недосуг будет, быть может, сейчас и обрез дадите?

— Как же, когда сваи еще не забиты?..

— По колышку, а когда забьем, я проватерпашу.

Карташев подумал и сказал:

— Хорошо.

Но, когда отнесясь к стоявшему невдалеке реперу, он дал отметку обреза, его поразило, что сваи будут торчать из земли всего на несколько вершков.

Он несколько раз проверил свой взгляд в трубу, выверил еще раз нивелир и в нерешимости остановился.

Бывалый десятник все время, не мигая, смотрел на Карташева и, наконец, приложив руку ко рту и кашлянув, ласково, почтительно заговорил:

— Тут под мостом канавка под русло пройдет, и так что...— Он приложил руку к козырьку и посмотрел в правую сторону, куда падала долина.— Примерно еще сотых на двадцать пять, а то и тридцать, значит, глубже под мостом будет.

— Да, да, конечно,— поспешил согласиться Карташев и в то же время подумал:

«Ах, да, действительно! Канавка... Какой у него, однако, опытный глаз».

Когда опять приехали к первому мосту, копер уже был готов, его скоро установили на место, и к нему подтащили первую сваю.

Десятник быстро, толково, без шуму распоряжался, и когда свая была захвачена, поднята, и установлена, и прикреплена канатом, когда плотники, они же и забой-

щики, стали на места, десятник, вынув поддержки из-под бабы, обратился к Карташеву:

— Благословите, господин начальник, начинать.

— С богом!

— Господи благослови! крестись, ребята!

И все перекрестились.

— Ну, закоперщик, затягивай песню!

Закоперщик начал петь:

И так за первую залогу
Да помолимся мы богу...

И хор рабочих в красных рубахах дружно и звонко подхватил:

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
Пойдет, пойдет, пойдет...

И воздух потрясли тяжелые удары бабы о сваю, первые под припев, а остальные молча.

Карташев во все глаза смотрел. Ему вспоминались чертежи мостов, сваи, вспоминался текст лекций.

Когда запели дубинушку, которую он до сих пор слышал только на студенческих вечеринках, его охватила радость и восторг.

— Залога!

И удары прекратились.

— Как поют, господин начальник?

— Хорошо.

— Прямо, можно сказать, архирейский хор,— говорил десятник, отмечая на свае карандашом расстояние, на какое свая ушла в землю,— на одиннадцать сотых, господин начальник, отказ...

— Ах, да,— вспомнил Карташев наказ Сикорского,— надо будет отмечать отказы. У вас есть книжечка?

— Так точно.

— Я вам разграфлю.

— Не извольте беспокоиться: я разграфил уже. Обыкновенно нашему брату, подрядчику, этого дела не доверяют: опасаются, как бы мы свою линию не выводили; бывает так, что и закапывают сваи вместо того, чтобы забивать их, всяко бывает, только наш подрядчик не из таких и нам не велит. Он лучше же лишнего

перебьет. До какого отказа, господин начальник, бить будем?

Карташев напряженно вспоминал: «Как это, до двух сотых или до двух тысячных?»

— Ежели, к примеру,— продолжал десятник,— свая ровно пойдет, так и в три сотки отказ будет ладный.

— Нет, все-таки до двух бейте.

— Как прикажете.

И, повернувшись к рабочим, десятник сказал:

— Ну, готовы, что ли? Это еще что? — точно не понимая в чем дело, спросил десятник.

От рабочих закоперщик с шапкой в руках подходил к Карташеву.

— Имеем честь поздравить вас с благополучным началом.

— Ну, народ,— неопределенно качнул головой десятник, наблюдая Карташева, и, увидев, что Карташев достал десять рублей, сказал весело: — Ну, смотри, ребята, старайтесь да благодарите господина начальника.

— Благодарим! — дружно и весело отозвались рабочие.

— Поднимай бабу!

И баба под красивый припев речитатива: «Расчестна́я наша мать, помоги бабу поднять!» — стала подниматься вверх, а закоперщик уже опять затягивал:

Эй, ребятки, не робейте,
Своей силы не жалейте.

После второго залога десятник, приподняв шапку, обратился к Карташеву:

— Дозволите ли веселые песни петь?

— Конечно.

— Работа пойдет у них веселей: валяй, ребята!

Лица рабочих светились лукавою радостью, и только закоперщик с бесстрастным лицом, все тем же замогильным глухим голосом выводил:

Инженера мы уважем,
По губам — помажем.

И восторженно подхватила артель дубинушку, заметив, как залилось краской до корней волос лицо смущенно-растерянно улыбавшегося Карташева.

К обеду возвратились в Заим и Карташев и Сикорский. Карташев сделал Сикорскому обстоятельный доклад.

— Только одно неправильно — никогда вперед обреза не давайте. На этом и строятся все мошенничества. Поезжайте после обеда опять и уничтожьте обрез. Когда кончат забивку, пусть и позовут тогда. А что касается того, чтобы вести журнал забивки свай, то сегодня приедет десятник еще.

XVI

Работы наладились, и все пошло изо дня в день.

Карташев ездил в дальнюю сторону дистанции, Сикорский взял на себя более короткую, так как на нем, кроме технической стороны дела, лежали и распорядительная и административная части. Постоянно приезжали из города, привозили материалы, запрашивали срочно по телеграфу, и ему необходимо было, как он говорил, быть всегда на ружейный выстрел от конторы.

Все делалось с какой-то сказочной быстротой, и быстрота эта все возрастала; установились и ночные работы.

В каждом месте линия кишела рабочими: забивали сваи, сыпали насыпи, копали выемки, тянулись обозы с вывозимою землею, лились песни, крики, громкий говор. Узкая полоса земли на протяжении двухсот восьмидесяти верст жила полной жизнью безостановочно все двадцать четыре часа в сутки.

Ночью эта лента была сплошь огненная от костров. Уже провели телеграф, и в Заиме сидела телеграфистка.

Смены ей не было; и ночью и днем она должна была принимать телеграммы.

Еще молодая, с терпеливыми, все выносящими глазами, сидела она в минуты отдыха на завалинке своей избы, курила и смотрела равнодушно вдаль, туда, где кипела работа.

Карташев жил в избе рядом. В четыре часа он уже выезжал на линию.

В тележке лежали инструменты и холодный завтрак.

Уезжал он на весь день и возвращался домой часам к десяти.

Иногда надо было зайти еще в контору к Сикорскому. Иногда и ночью необходимо было ехать вторично на линию. Суток не хватало. В каждом месте, в каждой точке уже ждали, нетерпеливо ждали Карташева с разбивкой, с отметкой, с вопросами, без решения которых дело останавливалось. Получалось такое впечатление, что все везде стоит и виновник этому только он, Карташев.

Это тяготило, мучило, угнетало, и Карташев почти не выходил из подавленного и в то же время напряженного, крайне неприятного состояния от сознания, что никогда ему не поспеть везде вовремя.

Его лошадь начала портиться.

Вначале она ходила рысью, но чем дальше, тем больше теряла бедная Машка силы.

Давно исчезла округленность ее форм, блеск ее шерсти.

Ее худая, теперь острая спина поднялась кверху, шерсть болезненно торчала во все стороны, грива была спутана, сбита, а сама она точно потеряла всякую способность понимать, где дорога, где овраг. Прежде, бывало, хоть домой она бежала. Теперь же одинаково равнодушно, несмотря на все удары, шла все тем же заплетающимся шагом.

И это еще более раздражало и угнетало Карташева. Но, когда однажды Машка отказалась и таким шагом идти, когда она беспомощно остановилась и, несмотря на всякие понукания, не хотела идти дальше, Карташев, которого во всех местах ждали, как манну с неба, пришел в такое отчаяние от своей собственной несостоятельности, от несостоятельности Машки, что расплакался.

В таком положении и застал Карташева Сикорский, несшийся на своей жениховской тройке.

Карташев торопливо уничтожил следы слез, а Сикорский сделал вид, что их не заметил.

— Ну, сегодня я за вас распоряжусь, а вы поез-

жайте домой и сейчас же купите вторую лошадь. Необходимо ездить на сменных лошадях.

— Она и домой не пойдет.

— Дайте овса ей.

— Нет у меня овса.

— Ну, так чего же вы хотите? Человек восемнадцать часов ездит и не кормит лошадь. Обязательно надо брать торбу с овсом. Доехали до конца дистанции, надели на нее торбу, сами закусили и поехали назад. А теперь что же делать? Выпрягите ее и пустите попастись по этой траве.

Сикорский уехал, а Карташев выпряг Машку, пустил ее на траву, а сам, сидя на тележке, ел свой хлеб с колбасой и грустно-бессильно смотрел туда вдаль, где кипела работа, где ждали его, в то время как он должен был пасти свою лошадь.

В этот день Карташев возвратился домой в неурочное время, когда солнце было еще высоко в небе.

Продажная лошадь оказалась у хозяина, в избе которого жил Карташев.

Выйдя из своей телеграфной конторы,— она же и спальня,— телеграфистка тоже, присев на завалинке, смотрела, как Карташев пробовал лошадь, и с своей стороны сделала несколько замечаний, обнаружив некоторые познания по этой части.

Между нею и Карташевым завязался разговор, и оказалось, что она дочь мелкого херсонского помещика.

Карташев, чувствовавший себя в общем не лучше Машки, хотел было воспользоваться отдыхом и лечь спать, но начавшееся знакомство отвлекло его, и, сидя устало на завалинке, он дотянул до вечера в разговорах с телеграфисткой.

Она была некрасива, почти необразованна, но было в ней что-то симпатичное, беззащитное и, наконец, молодое — в улыбке, взгляде, в бессознательных движениях. Было интересно будить это молодое.

Общее положение замоpенных, работающих через силу людей, при походной жизни, при сознании, что очень скоро все это кончится и в свое время, как и все, унесет невозвратное будущее, еще больше сближало, примиряло, заставляло торопиться.

Высоко в небе, как заброшенный маяк, ярко светила луна.

Белая колокольня, белые избы рельефно и неподвижно стояли, и от них падала густая черная тень. В ярком ослепительном воздухе, как серебро, сверкала на воде полоса лунного света.

Было свежо, телеграфистка куталась в платок и курила.

Карташев устало сидел рядом с ней.

Гулко звонили часы на высокой колокольне, и ему было хорошо и уютно, около простой доброй девушки полуспать, полубодрствовать, наслаждаясь волшебной красотой ночи.

— Вы спите совсем,— положите на плечо мне вашу голову.

И Карташев положил.

— И холодно вам, вот вам половина моего платка.

Пришлось сесть плотнее под одним платком.

Так и сидели они, изредка перебрасываясь словами, не замечая, как идет время.

Все так же неподвижно светила луна с своей бесконечной высоты, так же стояли настороженные белые хатки, и лунный свет играл в воде.

Какой-то особый сон наяву владел душой. Они не помнили, как обнялись, как поцеловались, как очутились вдвоем на ее узкой постели, как уснули обнявшись, прикрытые ее платком, единственным теплым, что было в ее скудном багаже.

А в четыре часа Карташев осторожно, чтобы не заметили, пробирался в свою избу.

Но на завалинке уже сидел Тимофей, и смущенный Карташев чувствовал, что Тимофей обо всем догадался.

Рядом с исключительным размахом в деле постройки во всем соблюдалась экономия, доходившая до скаредности. Так, служащих в общем было мало, и на долю каждого приходилась двадцатиголовая работа. Будки, например, как временные, решено было строить самого легкого типа, причем ассигновано было на каждую будку по сто двадцать пять рублей, тогда как обычная цена будки от пятисот до тысячи рублей.

Был предоставлен полный простор для инициативы и выбора строительного материала.

— Предоставляю,— сказал Сикорский Карташеву,— все дело вам, стройте хоть из навоза, и условие одно — не выйти из сметы, потому что, помните, это своего рода пунктик, конек начальника участка.

В помощники себе Карташев взял Тимофея.

Решено было пользоваться в общем типом молдаванских легких клетушек, из легкого деревянного остова в виде рал, заплетенных плетнем и смазанных с одних сторон глиной с навозом. Крыши крыть очеретом. Печи глинобитные с каменным, за неимением кирпича, сводом.

Но и камня не было. Тимофей разыскал в степи колодцы, устраиваемые набожными молдаванами, и выбирал оттуда тот камень, которым были обложены стенки колодца. Лесной материал покупался у молдаван в каруцах и состоял из жердей в полтора-два вершка в диаметре.

Высокая каруца с такими торчащими жердями стоила от трех до пяти рублей. Четырех, пяти таких каруц было достаточно для будки. Но и эта цена показалась Тимофею дорогой.

Он узнал, откуда молдаване возят лес, съездил туда и купил там две десятины такого же леса по сорока рублей за десятину. Этого лесу хватило с избытком на всю дистанцию. Одни рубили его и очищали от коры, другие возили на линию.

Работа, как говорил Тимофей, шла колесом.

Сегодня Тимофей тащил Карташева в лес осмотреть покупку и работы Тимофея.

Лес был верстах в двенадцати от линии.

Карташев хотел успеть побывать и в лесу и проехать по линии.

— Ну, чай сегодня некогда пить,— скорей запрягай Румынку — и поедем.

Через несколько минут Карташев уже выезжал на Румынке, захватив для нее заготовленную с вечера торбу с овсом, а рядом верхом ехал Тимофей.

Проезжая мимо телеграфной конторы, Карташев покосился на ее безмолвные окна и поцеловал спавшую

за ними ласковую, на все согласную, молодую телеграфистку.

«Дать бы ей выспаться,— подумал Карташев,— и подольше бы не присылали телеграмм сегодня».

День обещал быть дождливым. Все небо заволокло ровною серою пеленою, и только при восходе солнца там на востоке прорвалась на мгновение эта пелена, и, из-под нее выглянув печально, солнце опять скрылось.

Скоро стал накрапывать мелкий ровный дождик, и точно спустилась на всю округу мокрая, серая, однообразная пелена.

Иногда дождь переставал и опять принимался, такой же однообразный, тихий и ровный.

— Теперь, пожалуй,— говорил Тимофей,— и ни к чему уж он. Разве вот для озимей перед севом... ну, корму прибавится...

— Н-да,— соглашался Карташев, продолжая испытывать смущение при Тимофее.

На отрогах далеких холмов и невысоких гор показался лес.

— Вот и наш лес,— показал рукой Тимофей туда, где, борясь с дождем, поднималась синяя струйка дыма,— может, кипяченая вода будет, чаю напьемся.

Подъехали к лесу, привязали лошадей и пошли на просеку. Дождь опять перестал. На только что срубленных мокрых деревьях дрожали крупные капли воды, пахло сыростью, свежим лесом, пахло дымом, и ярче вспоминалась ночь, луна, телеграфистка.

Оказался и кипяток, сварили чай и напились.

Карташев в первый еще раз был в настоящем лесу, в первый раз видел, как его рубят, как выделывают из него годный для постройки материал. Он осмотрел работы, одобрил все, дал дровосекам на водку и уехал напрямик к концу дистанции.

Дорожка прихотливо вилась между полями поспевавших кукурузы, пшеницы, овса. Румынка бодро бежала, а Карташев сидел, смотрел из-под своего капюшона и все не мог оторваться от воспоминаний прошедшей ночи. Иногда сердце его особенно сжималось, и становилось весело и легко на душе.

На конце дистанции, в наскоро сколоченных балаганах, жил рядчик Савельев с артелью рабочих человек в сорок. Он копал земляное полотно на двух последних верстах и должен был рыть нагорную канаву, которую хотел сегодня разбить Карташев.

Подъехав к навесам, Карташев привязал лошадь, подвязал ей торбу с овсом и пошел к главному балагану.

По случаю дождя работы не было. Вышел маленький, кудрявый, средних лет рядчик Савельев и почтительно поклонился.

— Я приехал вам канаву разбить.

— Очень даже приятно. И если бы, к примеру сказать, вчерась намеревались приехать, сегодня с утра бы уже ребята принялись бы за работу.

Окончив разбивку, Карташев возвратился и, так как Румынка еще не кончила своего овса, присел под навесом, где была устроена для рабочих столовая: вкопанные в землю козлы, покрытые досками. Тут же недалеко, под низким навесом, была устроена кухня, горел огонь и несся аппетитный пар из двух котлов, около которых, засучив высоко рукава, хлопотала молодая, здоровая русская баба.

Карташеву тоже захотелось поесть, но он стеснялся, считая это несовместным с его служебным положением и думая в то же время, что бы сказали этот рядчик и рабочие, если бы знали, как провел он эту ночь. И теперь ему было уже неприятно воспоминание об этой ночи.

— Не желаете ли, господин начальник,—вкрадчиво-ласково заговорил рядчик, прерывая мысли Карташева,— съесть чего-нибудь: вареного мяса можно, косточку с мозгом, а то и щец.

И мясо и щи, а особенно кость с мозгом вызвали сразу усиленное выделение слюны у Карташева, но, не колеблясь, он ответил:

— Нет, благодарю вас...

— А то, может быть, сала поджарить кусочек.

Это было уже выше сил Карташева, и пока он боролся с собой, Савельев уже крикнул:

— Матрена, живей, поджарь-ка сала.

— Вы, русские, разве тоже едите сало? — спросил Карташев.— Я думал, что только мы, хохлы...

— Хорошее везде хорошо, господин начальник.

— Вы сами что ж не присядете?

— Покорно благодарю, господин начальник,— ответил Савельев и, после настойчивых повторений, присел, наконец, на самый край скамьи и снял шапку.

Матрена принесла горячую сковородку с подрумяненными на ней розоватыми кусками шипящего малороссийского сала. Затем она принесла несколько ломтей полубелого хлеба и ласково сказала:

— Кушайте на здоровье.

Было это как-то особенно сочно сделано, а Карташев, вспомнив обряд простого народа, снял шапку, положил ее рядом на скамью и перекрестился.

— А вы разве не будете есть? — спросил Карташев.

— Нет, уж позвольте с народом; уж такой порядок у нас...

Карташев принялся за сало и ел его за оба уха, как говорят хохлы.

Когда он кончил, ему поднесли миску щей, на тарелке кашу, а на другой — кусок вареной говядины с мозговой костью.

— Нет, нет...— начал было Карташев, но хозяин перебил его:

— Вы, господин начальник, наш начальник, и ваша обязанность пробовать еду рабочих, чтобы не было обмана или обиды со стороны хозяина работ. Это уж такое заведение, и не нами выдумано оно.

— Если так...— сказал Карташев и съел несколько ложек щей с кашей, несколько кусков говядины, посыпая ее крупной солью, и наконец, по настоянию хозяина, съел и мозг. Кончив, Карташев сказал:

— Мне совестно, закормили вы меня.

— Помилуйте, господин инженер, можно ли о таких пустяках говорить. Не обессудьте и напредки: шутка сказать, день-деньской не евши, а из-за нас же.

Наступал обед, собрались рабочие и слушали.

Карташев колебался, но, прощаясь, протянул руку рядчику. Рабочим дал пять рублей на водку, а Матрене отдельно рубль. Этим он как бы расплатился за еду,

но сознание, что этого все-таки не следовало бы делать, мучило его, и, едучи обратно, его одновременно начало грызть и тревожное сознание того, что он сделал только что на этом конце дистанции, и того, что произошло ночью на другом ее конце.

Но постепенно дело снова захватило, тревожное состояние исчезло. Все было важно, все было дорого и интересно. Каждая случайно встреченная и вновь купленная каруца с лесом волновала и радовала так, как будто все это было лично его, Карташева.

По дороге его нагнал троечный вместительный тарантас, в котором сидел инженер Данилов.

Данилов водой из Одессы проехал в Букарест, оттуда в Галац и затем уже на лошадях, проехав всю линию, возвращался в Бендеры.

О своем проезде он никого не уведомлял, объясняя это тем, что встреча начальства отнимает всегда много лишнего времени, а в такой горячке этого лишнего времени нет.

— Ну что ж? — сказал Данилов, остановив лошадей и поздоровавшись с Карташевым,— вы ко мне пересесть не можете, так как тогда некому будет отвести вашу лошадь домой, так я к вам пересяду.

Толстый Данилов кое-как уселся в маленькой тележке Карташева, а Карташев сдвинулся, чтобы дать ему место, на самый край.

Чтобы не задерживать Данилова, Карташев хотел было, не останавливаясь на работах, ехать прямо, но Данилов настоял, чтобы все делалось так, как всегда.

И Карташев останавливался, разбивал полотно дороги или проверял разбивку, давал новые выписки, делал обрезы мостам.

По дороге его останавливали молдаване с каруцами леса, с возами соломы. Он торговался, покупал и вместе с Даниловым ехал впереди этих каруц, указывая те будки, где нужен был этот материал.

Однажды, когда Карташев купил воз соломы, на горизонте показался другой, и Карташев боялся, что, пока он будет указывать продавшему, куда сваливать, тот другой, появившийся на горизонте, ускользнет от него.

Тогда Данилов предложил свои услуги и остался в тележке караулить подъезжавшего, в то время как Карташев, усевшись на купленный воз, поехал с молдаванами к будке.

В это время подъехал к Данилову и Сикорский, и когда Карташев возвратился к ним, и другой воз был куплен Даниловым на двадцать пять копеек дешевле против назначенной Карташевым цены.

Затем Данилов пересел к Сикорскому, и они уехали в Заим, а Карташев продолжал свою обычную работу.

Когда к десяти часам вечера Карташев, наконец, добрался домой и отправился в контору, то оказалось, что Данилов уже уехал.

Сикорский был в духе и сказал Карташеву с обычной своей манерой, нехотя и вскользь, что Данилов остался доволен и работами и им, Карташевым.

Прощаясь, он рассказал, как Данилов побывал и на телеграфной станции, как телеграфистка жаловалась на трудность бессменной и днем и ночью работы, и как Данилов ответил, чтобы по ночам телеграфистка не дежурила и что для ночных работ он пришлет телеграфиста. Карташеву показалось, что Сикорский как-то особенно при этом смотрел на него, Карташева, и поторопился уйти, чтобы скрыть свое смущение.

Высоко в небе опять светилась луна, опять белели домики, и опять на завалинке сидела телеграфистка, Дарья Степановна Основская, куталась в свою шаль и курила папироску.

И опять потянуло Карташева к этой одинокой, беззащитной, на все готовой и в то же время ничего не ищущей фигурке.

— Хотите, будем чай пить? — предложила Дарья Степановна.

И они вдвоем, так как при телеграфе не было и сторожа, стали ставить самовар, потом пили чай, а в четыре часа утра, как и накануне, Карташев пробежал опять к себе, чтобы запрягать лошадь и ехать на линию.

И опять, доехав до конца дистанции, он не мог устоять от соблазна у рядчика Савельева и, решительно

отказавшись от остального, съел несколько ломтиков горячего, слегка поджаренного сала.

Так и пошло изо дня в день. Карташев, как маятник, качался между этими двумя крайними пунктами своей дистанции, между двумя соблазнами дня и ночи, всегда твердо зарекаясь устоять и всегда бессильный в своих зароках.

Однажды на работах, когда Карташев в трех верстах от линии разбивал водоемное здание, вдруг к нему подъехало несколько экипажей.

В переднем экипаже, в большой открытой коляске, на заднем сидении сидел инженер Савинский и рядом с ним маленький, уже пожилой с сморщенным лицом, господин.

На переднем сидении возвышались Пахомов и Сикорский.

Савинский быстро вышел, радушно, с манерой светского человека, протянул Карташеву руку и, пожимая ее, весело проговорил:

— Вот, наконец, где мы вас поймали.

В это время осторожно и морщась сошел с экипажа и маленький пожилой господин в котелке, немного сдвинутом на затылок, и Савинский, делая движение рукой в сторону Карташева, сказал:

— Инженер Карташев.

На что маленький пожилой господин протянул руку Карташеву так, как будто это стоило ему большого усилия или боли, и небрежно бросил:

— Самуил Поляков.

«Так вот он!» — мелькнуло молнией в голове Карташева, а Сикорский в то же время шепнул ему:

— Говорите ему ваше превосходительство.

— Вы что здесь делаете? — бросил Поляков, устало оглядываясь.

— Разбиваю водопровод, ваше превосходительство.

— А где же ваш экипаж?

— Экипаж на станции, я пришел сюда нивелировкой и...

— Ну, так поедем с нами тогда... Садитесь... Ну, на козлы к нам садитесь.

И Поляков полез назад в экипаж.

Карташева бросило в жар и холод.

Этим предложением влезть на козлы точно хлыстом его вдруг ударили по лицу.

Он был бы счастлив, если бы мог вдруг провалиться сквозь землю и навсегда.

Он мучительно искал выхода, резкий отказ напрашивался на язык, и он напрягал все силы, чтобы удержаться, а между тем экипаж уже трогался, и с отчаянием в душе Карташев взобрался на козлы и сидел на них растерянный, раздавленный, с душой, охваченной ужасом, тоской, унижением...

Ему казалось, что вся станция, когда они подъезжали, только на него и смотрела, вполне понимая всю унизительность его положения.

Как только вышли из экипажа, Карташев шепнул Сикорскому:

— Я сейчас же уезжаю. Скажите и выдумайте, что хотите, Полякову, но не оставляйте меня, потому что иначе я наговорю ему таких дерзостей...

— За что?!

В это время к Карташеву подошел Савинский.

— А я привез вам письма от ваших и корзинку,— передал ее Валериану Андреевичу. Ваши здоровы все, кланяются вам и ждут в гости.

Карташев взял письмо, благодаря, старался улыбаться и при первой возможности скрылся. Сел в свою тележку и, не оглядываясь, погнал Румынку прочь от станции.

Позднее обыкновенного возвратился Карташев в тот день в Заим, объезжая глухими дорогами, чтобы как-нибудь не встретиться опять с Поляковым и его свитой.

«И зачем он оторвал меня от работы? Мало у него свиты и без меня? Сколько в них, начиная с самого шефа, чванства! И отчего Данилова не было между ними? И каким смущенным и маленьким казался Пахомов, вынужденный ехать на передке!»

И Карташев опять и опять переживал свое унижение и с омерзением, крепко отплевываясь, кричал в темноту:

— Тварь!

Оставив лошадь дома, он пошел в контору, со страхом вглядываясь в ее окна и стараясь угадать, уехал ли Поляков.

Поляков уехал со всей свитой, но на столах конторы еще оставались следы обеда, так как Сикорский всех их накормил.

Карташев никогда не видал Сикорского таким веселым.

— Эх, вы! — встретил он Карташева,— Ну, чего вы обиделись? Если Пахомов может ехать на передке, то почему вам не сесть на козлы? Ведь не на голову же Полякову посадить вас... Совершенно напрасно, совершенно... Ну, слушайте: все-таки Поляков просил передать вам свою благодарность. Я сказал ему, что послал вас по экстренному делу... Вам назначено жалованье триста, с уплатой с самого начала, и прибавлено подъемных еще пятьсот рублей...

Карташеву было приятно это и главным образом как внимание.

— А вот и ваша корзинка. Ну, теперь слушайте дальше: балластировку Поляков сдал мне и вам отдельно...

— Как это?

— То есть в данном случае мы сами являемся подрядчиками; нам назначена цена двенадцать рублей куб, и, таким образом, разница против того, во что это обойдется в действительности, будет в нашу пользу. Я уже собрал кое-какие справки и думаю, что может обойтись не дороже семи рублей, а может быть, даже шесть. Нужно всего четыре тысячи кубов, следовательно в нашу пользу останется двадцать четыре тысячи рублей.

— Я решительно отказываюсь от этого подряда.

— Почему?

Ответ был для Карташева совершенно ясен: служить, получать жалованье и в то же время заниматься подрядом, контролерами которого будут они же,— было для него совершенно невозможным.

Но так как Сикорский уже, очевидно, изъявил свое согласие, а может быть, и сам попросил об этом, то

Карташев придумывал ответ, который не был бы обидным.

— Видите, Валериан Андреевич, вы — другое дело. Вы сами говорите, что вы, как заграничный инженер, вынуждены будете перейти на подряды. Что до меня, то подрядчиком я никогда в жизни не буду. Я хочу только служить. Вы и берите этот подряд, а я всеми силами помогу вам, но участвовать не буду. И для вас же это лучше, потому что, раз я не заинтересован, то у вас является приемщик, и при таких условиях никто не заподозрит меня в пристрастии, так как здесь я ни в чем не заинтересован.

Сикорский убеждал Карташева, но тот остался при своем.

— Эх, вы,— прощаясь, добродушно кивнул головой Сикорский.

Смеясь, он быстро коснулся панталон Карташева и, тряся их, сказал:

— Я вам предсказываю, что, кроме таких штанов, у вас никогда ничего в жизни не будет...

Карташев тоже смеялся и, радостный, веселый, шел к себе домой. «И ничего нет больше, кроме этих штанов, и не надо»,— радостно думал он, усаживаясь около ожидавшей его, по обыкновению, Дарьи Степановны.

И она была таким же, как и он, и бездомным и ничего другого не желавшим человеком, и Карташев больше уже не чувствовал угрызений совести, сидя с ней. Напротив, чувствовал себя налаженным, веселым, удовлетворенным.

— Вы что сегодня такой веселый? — спросила его Дарья Степановна.

Карташев с удовольствием принялся рассказывать ей все случившееся за этот день с ним.

Он так смешно изображал себя на козлах, что и он и Дарья Степановна смеялись до слез. Кончив, он вспомнил о корзинке. В ней были орехи, персики, виноград.

Ела Дарья Степановна, ел Карташев и думал, что бы сказала его мать, если бы знала, с кем он ест это?

XVII

Ко всему теперь прибавились еще заботы о песке.

Для розысков местонахождений песка был назначен особый десятник, толстый, добродушный увалень с виду, но очень расторопный на деле. Фамилия его была Сырченко, и на вид можно было дать ему не больше двадцати пяти лет. Он обладал каким-то особым чутьем разыскивать песок. И чем ближе он был к линии, тем больше радовался Сикорский, так как за перевозку куба такого песку они платили молдаванам по рублю с каждой версты.

Карташев страшно заинтересовался этими розысками и, беря уроки у Сырченко, все свое свободное время употреблял на поиски за песком.

Он заглядывал во все попутные овраги, где были обнажены наслоения. Он возил с собой лопату и, в местах, где были бугорки или приподнятость почвы, копал пробные шурфы. Особенно остро стояло дело относительно песку в южной части дистанции, к стороне Галаца, где на протяжении пятнадцати погонных верст никаких следов песку не было. Однажды вечером приехал Сырченко и, бессильно разводя руками, сказал:

— Окончательно, Валериан Андреевич, песку там нет.

Лицо Сикорского собралось в обычную гримасу, точно у него болит там, внутри, и обиженным голосом он сказал, опуская углы рта:

— Ну, тогда из всего подряда ничего не выйдет, потому что то, что заработаем на одной половине, приложим к другой. И дай бог, чтобы еще хуже не вышло.

Сырченко стоял, точно чувствовал себя виноватым. Да и Карташев испытывал то же самое, как будто и его упрекали в нерадении к интересам Сикорского. Он поспешил уйти домой и все время только и думал, где бы найти песок. Он вдруг вспомнил ту дорожку, по которой тогда возвращался в лес, и, уже понаторевшись в опытах искания, восстановив в памяти местность, он решил завтра еще раз проехать по той дорожке.

Результат превзошел все его ожидания. В трех верстах от линии, на срединном расстоянии от обоих концов, под полуаршинным слоем чернозема, показался слой прекрасного гравия, какой удалось разыскать только в одном карьере. Карташев копал в разных местах, и карьер определился длиною до шестидесяти сажен и шириною до двадцати. Оставалось выяснить залегание балласта вглубь.

«Если сажень глубины,— рассуждал Карташев,— то уже это составит тысячу двести кубов неразрыхленного балласта, а вывезенного и полторы тысячи, то есть почти все количество».

Тут же на месте Карташев определил процент глины. Для этого у него была стеклянная трубочка с одним глухим концом. На трубочке Карташев наделал алмазом для резания стекла деления.

В трубочку он насыпал до ее половины вновь добытого песку, а вместо воды налил из фляжки холодного чаю, которым запивал свой завтрак.

Примесей оказалось до восьми процентов.

Первоначально Сикорский прибыльный процент назначил двенадцать, но потом поднял до пятнадцати, и таким образом новый балласт и в этом отношении мог быть назван идеальным.

Карташев так взволновался после этого последнего определения, что, набрав полный платок гравия, решил ехать прямо назад к Сикорскому.

Сикорского он застал дома в подштанниках и ночной рубашке, в жарком разговоре с полной молдаванкой. Сикорский, сам молдаванин родом, говорил с молдаванами на их родном языке. Это так радовало молдаван, так было им приятно, что Сикорский буквально вил из них какие только хотел веревки. Так, например, главнейшая работа населения, всякие перевозки — обходились на дистанции Сикорского почти вдвое дешевле против других мест линии.

— Что случилось? — встревоженно спросил Сикорский в неурочный час явившегося Карташева.

— Как вам нравится этот балласт? — спросил Карташев.

Сикорский пригнулся к столу, на который Карташев высыпал из платка гравий, и внимательно стал рассматривать его.

— Где вы нашли его? — не отрываясь, жадно, как золото, перебирая его рукой, спросил Сикорский.

Карташеву хотелось, чтобы Сикорский сперва ответил, как нравится качество балласта, но, желая поскорее доставить приятное, он залпом ответил:

— В трех верстах от линии, на равном расстоянии от конца дистанции и последнего разъезда.

Сикорский, ничего не отвечая, только ниже пригнулся к гравию.

— Какая вскрышка?

— Пол-аршина.

— Какая площадь?

— Около шестисот квадратных сажен.

— Глубина залегания?

— Вы уж многого захотели: конечно, не мог определить.

— Надо будет сейчас взять несколько рабочих, и поедем.

Обратившись к стоявшим молдаванам, с интересом следившим за всей сценой, Сикорский сказал:

— Ну, теперь дело меняется: песок нашли ближе. Кто хочет взять возку, пускай едет сейчас за нами. И лопаты захватите.

Карташев отвел Машку домой и поехал вместе с Сикорским на его тройке.

За ними ехали три подводы с десятью молдаванами. Таким образом, и рабочих не пришлось брать.

Приехав, Сикорский внимательно осмотрел сделанный Карташевым шурф, осмотрел местность и сказал:

— Площадь гораздо больше. Балласт должен непременно выклиниться в том овраге, и вскрышка будет там уже около сажени. Едем к тому оврагу.

Овраг был довольно крутой, и после нескольких ударов лопатами стал уже обнаруживаться песок.

Предположения Сикорского совершенно оправдались: вскрышка действительно была до сажени, а пласт залегания более двух сажен.

Лицо Сикорского приняло сосредоточенное, важное, даже огорченное выражение. Он вынул кошелек, достал оттуда пять рублей и, передавая молдаванам, сказал:

— Вот вам деньги за труды и уезжайте домой: здесь не будем возить песок.

Молдаване, не ожидавшие такого исхода, до того веселые, взяли, недоумевая, деньги, смолкли, сели на свои подводы и уехали.

Карташев еще более недоумевал и растерянно, сконфуженно, спрашивал:

— Не годится разве?

Сикорский молчал, следя глазами за уезжавшими молдаванами. Когда они уже совсем скрылись, Сикорский медленно обвел еще раз глазами округу, прилег на траву и сказал Карташеву:

— Садитесь.

Карташев присел и напряженно уставился в своего шефа.

Сикорский заговорил тихо, с расстановками, как умирающий:

— Это не карьер, а золото... чистое золото, и значение такого балласта вы поймете и оцените не раньше года эксплуатации. В то время как от мелкого через год и половины не останется, этот весь будет налицо. В то время как в мелком шпала будет ездить взад и вперед,— потребуется на ремонт пути от одного до двух человек на версту,— для этого не понадобится и полчеловека. С таким балластом скорость может быть доведена и до шестидесяти верст в час. За границей только такой балласт и допускается, а где его нет, там употребляют щебенку, куб которой обходится до тридцати рублей. Вот какой это балласт! Хватит его не только на пятнадцать верст, но и на сто пятьдесят. И возить его не лошадьми надо, а железной дорогой. Когда будет проведен путь, мы проложим сюда ветку и станем поездами вывозить. Больше двух рублей куб не обойдется, и я сейчас же отдам распоряжение Сырченко прекратить возку из всех карьеров, отстоящих далее трех верст от линии, и во всяком случае вывозить не полное количество, с таким расчетом, чтобы сверху

был балласт из этого карьера. О-о! Я головой теперь отвечаю, что на всей линии равной нашей дистанции по балласту не будет.

Лицо Сикорского распустилось в лукавую улыбку, и уже веселым голосом он сказал:

— Ну, теперь расскажите мне, как вы унюхали это золото.

Когда Карташев сообщил, Сикорский, качая головой, сказал:

— Надо будет вас какому-нибудь жиду сдать на аренду: он вам будет платить из жилетного кармана жалованье, а вы ему будете набивать все остальные его карманы чистым золотом.

Он поднялся, отряхнул свой костюм и сказал:

— Ну, а теперь едем домой, и я вас накормлю и, раз не хотите денег, напою шампанским.

Он подошел к экипажу и, оглядываясь, говорил:

— Да, за такой карьер можно выпить шампанского. И мы назовем его Карташевским. С завтрашнего же дня поставлю здесь Сырченко с рабочими пробивать траншею. Этот карьер мы будем разрабатывать уже по всем правилам искусства, и рыться, как свиньям, не позволю здесь, потому что это выгоднее, и все — и Данилов и Пахомов — побывают на этом карьере...

Когда сели в экипаж, Сикорский весело ударил себя по лбу.

— Та-та-та! Слушайте! Первое, что надо сделать, это — купить на мое имя этот карьер. Я сегодня же пошлю Сырченко разузнать, кому эта земля принадлежит, и куплю, в крайнем случае арендую лет на двадцать, и тогда пусть дорога покупает этот карьер у меня. Вся его длина будет сажен триста, если даже ширина двадцать, в чем я очень сомневаюсь, и две глубины, то это составит на линии не менее пятнадцати тысяч кубов. Мне надо три тысячи, и, если дорога по рублю мне заплатит за куб — за остальные, то уже это одно составит двенадцать тысяч, но я головой отвечаю, что вдвое, втрое больше.

Немного погодя Сикорский горячо говорил:

— Слушайте еще вот что. Сильвин, начальник соседней к Галацу дистанции, говорил мне, что у него

совсем нет балласту, и я предложу ему по два или по рублю пользы с куба с тем, чтобы подряд он передал мне.

Сикорский засвистал.

— Это еще чистых тридцать тысяч в кармане...

Он сосредоточенно покачал головой и опять с миной умирающего проговорил:

— Тысяч до ста можно заработать!

Он энергично махнул рукой.

— Ну, тогда будьте вы все, Поляковы, прокляты. О, тогда я буду чувствовать себя человеком! Да, вот и все в жизни так: все только рубль и случай!

Карташев слушал, подавляя в себе неприятное чувство, вызванное пробуждавшеюся корыстью Сикорского, старался сосредоточиться на доставлявшем ему наслаждение сознании, что он сегодня сделал что-то очень важное и ценное. С какой завистью будет смотреть на него его учитель Сырченко!

Узнают об этом и в Бендерах: узна́ют и Петров, и Борисов, и Пахомов, и Данилов, и окончательно упрочится его репутация дельного и толкового работника.

И Карташев чувствовал прилив к сердцу теплой крови, ему было радостно и хорошо на душе. Он щурился от ярких лучей, смотрел в далекую лазурь точно умытого неба, щурился иногда так, что все небо это покрывалось золотыми искрами, и переживал то состояние, когда кажется, что нет уже тела, что все оно и он сам растворились без остатка в этой искрящейся радостной синеве.

Через несколько дней после открытия нового карьера Сикорский сказал Карташеву:

— Вот вам копия моего условия с молдаванами относительно перевозки песку. Они должны складывать этот песок в конуса. Размер им дан такой, чтоб в каждом кубе было на десятую часть больше куба, и таким образом каждый десятый куб будет у нас бесплатным.

Карташев слушал, стараясь не выдать своих мыслей, но ему было досадно и обидно за Сикорского. И без того с каждого куба оставалось в его пользу по девять рублей, и то, что он еще придумал, являлось в глазах Карташева в сущности обманом.

Но, как ни старался скрыть свои мысли Карташев, Сикорский был достаточно проницательным, чтобы не прочесть их на лице Карташева.

— Здесь никакого обмера нет, потому что в этом условии мы платим не за куб, а за куб десять сотых. Справедливо это и в том отношении, что в мирное время за эту же работу они взяли бы вдвое дешевле.

Сикорский теперь увлекался только песком и все остальное бросил на руки Карташева.

Карташев чувствовал себя полным хозяином на дистанции и был рад, вспоминая слова Сикорского, что в их деле, кто палку взял — тот и капрал.

Теперь капралом на дистанции был Карташев. Чувствовал это и он и все. Подрядчики, рядчики стали еще почтительнее ввиду предстоявших обмеров работ.

С каждым днем горячка спадала на линии. Целыми верстами уже, где прежде кучился народ, были шум и крик, теперь опять было тихо, и только узкой змейкой извивалась полоса готового полотна. К этому полотну везли шпалы и рельсы, шла укладка, и звон сбиваемых накладками рельсов разносился далеко в воздухе.

Но для Карташева работы не убавлялось. Надо было обмеривать и учитывать все сделанное.

Крупный подрядчик земляных работ Ратнер, взявший также и листовку и дерновку, едучи с Карташевым на обмер, говорил ему:

— Слушайте меня, старика, Артемий Николаевич, что я вам скажу. Вы человек молодой, только что начали, а я, слава богу, поседел на этих работах. И, слава богу, никогда ни с кем из инженеров не вздорил. Вы наших порядков не знаете, а порядки у нас простые. Один в свой рот не заберет всего: дело это столько и мое, сколько и ваше. Ничего незаконного я от вас не прошу, будьте только справедливы — и десять процентов ваши.

— Это какую сумму составит? — спросил Карташев.

— Это составит тысяч двадцать.

— Допустим, что я взял у вас эти двадцать тысяч. Будем считать, что они по пяти процентов в год дадут мне тысячу рублей. Но, если узнают, что я взял у вас эти деньги, меня прогонят и больше на службу не при-

мут. Какой же мне расчет, когда я уже получаю теперь три тысячи шестьсот рублей в год?

— Во-первых, никто же не узнает...

— Вы первый расскажете... Теперь, конечно, нет, а когда дело кончится, вы скажете: за что этот человек вытащил у меня из кармана двадцать тысяч? И вам будет досадно, и вы всем скажете. Как же иначе всегда все знают: такой-то инженер вор, а такой-то не вор. Нет, господин Ратнер, вы сами видите, что не выгодно для меня ваше предложение...

— А сколько же вы бы хотели?

Карташев рассмеялся.

— Ну, миллион.

— Миллион? когда всего дела на триста тысяч?

И Ратнер презрительно рассмеялся.

— Ну, вот видите,— сказал Карташев,— и не сойдется наше дело. А давайте лучше так: все, что законно, я вам и так сделаю, а незаконно ни за какие деньги не сделаю.

— А я о чем же прошу? — ответил угрюмо Ратнер.

Как ни старался Карташев быть беспристрастным при обмере, Ратнер оставался недоволен и жаловался Сикорскому, требуя обмера в присутствии его, Сикорского.

Сикорский с унылым лицом выслушал Ратнера и, опустив углы рта книзу, сказал, разводя руками:

— Хорошо.

Карташев рассказал Сикорскому о предложении Ратнера.

— Я его проучу,— сказал угрюмо Сикорский.

И действительно, по обмеру Сикорского вышло на два процента меньше, чем у Карташева.

Ратнер только возмущенно развел руками.

А Сикорский сказал ему:

— Утешьтесь тем, что это всего на три тысячи рублей, и таким образом у вас в кармане осталось из тех денег, которые вы предлагали, семнадцать тысяч рублей.

— Я никому ничего не предлагал,— резко ответил Ратнер,— и буду жаловаться Полякову.

— Это ваше право, как право Полякова отдать вам хоть все свое состояние.

— Ну, знаете, что я вам скажу,— говорил Ратнер, пряча квитанцию,— от таких инженеров Поляков только разорится, потому что у таких инженеров могут работать только мошенники...

— Вон, негодяй!!! — завопил вдруг Сикорский, бросаясь на Ратнера, но Ратнер был уже у дверей.

— Ох, как испугался! — смерил он с ног до головы маленького Сикорского и, выйдя, хлопнул дверью.

— Дайте телеграмму, чтобы сейчас же выслали сюда двух жандармов, и пусть бессменно дежурят здесь в конторе.

Пришла очередь обмерять и рядчика Савельева.

Карташев, при всей своей неопытности, видел, что дело Савельева не из важных. Кормил он своих работников на убой и в этом отношении был выше всех подрядчиков. Но работы его были не из выгодных,— мелкие насыпи, без выемок, где оплачивался каждый куб вдвойне, почти без дополнительных работ, как-то: нагорные канавы, углубления русл и прочее.

Чем ближе подвигалось дело к концу, тем грустнее становился Савельев, тем почтительней становился он с Карташевым, смотря на него с мольбой и страхом.

Когда Карташев приехал к нему с обмером, он, стоя без шапки, сказал с отчаянием:

— Вся надежда только на вас.

Карташев смущенно ответил:

— Я сделаю все, что могу.

И начал обмер.

Целый день продолжался обмер. Уезжая, Карташев сказал:

— Обмер я передам завтра в контору дистанции.

А Савельев, как на молитве, кивая головой, молил:

— Не оставьте несчастного, господин начальник.

С сжатым сердцем уехал от него Карташев, предчувствуя драму.

Приехав домой, Карташев сейчас же засел за подсчет и еще в тот вечер передал итоги Сикорскому.

Савельев на другой день явился за расчетом.

— Триста двенадцать кубов у вас,— сказал ему Сикорский,— по три рубля...

Савельев сделался белым, как мел, и даже качнулся.

— Помилуйте, господин начальник,— зашевелил он побелевшими губами,— за три месяца харчей только вдвое больше вышло... Не может этого быть: ошибка тут вышла...

Сикорский сделал гримасу и сказал:

— Вы что ж, проверки хотите?

— Пусть сами Артемий Николаевич проверят: они ж, наверно, не захотят обидеть несчастного человека.

— Хорошо, я скажу ему.

Подъезжая в тот вечер к дому, Карташев увидел темную фигуру у своих дверей.

— Кто?

— Я, Савельев.

— Заходите.

Савельев вошел вслед за Карташевым в темную комнату и повалился на колени.

— Не погубите, Артемий Николаевич, не погубите! Не может быть, что всего триста кубов наработано. По народу не может быть меньше тысячи кубов и то только-только в чистую выйду...

— Встаньте, встаньте,— поднимал его Карташев.

Но Савельев грузно сидел на своих коленях и продолжал:

— Я был у начальника дистанции, он разрешил вам перемерить меня, я нарочито его самого не звал: не погубите, Артемий Николаевич! Ведь пропал я совсем!

— Я завтра же перемеряю. Конечно, может быть, я и ошибся...

Савельев встал с колен. От отчаяния он перешел к надежде. Он заговорил облегченно:

— Ох, ошиблись, ошиблись, Артемий Николаевич, и, бог даст, завтра все исправите.

Карташев протянул ему руку и вдруг почувствовал в своей руке бумажку. Это была вчетверо сложенная десятирублевка.

Сердце его тоскливо сжалось.

— Нет, нет, господин Савельев, не нужно, совершенно не нужно. Вот вам крест, что я и без этого сделаю все, что могу.

Савельев растерянно прошептал:

— Простите Христа ради,— и вышел из комнаты.

Тяжелое, тоскливое волнение охватило Карташева.

— Сам виноват, сам виноват,— твердил он в отчаянии, идя к Сикорскому.

— Савельев недоволен вашим обмером,— сказал ему Сикорский.

— Это такая ужасная история...

И Карташев рассказал, как он изо дня в день одолжался у Савельева салом.

Сикорский мрачно слушал.

— Ах, как нехорошо,— сказал он, когда Карташев кончил.

Он покачал головой и досадно повторил:

— Очень некрасивая история.

Карташев сидел, переживая отвратительное чувство унижения.

— Сколько приблизительно могли вы съесть у него сала?

— Я не знаю... Месяца два я ел каждый день по несколько ломтиков.

— Фунт в день?

— Не думаю.

— Будем считать фунт, будем вдвое дороже считать: по двадцать копеек за фунт,— двенадцать рублей. Заплатите ему тридцать, пятьдесят рублей заплатите. Сделайте завтра новый обмер, а там завтра я в вашем присутствии произведу с ним расчет. Ай, ай, ай...

Долго еще качал головой Сикорский.

Уйдя от Сикорского, Карташев обходной дорогой, чтоб не проходить мимо Дарьи Степановны, пробрался прямо к себе.

Не зажигая свечи, он разделся и лег, торопясь поскорее уснуть. Но сон бежал от него. Чувство обиды и раздражения все усиливалось. Сердился он и на себя и на Сикорского, так строго отнесшегося к нему. Но под обидой и гневом неприятнее всего было чувство унижения. Что-то давно забытое, давно пережитое напоминало оно ему. И вдруг он вспомнил и мучительно пережил далекое прошлое.

Он был тогда гимназистом первого класса. По случаю весенней распутицы он жил тогда в городе и только

по субботам ездил домой, возвращаясь в понедельник в город. Жил он у брата отца, угрюмого сановитого холостяка, занимавшего большую квартиру в первом этаже на главной улице. Громадные венецианские окна выходили на улицу, и он отчетливо помнил себя в этой квартире с высокими комнатами, маленького, затерянного в ней, всегда одинокого, так как дядя или не бывал дома, или сидел в своем кабинете.

Он помнил себя сидящим на подоконнике этих громадных окон, как смотрел он на проходящих, как слушал шарманку, как тоскливо замирали ее последние высокие ноты в весеннем воздухе.

Как-то в понедельник отец дал ему рубль на покупку учебника арифметики, стоившего тридцать пять копеек. До субботы остальные шестьдесят пять копеек оставались у него в кармане. А соблазнов было так много. К пяти часам вечера его начинал мучить обыкновенно голод. Он очень любил швейцарский сыр, любил французские булки, особенные — с двойным животиком, слегка соленые. И он покупал и этот сыр и эти булки и, сидя на подоконнике, съедал их, смотря на прохожих, слушая музыку и мучаясь в то же время сознанием растраты. К субботе на последний пятачок он купил альвачику, а чтоб скрыть растрату, стер цену на обложке, протер обложку в этом месте пальцем насквозь, а снизу подклеил синюю бумажку, на которой написал «1 рубль». Чернила расползлись, и «1» распух и перьями разошелся во все стороны. Может быть, отец так и не вспомнил бы, но он сам только и думал об этом и, поздоровавшись, сейчас же вынул из сумки учебник в доказательство, что он действительно стоит рубль, и, передавая учебник, ему уже стало вполне ясным, что подлог не может не обнаружиться. Как мог он за мгновенье до этого думать, что никто и не догадается об этом, он сам не понимал. И теперь ему было совершенно ясно, что надо было просто признаться во всем. И, несмотря на все это, он на вопрос отца, почему это так странно обозначена цена, ответил, что он не знает, но что он заплатил за учебник рубль. Сверх обыкновения отец не вспылил и только как-то загадочно замолчал. Это молчанье болезненной тревогой охватило душу Тёмы, и он

напряженно ждал. Он ждал, что мать заговорит с ним. Только в воскресенье утром мать спросила его, оставшись с ним наедине: «Тёма, ты действительно заплатил рубль?» — «Да, мама»,— горячо и уверенно ответил Тёма в то время, как сердце его усиленно заколотилось в груди и кровь прилила к лицу. И опять больше ничего, и весь день тревога не улегалась в его душе. Он берег эту тревогу, был как-то задорно развязен с сестрами и в то же время почему-то находил в себе сходство с теми арестантами, которые под конвоем солдат чинили улицы. И от этого сравнения и от какого-то особенного молчания матери и отца еще тревожнее становилось у него на душе, а к вечеру он совсем упал духом и, сидя на окне, тоскливо смотрел на знакомый закат, там, где-то за голыми еще деревьями, опускавшегося солнца, где в лучах его ярко горели окна какого-то здания. Тогда, в детстве, няня рассказывала, что это волшебный дворец, что там спит его принцесса, и, когда он вырастет, он придет к ней и разбудит ее. И вот теперь он вырос и сделался вором, и не ему, конечно, теперь уж мечтать о принцессах.

С таким же тоскливым чувством проснулся он и в понедельник, и сердце его мучительно ёкнуло, когда в столовой он увидел совсем одетого отца. Очевидно, отец едет с ним. Куда?! Может быть, в полицию, где его сейчас и посадят в тюрьму. Отец вышел, молча сел в дрожки рядом с сыном и только, когда въехали в город, спросил сына:

— В каком магазине ты покупал учебник?

Сделав усилие, Тёма хрипло, упавшим голосом, назвал магазин. Так вот куда едет с ним отец. Неужели отец решится войти с ним в магазин и спрашивать то, что и без того уже ясно?

Когда экипаж остановился, отец, уже у дверей самого магазина, спросил сына:

— В последний раз тебя спрашиваю, сколько сто́ит учебник?

Вихрем закружились все мысли в голове Тёмы, сперлось дыхание и захотелось плакать, но едва слышным голосом он ответил:

— Рубль.

Дверь шумно распахнулась, и в магазин вошел старик Карташев, высокий, в николаевской шинели, бритый, с нафабренными черными усами, с прической на виски, а за ним съежившийся, растерянный, приговоренный уже, маленький гимназистик. Мучительно тянулись мгновенья, когда маленький, серьезный хозяин магазина в золотых очках, в белом галстуке внимательно рассматривал поданный ему учебник. Такой же серьезный и угрюмый стоял перед ним генерал Карташев.

— Все приказчики налицо,— заговорил, наконец, тихо хозяин и, подняв глаза, спросил Тёму:

— Кто именно вам продал эту книгу?

Тёма ответил:

— Один мальчик.

— Мальчики у нас не продают.

Тёма молчал, потупившись.

— У нас есть мальчики, но, собственно, к продаже они никакого отношения не имеют,— пояснил хозяин генералу.

Затем он обратился к одному из приказчиков и сказал:

— Позовите сюда всех мальчиков.

Пришли четыре мальчика в белых фартуках и стали в ряд.

— Кто-нибудь из них? — спросил у Тёмы хозяин.

Мальчики бойко и загадочно смотрели на Тёму. Тёма тоскливо посмотрел на них и тихо ответил:

— Нет.

— Больше никого из служащих в магазине нет,— холодно сказал хозяин.

И опять наступило страшное томительное молчание. Пригнувшись, Тёма ждал сам не зная чего.

— Вон, негодяй! В кузнецы отдам! — загремел голос отца, и в следующее мгновенье, сопровождаемый таким подзатыльником, от которого шапка Тёмы упала на панель, Тёма очутился на улице.

Видят всё это и из магазина, видит и Еремей на козлах и все прохожие, остановившиеся и смотревшие с любопытством.

Отец сел в экипаж и уехал, не удостоив больше ни одним словом сына.

С вытаращенными глазами, красный, как рак, с грязной фуражкой на голове, как пьяный, в полусознании, поплелся Тёма в гимназию. И вдруг бешеная злоба на отца охватила его. Он громко шептал:

— Ты сам негодяй, ты дурак, я тебя не просил быть моим отцом, и, если б меня спросили, кем я хочу быть, я захотел бы быть одним из тех мальчиков в магазине, которые смотрят весело, без страха и никого не боятся, как я, как будто все время около меня страшная змея, которая сейчас укусит меня!

Он шел дальше и громче и бешенее бормотал:

— А и дурак, точно мама позволит ему отдать меня в кузнецы, хотя бы я был бы очень рад навсегда отделаться от такого удава, как ты. Ах, если б ты знал, как я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя...

И как теперь, так и тогда под этим бешенством и злобой на отца еще сильнее владело душой чувство бесконечного унижения и стыда.

В тот день он уже не ел швейцарского сыра. Приехавшая к нему мать застала его спящим. Она сидела над своим сыном, зная его манеру спать с горя, когда Тёма вдруг стал возбужденно кричать во сне: «Папа подлец, папа подлец...»

Мать разбудила его, и, сидя на диване, Тёма сперва ничего не понимал, а когда понял, то разразился горькими рыданиями, между которыми, всхлипывая и задыхаясь, рассказал, как и на что он растратил злополучные деньги.

На другой день Карташев опять весь день обмерял Савельева, а вечером подсчитывал.

Вышло триста восемнадцать кубов.

Утром Савельев явился в контору.

Сикорский с обычной гримасой презрения сообщил ему результат и вынул девятьсот шестьдесят семь рублей.

— А вот еще пятьдесят рублей от инженера Карташева, за съеденное у вас сало.

— За какое сало? — спросил, как обожженный, Савельев.— За что такая обида еще? Разорили человека и надсмеялись еще.

Он порывисто схватил девятьсот семнадцать рублей и, не трогая пятидесяти, пошел к дверям.

— Жандарм,— сказал Сикорский,— возьмите эти пятьдесят рублей в пользу Красного Креста от господина Савельева.

Савельев, уже в дверях, не поворачиваясь, только досадливо рукой махнул.

Возвратившись в свои балаганы, он рассчитал всех рабочих и отправил, а сам ночью повесился, оставив неграмотную записку: «Погибаю невинно, заплатите, по крайности, мяснику забор четыреста двенадцать рублей. Савельев».

Когда Сикорский прочел эту записку, он сухо сказал Карташеву:

— Каким же образом дорога может заплатить?

— Я заплачу,— с горечью сказал Карташев.

— Это ваше дело,— холодно ответил Сикорский, передавая записку жандарму и говоря ему: — Распоряди-тесь похоронами, гроб закажите, яму выгребите, крест.

— Нанять священника, как прикажете?

— Пойдите спросите священника.

— Пожалуйста, из моих денег четыреста двенадцать рублей передайте жандарму,— сказал Карташев, вставая и уходя из конторы.

Жандарм ушел к священнику. Немного погодя он возвратился и, вытянувшись, держа перед собой фуражку, сказал:

— Так что священник отказывается, как самоубийца они.

— Ну, тогда без священника.

XVIII

От конца дистанции, со стороны Бендер, до Заима и дальше до станции путь уже был уложен, и накануне была получена телеграмма, что завтра приедет паровоз.

Сикорский поручил Карташеву встретить этот паровоз на конце дистанции.

Это был первый паровоз, и Карташеву не верилось, что по выстроенному ими пути может прибыть благопо-

лучно этот паровоз. Где-нибудь окажется нехорошо подбитая шпала, и он опрокинется. Во избежание такой случайности Карташев решил пройти пешком с Тимофеем эти восемь верст от станции до конца дистанции, с подштопкой в руках, и проверить подбивку каждой шпалы.

Начал он свою в сущности совершенно бесполезную работу с рассвета и кончил часам к десяти, как раз в то время, когда на горизонте показался дымок паровоза.

Сердце Карташева и радостно и тревожно забилось. Отирая струившийся с него пот, он хотя и был теперь спокойнее, чем с вечера, за безопасность паровоза, но все же не доверял все-таки делу своих рук. У него даже мелькала тревожная мысль: не лучше ли предупредить едущих и совсем их не пустить на дистанцию?

Но паровоз уже подъезжал тендером вперед, и на тендере сидел Борисов, начальник соседней дистанции, тот молодой инженер, с которым Карташев познакомился у Борисова, и еще какой-то пожилой инженер в форме, и все весело махали ему рукой.

Паровоз остановился, и, слегка заикаясь, Борисов крикнул ему:

— Скорей садитесь!

Карташев полез на паровоз, а Тимофей испуганно спрашивал его:

— А я?

Понятно было желание Тимофея и вполне заслуженно, но Карташев боялся, как посмотрят на это сидевшие. Наконец, решившись, тихо сказал уже с паровоза, наклоняясь к Тимофею:

— Полезай и стой тут, туда,— показал он на тендер,— не ходи.

— Ну, пожалуйте,— приветствовал его Борисов,— садитесь на скамью подсудимых между двумя начальниками. Вот один — позвольте вас познакомить, наш правительственный инспектор —его превосходительство Иван Николаевич Емельянов, а другой — я... Тот не в счет,— махнул он на соседнего начальника дистанции.

И, когда Карташев сел, Борисов сказал ему:

— Приказывайте, с какой скоростью в час нам ехать?

«Совсем не ехать»,— хотел было сказать Карташев, но, подавляя волнение, ответил:

— Со скоростью десяти верст.

— Что? Стоило строить железную дорогу для этого.

И, махнув беспечно машинисту, он крикнул:

— Тридцать верст!

— Борис Платонович! — вскрикнул Карташев.

Но Борисов только рассмеялся.

Паровоз, покачиваясь и точно подпрыгивая, понесся вперед. Карташев, замирая, сидел, впившись глазами вперед, и напряженно ждал каждое мгновенье чего-то ужасного.

Борисов весело наблюдал его.

— Постойте, я сейчас приведу его в чувство,— подмигнул он инспектору, и, толкая Карташева, он спросил: — Ну, господа песочные подрядчики, как ваши подряды?

Карташев действительно сразу пришел в себя и, как обожженный, ответил:

— Я не подрядчик.

— Как так?

— Не подрядчик и подрядчиком никогда не буду.

— Вот это настоящий бандурист,— сказал Борисов, ласково, даже нежно обнимая Карташева.

Карташев сразу повеселел, почувствовал себя хорошо.

— Он тоже,— кивнул Борисов на Бызова,— отказался от этого подряда, и Лепуховский.

Теперь, когда они с такой быстротой неслись, ему стала ясна бесполезность его сегодняшней проверки, и он сказал:

— Мне прямо совестно признаться, какой я неграмотный дурак. Вы знаете, сегодня с таким же другим умником из деревни мы прошли с подштопкой весь путь, проверяя подшивку шпал.

— Зачем?

— Боялись, что опрокинется паровоз.

— О-о! Где ж этот другой?

— Он там, на паровозе.

— Покажите его.

— Тимофей! — закричал Карташев.

— Ась! — отозвался Тимофей, а затем показалась и вся его довольная фигура.

— Как думаешь,— спросил его Борисов,— доедем до станции или опрокинемся?

— Надо доехать,— ответил весело Тимофей.

— Надо доехать — это, брат, знать наверняка надо: вы-то шпалы пробовали?

— А как же,— ответил Тимофей,— каждую шпалу удостоверили, иначе разве возможно?

Все смеялись, а Борисов говорил Тимофею:

— Молодец, братец. А вы,— обратился он к Карташеву,— пишите новый учебник.

— Вы когда кончили? — сипло спросил Карташева коренастый, обросший бородой инженер.

— В этом году.

— Бывали на практике раньше?

— Нет.

Инженер помолчал и сказал:

— Ну, вот теперь вы научились, как не надо строить.

— Ну, вот уж,— вскинулся Борисов,— как не надо?

— Конечно,— грубым голосом заговорил инспектор,— эти уроды — так надо? — ткнул он в проносившуюся мимо них будку.— Этот урод мост, как надо?

— Я насчет этого особого мнения,— помолчав, заговорил Борисов.— Слов нет, красивая будка приятнее для глаза и для жизни. Но если сто миллионов живут в неизмеримо худших избах, то еще большой вопрос в смысле справедливости и правильности затраты денег этих миллионов на жизнь нескольких счастливцев, которые будут жить в таких будках. Ну, будки еще туда-сюда. А красавцы мосты, по которым тоскует ваше сердце... На кой леший, спрашивается, красота наших мостов, на которые и смотрят-то только зайцы да волки. Или эти вокзалы-дворцы, зеркала и бархат в вагонах? Роскошная наша русская жизнь, прежний тип почтовых станций вдохновили нас? А между тем каких денег все это стоит? В результате ведь вот что: нам нужно, скажем, двести тысяч верст, а так, как мы размахнулись, мы на эти деньги выстроим только пятьдесят тысяч верст, и того не выстроим. А дело между тем коммерческое прежде всего, и если оно не оправдывает

своих расходов, то вместо пользы оно бременем ложится. При нашей постановке вопроса выходит так: чем больше мы будем строить, тем больше будем разорять-ся. И причина в том, что нам, как самой бедной в мире стране, надо было выбрать самый дешевый тип, а мы выбрали самый дорогой, какого до того и не было, самый ненормальный, следовательно только назвавши его при этом нормальным. И все потому, что император Николай Павлович с крепостническим размахом, опасаясь иноплеменного вторжения, вместо того чтоб сузить путь против остальной Европы, уширил его на полфута.

Борисов обратился к Карташеву и серьезно сказал ему:

— Несомненно грамотеями тех времен владело чувство и вашего сегодня опасения: как бы не опрокинуться. Ведь Царскосельскую-то дорогу они шестифутовую закатили. Тара-то на вагон, мертвый груз, значит семьсот пудов, а подъемная сила — триста, а за границей подъемная сила семьсот пятьдесят, а тара двести двадцать пудов. Помимо двойной стоимости.

— Ну-с, извините, я не согласен с вами,— резко и угрюмо возразил инспектор.

— Извиняю,— развел руками Борисов.

— И я вам докажу...

— Не докажете, потому что уже приехали, и сам господин подрядчик приветствует нас на перроне.

Сикорский махал шляпой, и при ответном махании паровоз остановился.

В окнах пассажирского здания уже виден был накрытый стол.

— Первая умная вещь, которую вижу,— показал на него пальцем инспектор.

— Не было бы подрядчика,— ответил Борисов.

— Не завидуйте, зуда! — смеясь, ткнул его в бок Сикорский.

— А, зуда! — поддержал Сикорского инспектор.

— И чтоб доказать вам, что я зуда, я не дам вам есть, пока не осмотрите всей станции,— сказал Борисов.

— Ну, пока хоть по рюмке водки,— предложил Сикорский.

— Да об чем же толковать?— забасил инспектор.— Кто не желает, может не пить.

И инспектор, а за ним Сикорский и соседний начальник дистанции пошли в пассажирское здание, а Борисов с Карташевым отправились на осмотр. Инспектор так и не пришел. Когда Борисов с Карташевым возвратились после осмотра в пассажирское здание, остававшиеся уже успели выпить и закусить. Инспектор сидел, откинувшись на спинку стула, положив руку на спинку другого стула, глаза его посоловели, и он встретил входивших не то шуткой, не то упреком:

— Бунтовщики!

— Не знаю, как в остальном организме,— ответил весело Борисов,— а в желудке у меня так даже целая голодная революция... Как известно, самая ужасная из всех.

— Ну, и пейте водку,— грубо сказал инспектор.

— Водки не пью, а вот есть буду и квасу бы выпил, если есть.

Квасу не было.

— Пошлите к землекопам,— предложил Борисов.

Послали и принесли.

Инспектор обратился к Карташеву и, показывая на Борисова, сказал:

— С этим господином я вам советую подальше...

— Он благодарит вас за совет,— ответил Борисов,— и просит разрешить ему руководствоваться своими собственными соображениями.

Инспектор налил себе новую рюмку и ответил:

— Вольному воля...

Борисов сел с Карташевым в стороне и, пока не подали обед, закусывая, продолжал делать замечания по поводу своего осмотра. Замечания были дельные, и Карташев, слушая, думал, что Борисов обнаруживает не только большие и теоретические и практические познания, но и большую вдумчивость, способность обобщать вопросы.

Когда Карташев высказал ему это, Борисов ответил:

— Через несколько лет и вы накопите и опыт и знания, так же будете и думать и обобщать. Несомненно, что у инженера поле зрения большее, пожалуй, чем у

других специалистов, да, пожалуй, что и в умственном отношении инженеры представляют из себя большую силу. Вероятно, и по своему опыту вы могли прийти к заключению, что в наш институт попали сливки гимназий,— и по способностям и по энергии пробиваться в первые ряды. Даже недостатки нашей инженерной среды говорят хотя и о больных отчасти, но и способных людях: пьянство, размах разгула, адюльтерство, больное самолюбие, сумасшествия, постоянные самоубийства... Среда во всяком случае исключительная, а особенно наша строительная. Если вы по постройке пойдете,— вот всегда такое же напряжение. Калифы на час, на мгновение люди сходятся, сближаются в общей работе и опять расходятся. И все это вокруг одного священного кумира, где все страсти сильнее разгораются.

— Люди гибнут за металл...— приятно и верно пропел Борисов.

— Вот чему человека учит,— уже совсем пьяным голосом отозвался инспектор,— говорю вам, господин Карташев, лучше идите водку пить, потому что из всех погибелей это самая благородная и приятная. Там деньги, женщины, молодость — все изменят, а водка всегда найдется, если даже дойдешь и до Ломаковского...

Инспектор пригнулся и с своей грубой, циничной манерой спросил Карташева:

— Ломаковского знали?

— Нет.

— Наш инженер тех времен, когда наше ведомство еще именовалось министерством публичных работ и общественных зданий. Этот Ломаковский спился и в последнее время просил милостыню, протягивая руку и говоря: «Помогите благородному человеку, которого вчера выгнали из общественных работ, а сегодня из публичных зданий!» И ему всегда давали, и до конца дней своих он был пьян...

Инспектор помолчал, ткнул носом и пробормотал:

— Такой вот и я буду...

Борисов, наклонившись к уху Карташева, шептал:

— В свое время дельный человек был. Написал прекрасную книгу по новому совсем вопросу — сопротивление малоисследованных материалов.

Когда, наконец, подали обед, инспектор заплетающимся языком, сделав широкий жест, сказал:

— Есть больше не буду, а вот если б минут на двадцать прилечь где-нибудь...

Принесли сена и инспектора уложили на него в соседней комнате.

— Вот связался,— досадливо проговорил Борисов,— как теперь его повезешь домой? Придется, как тушу, уложить на паровоз и везти напоказ.

Когда инспектор ушел, Сикорский лукаво подмигнул Борисову и, показывая на Карташева, сказал:

— Расспросите-ка вы его, как он за три фунта сала пятьсот рублей заплатил...

И Сикорский весело рассмеялся.

Борисов, выслушав, сказал:

— Что ж тут смешного? Савельев дороже — жизнью заплатил. И, конечно, надо было войти в его положение и заплатить ему по стоимости, а не придерживаться мертвой формальности.

— Не мое ж это, а Полякова достояние.

— Не нанялись же вы у этого Полякова разорять и отправлять на тот свет людей? Наконец, могли бы запросить главную контору, и, я думаю, вы и сами не сомневаетесь, какой ответ через час был бы... И Савельев не спал бы теперь в земле. И как хотите, а на вас и вина в его смерти...— И, слегка заикаясь, Борисов кончил: — И ничего смешного и веселого в этом нет.

К концу обеда инспектор уже вышел и с виду был совершенно трезвым, но угрюмым и молчаливым.

— Ну, что ж, поели, можно и ехать? — спросил Борисов.

— Я готов,— мрачно ответил инспектор.

— На дорожку, ваше превосходительство,— предложил Сикорский.

— Не буду,— отрезал инспектор.

Он сухо, не смотря, едва протянул руку Сикорскому и Карташеву и полез на паровоз.

Борисов шепнул, кивая на инспектора:

— Как вам нравится? Пьян ведь, как стелька, был, а через полчаса — ни в одном глазе, и водой голову не поливал, если не считать рюмочку водки, которую унес с собой...

— И в которую влил несколько капель нашатыря,— сказал Бызов.

— Да, так вот что! А вы меня еще называете опытным инженером,— обратился Борисов к Карташеву,— а я, можно сказать, мальчишка и щенок вот даже перед таким Володенькой, который и не курит и не пьет...

— Ну, ну, полезай, полезай...— толкал Бызов подымавшегося на паровоз Борисова.

— Ну-с, до свиданья, как говорят в наших палестинах,— кивнул Борисов, сидя уже на тендере, когда паровоз тронулся в обратный путь.

Когда паровоз скрылся, Карташев слегка разочарованно сказал Сикорскому:

— Ну, вот и открыли дорогу.

— Открыли,— пренебрежительно махнул рукой Сикорский.— Теперь начнут шляться, благо за проезд не платить, а прогоны получать... А как вам понравился этот урод, пьяница инспектор? Ведь совестно смотреть... И вот большинство из ваших такие же. А как пьют они при настоящем открытии дороги? На позор всем едут не люди, а мертвые тела. И Бызов такой же: мальчишка совсем еще, а льет, как в бочку...

— Но он не был же совсем пьян.

— Организм еще не ослаб, но выпил он больше инспектора. Ай, ай, ай...— педантично качал головой Сикорский.

Карташев печально слушал, и в памяти его вставали Савельев, подряд Сикорского, обсчет молдаван, и ему хотелось бы теперь уехать вместе с теми, кто был на паровозе. Зачем он не поехал в самом деле? Увидел бы Лизочку, Марью Андреевну, провел бы прекрасно вечер, послушал бы музыку.

И вдруг паровоз опять показался и быстро приближался к станции.

— Его превосходительство портфель свой забыл,— крикнул Борисов.

— А что вы скажете,— спросил Карташев Сикорского,— если я тоже махну с ними в город?

— А когда назад?

— Завтра утром.

— Поезжайте.

— Ура!..— весело крикнул Борисов, когда Карташев сообщил, что тоже едет.

В Кирилештах, где была главная контора Бызо́ва, слезли Бызов и инспектор, а Борисов и Карташев поехали в Бендеры.

Исчезла недавняя, еще кипучая жизнь линии. Теперь безмолвно залегло полотно железной дороги, и было по-прежнему тихо и безлюдно кругом.

— Собственно, рабочих дней на постройку всей дороги будет употреблено сорок три дня,— говорил Борисов.— Это первая в мире по скорости постройки дорога.

Пахло осенью, и печально садилось солнце, освещая уже убранные пожелтевшие поля, полотно дороги, сверкавшие на нем рельсы. Гулко разносился кругом шум несущегося паровоза, извивавшегося вдоль речки холодной стальной лентой, точно застывшей в закате.

— Да,— сказал Карташев,— точно волшебники какие-то пришли, сделали эту дорогу и исчезли. Не все исчезли: Савельев останется... Я никогда себе не прощу, что своевременно не вдумался в переживавшуюся драму...

— Да, да, это было непростительное легкомыслие со стороны и вашей и Сикорского. И вовсе не то, что вы там сало ели,— это чепуха,— а то, что раз вы изо дня в день видели, что человек работал и труд его не оплачивался, то вы и должны были вытащить его из капкана, в который он попал.

— Конечно... у него, несчастного, остались жена и дети.

— Они где?

— В деревне, у меня есть адрес, я пошлю и им...

— Да что вы пошлете?! — вспыхнул Борисов.— Нужно учесть по стоимости работу Савельеву, и разницу наша контора перешлет его жене.

Борисов вынул записную книжку и что-то записал.

— Сикорский завтра же получит официальное предписание сделать это.

— Конечно,— говорил Карташев,— теперь все совершенно ясно, и если бы мои мысли не были связаны сознанием, что я ел у него это несчастное сало...

— А все потому,— горячо перебил Борисов,— что люди никогда не умеют стать выше переживаемого мгновенья. И им кажется тогда, что самое ужасное уже случилось. А отвлекитесь от мгновенья, взберитесь на бугорок, всмотритесь спокойно вдаль, и Савельев жил бы... Отвратительна эта проклятая вечная слепота этого эгоистичного «я». Это «я» я так ненавижу, что дал себе клятву никогда не жениться, потому что семья — источник этого отвратительного «я», основа всей нашей яевой скорлупы: я своего Ивана только потому, что он мой, будь он дурак из дураков, а посажу всем остальным Иванам на шею — на их и на его погибель. Не может человечество при таких условиях прогрессировать, не может быть добрым, великодушным, альтруистичным до тех пор, пока не будет разрушено братство плоти и не заменит его братство духа. А до тех пор всё и вся, от верху до самых низов, все люди развращены. И днем обновления человечества, днем новой жизни будет тот день, когда воспитательные дома заменят семью!

Паровоз в это время проносился мимо дач.

— Борис Платонович,— сказал в ответ Карташев,— я еду, собственно, к Петровым, может быть и вы заедете?

— К Петровым? К этим поклонникам семейного культа? Боже меня сохрани и избави... Я живу так, чтобы у меня слово не расходилось с делом. Вот вашу сестру, Марью Николаевну, я признаю: она, как и я, ненавидит семью, а с матушкой вашей мы уже ругались... Нет, я шучу, конечно, и не зайду к Петровым, потому что накопилось, наверно, за день много дела. Бывайте здоровы и не забывайте.

Карташев попрощался и слез у дома Петровых.

С террасы весело закричала Марья Андреевна:

— Кто, кто, кто? А вы?! — обратилась она к уезжавшему Борисову.

Но тот только весело разводил руками.

Пока Карташев переходил улицу, из калитки вышли и Марья и Елизавета Андреевны.

Елизавета Андреевна еще похудела, сильнее чувствовалась ее хрупкость, еще больше стали ее глаза. Она весело смеялась, энергично пожимая руку Карташева, и много мелких морщинок обрисовалось около ее рта.

Карташев радостно держал ее руку, смотрел в глаза и говорил:

— В Крым, Крым надо вам ехать.

— Да еду, еду,— махнула она свободной рукой.

Когда пришли на террасу, Марья Андреевна сказала:

— Пока вам дам чаю...

— Со сливками?

— И даже с лепешками.

— О-о!

И, подавая все Карташеву и садясь возле него, она сказала:

— Ну, рассказывайте, как там живете... все подробно... Я люблю, чтобы мне так рассказывали, как будто я там сама жила...

Вечер прошел быстро и весело. Сестры пели, играли, пришел Петр Матвеевич и сел ужинать.

Прощаясь, Петр Матвеевич, скупой обыкновенно на слова, сказал, когда дамы ушли:

— Валериан — эгоист: заграбастал себе все с подряда, показал вам кукиш с маслом и несчастного Савельева так ни за что, ни про что отправил на тот свет.

— При чем тут Валериан Андреевич? — горячо защищал его Карташев.— От подряда я сам отказался, и нет той силы, которая заставила бы меня согласиться, а в смерти Савельева произошло несчастное недоразумение, в котором...

— И вы и Валериан вышли прежде всего типичными русскими чиновниками; по такому-то пункту, по такому-то параграфу, а если жизнь прошла под этим пунктом, то это уж не ваше дело. Вы-то хоть продукт своей страны, а Валериан-то нос ведь дерет: я заграничный, я свободный от формы человек, а на деле еще хуже нас, грешных. Ну, идите спать,— закончил Петр Матвеевич.

XIX

Возвращаясь на другой день утром назад на линию, Карташев поздно спохватился, что ничего не купил в подарок Дарье Степановне из того, что обещал и собирался в разное время купить ей.

Забыл он как-то совсем об Дарье Степановне, совершенно вылетела она из головы при встрече с Петровыми. И теперь он жалел и придумывал законную причину.

«Да скажу просто, что приехал поздно, уехал рано: магазины были заперты».

Но это все-таки не успокаивало Карташева, и он чувствовал угрызения совести в отношении Дарьи Степановны. Правда, она не предъявляла к нему решительно никаких требований, но она была очень хороший, скромный человек, и это налагало, помимо требований с ее стороны, ответственность за свои действия и с его, Карташева, стороны. Иногда ему приходила мысль в голову жениться на ней, и тогда Аделаида Борисовна вставала перед ним. Аделаиду Борисовну он боготворил какой-то неземной любовью,— союз с ней казался ему недосягаемым счастьем. Дарью же Степановну он в сущности и не любил даже, а только привык уже и уважал.

Несколько дней тому назад приехал к ним и другой телеграфист. Это был молодой человек, желтолицый, плохо сформированный. Но, очевидно, более опытный, потому что Дарья Степановна беспрекословно подчинялась его авторитету.

Теперь он дежурил ночью, а Дарья Степановна днем. Дарья Степановна пока, до перевода телеграфа на станцию, жила по-прежнему в конторе, занавесивши в углу свою кровать, и на той же кровати высыпался в течение дня телеграфист. Нанимать же на деньги из жалованья квартиру не было средств. Телеграфист получал тридцать пять рублей в месяц, Дарья Степановна двадцать пять рублей. И почти все деньги, при существовавшей дороговизне, уходили на еду. Карташев, правда, предлагал Дарье Степановне денежную помощь, но она наотрез отказывалась.

Таким образом, в течение этих нескольких дней с приезда телеграфиста Карташев фактически был разлучен с Дарьей Степановной.

То, что он ничего не купил ей, усилило в нем к ней нежное чувство, и Карташев серьезнее других раз стал обдумывать вопрос, не жениться ли ему на Дарье Степановне.

Когда он подъезжал к дому, вопрос был решен: жениться и сегодня же сделать ей предложение.

Увидев ее на завалинке, он остановил паровоз и весело пошел к ней навстречу.

— Я так соскучился по вас, что мне кажется,— сказал он, здороваясь с ней,— что уже сто лет, как не видел вас.

— Правда? — вздохнула Дарья Степановна,— а я думала, что вы уж совсем и забыли меня.

— Слушай, Даша,— сказал Карташев, садясь рядом с ней и держа ее руку,— что нам тянуть? И ты и я свободные люди, поженимся...

Дарья Степановна быстро опустила голову и долго молчала. Она заговорила глухим, дрожащим голосом:

— Я уже выхожу замуж... за этого телеграфиста. Я хочу вас просить быть у нас шафером. Что было — то было — у него, у меня; мы ответственны друг перед другом только за то, что будет. Еще я к вам с просьбой,— и мне очень совестно. Дайте мне взаймы сто рублей на свадьбу. Вы, может быть, не верите мне, так поверьте: я каждый месяц буду вам выплачивать по три рубля...

Карташев торопился освоиться с новыми ощущениями,— ему было и обидно и легко в то же время,— и он ответил, упрашивая взять у него больше денег и не считаться с отдачей.

Дарья Степановна выслушала и покачала головой.

— Что вы меня обижаете, Артемий Николаевич? Вы хотите, чтоб я себя не уважала? Я знаю, что вы без умысла это... Сделайте, как прошу, и больше не говорите ничего.

Карташев покраснел, сконфузился и, целуя ей руку, сказал:

— Больше не буду. Сто рублей сейчас передать?

— Если есть.

Карташев передал деньги.

— Расписку вам выдадим муж и я. Мы хотим в воскресенье и венчаться. А как вы думаете, Сикорский согласится тоже быть шафером?

— Конечно.

— Я сегодня же поеду в город.

— Вы поезжайте с этим паровозом, а воротитесь с балластным. Он выедет сюда в семь часов вечера из Бендер, я дам вам записку.

В воскресенье состоялась свадьба.

После свадьбы был обед у Сикорских, и прямо с обеда новобрачные уехали на станцию, в свое новое, очень скромное помещение.

Вечером опять светила луна, но Карташев уже один сидел на своей завалинке, смотрел на реку, смотрел на соседний пустой теперь дом бывшей телеграфной конторы, где уже никто не сидел на завалинке, куда не пойдет он больше, и чувствовал пустоту и одиночество.

«Теперь,— думал он в утешение себе,— когда я опять свободен, больше не вкручусь ни в какую историю: или Аделаида Борисовна, или никто».

Он вздохнул и подумал:

«Слава богу, и нет никого. Даже у Лизочки уже есть жених».

XX

Теперь он ездил по дистанции на балластных поездах, с тоской и грустью вспоминая былое оживление линии. Тогда казалось таким необходимым его присутствие, заболей он, умри, тогда все дело остановилось бы. А теперь он никому больше не нужен был. Балластная возка — единственная работа на линии — шла и без него.

Сидя на тормозе, ему оставалось только переживать все это бурное, такое еще недавнее прошлое.

Только ему одному, впрочем, понятное прошлое. Что скажет всякому другому, кто будет проезжать здесь в поезде, та дорожка, уходящая в лес, те бугор-

ки, которые он раскапывал, отыскивая песок, остатки бывших бараков, где когда-то жили и волновались своими мгновениями люди, где всегда с нетерпением ждали его, Карташева, когда казалось ему, что только из-за него и стояла вся работа. А там крестик простой деревянный на могиле, где зарыт несчастный Савельев, едва видный с линии.

И конец дистанции и начало, где когда-то качался Карташев, как маятник, между двумя соблазнами, были особенно тяжелы теперь по воспоминаниям. Здесь всегда — образ повесившегося Савельева, там, на станции, Дарья Степановна с мужем, теперь всегда настороженные и даже враждебные к нему.

И прозрачная осень, с обычной печатью грусти и отлетающей жизни, еще сильнее нагоняла чувство одиночества и меланхолии. Правда, приятной, всегда с стремлением вдаль.

В этой дали ярче всего другого вставал образ Аделаиды Борисовны. К ней тянуло, как к чему-то единственно близкому. Для всех других и всего другого — он всегда чужой и только временами как будто и близкий и нужный человек.

«Борисов говорит, что семья — это основа всякого эгоизма, всякого зла,— думал Карташев,— а между тем семья и самый главный двигатель человека. Без сознания, что ты кому-то нужен, необходим, нет энергии. Везде и во всем заменят меня и только у той, которая полюбит, никто не заменит. Для нее работать, жить, радовать ее своими успехами...»

В таком настроении, возвратившись однажды с линии, Карташев получил телеграмму от Пахомова, вызывающую его в Бендеры.

Карташев показал эту телеграмму Сикорскому, и тот, подумав, сказал:

— Я думаю, что это сигнал: «К расчету стройся». Я вам советую ехать со всеми вещами.

В тот же вечер Карташев выехал, сев на поезд не на станции, а в Заиме. Провожали его только Сикорский и Тимофей. Тимофей завтра тоже получал расчет, причем ему не в счет выдавалось сто рублей наградных, да успел он скопить рублей около ста.

— Зайцем проеду,— говорил Тимофей,— в Самару рублей за десять, а как иначе? — а остальные денежки домой привезу, водкой стану торговать, а как иначе?

— А поймают да в тюрьму посадят? — спрашивал Сырченко.

— Не поймают,— тянул Тимофей, а Сырченко весело смеялся.

Вот и не видно и не слышно больше ни Тимофея, ни Сырченко.

И они — уже невозвратное прошлое.

Вот уродливо торчащая из-под насыпи деревянная труба, которую ошибочно разбил Карташев и которая теперь осталась немым, но красноречивым памятником его инженерного искусства.

А вот с провалившейся крышей будка, крышу которой слишком усердно Карташев смазывал, предохраняя ее от пожара, глиной. И она тоже памятник.

И водокачка на станции — разбитая по ошибке на полторы сажени дальше от пути, вследствие чего ее питательная труба вышла уродливой длины.

«Только такие памятники и остались, только они и бросятся в глаза, и будут по ним судить обо мне, а все остальное: напряженный труд, любовь, сотни всяких удачных комбинаций... кто об этом когда-нибудь узнает, это зачтет и кому об этом расскажешь? Только Деле!..»

И сердце Карташева тревожно и радостно билось.

Предположение Сикорского оправдалось только отчасти.

Карташев действительно отчислялся от постройки, но назначался одновременно в эксплуатацию помощником начальника участка самого трудного, от Галаца до Троянова-Вала.

— Начальником участка там Мастицкий,— говорил Пахомов,— один из самых дельных наших инженеров, но он все болеет, и если не подкрепить его надежной силой, то в конце концов он перервется. Мы посылаем вас через Одессу морем, так как у Савинского тоже будет к вам поручение.

За постройку Карташеву выдали, как премию, полугодовое жалованье и новые подъемные, как уже эксплуатационному инженеру. Вместе с этим ему воз-

вратили уплаченные им мяснику за Савельева четыреста двенадцать рублей, так как, по учету работ Савельева, ему пришлось получить около трех тысяч, и эту разницу, за вычетом выданных Сикорским и Карташевым, главная контора уже отправила вдове Савельева.

Данилова уже не было в Бендерах.

Между прочим, Карташев узнал, что Дарье Степановне, как и всем телеграфистам, премии никакой не будет дано.

— Ну, что — они без году неделю служили,— пренебрежительно бросил главный бухгалтер.

— Да ведь и вся дорога без году неделя строилась,— отвечал Карташев,— а получил же я почти двухгодовое жалованье, да больше чем на тысячу процентов увеличено мое содержание.

Бухгалтер пожал плечами.

— Дело коммерческое. Такова польза, значит, от вас, так расценена она, а какая же польза от телеграфиста? Работа той же лошади,— не он, так другой.

Карташев узнал также, что Сикорского совсем отчислят, а Петров останется начальником первого участка.

У Сикорского, хотя и купили его карьер за двадцать пять тысяч, но были им недовольны и Пахомов и Борисов.

Борисов говорил:

— Совсем торгаш-молдаванин. Теперь еще к нам поступило прошение этих молдаван, что он заставлял их вместо куба куб десять сотых возить. Я не думаю, чтобы после всего этого Сикорский где-нибудь на другой дороге был бы строителем. Да этого ему и не нужно: тысяч сто он имеет и будет через несколько лет миллионером-подрядчиком.

— Не будет,— отвечал Карташев,— для подрядчика у него не хватает эластичности, покладистости, приниженности: Сикорский самолюбив и строптив.

— Ну, частное дело придумает: голова хорошая, но не думаю, чтоб у Полякова он еще работал.

Остальной день до вечера, до отхода поезда в Одессу, Карташев провел у Петровых.

Петров, потирая руки и смеясь, говорил ему:

— Вот теперь вас запрягут. Участок Мастицкого, говорят, один сплошной ужас: там десятки верст плывунов, постоянные обвалы, пятнадцать верст, между Рени и Галацем, линия идет разливом Дуная, и опытные люди говорят, что при той высоте насыпи и тех укреплениях ее, какие имеются, насыпь не выдержит весеннего разлива Дуная. Словом, будете довольны. Я просил было вас к себе, просил и Бызов, но решили заткнуть вами самую главную дыру. Вот-с, в каком вы почете на линии у нас.

Елизавета Андреевна уже уехала с своим женихом в Крым, и Марья Андреевна, подняв плечо, грустно говорила:

— Уехала, уехала наша птичка.

А Петр Матвеевич, всегда правдивый и прямолинейный, махнул рукой и сказал:

— Дело ее совсем дрянь: она не переживет зимы.

Но увидев, что Марья Андреевна, уткнувши лицо в платок, заплакала, Петров сделал страшное лицо Карташеву и, с отчаянием махнув рукой, стал беззвучно хлопать себя по губам.

— Ну, я окончательно не верю вам,— сказал Карташев,— доктор вам, что ли, это сказал?

— Нет, не доктор.

— А вы что ж за доктор?

— Он всегда каркает,— ответила, плача, Марья Андреевна.

— Это верно, что я всегда каркаю,— согласился Петров.

Марья Андреевна вытерла слезы и горячо заговорила:

— Он всегда видит только одни ужасы: в этом отношении жить с ним — каторга. Если солнце светит, он думает о дожде; если какая-нибудь радость — он ищет отрицательной стороны и до тех пор не успокоится, пока не сведет на нет всю эту радость. Я его называю гробокопатель.

— Э-хе-хе,— вздохнул Петр Матвеевич,— прожила бы ты с мое, посмотрел бы я, как тебя бы жизнь вышколила...

— Жила и не меньше твоего перевидела.

— За братниным плечом не совсем-то это то... Мой-то приемный отец был биндюжник. Моя родная мать хотела было меня со скалы в море бросить, а тут и подвернись этот самый биндюжник. Детей с женой у него не было, он и усыновил. Так вот по какой круче я пошел царапаться. В двенадцать лет и отец и мать приемные умерли, и я уж совсем один остался. Кончил и гимназию и техническое училище и пережил то, чего ни один золоторотец не переживет. Ел требушину черную, как сапог, и вонючую, как...

— Да брось...

— Брось так брось. Но только, как увидишь с этой стороны жизнь, то уж перестанешь и в бога, и в людей, и во все радостное верить... А уж сверкнет и жизнь радостью, так уж потом так отомстит, что будь она проклята и радость.

Марья Андреевна, слушавшая было с тоской и даже ужасом, рассмеялась и, показывая рукой на мужа, сказала:

— Вот сокровище!

Карташев домой не телеграфировал, и приезд его был полной и приятной неожиданностью.

У родных он провел два дня, пока Савинский приготовлял нужные для Букареста бумаги.

С этими бумагами и соответственными инструкциями командировался Карташев к главному инженеру, заведовавшему тыловыми сообщениями армии.

Командировка была почетная, и Карташев говорил домашним:

— Я какой-то, непонятной мне самому силой, все выше и выше, как на крыльях, поднимаюсь на гору.

«Может быть,— думал Карташев,— отчасти влияет здесь то, что Савинский сошелся с его семьей и ухаживал как будто за Маней».

Но Савинский случайно, но как будто ответил на мысли Карташева, по случаю замечания Аглаиды Васильены, что слишком балуют ее сына.

— Мы никого не балуем,— ответил ей Савинский.— О, вы нас еще совсем не знаете. Мы — самая обыкновенная, самая настоящая торговая лавочка, преследующая только свои интересы, учитывая все, что может прине-

сти нам выгоду. И все мы приказчики нашего дела. Хорошим приказчиком дорожим, плохого без сожаления гоним. Я еще на днях удалил такого. Он мне говорит: «Николай Тимофеевич, это несправедливо». А я ему ответил: «Кто вам сказал, что я хочу быть справедливым? Я хочу быть только приказчиком и соблюдать выгоды своего хозяина». Соображения, почему я посылаю Артемия Николаевича, следующие. Начальник тыловых сообщений — прекрасная, благородная личность, преданная своему делу. В лице Артемия Николаевича он встретит такого же преданного, такого же неподкупного, одним словом, своего alter ego [1], и это сейчас же почувствуется и установит тот характер отношений, который и нужен. Как видите, мы всё, вплоть до наружности, учитываем и из всего извлекаем свою выгоду. И здесь только эгоизм и ничего другого.

Когда уехал Савинский, Маня говорила:

— Я не сомневаюсь, что он говорит совершенно искренно. Он именно только эгоист дела, и, кроме этого, у него ничего нет в жизни. Его фантазия, что ему надо любить,— чушь: ничего ему больше, кроме его дела, не надо. Разве только увеличения размеров этого дела: три дела, десять дел, вся Россия.

— Он будет министром,— согласилась Аглаида Васильевна.

— Я тоже думаю, что будет,— согласилась Маня,— потому что министры, мне кажется, из такого теста и делаются: «Кто вам сказал, что я хочу быть справедливым?»

— Ну, а Борисов как вам понравился?

— Умный, дельный,— ответила Аглаида Васильевна,— установившийся вполне...

— Кто к нам подойдет,— вставила Маня,— а уж мы ни к кому не приспособимся: уж извините... С Аней они очень подружились.

— Что ж? — согласилась мать.— Аня подошла бы к нему.

— Думать, как хочет, не мешала бы,— вставила опять Маня, — а рубашка чистая всегда была бы.

---

[1] двойника (*лат.*).

— И рубашка и обеды,— говорила Аглаида Васильевна, гладя роскошные русые волосы Ани,— и ровная ласковая, как ясный день. Там пусть мужа на трон посадят другие,— пусть сбросят его в самую преисподнюю, а с ней все тот же ясный день.

— Вот, вот,— кивнула Маня,— теперь ты, Аня, заплачь...

Аня, взволнованно оттопыривая пухлые губки, с глазами, полными слез, ответила:

— Глупости какие, с чего я буду плакать? Ни о каком замужестве я не думаю, и стыдно, чтобы мне, гимназистке, и думать....

— Умница! — поддержала ее мать.

Поделился Карташев с Маней относительно планов своих по поводу Аделаиды Борисовны.

— Теперь у меня,— говорил Карташев,— скопилось уже до пяти тысяч. Я буду жить скромно и к весне скоплю еще тысячу. Жалованья я получаю три тысячи шестьсот рублей, квартиру, прислугу, освещение, отопление. Эту зиму еще нельзя, надо осмотреться, а весной, когда она приедет, чтоб ехать отсюда за границу, тогда...

— Что тогда?

Карташев, растягивая слова, ответил:

— Тогда, может быть, я и решусь.

Маня расхохоталась и махнула рукой:

— Да никогда не решишься! Ты решительный только на глупости, а на настоящее, хорошее — ты всегда будешь так только, в уме...

— Посмотрим,— ответил Карташев.

— Сказал слепой,— кончила Маня.

— Ну, а тебе удалось получить с Савинского и Борисова?

— Так я тебе и сказала.

— Да я, что же, выдавать пойду, что ли?

— Хорошо, хорошо: хоть умри, не скажу.

— А твои и вообще ваши дела как?

— Как будто просвет есть, в смысле выхода.

— Какого?

— Все знать будете, скоро старенькие будете. Поживите еще, бог с вами, так, молоденьким.

— А тебя в каторгу когда сошлют?

— Не замедлю известить...

На поездку в Букарест Савинский назначил и выдал Карташеву тысячу рублей.

Карташев смущенно говорил матери:

— Букарест с проездом, самое большее, отнимет у меня десять дней: это выходит, кроме жалованья, по сто рублей в день одних суточных. Страшные деньги!

— Большие деньги,— согласилась Аглаида Васильевна.

— Ну, эти деньги я прокучу!

И Карташев поехал в город покупать подарки.

— Много истратил? — встретила его Маня.

— Рублей семьсот.

— А остальные мне давай.

— Бери,— согласился Карташев.

XXI

На пароход Карташева провожали его родные и родные Аделаиды Борисовны.

С Евгенией Борисовной у Карташева установились дружеские отношения. Несмотря на то, что Евгения Борисовна была моложе его, она держала себя с Карташевым покровительственно. Делала ему замечания, и особенно по поводу его трат, внимательно расспрашивала о служебных успехах его и была довольна.

— Отсюда моя голубка три месяца назад улетела,— говорила Аглаида Васильевна, вспоминая отъезд Зины.— А теперь и молодой орел мой улетает.

— Орел,— фыркнул Карташев,— просто пичужка.

Мать любовно смотрела на сына.

— Это даже и не я, а Данилов так назвал тебя.

— Мама,— вмешалась Маня,— а Делю вы называете голубкой...

— Голубка, белая голубка...

— Ну что же выйдет? Орел и голубка? Орел съест голубку...

Уже светлая полоса вьется и, пенясь, бурлит, переливая изумрудом и бирюзой. Машут платками с берега, машут с парохода, и между ними, затерявшись среди

других, и Карташев. И не видно уж лиц, только платки еще белеют.

Все слилось в одно, не видно больше ни лиц, ни платков. Понемногу уходят пристань, мачты, город на горе. Слегка покачиваясь, все скорее и скорее уходит пароход в синеву безбрежного моря и весело охватывает запах моря, канатов, каменного угля. Звонят к завтраку, и уже хочется есть все, что подадут, все те южные блюда, к которым привык организм: морская рыба, малороссийский борщ, кабачки, помидоры, баклажаны, фрукты.

В числе пассажиров красивая брюнетка с серыми глазами, с черным пушком на верхней губе, губы полные, сочные, и, когда они открываются, видны белые, красивые, маленькие зубы.

В глазах иногда огонь, иногда что-то гордое, вызывающее. С ней молодой моряк. За столом Карташев сидел против них и незаметно следил за их отношениями.

Нет сомнения — это жених и невеста. Она ест и иногда останавливает спокойный взгляд своих серых с большими черными ресницами глаз и смотрит на Карташева. Карташев смущается, не выдерживает взгляда, отводит глаза на других пассажиров и опять украдкой всматривается в невесту и жениха, стараясь подслушать их разговор, угадать его по движению губ, жестам. Иногда является в нем вдруг желание прильнуть губами к ее полным, красным губкам, охватить ее стан, не полный, но упругий, склонный, может быть, в будущем к полноте. От этих желаний и мыслей кровь приливала к голове и лицу Карташева, и, уткнувшись в тарелку, он начинал торопливо есть.

Вошли в Дунай, и уже без всякой качки, плавно двигался пароход.

Вот налево синеют горы Добруджи, а вот направо теряется в низменных берегах Рени — будущее местожительство Карташева,— страшно лихорадочное, нездоровое, где, от напряжения и всевозможных болезней, тает теперь его начальство, начальник участка Мастицкий.

Вот и Галац, чистенький, словно умытый городок с веселыми улицами, с массой кофеен, где пред ними на

улице стоят столы, а за ними сидит множество народу и пьют ападульчеце: стакан холодной, как лед, воды с блюдечком варенья.

В Галаце остались моряк и его невеста, и Карташеву казалось, что она с сожалением оставляла пароход. Что до Карташева, то он очень вздыхал, когда за столом уже не встречал ее серых, уже очаровавших его, иногда ласковых глаз.

Вместо нее сидела типичная румынка: среднего роста, уже начинающая полнеть, с смуглым лицом, черными, как смоль, глазами, с густыми, черными, немного жесткими волосами и такими же полными, как и у невесты, губами. Но рот был шире, зубы были прекрасны, но крупнее тех, и, когда они открывались и глаза смотрели знойно, казалось, немилосердно жгло южное солнце.

От невесты веяло прохладой и только изредка каким-то намеком на будущее лето, от этой же — жгучим летом и истомой его.

К вечеру румынка и Карташев познакомились и разговорились на французском языке, до поздней ночи проболтали они на палубе, а ночью Карташев пробрался в каюту румынки.

Она сообщила ему, что она жена офицера, который теперь с румынским корпусом под Плевной. Она рассказывала, что у них, в румынском обществе, чуть ли не предосудительной даже считается супружеская верность и что в каждой почти семье имеется друг дома. Это почти считается признаком хорошего тона, хотя обычай не румынского, а скорее французского происхождения.

По приезде в Букарест она пригласила Карташева посетить ее. Он был у нее и познакомился с ее матерью, братом и еще с одним господином средних лет, угрюмо и подозрительно смотревшим на Карташева, вследствие чего Карташев сообразил, что это и есть друг дома. Дальнейшие свидания с румынкой происходили уже в гостинице, где остановился Карташев, в его номере, куда румынка приходила под темной вуалью и, снимая уже в номере эту вуаль, весело и радостно смеялась, говоря:

— Так любить гораздо, гораздо интереснее.

Когда наступило время разлуки, они расстались благожелательные и равнодушные друг к другу. И каждый за другого был спокоен, что скоро утешится.

Карташев был в затруднении, как и чем выразить свою благодарность румынке за приятно проведенное время, но румынка выручила его. Болтая много и обо всем, она, между прочим, указала Карташеву, что на обязанности друга дома лежит удовлетворение разных мелких прихотей жены, как-то: покупка драгоценностей, кружев, зонтиков, перчаток, духов.

Карташев предложил было румынке вместе с ней отправиться к ювелиру, но она энергично и с обидой отказалась. Это не принято, это неприлично, и что бы сказали о ней все, знавшие ее?

Когда Карташев поднес ей золотые часики с цепочкой, о чем она тоже намекнула, она ласково улыбнулась и сказала:

— У вас хороший вкус — качество, которым должен всегда отличаться друг дома. А вот у мужа,— прибавила она,— вкуса никогда не бывает.

Но когда Карташев после часов поднес ей и кольцо с маленьким, но очень хорошим рубином, она была совершено растрогана и, горячо целуя Карташева, сказала, обращаясь в первый раз на «ты» к нему:

— Ты великодушный!..

И все время она восторгалась рубином.

— Это мой самый любимый камень и очень хороший. Хороший рубин должен быть похож на свежую каплю крови, смотри вот теперь: сверкает, как настоящая кровь... У-у! Это хорошо! Представь себе такую картину: ценой жизни, истекая кровью, он все-таки добивается своего, и целует, и обнимает, и умирает...

И черные глаза румынки сверкали при этом, как черные бриллианты.

Не так успешно шли дела у Карташева по возложенному на него Савинским поручению.

Главный инженер, очень простой, без всяких претензий человек, несмотря на разницу лет и свой генераль-

ский чин, держал себя с Карташевым как товарищ, одного притом выпуска с Карташевым.

Он наклонял к Карташеву свое большое, в очках, лицо и объяснял, почему он должен был подать и подал уже в отставку.

— У вас несколько начальников, и каждый из них, не спрашивая вас, распоряжается, а вы отвечайте за все. И благо, если бы только старшие еще распоряжались: распоряжаются решительно все. Пьяный ротный — полный хозяин на линии, каждому начальнику станции грозит расстрелом, отменяет поезда, создаст невообразимый хаос, уйдет себе со своей ротой и утонет там где-то в армии. Ищи его, когда десятки других продолжают хаос...

— А кто теперь главный инженер?

— Генерал генерального штаба.

Инженер махнул рукой.

— Они всё знают, они специалисты ведь по всему...

Карташев счел долгом все-таки ознакомить бывшего главного инженера с своим поручением и очень пожалел, что этот главный инженер уже оставил свой пост, так как, выслушав все внимательно, сделав несколько замечаний, он в общем одобрил все предположения и даже сказал, на какое количество поездов надо рассчитывать в сутки.

С генералом генерального штаба не так просто было увидеться. Надо было явиться в приемные часы и ждать очень долго, пока ввели Карташева в кабинет генерала.

Генерал принял Карташева стоя. Это был средних лет генерал, нервный, стройный с красивыми глазами.

— Чем могу быть полезным? — встретил он Карташева, слегка выправляясь и поправляя свои аксельбанты.

Карташев начал объяснять.

Генерал слушал непривычную для его слуха речь штатского и, морщась, так всматривался в Карташева, точно ему были уже известны все его похождения с румынкой.

Когда Карташев кончил, он чувствовал, что никакого впечатления на генерала не произвел, почувство-

вал вдруг, что все то, что он сообщил генералу,— теперь уже не важно, а важно что-то другое, чего он, Карташев, не знал.

А может быть, генерал только делал вид, что слушал, и теперь, когда Карташев кончил, он, захваченный врасплох, был в затруднении, что ответить.

— Оставьте это письмо и эти бумаги у меня,— сказал генерал,— я должен над всем этим подумать, и приходите ко мне через три дня.

От генерала Карташев отправился к бывшему главному инженеру.

Тот махнул рукой и сказал:

— Не думаю, чтоб и через три дня он ответил вам что-нибудь путное: они ведь совершенно не в курсе дела, не понимают нас, штатских, и считают, что дело может только идти с людьми военными. Дай бог, чтобы я был плохим пророком, но я боюсь, что он начнет у вас ломку на свой военный лад.

Через три дня, когда Карташев явился опять к генералу, тот принял его уже в общей приемной и, едва протянув руку, лаконически сказал:

— Отправляйтесь к месту своего служения.

Карташев растерянно, виновато поклонился и поспешно вышел.

На улице он вздохнул всей грудью и подумал: «Довольно глупо все это, однако, вышло».

«Да, глупо, глупо»,— досадливо твердил он себе, идя по красивым, оживленным улицам Букарешта. Сновали всех оружий военные, дамы, все почти такие же, как и его румынка, с черными и серыми глазами, смуглые, с роскошными черными волосами. Одни немного красивее, другие хуже, одни в экипажах, другие пешком. Военные жизнерадостные, возбужденные, хозяева жизни. Это так сильно и впервые почувствовал сегодня Карташев, считавший до сих пор, что высший приз жизни — его инженерный мундир, доставшийся ему, как-никак, неизмеримо бо́льшим трудом, чем всем этим господам их мундиры. И какое-то злобное чувство закипало в его душе.

Когда он сообщил бывшему главному инженеру результат своего свидания с генералом, он сказал:

— Этого надо было ожидать. И все это только потому, что вы штатский: нет доверия штатским,— у них нет энергии военного, нет дисциплины военного, они не люди. И нас спасает только то, что среди военных нет еще никого, кто сколько-нибудь знает наше дело, и поэтому на эту войну всем инженерам, сидящим на действительном деле, опасаться нечего, пока только нас, старших, власть имеющих, они прогонят, но к следующей войне они подготовятся, и во всех этих железнодорожных батальонах наши инженеры скоро уступят место военным... Спасет вас и то еще, что ваша дорога все-таки частная, а посмотрите, что делается на Фраштеты Зимницкой: там наши инженеры, уже прикладывая руку к козырьку, рапортуют: «Доношу вашему превосходительству, что на вверенной мне дистанции все обстоит благополучно» и так далее.

— Что ж мне теперь делать? — спросил Карташев.— Ехать?

— Конечно. Отпишите Савинскому все, я на днях еду в Одессу, отвезу ему письмо ваше и сам расскажу ему.

Так Карташев и поступил, выехав на другой день по железной дороге в Галац.

Он был очень тронут тем, что румынка приехала проводить его. Она была очень в духе — получила письмо от мужа. Он отличился в сраженье, получил орден и назначен батальонным на место своего убитого начальника.

— Если так дальше пойдет, он может воротиться генералом. О, тогда со мной будет другой разговор: тогда кто угодно будет себе считать за честь быть другом дома.

Карташев поинтересовался, как ее друг дома отнесся к подаркам.

— Я их покажу ему, когда ты уедешь, иначе, сгоряча, он может наделать тебе много неприятностей. Я, конечно, ему не скажу об наших настоящих отношениях, скажу, что просто так себе ты поухаживал за мной, и в конце концов он и сам будет доволен, так как твои подарки припишут ему.

— Я никак не мог предположить, что ты приедешь

на вокзал... Впрочем, постой: я купил было для сестры брошку...

— Нет, нет... больше не надо, не надо... Я ведь даже не смогу и поцеловать тебя больше за нее.

Но Карташев настоял, пошел в свое купе, куда звал и румынку, но она отказалась идти, и принес брошку.

— Право, это так мило с твоей стороны, ты такой добрый, и я очень и очень жалею, что ты уже уезжаешь... Постой... и я тебе дам на память...

Она торопливо порылась в своем ридикюльчике, достала маленькие ножницы и незаметно отрезала ими кончик локона сзади на шее.

Передавая Карташеву, она шепнула, вспыхнув:

— У меня больше всего в памяти осталось, когда ты, помнишь, целовал мою шею...

Карташева тоже обожгло вдруг это воспоминание об этом смуглом, красивом теле с густой черной растительностью на шее, и, когда уже поезд мчался по обработанным полям благословенной Румынии, он еще долго, держа в руках кончик локона, переживал недавнее прошлое. А потом он распустил зажатую руку, и волосы локона мгновенно исчезли, подхваченные ветром. А с ними стал блекнуть и образ румынки, и когда он приехал в Рени, то от румынки не осталось больше никаких воспоминаний, точно никогда ничего и не было у него с ней.

Мастицкий, больной, раздраженный, встретил Карташева очень негостеприимно.

— Черт их знает! Набрали этого народу и не знают, что с ним делать. Тут для одного нет работы, а они еще вас прислали.

Борисов, впрочем, предупреждал Карташева, что Мастицкий злой и ревнивый работник, поэтому слова его не очень огорчили Карташева.

И действительно, чрез несколько дней уже Карташев был завален работой выше головы, и, при всем нежелании, Мастицкий должен был, как за невозможностью вообще справиться с такой массой дела, так и за болезнью своею, уступить Карташеву много дела.

Хуже всего донимали Мастицкого ужасная дунайская лихорадка и глаза. Эти глаза — сперва один, потом другой — гноились, и Мастицкий начинал уже плохо

видеть. Ему грозила слепота, если он не уедет серьезно лечиться в такие места, где имеются доктора-специалисты. Но он упорно, несмотря на настойчивые советы и местного доктора и товарищей из управления, не хотел ехать в отпуск.

Когда Карташев пробовал заговаривать о том же, Мастицкий, желтый, худой, страшный, в темных очках, приходил в настоящее бешенство и кричал на него:

— Зарубите себе на носу, что я не уеду и вам дела не передам, потому что вы с ним не справитесь! Хорошенько зарубите и бросьте интриговать!

— Как я интригую, Пшемыслав Фаддеевич?

— Знаю я — как и, поверьте, отлично понимаю, откуда ветер дует. И считаю это недостойным, гадким интриганством, на какое способны только русские.

— Я думаю, что вы признаете за мной право требовать удовлетворения,— отвечал Карташев,— и я требую от вас, что бы вы сказали, в чем заключается мое интриганство?

— В чем? Письма пишете в управление, доносы строчите!

— Я ни одного еще письма никому, Пшемыслав Фаддеевич, не написал.

— Знаю!

— А я даю вам честное слово, что не писал. И вы не имеете права мне не верить.

— О своих правах я не вас спрашивать буду.

— В таком случае, как мне ни тяжело, но я потребую от вас настоящего удовлетворения.

— И требуйте и убирайтесь к черту! Но только одно: пока мы здесь на деле, ни о каком удовлетворении, конечно, не может быть и речи, потому что нас сюда послали не для удовлетворений наших личных, а для того, чтоб служить делу. А вот, когда нас обоих выгонят отсюда, тогда я весь к вашим услугам.

И всегда Мастицкий ворчал и был недоволен. Даже тогда, когда Карташев хотел ему помочь в чем-нибудь, подать, например, вовремя следуемое лекарство при промывке глаз.

Карташев к воркотне Мастицкого относился очень благодушно. Она его совсем даже не трогала, потому

что он понимал, что Мастицкий совсем больной и несчастный человек. Не сомневался он и в том, что Мастицкий в душе все-таки ценил его работу.

С другой стороны, он глубоко уважал и знания, и способности, и самоотверженное трудолюбие Мастицкого. Этого самоотвержения он и не понимал: человеку грозила слепота, а он, вопреки всякому здравому смыслу, не хочет вовремя захватить болезнь.

Еще более привязался и полюбил Карташев Мастицкого, когда однажды узнал от его соседа по участку — инженера Янковского, приятеля Мастицкого, о том, что Мастицкий потерял невесту, которая вышла замуж за другого. Этот разрыв произошел незадолго до приезда Карташева. Янковский говорил, что, если б Мастицкий сам поехал бы, то, вероятно, не дошло бы до разрыва, но Мастицкий не хотел дела бросать и уже болен был.

Сам Янковский был веселый дылда, вечно скалил свои большие, белые, как снег, зубы и на всю воркотню Мастицкого отвечал только добродушным смехом.

И Карташев в своем обращении с Мастицким стал подражать Янковскому.

В общем, это помогало, но тем сильнее иногда накипало раздражение в душе Мастицкого и резко прорывалось наружу. И всегда неожиданно, когда Карташев думал, что теперь уже совершенно наладились их отношения.

Вскоре после приезда Карташева в Рени генерал, заменявший главного инженера, выехал лично осмотреть линию.

Генерал ехал в сопровождении нескольких военных, а навстречу ему выехали Савинский и все начальство в Бендерах. Встреча начальства произошла на станции.

Генерал очень любезно поздоровался с Савинским, как со старым знакомым по Петербургу, и благодарил его за инженера, присланного вместо Карташева сопровождать генерала по линии.

Инженер Салтанов, назначенный сопровождать генерала, прежде поступления в институт инженеров путей сообщения окончил саперное училище и военной выправкой приятно удивил генерала.

На линии Салтанов был начальником дистанции на

постройке. Дистанцию свою он затянул и славился тяжелым и педантичным характером, всегда требовал точных, за соответственным номером, указаний, предписаний, разъяснений и самодовольно говорил:

— Нет-с, старого воробья на мякине не проведешь: пожалуйте предписание,— так-то спокойнее. У нас, у военных, вы все бы от верху до низу ушли бы давно под суд, так, на словах, верша дела.

Генерал при встрече с Савинским говорил, подергивая плечами:

— Я, признаюсь вам откровенно, не ожидал встретить в вашем мире такого человека, как инженер Салтанов; вы поймите мое удовольствие: и я его и он меня понимаем с двух слов. Это вроде того, что среди неведомых иностранцев вдруг нашелся земляк, который на моем родном языке объясняет мне все явления незнакомой мне жизни.

Генерал весело оглядывался и улыбался.

Затем начались представления. Карташеву он слегка кивнул головой и довольно пренебрежительно бросил:

— Уже знакомы.

После представления отправились осматривать станцию.

Впереди шли генерал с Савинским, сзади тянулся длинный хвост из свиты и служащих.

Мешковатый начальник станции, стоявший сгорбившись в ожидании начальства, прищурив глаза и как бы с любопытством выжидая, что из всего этого выйдет, получил от генерала строгий выговор.

С лица генерала сразу исчезла благодушная улыбка, лицо покраснело, глаза сверкнули.

Поровнявшись с начальником станции, он резко сказал:

— Не умеете стоять перед начальством. Вытянуться во фронт, руку к козырьку, рапортовать о состоянии станции...

Начальник станции неуклюже переступил на другую ногу и красный, растерянный, смотрел в глаза генералу.

— К увольнению! — скомандовал генерал.— Нельзя же с таким серьезно работать,— обратился генерал к Савинскому.

Впечатление было громадное: лица вытянулись, говор, шум шагов стихли — и сразу наступила мертвая тишина.

Мастицкий пришел в такое нервное состояние, что сказал Карташеву:

— Я ухожу и сдаю вам участок.

И, не ожидая, он пошел прочь.

Генерал опять пришел в прежнее благодушное настроение, но уж все были настороже.

Карташев быстро уловил характер отношений между генералом и Салтановым. И когда доходила до него очередь, он, прикладывая руку к козырьку, быстро, почтительно и послушно отвечал на вопросы генерала то, что успевало прийти ему в голову, и в то же время думал: «Опять наврал». Но тон был убежденный и такой, что, отвечая на всякий пустяк, он сознавал, что это далеко не пустяки и что этого именно вопроса он и ждал от начальства.

Когда вопросы и ответы кончились и процессия шла дальше, Борисов, приехавший вместо Пахомова, весело шептал на ухо Карташеву:

— Ой, какой шарлатан. И вам не стыдно?

Карташев улыбался и самодовольно отвечал:

— Мне было бы стыдно, если бы я не сумел приспособиться.

Карташев сопровождал начальство до конца своего участка. На прощание генерал, пошептавшись с Савинским, очень ласково протянул Карташеву руку и сказал:

— Благодарю вас. Все, что я видел на вашем участке, очень тяжелом, дает мне уверенность, что он в надежных руках.

— Ваше превосходительство,— ответил Карташев,— я передам своему начальнику участка, который, к сожалению, по болезни не мог сопровождать вас. Все дело на участке ведет он, и я только учусь и исполняю некоторые из его распоряжений...

Генерал и Савинский ласково смотрели на Карташева, пока, смущенный, он говорил свой ответ. По окончании генерал фамильярно положил руку на плечо Карташева и сказал:

— Передайте в таком случае вашему начальнику,

что я завидую ему, что у него такой дисциплинированный помощник. Желаю вам всего лучшего.

Карташев быстро попрощался со всеми и довольный уехал назад в Рени докладывать обо всем Мастицкому.

Мастицкий угрюмо слушал и, когда Карташев кончил, сказал:

— Могли и не выдавать мне аттестатов. Не для этого идиота генерала, помешанного на дисциплине, и не для блюдолиза Савинского я работаю. Хотите подлизываться — ваше дело, но на будущее время я серьезно прошу вас обо мне не заикаться.

— Не можете же вы заставить меня брать ваши заслуги на себя?

— Какие там заслуги!

— Но если их признают и благодарят меня...

— Кто признает?! Что этот урод понимает? Столько же, сколько та свинья! Дельного, умного начальника станции прогнал, вас, вравшего ему всякую чушь, расхвалил... Тварь, тошно говорить, тошно слушать...

На той части участка в сторону Бендер, где на протяжении десяти верст полотно дороги тянулось по плывунам Прута и Дуная, дело стояло особенно остро.

Там сосредоточивалась наибольшая опасность. Сдвигались почвы в одну ночь, уничтожалась, например, труба, проходное и выходное ее отверстия отклонялись от первоначального направления на десятки сажен. При этом коверкался и путь, конечно, и на таком пути крушение поезда было бы неизбежно, причем поезд с десятисаженной высоты свалился бы прямо в Дунай.

Надо было быть постоянно настороже, и днем и ночью надо было спешно, вместо исчезавших труб, устраивать новые и более прочные, надо было не допускать грунтовую воду к полотну дороги и, перехватывая ее крытыми надежными галереями, пропускать в устроенные отверстия для пропуска воды чрез полотно.

Все это требовало постоянного напряженного наблюдения на месте, и Мастицкий решил поселить там Карташева, хотя и сказал из вежливости, что там и жить и питаться будет плохо. Жить действительно было негде, но Карташев был рад избавиться от опеки и воркотни Мастицкого. Он поселился в будке у

сторожа. Жена сторожа и кормила, а провизию доставляли кондуктора проходивших поездов. Доставляли не за страх, а за совесть, потому что все любили Карташева как за его ласковое обращение, так и за щедрость.

Дни и ночи Карташев был в напряженной работе, потому что работа не прерывалась ни днем, ни ночью.

Изредка Карташев ездил в Рени, изредка Мастицкий заглядывал к нему. Все работы велись по плану и указаниям Мастицкого, авторитету которого Карташев беспрекословно подчинялся, кроме разных прибавок и наградных: Карташев на это был очень щедр, а Мастицкий выходил из себя и обыкновенно говорил:

— Я не признаю и спишу это за ваш личный счет.

— Пожалуйста,— отвечал Карташев.

Но в течение трех месяцев дело с плывунами наладилось, главная вода была перехвачена, не было больше сдвигов, не исчезали трубы, но не наступало и надежное равновесие. По-прежнему безостановочно нужно было вывозить образовывавшиеся сплывы, чинить галереи и трубы, исправлять полотно, безостановочно подвозить точно в бездну проваливавшийся балласт и держать бессменный караул, причем при проходе каждого поезда впереди очень медленно двигавшегося поезда шел старший ремонтный, а еще впереди, если поезд проходил ночью, из глубины ночи раздавался крик следующего дежурного: «Благополучно!» Такие караульные стояли на каждых пятидесяти саженях.

Но все-таки в общем вся эта работа уже вошла в норму. Карташев подобрал штат надежных молодых десятников, причем выписал Сырченко, а между тем здоровье Мастицкого все ухудшалось, и уже большую часть дня он проводил в кровати, еще сильнее ругаясь, раздражаясь и проклиная все и вся.

Ко всему этому прибавилось приближение весны и начинавшийся уже разлив Дуная, грозивший в этом году быть особенным. Все это вместе побуждало Карташева опять переехать в Рени.

Вскоре ночью как-то его разбудили: станция Красный Крест, находившаяся в пяти верстах от Рени в сторону Галаца, уведомляла по телефону, что только

что образовался громадный промыв под мостом. Карташев быстро оделся и поехал на дежурном паровозе.

Небо было безоблачно, и луна ярко светила, сверкая в широкой глади вод разлившегося и издали неподвижного и спокойного, как зеркало, Дуная.

Паровозом управлял помощник машиниста, молодой инженер-технолог, ездивший для практики на паровозе. Он с Карташевым решили не будить машиниста, так как Карташев, ездивший студентом кочегаром, взял исполнение этой должности на себя. Весело и возбужденно разговаривая, как товарищи одного выпуска, они быстро проехали пространство, отделявшее их от размыва.

Не доезжая нескольких десятков саженей, они остановили паровоз, затормозили его и пошли к размытому мосту.

Картина превзошла всякие ожидания.

Вместо моста зияла в несколько десятков саженей бездна, чрез которую, как две нитки, тянулись по воздуху рельсы и прикрепленные к ним шпалы. Посреди над бездной торчали в воздухе сваи моста, и теперь, в этой бездне, они производили впечатление каких-то висевших щепок.

Там глубоко внизу этой десятисаженной бездны, как в заливе, приветливо и страшно сверкала вода Дуная.

— Когда это произошло? — спросил Карташев у стоявшего тут же дорожного мастера.

— Не больше, как час времени. Только ухнуло что-то. Стрелочник первый прибежал, разбудил меня, я вам дал знать.

Карташев стоял с широкораскрытыми глазами, не зная, что предпринять. Еще более усиливал впечатление контраст между этой тихой, безмятежной ночью и тем непонятным и страшным, что произошло.

— Смотрите, смотрите! — закричал дорожный мастер.

Он показывал рукой назад, по направлению к Рени.

Вся поверхность земли и полотна, до самой будки, волновалась, точно эта поверхность была не земля, а жидкость.

Какое-то оцепенение охватило всех троих, и глазами, полными ужаса, они смотрели на непонятное и невиданное ими никогда явление.

Первый пришел в себя инженер-технолог и быстро побежал к паровозу.

Карташев понял, что он хочет спасти паровоз и проскочить с ним за будку.

— Бросьте, бросьте паровоз,— закричал Карташев,— он все равно погиб, но погибнете и вы!

Технолог был уже на паровозе и быстро оттормаживал его.

Карташев бежал и кричал:

— Я как старший запрещаю вам!

Но технолог уже открыл регулятор и, повернув свое бледное, как луна, лицо, ответил Карташеву:

— Наплевать мне на ваше запрещение.

А затем все происходило как во сне, настолько было несообразно с действительностью. Волны подхватили и паровоз и Карташева с дорожным мастером. И оба они побежали, шатаясь и спотыкаясь, по прямому направлению от берега к горам, где не было волн. Добежав туда, они стояли и с душой, охваченной ужасом и тоской, следили глазами за паровозом, как корабль нырявшим в этих непонятных земляных волнах.

Непередаваемая радость и облегчение охватили Карташева, когда паровоз подошел к будке, где уже не было волн. И почти в то же мгновение раздался какой-то вздох, точно сотни, тысячи сразу вздохнули,— и все волны и вся земля исчезли. У самых ног их зияла такая же бездна, как и там у моста,— теперь сплошная от будки до моста. Куда же девалась вся эта масса ухнувшей вдруг земли на сотни сажен длины, на десятки ширины и в десять сажен высоты? Карташев осматривался и недоумевал: только легкие волны заходили по Дунаю, и опять стало все тихо, точно и прежде так же сверкала там внизу, в новом заливе, вода.

Что было делать, что предпринять? При всей своей неопытности Карташев понимал, что все это было стихийно, что предпринять нечего было.

Он ограничился только распоряжением дорожному мастеру осмотреть линию по направлению к Галацу и

немедленно донести о результате осмотра. Сам же возвратился на паровоз, где ждал его веселый и удовлетворенный технолог.

— Вы на меня не рассердились, что я не послушался вас? — встретил Карташева технолог.

— Конечно нет, и я вовсе не начальствовать хотел, а только хотел во что бы то ни стало удержать вас от совершенно безумного шага.

— Однако же спасен паровоз.

— По-моему, это уже не храбрость, не отвага, а просто безумие. Одно мгновение промедления... А впрочем, кто судит победителей! Все-таки это так мужественно было с вашей стороны, так беззаветно, что откровенно вам говорю, я не был бы способен на такой поступок.

— Это вам только так кажется. Если бы вы были так же ответственны, как я, за паровоз... Вы только представьте себе, с какими глазами я явился бы к своему машинисту без паровоза? Где паровоз? В Дунае! Ха-ха-ха!.. Ну, а теперь вы опять у меня под командой: угля в топку.

Приехав, Карташев решил разбудить Мастицкого и, идя к нему, думал, за что будет упрекать его Мастицкий.

Во-первых, за то, что не разбудил его. Но если б он побежал будить его, то тогда ни он, Карташев, ни Мастицкий не захватили бы того, чего, может быть, никогда в жизни видеть больше не удастся...

Может быть, Мастицкий будет доказывать, что еще можно было принять меры?

Мастицкий действительно упрекнул Карташева за то, что тот не разбудил его, но по поводу остального сказал, разводя руками:

— Что ж тут было делать? Хорошо, что послали дорожного мастера. Надо телеграфировать в Бендеры, и сейчас же поезжайте в северную часть участка.

Он пожал плечами:

— Скорее там же можно было ожидать такого скандала.

— Там мы воду успели отвести.

— Проклятые места...

В тот же день поднялся сильный, до бури доходивший ветер, продолжавшийся несколько дней подряд.

Разлившийся Дунай представлял из себя целое море, и на горизонте этого моря едва синели там, на той стороне, горы Добруджи. На всем пространстве от Рени до Галаца вода поднялась почти до полотна дороги, и большие волны теперь хлестали в насыпь. Одно за другим размывались укрепления из огромных ящиков, засыпанных камнем. Местами еще торчали эти укрепления, но за ними вместо насыпи была только вода: насыпь смыло, и рельсы висели на весу, только местами прикасаясь еще к кой-где уцелевшему полотну. Попытки засыпать промывы мешками, наполненными землей, были бесполезны. Не хватило бы ни рук, ни мешков.

К приезду комиссии из Бендер не существовало полотна на протяжении тридцати верст. Комиссию встретили и Мастицкий и Карташев на станции Троянов Вал.

Карташев волновался, боялся упреков, выражения неудовольствия, а Мастицкий был совершенно спокоен. Ожидания Карташева не оправдались.

К Мастицкому отнеслись еще с большим, чем обыкновенно, уважением, и ни у кого и тени не было сомнения, что все, что только можно было сделать, было сделано.

Это доверие успокоило Карташева и развязало его язык.

Мастицкий угрюмо молчал, а Карташев, сидя в вагоне, пока поезд шел еще не по его участку, рассказывал все пережитое.

На границе участка поезд остановился, и Мастицкий сказал Карташеву:

— Ну, идите на паровоз и везите нас до тех пор, пока можно будет. Только не трусьте и протяните поезд возможно дальше.

«Свинья,— думал Карташев, идя к паровозу,— когда я показал ему свою трусость, чтоб дать ему право так компрометировать меня перед всей комиссией?»

Он взобрался на паровоз, и поезд тронулся.

Ехали с паровозом опять инженер-технолог Савельев и его машинист. При машинисте Савельев был сдержан, как будто побаиваясь своего угрюмого, несообщительного начальника.

Карташев под впечатлением последней сцены был тоже молчалив и подавленно смотрел на путь.

При подходе к мосту через Прут начались обвалы. Иногда полотно от обвалов было уже без откосов и отвесно спускалось на несколько сажен вниз. При проходе поезда оно вздрагивало, и куски земли, отрываясь, с шумом падали.

Карташев напряженно мучился, где остановить поезд, чтоб опять не заслужить упрека в трусости. Наконец, в одном месте, где обвал подошел под самую шпалу и где при проходе сразу ухнула глыба, обнажившая путь чуть не до половины шпалы, Карташев отчаянно закричал:

— Стоп!

Из заднего вагона лениво выходило начальство.

Мастицкий еще издали крикнул:

— Ну, что ж вы струсили?

У Карташева вся кровь прилила к лицу и слезы показались на глазах. Дрожащим от обиды голосом он ответил подошедшим Пахомову и Мастицкому:

— Если хотите, я поеду и дальше.

— Ну, что вы, Пшемыслав Фаддеевич,— куда же дальше? — усмехнулся Пахомов.— Это предел, и дальше даже на полвершка нельзя.

Карташев готов был обнять и расцеловать за эти слова Пахомова.

Подошедший инспектор тоже грубо бросил:

— Куда тут к черту дальше? Прямо туда?

Он ткнул пальцем вниз.

Вместо поезда подали две дрезины.

На первую село старшее начальство с Мастицким, на вторую второстепенное с Карташевым.

Когда подъехали к бездне у моста, начальство с обеих дрезин сошло и отправилось пешком в обход провала. Остался только Мастицкий. Видя это, остался и Карташев, не понимая, зачем он остался, когда даже и рабочие ушли.

Мастицкий не счел нужным объяснять Карташеву, что хотел он делать, а Карташев еще сердился на него за упреки в трусости и не спрашивал.

Скоро, впрочем, выяснились его намерения. Мастицкий стал на свою дрезину и стал вертеть ручку, приводящую дрезину в движение. Дрезина все быстрее стала приближаться к пропасти.

Карташев замер, поняв, что Мастицкий решил переехать пропасть по этому висячему полотну, которое, протянувшись на сотни сажен над бездной и пригнувшись от собственной тяжести, казалось, вот-вот оборвется.

Карташев был близок к обмороку. Его затошнило, зеленые круги показались в глазах, похолодели руки и ноги.

«Подлец! — пронеслось в его голове.— Сам ищет смерти, и чтоб донять, и меня за собой тащит».

Злоба, ненависть, отчаяние охватили его. Он быстро вскочил на свою дрезину и тоже привел ее в движение.

Напрасно Мастицкий кричал ему:

— Подождите, пока я перееду!

Карташев только злобно смотрел ему в упор и сильнее налегал на ручку.

Обе дрезины повисли над бездной. Обходившие, не ожидавшие такого решения вопроса, так как Карташевым были заготовлены лошади для перевозки в этом месте дрезин, стояли как вкопанные и следили за страшным спортом двух ссорившихся между собою инженеров.

— Ах, сумасшедшие! — шептал Борисов.— Ах, черти полосатые: они готовы насмерть загрызться в работе! Их необходимо разнять, а то они доведут друг друга до смерти.

— Да,— угрюмо согласился Пахомов.

Посреди бездны Карташев, старавшийся не смотреть вниз, все-таки посмотрел,— и чуть не потерял сознания от мелькнувшей там, внизу, чайки. В глазах у него побелело, как побелел и он сам, и казалось ему, что стоит и вертит он уже после смерти, пережив все ужасы падения.

Осмотр размывов окончился разводом моста на Пруте, который строил Ленар.

Мастицкий окончательно слег, предоставив Карташеву разводить мост, сказав сквозь зубы, что проект моста в конторе.

«Зачем еще проект?» — подумал Карташев и приступил к разводке.

Через пять часов мост был разведен, чтоб пропустить уже месяц ждавшие разводки суда, и больше уже не сводился.

И начальство и Карташев остались совершенно довольны разводкой и вслед за тем, сопровождаемые Карташевым, уехали обратно, порешив не возобновлять больше линию между Рени и Галацем.

Когда на границе участков Карташев пересел в вагон, его ждал приятный сюрприз.

Начальник соседнего участка, живший в Трояновом Вале, уходил, и Пахомов поздравил Карташева с новым назначением — начальником этого участка.

Когда Карташев возвратился в Рени, Мастицкий не с обычной своей угрюмостью сказал ему радушно:

— Поздравляю вас.

— Вы разве уже знаете?

Мастицкий только усмехнулся.

Карташев вспомнил, как Пахомов, Мастицкий и инспектор отдалялись и долго о чем-то говорили. И Карташеву казалось тогда обидным это, и он думал: какие секреты могут быть у этих людей от него? Теперь он все понял: речь была о его назначении. От Мастицкого же он узнал, что сперва инспектор был против, доказывая, что пока он, Карташев, ничем еще серьезным не зарекомендовал себя, так как нельзя же заслугой считать хотя бы и стихийное разрушение полотна на протяжении тридцати верст. В конце концов инспектор все-таки сдался и, только махнув рукой, сказал:

— Ну, теперь вся линия, кроме первого участка, в руках бунтовщиков: хоть не езди...

В течение недели, пока Карташев сдавал дела новому своему заместителю, у него установились с Мастицким отношения, совершенно не похожие на их прежние. Делить им между собой было больше нечего, свое

раздражение Мастицкий уже перенес на нового помощника и грыз его поедом — и уже за действительно нерадивое отношение к делу, а к Карташеву относился любовно и с уважением.

Что до Карташева, то тот прямо боготворил теперь Мастицкого.

Обладая громадным опытом и деловитостью, Мастицкий, прежде скупой на советы, теперь не уставал делиться с Карташевым своими знаниями, давая советы, как вести дело на участке. Казалось прежде, что Мастицкий совершенно не интересовался чужими делами, но теперь оказалось, что он решительно все знал, что делалось у его соседа, которого теперь сменял Карташев, знал качества и свойства и его самого и всех его служащих, давая им точные и, как потом оказалось, совершенно верные характеристики. Особенно предупреждал он Карташева относительно участкового бухгалтера, он же и письмоводитель и вообще правая рука начальника участка.

— Сам Семенов — начальник участка — был честный человек, но большой ротозей, а его конторщик, тот уже прямо вор отъявленный: он развел на участке сплошное воровство. Дорожные мастера безбожно приписывают в табелях рабочих: работает двадцать человек, а они показывают и сто и двести. Со всех подрядчиков берет... Первым делом его надо прогнать, затем на первых порах придется вам постоянно объезжать линию и считать самому рабочих, отмечая число их на данный день в записной книжке, а когда дорожные мастера представят за эти дни табеля — сверять и попавшихся дорожных мастеров без сожаления гнать.

Прощание Карташева и Мастицкого было очень сердечное, и Карташев еще долго и любовно смотрел из окна вагона на эту худую, как скелет, мрачную, с темным лицом, в темных очках, понурую фигурку, казалось, оторванную от всего мира и стоявшую теперь одиноко на исчезавшем из глаз перроне.

Вскоре после отъезда Мастицкий окончательно свалился, и его, уже на руках, перенесли в вагон и увезли куда-то за границу лечиться.

Провезли его через Троянов Вал ночью, и так и не видал его больше Карташев, так как Мастицкий назад не возвратился.

XXII

Переехав в Троянов Вал, Карташев с еще большей энергией принялся за работу. Никогда не предполагал он в себе такого запаса энергии, любви к делу, охоты работать, какая все больше и больше обнаруживалась в нем. И неужели это он, праздный, ленивый шелопай в институте, которого к наукам, занятиям, работе не притянешь, бывало, никакими арканами?

В сутках было мало часов, и тоска охватывала Карташева, когда надо было ложиться спать и прерывать на несколько часов интересную, захватившую его всего работу. И с первым лучом солнца он уже был на ногах и с первым отходившим поездом уезжал на линию.

Никто ему не мешал. Помощник его, Коленьев, толстый, ленивый техник, по годам годившийся ему в отцы, не ударял палец о палец и только с благодушием папаши залучал иногда Карташева поесть у него всяких редкостей, разводить которые был великий мастер Коленьев.

Он всецело завладел участковым огородом, и парниками, и оранжереями, и там было все, что только могут дать парники и оранжереи: и цветы, и ягоды, и фрукты, и ранние огурцы, и всякая зелень.

Во дворе у него был целый птичник и зверинец: всегда наготове откормленные каплуны, индейки, гуси, были даже фазаны. Были поросята и готовились большие свиньи, откармливались медведь, дикая коза, журавль. И каждому давалась особая пища, и на это уходил весь день. На это да на еду. Он и на кухне сам руководил стряпней, и стол его мог, наверно, поспорить со столом самых записных гурманов. К домашним изделиям, ко всяким вареньям и соленьям прибавлялись привозные закуски и блюда: всегда бывала какая-нибудь редкостная рыба, особая из Адриатики ветчина, свежая икра, креветки, особая водка — для сна, для желудка, для лихорадки, просто для здоровья. Сервировка

была безукоризненная, чистота поразительная, все было свежо, аппетитно, и больше всего придавал аппетита всему сам повар-хозяин, радушный, ласковый, с громадным, толстым туловищем, из которого высовывалась, как у черепахи, маленькая оплывшая головка.

— Ну, теперь,— говорил наставительно Карташеву Андрей Васильевич Коленьев,— бросьте все дела, всё, всё выбросьте из головы, и пусть кровь прильет к желудку и поможет ему сделать как следует самое важное дело в жизни, потому, во-первых, что только в здоровом теле здоровая душа, а во-вторых, потому, что, как говорит мой портной-еврей, унесем мы с собой отсюда, с земли, только свой последний обед. Это только и есть настоящая наша никем неотъемлемая собственность. Все остальное — весь мир, дела, любовь — все временно, все проходит: Tout passe, tout casse, tout lasse... [1] Помните твердо это и ешьте много, не торопясь, и хорошо разжевывайте.

И Андрей Васильевич действительно обладал удивительной способностью заставлять людей есть, вдумываться и смаковать все то, чем угощал он. И он умел заинтересовать во время еды историей своих блюд.

Он рассказывал просто, без претензий, всегда с большим юмором, и гости весело смеялись, и громче всех и веселее всех начальник станции, князь Шаховской. Он был самым частым гостем Коленьева, иногда даже, если служба позволяла ему, помогая ему в хозяйстве и приготовлениях.

Иногда обеды Коленьева удостаивала своим присутствием жена князя, Ксения Ардальоновна. Князь был хороший служака, бурливый, веселый, лет сорока мужчина, не дурак выпить, большого роста, полный, с громадными, кверху немного расчесанными усами.

Княгиня тоже высокая, молодая, бледная, с правильными чертами лица, загадочная, молчаливая, точно потерявшая и безнадежно ищущая что-то. Только в присутствии своей маленькой двухлетней дочки она точно просыпалась и, казалось, находила часть того, что искала.

---

[1] Все кончается, все разбивается, все приедается (*франц.*).

Иногда и во взгляде на Карташева чувствовалось то же удовлетворение, какое она испытывала, смотря на дочь. Этот взгляд передавался Карташеву, и он чувствовал себя хорошо в ее присутствии.

Уезжая утром в рассвете, он смотрел на окна ее спальни и думал о ней, стараясь сквозь стены проникнуть к ней, в ее загадочную душу.

Обеды у Коленьева, когда присутствовала Ксения Ардальоновна, были еще торжественнее, и хозяин еще более священнодействовал.

После обеда конца не было десерту из фрукт, конфект и всяких редкостей.

Но и после этого хозяин энергично удерживал гостей, доказывая, что надо час, два еще просто посидеть удобно, на турецких диванах, подложив под спины подушки, доказывал необходимость этого кейфа.

— Дайте,— горячо убеждал он,— желудку сделать свое дело. Не отвлекайте его. Пусть вся кровь приливает к нему. Чтоб ни о чем не думать после обеда, я завел двух маленьких собачек и так выдрессировал их, что нельзя на них без смеха смотреть. А смех после обеда — это тот же желудочный сок,— он перерабатывает все без остатка.

Когда бывала княгиня, Карташев давал себя уговорить, а князь, не соглашаясь в этом с Коленьевым, уходил спать. Тогда княгиня и Карташев чаще смотрели друг другу в глаза и веселее смеялись смешным проделкам собачонок и их хозяина. Хорошели глаза княгини, красивый ряд зубов ее сверкал белизной, бледные щеки покрывались нежным, как будто стыдливым, против воли, румянцем, и сердце Карташева радостнее билось.

А затем княгиня уходила домой, Карташев почтительно провожал ее домой и сам уезжал на линию, еще веселее отдаваясь работе.

Работы было много, и каждый день Карташев придумывал все новую и новую комбинацию этих работ. Так, между прочим, на участке у него был подрядчиком по земляным работам и балластировке пути старый его знакомый Ратнер. Цена со времени постройки за балласты оставалась по-прежнему по двенадцати рублей

за куб. Балластный карьер был у самой линии, балласт брался прямо с карьера и развозился по линии поездами. Ратнер таким образом до десяти рублей с куба клал себе в карман.

При последнем проезде комиссии было решено добавить на участок три тысячи кубов балласта и работу передать Ратнеру.

Карташев телеграфировал Пахомову, что в настоящее время можно работать гораздо дешевле, и просил разрешения, во-первых, за своей ответственностью сдать подрядчикам на месте эту работу и в счет возможных остатков от этой работы прибавить балласту, а также досыпать полотно дороги.

Таким образом, в карьере все — и вскрышка верхнего, не балластного слоя и сам балласт шли бы в дело.

Получив согласие Пахомова, Карташев стал приискивать подходящего подрядчика.

Как раз в тот день на вокзале робко подошел к нему молодой человек с просьбой дать ему какую-нибудь службу.

— Службы у меня никакой нет, а вот, если хотите, возьмите подряд на балластировку и возку земли.

— Я, господин начальник, этого дела не знаю...

— Я вас научу... Я предлагаю вам два рубля двадцать копеек за куб, причем два рубля будет стоить работа, а двадцать копеек будет ваш заработок. Это составит тысячи две. За этот заработок я беру гарантию на себя.

— В таком случае я, конечно, согласен.

— Ну, и отлично. Как ваша фамилия?

— Вольфсон.

— Идите к моему письмоводителю и скажите ему, чтоб писал с вами условие по образцу Ратнера. Назад я буду к пяти часам. Ждите меня здесь. Пусть письмоводитель попросит и Ратнера прийти к поезду. Только ни вы, ни письмоводитель Ратнеру пока ничего не говорите.

К пяти часам Карташев, как обещал, приехал с поездом с линии.

И Ратнер, и новый подрядчик, и письмоводитель

были уже на платформе. Был и выспавшийся уже начальник станции и прогуливавшийся с ним Коленьев.

Карташев поздоровался с ними и рассказал, что сейчас сделает.

Он подошел к Ратнеру и сказал:

— Господин Ратнер, вам, как старому подрядчику, я отдаю предпочтение. Мне нужно двенадцать тысяч кубов земли и балласта...

— Двенадцать тысяч? — радостно удивился Ратнер.— Мне говорил Пахомов две тысячи.

— Двенадцать. Я предлагаю вам три рубля за куб.

— Что?! О цене, во всяком случае, я буду говорить в управлении.

— Вы будете говорить о цене со мной. Вот телеграмма начальника ремонта.

Карташев подал ему разрешительную телеграмму.

Князь, стоя поодаль с Коленьевым, вытянул шею и весело ждал.

Ратнер прочел, пожал плечами, сделал презрительное «пхе!» и тупо задумался.

— Ну? — спросил Карташев.— Согласны?

— Что, вы смеетесь надо мной?

— Не смеюсь и спрашиваю вас в последний раз: согласны?

— Не согласен и никто не может согласиться.

— Петр Иванович,— закричал Карташев письмоводителю,— в таком случае пусть договор подписывает господин Вольфсон. Господин Вольфсон изъявил,— сказал Карташев, обращаясь к Ратнеру,— согласие работать по два рубля двадцать копеек куб.

— Какой такой Вольфсон?

— Вот тот молодой человек.

— Тот прощелыга, которого я к себе на пятьдесят рублей в месяц не захотел взять?

— Ну, это уж ваше дело. Князь, отправляйте нас,— сказал Карташев, становясь на площадку тормозного вагона.

— Готово, путевая отдана. Третий звонок!

Поезд уже тронулся, а Ратнер все еще стоял, опустив голову, не двигаясь с места.

И вдруг, быстро повернувшись, он бросился на

Вольфсона и, прежде чем тот успел что-нибудь предпринять, вцепился руками в его волосы.

Дальнейшего Карташев не видел, так как та часть платформы, где были Вольфсон и Ратнер, уже скрылась и виден был только князь и Коленьев. Коленьев, пригнув свою головку, молча смотрел, а князь, отвалившись и держась за бока, беззвучно, весь вздрагивая, смеялся.

Второй большой работой на участке была смена шпал. Вследствие того, что балластировка на этом участке была поздняя и недостаточная, шпалы почти сплошь успели подгнить. Да и качеством шпалы эти не удовлетворяли техническим требованиям, и первой работой эксплуатации была смена этих шпал. Но так как кредиты были ограничены, то сделать сразу сплошную смену было нельзя и делали частичную на остатки каждого месяца.

Карташев решил сразу сделать сплошную смену шпал и разыскал средства для этого. Эти средства заключались в следующем. В распоряжение начальника участка ежемесячно отпускалось по тысяче рублей на экстренные надобности. Предшественник его за четыре месяца не истратил из этих сумм ни одной копейки. Остальную сумму Карташев выгадал из остатков на балласте.

Горячая работа сразу закипела по всей линии участка. Носились земляные и балластные поезда, сотни рабочих сменяли шпалы, подбивали их новым балластом и выравнивали путь. Явилась возможность и все полотно досыпать до нормальной ширины и балласт поднять до проектной высоты.

В тех местах, где все уже было приведено в порядок, линия приняла неузнаваемый вид. На красивом, отточенном, свежем земляном полотне рельефно, с строго очерченными гранями высился балластный слой, выглядывали из него новенькие шпалы, и две пары рельс тянулись непрерывным следом. Как очарованный, смотрел с поезда и не мог оторвать Карташев усталых глаз своих и от откантованных ставок полотна и балласта, и от прекрасно вырехтованного пути, по которому поезд несся мягко, с особым задумчивым гулом.

Все артели, все мастера, все сторожа были на местах, потому что с каждым поездом мог проехать неутомимый начальник участка, и торопливо с свернутыми флажками бежали к переездам обыкновенно беременные сторожихи, особенно боявшиеся и днем и ночью ездившего, и записывавшего, и грозившего штрафом начальника участка. И всех их в лицо знал Карташев, постоянно экзаменуя их, что и как они должны делать — если скотина забредет на путь, если пожар будет в поезде, если путь окажется неисправным.

Лучшим временем был вечер, когда усталый Карташев возвращался домой.

Тогда как будто оставляло его все напряжение, отходили дела, и он думал о себе.

Вернее, не о себе, а о Аделаиде Борисовне, приезд которой ожидался со дня на день.

Маня бомбардировала его письмами и требовала точных указаний, как ей действовать.

Карташев и хотел, и боялся, и, наконец, сделал письменное, в очень туманных и витиеватых выражениях предложение Аделаиде Борисовне. Уже на другой день он жалел не так о том, что сделал предложение, как о том, что сделал в такой глупой, натянутой форме. Но письмо ушло, возвратить его нельзя было, и Карташев томительно ждал, стараясь угадать близкое будущее, стараясь представить себе черты Аделаиды Борисовны. Но черты расплывались, он не в силах был связать их в одно, и вместо Аделаиды Борисовны на него внимательно смотрело бледное лицо княгини.

Форсированная работа на участке подходила уже к концу, когда была получена срочная телеграмма о приезде назавтра генерал-губернатора, которого будет сопровождать все железнодорожное начальство с Савинским и Пахомовым во главе.

В Трояновом Вале, где генерал-губернатор должен был обедать и принимать депутацию населения, сильно заволновались.

Коленьев взял на себя добровольно помогать буфетчику, чтоб обед вышел на славу.

— Вы убрали ваш участок, как невесту, а моя станция грязна, как хлев; дайте мне несколько поездов

балласту,— приставал князь к уезжавшему навстречу начальству Карташеву.

— Ну, берите,— согласился Карташев и, отдав соответственные распоряжения, уехал.

На другой день, сидя с своим начальством в служебном заднем вагоне с зеркальными окнами на путь, Карташев мог наблюдать эффект, когда поезд мягко и плавно с усиленной скоростью помчался по его участку.

Молчали Савинский, Пахомов, инспектор, молчал Карташев, смущенно сгорбившись и прячась за спиной Пахомова.

Соседний начальник участка Бызов тыкал Карташева в бок и шептал:

— Вот свинью подложили! Вот подкачали!

Наконец, Пахомов угрюмо спросил:

— Много такого пути у вас?

— Весь.

— И везде сплошная перемена?

— Везде.

— Уйму денег перерасходовали?

— Я из сметы не вышел.

Савинский и Пахомов молча переглянулись.

Савинский быстро встал и сказал весело:

— Нет, надо генерал-губернатора пригласить.

Он отправился и привел генерал-губернатора.

Усаживаясь, генерал-губернатор приветливо бросил Карташеву:

— С вашим покойным батюшкой, Николаем Семеновичем, мы были добрые друзья.

Но довершила эффект станция Троянов Вал.

Князь и Колеснев успели чудеса сделать.

Вся платформа станции и поезда были усыпаны свежим, еще влажным песком. Стены станции были красиво декорированы свежей зеленью.

В пассажирском зале был эффектно приготовлен стол, и весь зал был превращен в оранжерею.

Когда генерал-губернатор занялся приемом депутации, мрачный инспектор, взяв под руку Карташева, сказал:

— Вы прямо маг и волшебник. Полтора месяца

всего назад мы были на этом участке, и он был сплошная мерзость запустения.

Он покачал головой.

— Вижу, вижу сам теперь, что вы не только бунтовать, но и дело делать умеете.

В это время сторож подал Карташеву две телеграммы.

Карташев прочел: «Я приехала сегодня, завтра назначен наш отъезд, была бы счастлива увидеть вас. Адель».

Вторая телеграмма была от Мани:

«Деля твоя».

Кровь сильно ударила в голову Карташева. От предыдущих всех волнений, напряжения голова его сразу заболела до тошноты, до зеленых кругов.

Инспектор отошел от него и, подойдя к Борисову, сказал:

— Что-то неладно с Карташевым,— какую-то неприятную телеграмму получил...

Борисов быстро подошел и спросил:

— В чем дело?

Карташев отвел его и рассказал, в чем дело.

— Почему же у вас такой несчастный вид?

— У меня голова вдруг так заболела, что я едва могу стоять и во всяком случае поспеть в Одессу никак уж не могу.

— Ну, это еще подумаем!

— Да что ж думать? На крыльях не перелетишь.

Генерал-губернатор кончил прием и сел обедать. Около него возился и ублажал его Коленьев.

Все были в восторге и от еды и от Коленьева, а когда кончился обед, все за губернатором отправились в вагоны.

— Вы оставайтесь и поезжайте в Одессу,— сказал Пахомов, ласково пожимая Карташеву руку и особенно загадочно смотря ему в глаза,— нас дальше проводит Коленьев.

Так же ласково и особенно пожал ему руку Савинский:

— Мой сердечный привет вашим.

Инспектор мрачно сказал:

— Я нарядил экстренный поезд, на котором вы успеете до завтра приехать в Одессу. Как только мы отъедем, вам этот поезд подадут.

— Я так благодарен, так благодарен,— говорил растерявшийся Карташев.

Поезд уже трогался, ему весело кивали из окон служебного вагона, и все лица были такие добрые, приветливые, ласковые, что слезы выступили на глазах Карташева, и он готов был всех их обнять и расцеловать.

Через час и Карташев уже мчался в экстренном поезде из одного пассажирского и одного служебного вагона с большими зеркальными окнами на путь, лежа на богатом и мягком диване зрительной залы вагона. И, если бы не страшная головная боль, Карташев считал бы себя самым счастливым человеком в мире. Сознание этого счастья охватывало по временам Карташева жутким страхом, что вот сразу все это рушится и дорого придется рассчитываться за эти минуты благополучия. Головная боль являлась как бы искуплением этого полного блаженства, и, плотно прильнув к подушке, Карташев радостно мирился с ней, не думая, так как думать не мог, а угадывая завтрашний свой счастливый день, когда больше не будет болеть голова, когда он увидит и почувствует ту, которая до сих пор казалась ему такой недосягаемой и которая отныне его вечная спутница на земле. Вечная и бесконечно дорогая, которую боготворил он, молился на нее, как на светлого ангела, снизошедшего к нему, грешному, грязному, чтоб унести навсегда в светлый, чистый мир любви, правды, добра.

Так и заснул он с тяжелой головой и с легким сердцем.

И проснулся, только подъезжая к Одессе, проспав шестнадцать часов подряд.

Головной боли как не бывало. Свежий и радостный, он бросился в уборную умываться, так как поезд уже вышел с последней станции Гниляково.

Вот уже и большой вокзал. Вот мчится и извивается уже поезд между знакомыми дачами с зелеными деревьями. Опять весна, и в открытые окна несется и

охватывает неуловимый аромат цветущих акаций, молодых лучей солнца, радостей жизни, и сердце тревожно и полно бьется под мерный стук колес и грохот поезда.

С размаху останавливается он в облаках пара и дыма, и уже видит Карташев в окна вагона там на платформе Маню и рядом с ней... его сердце замирает... Аделаида Борисовна, напряженная, робкая и радостная, ищущая его глазами.

Он спешит, качаясь еще от толчка, целует ей руку. Маня властно командует:

— Целуйтесь в губы!

И когда они исполняют ее приказание и Аделаида Борисовна при этом вся краснеет, Маня весело говорит:

— Вот так!

И все трое смеются.

С ними смеется веселое утро, смеется солнце, весь город своими звонкими мостовыми, смеющийся треск которых отчетливо разносится в раннем утре.

— Вот что,— диктует дальше Маня,— прямо отсюда пожалуйте к папе на могилу,— там никто вам мешать не будет сговориться, а я поеду домой.

И уже вдвоем только с Аделаидой Борисовной они едут, кивают головами Мане.

Маня не торопится брать себе извозчика и стоит теперь серьезная, задумчивая и долго еще смотрит им вслед.

Вот и кладбище, прямая аллея к церкви, оттуда по знакомой тропинке, держась за руки, идут Карташев и Аделаида Борисовна. Уже мелькает между деревьями мрачная, развалившаяся башня памятника, с золотой арфой когда-то на ней и улетавшим ангелом.

Вот и ограда с могилой отца, с мраморным крестом над ней,

Карташев, сняв шапку, стоит и смотрит на стоящую на коленях свою невесту и переживает миллион всяких ощущений: обрывки воспоминаний, связанных с этим местом из давно прошедшего, волну настоящего, так сразу нахлынувшую, что он потерялся совсем в ней и не может найти ни себя, ни слов, и хочет он, чтоб она

подольше молилась, чтоб успел он хоть немного прийти в себя.

Но она уже встает, и он говорит бессвязно, не находя слов:

— Все это так быстро, неожиданно... Я так счастлив... всю свою жизнь я посвящу, чтоб отблагодарить вас... Я с первого мгновенья, как только увидел вас, я решил, что мне вы или никто... но я считал всегда все это таким недосягаемым, я гнал всякую мысль об этом...

К его сердцу радостно прилила кровь и охватила счастливым сознанием переживаемого мгновения, сознанием, что его Деля около него, смотрит на него, он может теперь здесь, среди вечного покоя и равнодушия мертвых, целовать ее.

Постепенно они оба вошли в колею. Аделаида Борисовна поборола свое смущение, Карташев нашел себя.

— Ах, как хорошо Маня придумала отправить нас на кладбище,— говорил через два часа Карташев, сидя рядом и обнимая свою невесту.— Только здесь, не стесняясь всеми этими милыми хозяевами, могли мы так сразу открыть и сказать все, что хотели. Там будет свадьба еще, но настоящий день, мгновенье, с которого начинаем мы нашу жизнь вместе,— сегодняшний, здесь на кладбище, в этой тишине и аромате вечной жизни. И здесь я клянусь и беру в свидетели всех хозяев этого вечного, что буду тебя вечно любить, вечно боготворить, вечно молиться на тебя!

Карташев быстро упал на колени и, прежде чем Аделаида Борисовна успела опомниться, поцеловал кончик ее ботинки.

Аделаида Борисовна судорожно обхватила руками шею Карташева и прильнула к нему.

Слезы текли по ее лицу, и она шептала:

— Я такая была несчастная... вся жизнь моя так тяжело складывалась... И так счастлива теперь...

Она не могла сдержать рыданий, а Карташев поцелуями осушал ее слезы. Она смеялась и продолжала опять плакать, тихо повторяя:

— Теперь я пла́чу уже от счастья...

Она заговорила спокойнее...

— Я росла очень болезненным ребенком. Несколько раз я была так больна, что думали, что я не выживу. Мать моя рано умерла, мне было всего три года... Отец женился на другой... Отец любил нас, но мачеха...— Она с усилием докончила: — Не любила никогда... Мы всегда росли с гувернанткой внизу и приходили наверх только к обеду... Мачеха меня считала особенно капризной... В десять лет меня уже увезли за границу в пансион, и я там семь лет пробыла... Каждый год отец с мачехой приезжали к нам на несколько дней, но никогда без мачехи мы с отцом не провели ни одной минуты... Она очень любит отца и боится, что он уделит хоть что-нибудь нам...

Она радостно посмотрела в глаза Карташеву:

— Теперь мне и не надо никого!

Карташеву было так жаль, так чувствовал он теперь ее в своем сердце, он обнимал и целовал ее и говорил ей, что будет счастлив, если заменит ей и мужа, и друга, и отца, и мать.

Надо было ехать домой, но Аделаида Борисовна хотела немного еще подождать, чтоб просохли ее глаза, и Карташев начал рассказывать ей из своих воспоминаний, связанных с кладбищем.

— Вот эта дорожка,— говорил он,— ведет прямо к стене, отделяющей кладбище от нашего дома.

— Это далеко отсюда?

— Нет, близко.

— Можно пойти посмотреть?

Радостный и счастливый Карташев повел ее по дорожке, по которой много лет назад так часто бродил. И так живо вставали в памяти друзья детства: Яшка, Гаранька, Колька. Вечно все такими же, как были, запечатлелись они и, казалось, вот-вот выскочат из-за какого-нибудь памятника, вот-вот опять услышит он их звонкие, возбужденные голоса, и опять будет двоиться он между желаньем быть и никогда не расставаться с ними и страхом, что назначенный срок прошел, и давно уже ждет его мать для того, чтоб заниматься, для того, чтоб играл он с сестрами, был дома и делал все то дело, к которому не лежала душа,

которое не имело ничего общего с его друзьями и их жизнью.

— Вот и стена! — сказал Карташев.

Темно-серая, старая, из известкового камня стена была перед ними, с рядами едва заметных могильных бугорков, с деревянными, кое-где сохранившимися крестами.

Мертвая тишина царила кругом, из знакомой щели между камнями по-прежнему озабоченно выглядывал из своего гнезда воробей, присела на мгновенье у другой щели ласточка, озабоченно и без толку ползет вверх по стене толстый жук и, робко прижавшись к самой стенке, растут всё те же цветы: васильки, ромашка застилает своими круглыми листочками землю, а там голый, треснувший бугорок и под ним, наверно, шампиньон. Карташев нагнулся и привычной рукой вырыл целое гнездо шампиньонов.

— А вот еще!

И они быстро набрали два полных платка.

— Помню, какой в детстве высокой казалась мне эта стена. Вот в этом месте мы всегда через нее перелезали.

— Как интересно было бы посмотреть на ваш дом!

— Если хочешь, полезем на стену.

— Не страшно?

— Ну! вот по этим дыркам, как по лестнице, я полезу вперед и подам руку.

Карташев влез на стену, лег на нее и спустил руку.

Аделаида Борисовна добралась до его руки и дальше уже с его помощью взобралась на стену.

Во всей ее фигуре были и страх не упасть и желание поскорее все увидеть. Пригнувшись, она смотрела, а Карташев, держа ее одной рукой, другой показывал ей сад, дом, сарай, горку и объяснял.

— Хотите, прыгнем в сад?

— Ой?

— Я обниму тебя, и мы сразу прыгнем, и таким образом, поддерживая тебя, я смягчу твое падение.

Аделаида Борисовна весело и нерешительно смотрела вниз.

— Только сразу надо: когда я скажу три — прыгать! Ну, раз, два, три...

Карташев прыгнул, а Аделаида Борисовна еще не собралась, и он потянул ее, и оба, потеряв равновесие, упали на землю. Оба испачкались, Аделаида Борисовна ушибла руку, бок и до крови оцарапала щеку. И вытереть кровь нечем было, так как платки с грибами остались на той стороне.

Карташев был очень сконфужен, извинялся, а Аделаида Борисовна, подавляя боль, улыбалась и ласково говорила:

— Ничего, ничего...

— Я сейчас принесу платки.

Карташев взлез опять на стену, прыгнул, взял платки и возвратился назад.

Перед смущенной Аделаидой Борисовной стоял высокий Еремей и тоже, мигая своим одним глазом, смущенно смотрел на нее.

— Это Еремей,— объяснил ей Карташев,— это моя невеста, Еремей.

Еремей радостно открыл рот и начал усиленнее кланяться, приговаривая:

— Ну, дай же, боже, дай, боже...

— Дай, боже,— помог ему Карташев,— що нам гоже, що не гоже, того не дай, боже...

Аделаида Борисовна кончиком платка, жалея грибы, вытирала кровь, а Карташев говорил Еремею:

— Вот, Еремей, как я угостил свою невесту.

— И чем то могло так оцарапнуть? — качал головой Еремей.— Та чему ж вы не гикнули, я бы лестницу приволок бы.

— Вот это верно! Пожалуйста, пока мы пойдем в дом, принесите лестницу.

Кровь перестала идти, но царапина была во всю щеку.

Скоро и Аделаида Борисовна и Карташев забыли о своем падении, отдавшись осмотру дома и рассказам.

— Вот и здесь меня раз высек отец... Господи, я, кажется, только и вспоминаю, как меня секли. Боже мой, какая это ужасная все-таки вещь — наказание. Около двадцати лет прошло, я любил папу, но и до

сих пор на первом месте эти наказания и враждебное, никогда не мирящееся чувство к нему за это... Тебя, конечно, никогда не наказывали?

— Нет... Меня запирали одну, и я такой дикий страх переживала...

На лице Аделаиды Борисовны отразился этот дикий страх, и Карташев совершенно ясно представил ее себе маленьким, худеньким, испуганным ребенком, с побелевшим лицом, открытым ртом без звука, которого вталкивают в большую пустую комнату.

— А, как это ужасно! Деля, милая, мы никогда пальцем не тронем наших детей.

— О, боже мой, конечно нет!

И они еще раз горячо поцеловались.

— Я как будто,— говорил Карташев,— теперь, когда побывал с тобой здесь, никогда с тобой не разлучался. Ах, как хорошо это вышло, что мы поехали на кладбище, сюда. Мы опять и уже вдвоем родились здесь и с этого мгновения вместе, всегда вместе пойдем по нашему жизненному пути.

Они шли, держась за руки, и она молчаливо горячим пожатием отвечала ему.

— Еще на колодезь зайдем, откуда я вытащил Жучку.

По-прежнему там было тихо и глухо.

Карташев заглянул и сказал:

— Какой мелкий: не больше сажени, а тогда казался бездной без дна. Все как-то стало меньше — и сад и дом... Все тогда было больше...

Лестница уже стояла у стены и около нее Еремей.

И Еремей уже не тот. Еще худее, выросла большая белая борода. За Зоськой умерла и толстая мать его Настасья, звонко кричавшая, бывало, сыну:

— А сто чертей твоему батьке в брюхо!

Другая теперь, злая, как ведьма, такая же худая, как и Еремей, ест поедом покорного, тихого, всегда бессловесного Еремея.

— Как здоровье Олимпиады?

Еремей махнул рукой и ответил неопределенно:

— Живет! На базар, бес, ушла...

Карташев дал ему двадцать пять рублей, и на бесстрастном лице Еремея сверкнула радость.

— Дай, боже,— говорил он, поддерживая лестницу,— щоб счастье, богатство було, щоб не перебрали всех денег...

На этот раз и благополучно взобрались и благополучно спустились на другую сторону.

Домой приехали только к часу.

Их встретили все с радостными возгласами, поздравлениями и вопросами, где они запропали.

— Послушай,— весело кричал издали Сережа,— поддержи коммерцию и не выдай: я держал пари на сто рублей, что вы уже обвенчались? Неужели проиграл? Войди в мое положение...

Когда подошли и увидели расцарапанное лицо Аделаиды Борисовны, опять забросали вопросами: как, что случилось? А Сережа громче всех кричал:

— Ну, я выиграл, выиграл: повенчались, и он уже побил свою жену!

Когда выяснилось, откуда эта царапина, раздался общий вопль:

— Тёма!

И все смеялись, тормошили Карташева и кричали:

— Тёма сумасшедший!

Евгения Борисовна качала головой и с ласковым упреком говорила сестре:

— Как же ты согласилась лезть на стену?

Маня кричала:

— Нет, кто, кроме Тёмы, придумает в первый же день тащить свою невесту на стену и прыгать оттуда? Во всяком случае, Деля, ты видишь, как опасно за этим господином слепо следовать. Именно с ним и надо всегда и за него и за себя все обдумывать, а иначе он заведет вас в жизни в такие круги, из которых и выхода не будет.

Аделаида Борисовна ласково и весело посмотрела на жениха и ответила:

— Куда он пойдет, туда и я пойду, и всегда будет выход.

— Деля, Деля! Погибла...

Сережа отвел брата и сказал:

— И я погиб: как теперь заплачу проигрыш?

— Кому ты проиграл?

— Положим, самому себе... От этого меняется разве что-нибудь?

— Ничего не меняется, и я плачу за тебя проигрыш.

— Я всегда знал, что ты благородный человек: давай деньги!

Когда все успокоились, Евгения Борисовна, скромно и в то же время торжественно, подошла к Карташеву и сказала своим обычным наставительным тоном, слегка картавя:

— Я поздравляю от души вас и Делю. Сделайте ее счастливой...— И, улыбаясь, прибавила:— Старайтесь больше не царапать ее: пусть этой царапиной ограничатся все неприятности вашей будущей семейной жизни...

Отъезд был назначен на другой день.

Аделаиде Борисовне надо было кое-что купить на дорогу, и после завтрака она с Карташевым поехали в город.

В магазине золотых вещей Аделаиде Борисовне понравилось миниатюрное золотое колечко с маленькой жемчужиной.

— Это детское кольцо,— сказал приказчик.

Но Аделаида Борисовна примерила, и оно нашло на ее мизинец.

Кольцо стоило восемь рублей, и Карташев купил его. Он хотел еще покупать, но Аделаида Борисовна твердо сказала:

— Это кольцо я буду всегда носить, когда вас не будет около меня, я буду смотреть на него и думать о вас. Но больше я ничего не хочу. Это такой старый и неприятный обычай дарить своей невесте.

Карташев вспомнил подарки Неручева, когда он был женихом Зины,— бриллиантовый фермуар, аметистовый прибор,— все это были такие дорогие вещи, и в то же время охватывало, смотря на них, такое тоскливое чувство, так холодно сверкали те камни, и где они теперь?

— Я тоже с вами согласен,— ответил он. И, улыбаясь ласково, тихо спросил: — Опять на «вы»?

Аделаида Борисовна покраснела и тоже улыбнулась.

В своих покупках Аделаида Борисовна серьезно и осторожно выбирала себе вещи и непременно дешевые. Когда Карташев соблазнял ее на более дорогие, она брезгливо говорила:

— Боже сохрани.

Карташеву начинали нравиться дешевые вещи.

— Неужели,— весело спрашивал он,— ты меня научишь быть экономным? Ах, как это было бы хорошо,— это равносильно тому, чтоб не быть своим собственным рабом.

— Конечно, конечно,— говорила горячо Аделаида Борисовна.

И они решили свое будущее гнездышко устраивать как можно дешевле.

— Знаешь что,— предложил Карташев,— давай сейчас самое главное закупим, а то потом без тебя я опять увлекусь.

И они поехали покупать мебель, кровати, посуду.

Купили все очень дешевое и только относительно рояля Карташев непременно настаивал купить не в триста рублей, как предлагала Аделаида Борисовна, а в семьсот пятьдесят.

Он говорил:

— Там, в Трояновом Вале, все развлечение наше будет музыка, ты так чудно играешь...

— Но ведь и на этом,— показывала Аделаида Борисовна на дешевое пьянино,— я так же буду играть,— оно такое маленькое, изящное, тон прекрасный, а сознание, что оно недорогое, будет еще приятнее.

— Нет, знаешь, Деля, если оно недорогое, значит оно не прочное, а ведь рояль покупается на всю жизнь, и если хороший, то и детям нашим перейдет. Если посчитать, что мы только двадцать пять лет вдвоем проживем...

Карташев быстро делал перемножение в уме.

— ...то это выйдет около девяти тысяч дней, и четыреста пятьдесят рублей лягут по пяти копеек на день всего лишним расходом... Пять копеек! Ну, каждый день, чтоб воротить эти деньги, мы будем делать какую-нибудь экономию в нашем бюджете на пять копеек.

Аделаида Борисовна, наконец, сдалась, и купили дорогой рояль.

Возвратились домой уже под вечер и дали подробный отчет в своих покупках.

И Аглаида Васильевна и Евгения Борисовна очень похвалили их за экономию, но Евгения Борисовна по поводу покупки дорогого рояля покачала головой и укоризненно сказала:

— Я боюсь, что Адель будет для вас слабой женой: я бы не уступила.

Аделаида Борисовна виновато смотрела на своего будущего мужа, Карташев радостно говорил:

— Но зато какой прелестный рояль!

— Ну, хорошо, что хоть нравится,— ответила Евгения Борисовна.— Но вот что: так как мы с мужем решили подарить вам именно рояль, то это наша покупка.

— Как?!

— Да, да, да! И я вам не Адель,— не уступлю ни за что!

Евгения Борисовна встала, ушла к себе наверх и возвратилась с чеком на семьсот пятьдесят рублей.

— Вот вам стоимость вашего рояля.

— Ну, в таком случае,— предложил Карташев своей невесте,— едем еще раз в город и на неожиданные деньги накупим всего...

Но против этого запротестовали все и энергичнее других невеста.

— Деля,— говорила Маня,— отбери, ради бога, у него все деньги и храни их ты...

Аделаида Борисовна лукаво улыбнулась, смотря на своего жениха, и весело ответила:

— Напротив: я и свои ему передам.

— Что, что?! — закричала Маня.— Ну, тогда я против вашего брака и поведу теперь дело на разрыв.

— Вот что,— предложил Сережа,— так как, очевидно, вы оба будете в денежном отношении несостоятельными, то деньги ваши я беру на хранение... Давайте же...

Сережа постоял, сгорбившись, с протянутой рукой и, качая головой, сказал:

— Пропащие вы люди!

На другой день Евгения Борисовна, ее муж, Аделаида Борисовна и Карташев уже плыли в безбрежное, гладкое, как зеркало, море, под куполом нежного, какое бывает только весной, неба.

Букеты ароматных цветов в руках у пассажиров и на столах тоже говорили о весне.

Весной была и их любовь, нежная, мягкая, ласкающая, как эта весна, как этот безмятежный день, как то радостное чувство, которое было в них и которое передавалось через них всем окружающим. Казалось, все были заняты, все были охвачены их радостью и все следили за ними, такие же, как и они, чуткие, напряженные. И все два дня путешествия были такими же светлыми, радостными, быстро промелькнувшими, и Карташев говорил своей невесте, сидя с ней на корме, за кучами канатов, когда пароход уже подходил к Рени:

— Это уже прошлое, но не ушло от нас. Оно в нас и вечно будет в нас. Эта память об этих двух днях — вечная картинка в вечной рамке нашей молодости, наших надежд, нашей силы.

И вдруг Аделаида Борисовна заплакала. И лицо ее опять было лицом маленького, беззащитного ребенка, у которого отнимают ее любимую игрушку.

Карташев порывисто, горячо целовал ее руки, лицо, глаза и говорил ей слова утешения.

— Ты будешь путешествовать, вести свой дневник, набираться впечатлений. Я буду работать, устраивать наше гнездышко, куда осенью, как птичка, ты прилетишь, чтоб холодную, скучную зиму жить со мной, вместе. У нас будет камин, яркий огонь в нем, перед камином мы с тобой — жарим каштаны, читаем, живем и наслаждаемся нашей новой жизнью.

В Рени приехали в шесть часов вечера и в восемь уходили. Вечером же уходил и поезд в Троянов Вал.

И опять уже один стоял Карташев на пристани, махая отъезжающим. И ему махали с парохода и Евгения Борисовна и муж ее. Аделаида Борисовна стояла сзади них и украдкой, робко вытирала слезы, и так рвалось сердце Карташева к ней, утешить ее, высушить поцелуями ее слезы.

Уже совсем скрылся в вечерней дали пароход, надо было и самому спешить на поезд. И он нехотя пошел с пристани, одинокий, весь охваченный Делей, ее лаской, грустью этой ласки.

На вокзале толкотня, масса пассажиров. Знакомый начальник станции дал Карташеву купе, в котором он и заперся, спасаясь от ищущих себе места пассажиров. И только когда уже поезд тронулся, он выглянул в проход вагона.

Прямо против его купе стояла девушка, та самая, которая в прошлом году ехала на пароходе с своим женихом-моряком. У ног ее лежал маленький изящный чемоданчик.

Очевидно, места не хватило, и она решила ехать, стоя в проходе.

Очевидно, и она узнала его.

— У вас нет места?

— Нет.

— Позвольте уступить вам мое купе.

— А вы сами как же?

— Я найду себе где-нибудь.

— Но мы могли бы и вдвоем поместиться в этом купе.

— Если вы ничего не имеете против...

Девушка нагнулась, но Карташев предупредил и бережно внес ее чемодан в свое купе.

Вошла и она и, легко присев у открытого окна, смотрела в темнеющую даль.

— Если вы не боитесь ветра, может быть предпочтете смотреть встречу поезда.

Она молча поменялась с Карташевым местами.

Оба некоторое время молчали.

Она заговорила первая:

— Мы, кажется, в прошлом году с вами ехали вместе на пароходе.

— Вы ехали с вашим женихом...

— Теперь уже муж, и я только что проводила его: он приезжал на несколько дней в отпуск.

— А я только что приехал из Одессы на пароходе... Я провожал свою невесту и, так же, как и вы в прошлом году, ехал с ней на пароходе. Мы вспоминали о

вас, и я говорил своей невесте, что завидовал вам тогда... Не думал я тогда, что через год...

— Вы инженер?

— Да.

— Вы моего двоюродного брата не знаете? Сикорского?

— Валериана Андреевича?

— Да.

Карташев обрадованно заговорил:

— Как же не знаю. В постройке я был его помощником. Мы старые знакомые, друзья еще с гимназии.

Они быстро разговорились. Она оказалась веселой и бойкой спутницей. Оба они были как бы товарищами по несчастью: она проводила своего мужа, он свою невесту.

Она была хороша. Полное, упругое тело на плечах и верхней части груди просвечивало чрез ее ажурную кофточку. Здоровый румянец играл на щеках, черный пушок оттенял сочные, нежные губы, серые большие глаза ее смотрели и обжигали из-под черных ресниц.

Наступали сумерки, становилось темно, а кондуктор все не зажигал огней.

Карташев как-то особенно чувствовал себя. Ему хотелось говорить, говорить о своей невесте и в то же время смотреть в эти серые глаза, смотреть на пушок губ и жадно следить за подергиванием их, когда, смеясь, она вдруг показывала ряд мелких, блестящих, как смоченный жемчуг, зубов. Хотелось коснуться ее маленькой, пухлой руки, коснуться ее розового, полного тела. И от этого кровь горячо вдруг приливала к его сердцу и сладкая истома, как набежавшая волна, охватывала его всего.

И тогда они оба сразу смолкали, смотрели в окно и опять друг на друга, и словно что-то вспыхивало опять в их глазах и радостно освещало надвигавшийся мрак ночи.

Прошел кондуктор, зажег свечу и ушел.

Свеча, не разгоревшись, потухла, и опять в темноте они сидели, говорили и, сидя уже рядом, смотрели в окно.

Загорелись яркие звезды в синем бархатном небе,

и бархат все синел и темнел, а звезды сверкали все ярче и ярче. Сверкали и дрожали, как капли росы, вот-вот готовые упасть. И падали и серебряным следом резали темную даль. И, как беззвучный вздох, сладко замирало в их душах это падение. И сильнее хотелось говорить, смотреть, касаться.

— Я совсем вас не вижу,— говорил Карташев, всматриваясь ближе в ее лицо.

— А я вас вижу,— говорила она и смеялась, слегка отодвигаясь.

Взошла луна и осветила их обоих. Уже другое было у нее лицо. Лицо русалки, очаровательное, волшебное, и, казалось, вот-вот спадут с нее ее платья и прильнет он к ней, дрожа от восторга, и умрет в ее объятиях. И сильнее кружилась голова, и, чувствуя себя, как пьяный, он весело болтал и смеялся, подавляя дрожание голоса, подавляя иногда прямо безумное желание броситься и целовать ее. Подавляя, потому что боялся, что не встретит в ней отклика, потому что после этого произойдет вдруг что-то страшное и позорное. И он опять и опять всматривался в нее и мучительно решал, что она теперь чувствует и переживает.

Поезд резко остановился, и в темноте раздался голос кондуктора с платформы:

— Троянов Вал!

— Ваша станция? — разочарованно спросила она.

— Я проеду до конца участка.

Еще четыре часа быть с ней.

— А может быть, вы спать хотите?

— Я?

Она рассмеялась.

— Боже сохрани. Я минутки не засну, потому что одна, потому что буду бояться! Ах, как я рада, что вы едете дальше. Сколько еще времени мы проведем вместе?

— Четыре часа.

— Будет шесть. Скоро светать будет.

Поезд опять мягко понесся в лунную волшебную даль.

— Ах, как хорошо! — радостно говорила она.

— Как в сказке,— отвечал ей Карташев, мы с вами летим на крыльях. Вы русалка, волшебница, я обнял вас, потому что иначе как же? Я упаду и разобьюсь, бедный смертный. А вы протягиваете вперед руку, и по вашему властному движению все с волшебной силой меняется и превращается в такое чарующее, чему нет слов. Только смотреть, и молиться, и целовать, если б только можно было... Ай, как хороша, как прекрасна жизнь! Хочется кричать от радости!

Стало светать, взошло солнце, и опять другим, новым казалось ее лицо. Теперь ее густые волосы разбились, и в их рамке выглядывало утомленное, слегка побледневшее ее лицо и большие серые глаза с черными ресницами.

Вот и последняя станция. Теперь поздно уже броситься и целовать ее. И слава богу.

Они сердечно прощаются, и Карташев целует ее руку.

Поезд отходит, Карташев стоит на платформе, она смотрит из окна вагона. Теперь Карташев дает волю себе и глазами целует ее глаза, волосы, губы, плечи... И, кажется, она понимает это и не отводит больше глаз.

И мучительное сожаление сжимает его сердце: зачем, зачем так скоро и бесследно пронеслась эта ночь?

XXIII

Целый день после бессонной ночи Карташев чувствовал себя как в тумане. В этом тумане перекрещивались беспрестанно текущие дела, воспоминания о двоюродной сестре Сикорского, воспоминания о невесте.

И в зависимости от охватывавших его воспоминаний то кровь бурно приливала к его сердцу, то казалось, что слышит он какую-то далекую нежную музыку, с ясным, грустным и в то же время успокаивающим мотивом. Но в то же время текущие дела линии требовали непрерывного напряжения и он, отдаваясь на мгновение этим воспоминаниям, гнал их от себя.

Под вечер помощник затащил его к себе на ужин, где также была и княгиня и князь.

Карташеву казалось, что в последнее время князь относился к нему подозрительно и всегда особенно усиленно подкручивал свои усы кверху, когда встречался с Карташевым.

Очевидно, то, что Карташев жених, успокоило князя, и теперь он был опять веселый и ласковый.

А княгиня, напротив, была сосредоточена и выжидательна.

После ужина князь и княгиня ушли на станцию, помощник занялся заказами на завтрашний день, а Карташев пошел к себе.

Придя домой, он быстро разделся и лег. Усталость приятно охватила его, и он быстро и крепко заснул.

Проснувшись на другой день, Карташев сразу подумал о своей невесте. В противоположность вчерашнему теперь она стояла на первом плане. Он отчетливо видел ее скромную фигурку, ее из шотландской материи тальму, ее розовую рабочую шкатулку. Он опять сидел с ней рядом на корме парохода, следил за бурлящим следом винта и говорил.

Ему захотелось писать, и он сел за письмо к ней:

«Милая, дорогая моя, радость моя! Взошло солнце, и я проснулся, и первая мысль о тебе. Как это солнце — ты своими лучами сразу осветила и согрела мою душу, и я сажусь писать тебе, моему источнику света, чистоты, ласки. Я знаю, что я не стою тебя, но тем сильнее я стремлюсь к тебе, я хочу быть с тобой».

Карташев писал и писал, лист за листом, поданный кофе остыл; приемная наполнилась обычными посетителями, в комнату, наконец, заглянул его помощник.

— Я сейчас, сейчас... Принимайте их покамест.

— Да не хотят они разговаривать со мной.

— Сейчас, сейчас...

Карташев торопливо дописывал:

«Вот какое длинное вышло мое первое письмо, стыдно даже посылать. А хочется еще и еще писать, не вставая, все три месяца нашей разлуки, но в приемной, как в улье, жужжат голоса,— мой добрый, толстый и благодушный, как отпоенный теленок, помощник, заглядывает ко мне, а мне надо еще кончать письмо, одеваться и пить кофе. И уже девять часов».

Через несколько дней и Карташев получил первое письмо от своей невесты.

И конверт, и почерк, и письмо были такие же изящные, такие же скромные, как и она сама.

Карташев с восторгом прочел письмо и в тысячный раз подумал, что лучшей жены он не мог бы себе пожелать.

В этом письме просто и в то же время умно и наблюдательно Аделаида Борисовна описывала то, что видела, слышала, изредка стыдливо только иногда касаясь самой себя.

«Умная, наблюдательная, сдержанная, образованная, такая же, как мама,— думал Карташев,— и в то же время нежная, женственная, прелестная...»

Мало-помалу жизнь Карташева вошла в обычную колею. Он возился с подрядчиками, ездил по линии. По мере того как крупные работы заканчивались на участке, мелким конца не было. Там толчки, там осунулось полотно, там трава не скошена, не вытянуты бровки полотна, не выходят к поездам сторожихи, а сторожа постоянно попадаются только около своих будок. А вот рабочая артель, и Карташев быстро пересчитывает и отмечает себе их количество на этот день.

Все это было важно, как всякая мелочь в деле. Своего рода часовой механизм, где все должно быть в строгом порядке и соответствии, чтобы получалась общая совокупность. Но в то же время все это было и очень однообразно. Утомительно своей однообразностью. Никогда Карташев не уставал так в самые кипучие моменты постройки, как уставал теперь, возвращаясь к вечеру домой после всей этой мелкой сутолоки дня. Так же скучна была и работа в канцелярии — переписка с начальством, мелкая отчетность.

И над всем господствовало теперь сознание, что главное надо всем этим — его Деля, будущая их жизнь, переписка с ней, необходимость ехать в Петербург.

Он уже подал просьбу о двухмесячном отпуске и только ждал заместителя.

Его мысли были уже далеки от того места, к которому он еще был прикован, и он радостно думал о том уже близком времени, когда, свободный от всяких дел,

он будет нестись в Петербург. Будет лежать, смотреть в окно вагона, читать в сознании, что дверь не отворится больше и не будут ему докладывать, теребить на все стороны, требовать неотложных ответов.

Приехал и заместитель, и в последний раз с ним объехал Карташев участок.

Он сдал участок, кассу, канцелярию, распрощался со всеми, погулял на прощание в роще с княгиней и уехал ночью, провожаемый только князем.

Поезд тронулся, в последний раз высунулся из окна Карташев, махнул фуражкой князю и сел в своем купе.

Было какое-то предчувствие в его душе, что сюда он больше не возвратится. И, проверяя себя, он был бы и рад этому. Даже зимняя жизнь в своем участке с молодой женою здесь не манила его на глазах у анализирующей княгини, у скептика князя, у доброго обжоры помощника. Это и не общество и не та кипучая жизнь постройки, которая так по душе пришлась Карташеву.

Жизнь, в которой можно забыть самого себя, можно отличиться, выдвинуться, измерить предел своих сил и способностей.

А вдруг там, в Петербурге, ему удастся попасть опять на постройку, проникнуть в те таинственные управления построек дорог, в которых до сих пор ему удавалось видеть с Володькой только приемные да быстро проходящих озабоченных и важных служащих этих управлений. Удавалось только читать на дверях: «кабинет директора», и в уме представлять себе, как в этом кабинете с тяжелой кожаной мебелью в образцовом порядке, где-то за большим столом, заваленный бумагами, заседает важный, как бог, директор. Какой он? Лысый? Старый? Молодой еще?

Может быть, и он, Карташев, будет когда-нибудь таким же? Нет, никогда не будет. Будет и у него много в жизни, но чего-то другого. Но важным в этом кабинете он себя не мог представить.

Перед Петербургом Карташев заехал к родным.

— Если бы я навязалась ехать с тобой,— спросила его Маня,— взял бы?

— С удовольствием и притом на свой счет туда и обратно и с суточными по пяти рублей в день.

Маня говорила, что едет главным образом справиться насчет поступления на медицинские курсы.

Аглаида Васильевна сочувствовала поездке Мани в том смысле, что это будет безопаснее для Карташева. Мало ли что в дороге может случиться? Встреча с какой-нибудь интриганкой, которая сумеет ловко и быстро оплести ее сына. Мало ли таких, и кого легче, как не ее сына, провести, как угодно?

Этими своими соображениями она с Маней поделилась.

И Маня согласилась с матерью, сказав:

— Конечно, конечно... Со мной насчет всего такого можете быть покойны: так отведем Тёмке глаза, что он никого, кроме тех, кого я ему подсуну, не увидит.

Маня весело рассмеялась.

— Если б он только слышал, какую змею отогревает в моем лице.

— Боже сохрани ему говорить!

— Ну, конечно!

В оберегании брата от вредных влияний принимал участие и Сережа.

На вокзале он, пройдя все вагоны, сказал сестре:

— Давай вещи. В одном купе с тобой будет сидеть такая рожа, что и Тёмка не полакомится. Будет доволен.

— А он сам в этом же вагоне будет?

— Рядом купе для курящих.

— Ну, неси.

— А вот к этому вагону и близко его не подпускай,— там такая плутишка сидит, что я и сам был бы не прочь...

— Фу, Сережа!

— Что за фу? Для этого и на свет созданы.

Дама, ехавшая в купе с Маней, на одной из станций Московско-Курской дороги слезла.

Маня осталась одна.

— Ну, слушай,— заговорила Маня, когда к ней пришел брат.— В Петербург я теперь не поеду...

— А куда же ты поедешь?

— Это все равно. Сойду я в Туле и чрез несколько дней буду в Петербурге. Я тебя очень прошу ни маме, никому об этом ни слова.

— Надо в таком случае условиться, в какой гостинице мы остановимся в Петербурге.

— Я с тобой не остановлюсь.

— А ты где же остановишься?

— Ну, это все равно, но ты скажи, где тебя искать?

— Где? Ну, в Английской.

— Дорогая, наверно?

— Я не знаю,— во всяком случае не из самых дорогих. Тебе сколько дать денег?

— Столько, сколько не стеснило бы тебя.

— Пятьсот хочешь?

— А ты не боишься сесть на мель?

— Нет.

— В таком случае давай, пригодятся.

— Ты мне обещала, помнишь, рассказать через год о переменах у вас.

— Перемены предполагаются большие. Вот приеду в Петербург, расскажу.

— Они, что ж, за эту твою поездку выяснятся?

Маня быстро пересела от окна и спокойно спросила:

— Почему в эту поездку?

— Потому что ты сама откладываешь до Петербурга.

— Я не потому откладываю.

— А почему же?

— Почему да почему... Стареньким скоро будете, если знать все захотите... В общем, конечно, эта моя поездка должна выяснить многое из того, что и мне теперь не ясно еще. Одно можно сказать, что раскол зашел так далеко между нами, что придется, пожалуй, и совсем расколоться на две партии.

— Теперь одна? Земля и воля?

— Не кричи. Да.

— А какая другая будет?

— В Петербурге расскажу.

— Денег ты им много везешь?

— А любопытно?

— Как хочешь.

— Видишь, за этот год собрала я тысяч шесть, но осталось около четырех.

— А в общем большие пожертвования?

— Не знаю. Знаю одно только, что нужда громадная в деньгах.

— И когда конец?

— Конец?

Маня пожала плечами.

— Только еще начинается. При детях твоих будет конец.

В Тулу приехали вечером.

— Не провожай,— категорически сказала Маня, целуясь с братом.

— Я все равно пойду в буфет.

— Немножко подожди.

Карташев в окно вагона видел, как сошла Маня, поздоровалась с каким-то худым, сгорбленным, молодым брюнетом с жидкой бородкой и прошла с ним к выходу.

Карташев еще немного подождал и тоже вышел.

В большой зале буфета стоял гул от массы голосов толпившегося народа.

Карташев вспомнил, что, будучи студентом, в Туле всегда ел суточные щи с пирожками. И теперь он потребовал себе щей, ел их и искал глазами сестру.

Но ни ее, ни спутника ее нигде не было видно.

Только на десятый день по приезде Карташев увиделся с сестрой.

Она подошла к нему, когда он выходил из гостиницы.

— Не бери извозчика,— сказала она,— пройдем пешком.

Они пошли сперва по Вознесенскому и затем повернули по Морской по направлению к театрам.

— Ты шла ко мне или ждала меня?

— Ждала. Такое знакомство, как со мной, принесет тебе только вред. Слушай теперь хорошенько. То, о чем мы говорили дорогой,— теперь совершившийся факт: образовалась новая партия, и я примкнула к ней. На днях мы выпускаем первый номер нашего журнала. Мы будем называться народовольцы. Наша программа в сущности не отличается от «Черного передела», но путь для достижения цели у нас иной. Мы говорим так: пока нет свободы, настоящей по крайней мере, чтобы высказывать открыто свои мнения и вести мирную агитацию,

ничего нельзя сделать, как уже показал опыт. За пропаганду, то есть за то, что дозволяется во всех конституционных государствах, у нас ссылают уже на каторгу, а скоро и вешать будут. Поэтому и прежде всего борьба с режимом, чтобы свергнуть его и установить ту форму, хотя бы буржуазной свободы, какой пользуются в Европе. Борьба на почве террора: политические убийства, устранение тех, в чьих руках власть, кто не желает нового порядка вещей.

— Но ведь всякое насилие — замена разума руками, а те руки сильнее ваших.

— Теперь — да, но пройдут года, и там будет меньшинство. Мы-то, конечно, обреченные... Я уже переменила фамилию: сестры Мани у вас больше нет. Подготовь маму, и выдумайте себе, какую хотите, историю моего исчезновения. До свадьбы лучше не говори ничего: я осталась, чтоб присмотреться к курсам.

— Ты будешь писать?

— Нет, ни я к вам, ни вы ко мне.

— Маня, но ты подумай, какой это удар для мамы будет?

— А! Среди всех тех ударов, о которых скоро услышите, стоит ли еще говорить о таком ударе? И этот урод, на набитый мешок похожий,— Маня показала на проходившего, точно распухшего господина, который с широко раскрытыми глазами осмотрел ее,— и лучший из людей — только короткий, очень короткий момент проносятся по земле, и весь вопрос не в продолжительности этого мгновения, так как оно все равно ничтожно по краткости, а в том, как это мгновенье будет использовано, сколько сознания будет в него вложено в том смысле, что раз живешь, коротко живешь, и третье, что никому, кроме дела, которое вечно в тебе и за тебя будет жить, ты не нужна и не принадлежишь. Постарайся стать на мою точку зрения и понять одно, что все, что я говорю, не слова, а мое дело, и с точки зрения этого дела, ты понимаешь, как я отношусь и к своим и к маминым невзгодам, которые являются для дела вредными, тормозящими его, поэтому отвратительными. Законно, целесообразно одно: общее, равное благо людей, и враги этого блага, похитители его,— наши враги

без пощады. Они будут, конечно, ненавидеть нас, будут искажать смысл нашей деятельности, но им и не остается ничего больше... Можешь передать маме, что я лично счастлива, что попала в лучшую струю человеческой жизни, и что, что бы меня ни ждало, я лучшего ничего и не желаю. Желаю только, чтоб это все было чем больше, тем лучше.

Маня остановилась и весело протянула вперед руку.

— А теперь прощай и не поминай лихом. В мою память лишние деньги отдавай, а может быть, когда-нибудь и не в мою уже память, а в силу своего собственного сознания.

У Мани сверкнули слезы.

— О, какое это было бы счастье.

Маня отвернулась и пошла прочь.

— Маня! Маня! — звал ее Карташев.

Но Маня, не поворачиваясь, села на проезжавшего извозчика и быстро уехала.

Подавленный, недоумевающий Карташев еще долго стоял и смотрел вслед уехавшей сестре.

Неужели его сестра, эта Маня, может быть, очень скоро уже будет стоять перед своей жертвой, будет видеть ее кровь, конвульсии смерти, а потом и сама умирать? Сделаться палачом ей — Мане, которая сама и добрая, и умная, и любящая. Красивая... могла бы жить, наслаждаться жизнью... Как могла оторваться она от всего этого?.. Мог ли бы он? Нет, нет. Даже если бы и сознавал, что истина у них. Но разве могут они с уверенностью сказать, что истина у них? Где факты? И разве жизнь не разрушила уже все фантазии Фурье, построенные на том, что стоит только захотеть. Но, чтоб захотеть, надо знать, чего хочешь. Надо самознание, образование, а среди ста миллионов темной, беспросветно темной массы, когда наступит это самознание? И это равенство, это равенство всех и вся... Возможно ли оно? Возможен ли прогресс, сама жизнь среди непроглядной серой пелены этого равенства без семьи, близких, из-за жалкого куска хлеба? Какая-то беспросветная тюрьма, арестантские роты, та же община деревенская, в которой самые талантливые спиваются, ссылаются, делаются негодяями.

Карташев энергично, быстро шел в свое министерство.

Нет, нет. Жизнь не так прямолинейна, и если две тысячи лет тому назад попытки Христа, действовавшего не руками, а силой убеждения, силой большей, чем руки и насилие, ничего не достигли и до сих пор, то не достигнут и эти...

— Извозчик! — позвал Карташев пустого извозчика.

Он ехал и опять думал и думал.

Ему жаль было Мани. Она стояла чистая и светлая перед ним. Помимо его воли, все существо его проникалось уважением к ней, каким-то особым уважением к существу высшему, чем он, способному на то, о чем он и подумать не мог бы. Через нее и ко всей ее партии было то же бессознательное чувство.

ПРИЛОЖЕНИЕ

XXIII

(Продолжение)

В министерстве Карташев встретился с своим товарищем по институту, Короедовым. В институте они питали друг к другу обоюдную симпатию.

Короедов был всегда с виду тихий, скромный, замкнутый в себе. С виду даже равнодушный ко всему, кроме занятий. Но это было только с виду. В душе Короедов очень сильно реагировал на все явления общественной жизни и очень едко умел подчеркивать смешные и слабые стороны своих выдвигавшихся товарищей.

Так и называли его: «Ядовитый господин».

Он пускал свои ядовитые стрелы всегда тихо, без шуму, в виде замечания вскользь, чуть ли не на ухо соседу.

Чертежный стол Карташева стоял рядом с Короедовым, и Короедов любил делиться с ним в те редкие часы, когда Карташев работал, своими впечатлениями.

Карташев слушал и весело смеялся, следя за игрой умного и тонкого лица Короедова.

Ему особенно нравилась улыбка Короедова, с легким подергиванием лица. Это начинавшееся подергивание всегда было признаком того, что какая-нибудь новая стрела уже опять готова. И, заметив, Карташев бросал свою работу, подходил к столу Короедова, на-

клонялся с локтями к его чертежу и терпеливо ждал.

И все впечатление от Короедова осталось, как о молодом, ядовитом и симпатичном и умном собеседнике.

Встретившись на лестнице, они радостно и долго трясли друг другу руки.

Потом одновременно, как настоящие институтки, зазакидали друг друга вопросами:

— Ну, что? Как живете? Где вы теперь?

Сперва Карташев рассказал о своем житье-бытье, а потом с обычной своей манерой, как будто нехотя, как о чем-то нестоящем, заговорил о себе Короедов.

Он служил в частном обществе здесь, в Петербурге, и в то же время пристроился к институту в качестве репетитора.

— И я собираюсь жениться,— усмехнулся он.— Помните нашего товарища Ясневского, ну, так вот на его сестре.

— Вы много получаете? — спросил Карташев.

— Да всего тысяч десять в год. Захотел бы, и двадцать было бы: Петербург большой...

«Вот как делают карьеру»,— подумал Карташев.

— Да, вы столичные.

Короедов усмехнулся.

— А кто вам мешает такими же столичными сделаться?

— У меня ни связей, ни протекции.

— Пустяки. Застревать в провинции молодому инженеру надолго не следует.

— Да, но, знаете, бросить насиженное место, ничего определенного не имея в виду...

Короедов, тихо усмехаясь, ответил:

— Волка бояться, в лес не ходить.

Речь перешла на товарищей. Стали вспоминать одного за другим. Оказалось, что Володька все еще на Урале.

— Ну, а наши радикалы,— спросил Короедов,— Эрдели, Скальковский?

— Ничего не знаю о них.

— Из ихних ни с кем не соприкасались?

«И даже сегодня»,— подумал Карташев, вспомнив о сестре, и сказал:

— Так вскользь приходилось.

— Вы к ним как относитесь?

— Во всяком случае с уважением,— горячо ответил Карташев.— Если они и ошибаются, то сами и платят за это.

— Конечно, конечно,— сочувственно ответил Короедов и весело спросил: — Слушайте: вы долго еще в Петербурге пробудете?

— Несколько дней.

— Видите: в воскресенье моя свадьба, может быть хотите быть моим шафером?

Карташев покраснел и с удовольствием ответил:

— Конечно, хочу.

— Ну, и отлично. Тогда вот что: сегодня вы свободны?

— Совершенно.

— Тогда, может быть, поедем обедать к моему будущему тестю: я вас познакомлю с невестой.

— Прямо к обеду? Ваш тесть кто такой?

— Он председатель правления, тоже наш инженер. Они живут в Царском. С пятичасовым поездом мы бы и поехали.

— Отлично.

«Председатель правления?!» — думал Карташев.

— Тогда, значит, на Царскосельском вокзале в пять часов? А теперь я пойду.

Карташев попрощался и, поднимаясь по лестнице, думал, что как это все хорошо вышло. Шутка сказать — познакомиться с отцом Ясневского, в роли шафера, своего, так сказать, человека. А какой скромный Ясневский: никогда и не заикнулся в институте о своем отце.

Маленький, белобрысый Ясневский, с большими голубыми глазами, всегда молчаливый, задумчивый встал в памяти Карташева.

В пять часов вечера Карташев приехал на вокзал, где уже ждал его Короедов.

Ясневские занимали в Царском большую, хорошо устроенную дачу, с большим парком.

Пройдя чрез этот парк, Карташев с Короедовым поднялись по ступенькам террасы, где нашли все общество, кроме главы дома.

Карташева Короедов прежде всего представил хозяйке дома, представительной, полной, высокого роста, прекрасно сохранившейся еще даме. Рядом же с ней сидела и дочь ее, Агнеса Станиславовна, невеста Короедова. Очень красивая, похожая на мать, с массой тонких, золотистых волос, с голубыми глазами, дочь, как бы воочию подтверждала, какая красавица была ее мать.

И мать и дочь остались довольны впечатлением, произведенным на Карташева, и впечатлением, какое застенчивый Карташев произвел на них.

Пока Карташев знакомился и здоровался с мужчинами, мать вполголоса сказала дочери:

— Il est beau [1].

— Oui, très beau [2].

Приветливо пожимая руку товарищу своему Ясневскому, Карташев слышал эти слова, но и виду не подал. За Ясневским стоял другой его товарищ по выпуску, маленький, с молоденькой фигуркой гимназиста, вечно веселый, вечно довольный немчик Гартвиг, с которым Карташев на одном из институтских вечеров сошелся на «ты».

И теперь Гартвиг уже беззвучно смеялся, разведя руки.

— Ты какими судьбами? — спросил он, здороваясь дружески с Карташевым и по своей обычной манере надвигаясь на него.— Постой, постой, я хорошенько посмотрю на тебя... Поправился... Нет, ничего, молодец... Правда, молодец? — обратился он к Агнесе Станиславовне и, тряхнув густыми, прямыми, каждый врозь, волосами, весело рассмеялся.

Следующий был тоже только что выпущенный инженер по фамилии Бор-Залесский.

Это был сильный, немного гнувшийся, блондин, с бледным лицом, маленькими, напряженными глазами. Его молодая фигура была в странном противоречии с его манерами пожившего уже военного в отставке. Он щурил глаза, немного топырил губы, курил из боль-

---

[1] Он красив (*франц.*).

[2] Да, очень красив (*франц.*).

шого янтарного мундштука, держа в другой руке серебряный портсигар с фитилем. Знакомясь с Карташевым, он сунул портсигар в карман панталон таким образом, что длинный фитиль остался висеть наружу.

— Бор-Залесский,— угрюмо повторил он и более покровительственно прибавил: — Встречались в институте.

— Да, да,— ответил приветливо Карташев, хотя вся фигура Бор-Залесского пришлась ему не по душе.

Последний на террасе был студент в введенной в этом году форме с вензелями на плечах, в куртке в обтяжку и в синих таких же в обтяжку на кавалерийский манер панталонах.

Студент был рослый гвардеец, с аккуратно расчесанной надвое светлой бородкой, с прилизанной гладко прической, молчаливый, сосредоточенный и важный.

Знакомясь, он сдвинул ноги, одновременно наклонил голову и буркнул:

— Пресняков.

Затем сейчас же важно провел рукой под бородой, не тронув ее и слегка откашлялся.

Когда знакомство кончилось, Короедов обратился к невесте и с своей обычной, добродушно-ехидной улыбкой и ласковым голоском сказал:

— Ну-с, вот, Агнеса, и наш четвертый шафер. Если угодно, могу вам его уступить, нет — себе возьму.

— Мне угодно,— ответила, слегка краснея, капризно подняв слегка верхнюю губку, невеста.

Короедов молча поклонился, хотя лицо его подергивалось, и Карташев не сомневался, что он сдерживал какую-нибудь уже готовую веселую, но ядовитую стрелу.

Не сомневалась в этом, очевидно, и невеста и вызывающе бросила:

— Ну, говорите же, что хотите сказать...

— Интересно? — спросил Короедов.

— Нет, но я боюсь, что, оставляя приготовленный яд в себе, вы можете заболеть.

Гартвиг залился веселым смехом.

— Послушай,— объяснял он Карташеву,— это я ему оказал товарищескую услугу, сообщив Агнесе Станиславовне, как мы его называли в институте.

— Ну, ну, говорите же,— что вы хотели сказать?

Короедов весело подернул плечами.

— Право же, ничего, кроме того, что не сомневался в вашем ответе.

— Надеюсь,— усмехнулась мать, откинувшись и смотря, прищурившись, в парк.

— Я бы не удивилась, если бы даже мой любезный жених ждал бы от меня какого-нибудь невежливого ответа.

— Вот уже это, ах, оставьте.

— Боже мой, что за выражения,— сказала мать и оглянулась на всех.

— Отличное выражение,— усмехнулся Короедов.

Мать только покачала головой, а Гартвиг подсел к Агнесе Станиславовне и с комичным участием сказал, показывая на Короедова:

— Обижает он вас?

— Меня очень трудно обидеть.

— Ну, конечно, особенно, когда у вас два таких, как я и Карташев, шафера.

— Ну, может быть, еще monsieur Карташев, а что до вас...

— Кончайте?

— Обидитесь.

— Я никогда не обижаюсь.

— Я все смотрю,— сказала Гартвигу мать,— на вас и не верю: неужели вы уже год как инженер.

— Позвольте, позвольте,— весело ответил Гартвиг и, вскочив, взяв под руку Ясневского, подошел с ним к матери.— Позвольте вас спросить: какая же разница между нами? И у него нет ни усов, ни бороды и даже роста одинакового.

Бор-Залесский дернул головой и добродушно грубо сказал:

— Оба гимназистишки шестого класса, выдающие себя за инженеров.

— Вот Петр Николаевич и теперь уже выглядит инженером,— сказала мать, смотря на студента.

Студент сделал гримасу, похожую на улыбку, и опять, едва касаясь, провел рукой по бороде.

— Мой брат хоть солидностью берет,— сказала Агнеса Станиславовна, обращаясь к Гартвигу,— а вы притом еще вертушка, хохотушка...

— Я? — спросил Гартвиг.

Он оглянулся.

— Вот спросите его,— показал он на Карташева.

— Два сапога пара,— сказал Бор-Залесский.— Обоим и пальца даже показывать не надо, чтоб до смерти захохотались.

Карташев недружелюбно покосился на Бор-Залесского, а потом ласково на Агнесу Станиславовну и Гартвига.

— Обижают нас с тобой, Тёма? — спросил он и прибавил: — Впрочем, Агнесу Станиславовну и ее шаферов никто обидеть не может.

— Да, да,— весело сказала Агнеса Станиславовна,— мы составим сплоченную компанию против этих грубых людей и их выражений. Monsieur Карташев, садитесь здесь около нас.

Но в это время дверь террасы отворилась и вошёл строгий, худой, быстрый в движениях, пожилой господин, с большими польскими усами и бритым лицом.

— Папа, позвольте вам представить моего товарища Артемия... Виноват?

— Николаевич Карташев.

Короедов прибавил:

— Шафер Агнесы Станиславовны.

Старший Ясневский вторично молча пожал руку Карташеву и обратился к жене:

— Ну, что ж? Все, кажется, в сборе?

— Валериан Иванович,— обратилась та к Короедову,— нажмите кнопку, пожалуйста...

На звонок появилась красивая, с очень серьезным лицом горничная.

— Можно подавать, Наташа.

Ясневский подошел к жене и под руку повел ее в столовую.

Бор-Залесский, с опытностью отжившего гусара, подал свою руку Агнесе Станиславовне.

Гартвиг весело подхватил под руку Карташева, сказав:

— Мы с тобой, как бобыли.

— Я тоже скоро женюсь,— ответил Карташев.

— И вы? — весело повернулась к нему Агнеса Станиславовна.

— Представьте себе и я тоже! — сказал Гартвиг.

— Не верьте: хвастает,— ответил Бор-Залесский.

— Значит, вакантные у нас только Валя и Петр Николаевич?

— Что до меня,— густым басом ответил студент, поправляя свою бороду,— то и я, собственно, уже в лес смотрю...

— А где теперь ваша жена, Георгий Павлович? — спросила Агнеса Станиславовна у своего кавалера.

— Она у матери теперь.

— Вы ее возьмете с собой на изыскания?

— Возьму. Будет ходить за мной.

— А как же ребенок?

— Будет его в корзине за плечами носить.

— Папа, слышите,— сказала, входя в большую, светлую, богато сервированную столовую, Агнеса Станиславовна,— Георгий Павлович хочет с женой делать изыскания, а сына своего носить у себя за плечами в корзинке.

— Да? — спросил Ясневский, подходя к столу с закусками и наливая себе рюмку водки.— В наше время на корабли и на работы жен не допускали.

— Это в ваше время,— пренебрежительно махнул рукой Бор-Залесский.

Ясневский ничего на это не ответил.

Обращаясь к своей даме, Бор-Залесский спросил:

— Что прикажете вам положить?

Карташев, отстав, шепнул Гартвигу:

— Вот нахал.

— О, ужасный! — громко пожал плечами Гартвиг.

Карташев в это время встретился глазами с Короедовым. Точно угадав, что сказал Карташев Гартвигу, Короедов смотрел на него сочувственно весело и говорил:

— Сюда поближе, я уже налил вам.

Закусив, все сели за стол.

Обед был чопорный и длинный.

К обеду вышла младшая дочь Маруся, лет десяти, с костлявой гувернанткой — англичанкой.

У Карташева соседи были с одной стороны Гартвиг, с другой — Маруся.

— Я должна вам сделать замечание,— сказала, немного шепелявя, Маруся Карташеву, который вел оживленный разговор с Гартвигом,— вы очень невежливый сосед в отношении своей дамы.

— Это вы моя дама?

— Да, конечно. Кто же еще другой?

— Я очень извиняюсь, и, чтобы искупить свою вину, я приглашу, кроме себя, занимать вас и своего соседа... Саша! — позвал он Гартвига, но Маруся перебила:

— Если я найду вас неинтересным, я тогда сама и приглашу кого-нибудь другого и у вас совета не спрошу.

— Маруся! — окликнул ее отец.

Гувернантка тоже заговорила с ней.

Маруся наклонилась к тарелке и с упреком сказала Карташеву:

— Из-за вас я получила замечания от отца и моей гувернантки. Я никогда вам этого не прощу.

Карташев также тихо ответил:

— Я в отчаянии.

— И помните, что я женщина, а женщина никогда не прощает обиды.

Также тихо Гартвиг сказал:

— В десять лет, Маруся, женщина называется еще девочкой.

— Не говорите глупостей,— тихо, быстро ответила Маруся,— вы разве не знаете, что в восемь лет нас забавляют бабочки, цветы, а уж в десять посещают нас неясные мысли...

— Что? Что? Умер, умер...— заерзал от восторга Гартвиг.

— Маруся, ты что опять там? — отозвалась мать.

— Не я, мама, а мои соседи, они говорят такие вещи, что у меня уши вянут!

При общем смехе мать сказала:

— Господи, что за выражения!

И начала переводить по-английски насторожившейся гувернантке.

Гувернантка выслушала, внимательно посмотрела на уши Маруси и стала ей что-то говорить.

Маруся слушала ее с сонным лицом и, когда она кончила, спросила Карташева безразличным тоном:

— Вы понимаете по-английски?

— Нет.

Маруся сказала:

— Это большое счастье.

— Почему?

Она тихо ответила:

— Потому что вы не понимаете, как я, сидящую около меня идиотку.

После этих серьезно и печально сказанных слов нежное безе, которое положил было себе в рот Гартвиг, пылью разлетелось во все стороны.

Гартвиг хохотал, зажимая рот салфеткой.

— Опять, Маруся! — лениво протянула мать, вставая из-за стола.— Кофе, господа, будем на террасе пить.

Поднялись все.

— Мама, я не виновата же,— ответила капризно Маруся,— что кавалеры мои не умеют держать себя за столом.

Гартвиг, всплеснув руками, говорил Марусе:

— Боже мой, боже мой, кому только достанется такое сокровище?

— Кому? Царю,— ответила Маруся и важно пошла благодарить отца и мать за обед.

Старик Ясневский прошел в свой кабинет. С ним исчезла чопорность и натянутость. Общество разбилось на отдельные группы.

Гартвиг с Карташевым сели в сторону и делились впечатлениями пережитого после окончания курса. Гартвиг служил в том правлении, председателем которого был Ясневский. Кроме того, он был представителем крупной заграничной фирмы, поставлявшей на русские дороги привилегированные тормоза. В общем и Гартвиг получал около десяти тысяч. И он тоже уговаривал Карташева переезжать в Петербург.

Бор-Залесский разговаривал со студентом.

Жених с невестой ушли в парк.

Мать встала и спросила:

— Кто хочет со старухой погулять по парку?

Раздались четыре «я».

— Я выбираю monsieur Карташева.

— Прикажете руку? — спросил Карташев.

Она махнула:

— Я слишком толстая и большая для вас: так нам удобнее будет.

Когда они пошли по аллее парка, она спросила:

— Вы товарищ Валериана Ивановича?

— Да.

— Вы дружны с ним были?

— Наши чертежные столы стояли рядом. Валериан Иванович был очень прилежный, я ленивый, он все знал, я ничего и пользовался его знаниями, а в минуты отдыха наслаждался его остроумным, метким разговором.

— Вы считаете его талантливым?

— Очень. Он один из самых выдающихся среди нас.

— А мой Януш?

— Он самый фундаментальный.

Мать покачала головой.

— Он такой серьезный: я боюсь, что он в конце концов...

Она сделала движение около головы.

— Ум за разум зайдет,— добавила она.— Лучше быть таким, как Гартвиг, и вы, кажется, такой же: не задумываться и брать, что дает жизнь. И все будут вас любить, и вам будет легко, и с вами будет легко. А уж с этими серьезными... у меня с ними вся жизнь прошла: и муж такой, и сын такой, и зять будет такой... У вас отец и мать живы?

— Мать жива, отец умер.

— Он тоже инженер был?

— Нет, военный генерал.

— А в семье мужа и отец его и дед его инженеры, Януш четвертое поколение инженеров. Матушка ваша где живет постоянно?

— В Одессе. Летом иногда уезжает в имение на границе Херсонской и Киевской, на реке Высе.

— Я слышу по голосу вашему, что вы любите это имение.

— Вообще деревню, хозяйство безумно люблю.

— Отчего же вы в таком случае не сделались агрономом?

Карташев пожал плечами.

— Карьера слишком маленькая. Быть управляющим...

— В своем имении.

— У матери две тысячи десятин, имение это достанется сестрам.

— Почему сестрам?

— Это наше общее желание.

— Вы любящий брат. Много у вас сестер?

— Живых три.

— А братьев?

— Один.

— Старше вас?

— Нет, в последнем классе гимназии.

— Мизинчик и, следовательно, общий баловень и любимчик. Вы невесту выбрали с ведома родных?

Карташев рассказал и о невесте.

— Как фамилия ее?

Карташев назвал.

— Бывший посланник...

— Это ее отец.

— Он очень богатый, кажется, человек.

— Я не знаю. Я еще только еду к нему знакомиться.

— И большой чудак. Он женат на второй, и жена его ужасный урод, и он всем говорит, что выбрал урода, чтоб не мучиться ревностью. Его первая жена была красавица. Ваша невеста от первого брака?

— Да.

— И тоже красавица?

— Нет, ее нельзя назвать красавицей.

— Вы любите ее?

— Очень.

— Агнеса! — крикнула мать.— Ты знаешь, на ком monsieur Карташев женится?

— Мы с вашим тестем,— обратилась она к Карташеву,— как-то вместе в Ментоне провели зиму.

Когда все общество опять собралось вместе, Валериан Иванович обратился ко всем:

— Господа. Кто меня выручит? Ввиду скорой свадьбы моей невесте надо каждый день ездить в город, а у меня все время занято службой...

— И у меня,— развел руками Гартвиг.

— У нас с ним,— показал Бор-Залесский на студента,— тоже перед отъездом дела выше головы.

— А Артемий Николаевич не хочет,— сказала Агнеса Станиславовна.

— Очень хочу, и я почти свободен теперь.

— А я обещаю с вами говорить постоянно за это о вашей невесте.

— А я буду говорить вам о вашем женихе.

— Вот-то тоска будет,— рассмеялся Короедов.

— Нет, нет. Ни за что! Довольно с меня и времени его присутствия. Я должна отвлекаться, забывать о нем, как и всякий жених, как и всякая невеста.

Она задорно смотрела на всех.

— Совершенно верно,— кивнул разочарованно Бор-Залесский.— Всякий жених и всякая невеста прежде всего врут друг другу, и надо время, чтоб придумать, что еще наврать.

— А когда станут мужем и женой? — спросил Короедов.

— Тогда, как поженятся, начинают приучаться опять говорить правду. И так как правда горька, то горечь и в отношения проникает, и тогда единственное средство опять же почаще разлучаться.

— Вы часто разлучаетесь с вашей женой? — спросила Агнеса Станиславовна.

— Постоянно.

— А зачем же вы берете ее с собой на изыскания?

— Чтоб сбросить ее где-нибудь там в пропасть. То есть, конечно, не я ее толкну туда, а она сама полетит. Потому что она у меня говорильная машина, и когда заговорит, то уж ничего не видит ни перед собой, ни под собой. Вот я ее и заведу, а подходя к пропасти, отстану, а когда она уже сорвется туда, подбегу, буду

ломать руки и кричать: «Лизочка, Лизочка, куда же ты?»

— Вот я, когда познакомлюсь с вашей женой,— сказала Агнеса Станиславовна,— я передам ей, как вы отзываетесь о ней.

— Не удастся...

— Почему?

— Она у меня только сама говорит: других никогда не слушает. Чтоб заставить ее слушать, надо сделать вид, что секретничаешь от нее. Тогда она подслушивать станет. Раз так ухо себе в дверной щели прищемила.

— Но ведь это ужасно так отзываться о жене! Я думала, что хуже моего жениха по ехидности нет, но вижу, что вы в тысячу раз хуже его...

— Но ведь он же еще не женился на вас, а я уже год и четыре месяца женат. Так что не падайте духом: я по крайней мере уверен, что ваш супруг со временем меня за пояс заткнет.

— О, какой вы ужасный! Какая вы проза...

— Нет, не всегда. Когда выпью бутылку-другую шампанского, тогда и на меня посмотрите.

— Я бы очень хотела.

— А вот на свадьбе.

— А вы не буйны во хмелю?

— Наоборот: буен я в трезвом состоянии, а в пьяном виде я мил, любезен, очарователен! И я еще не встречал дамы, которая в таком моем состоянии не влюбилась бы в меня.

Гартвиг взял Карташева под руку и, уходя с ним с террасы в парк, весело говорил:

— Идем подальше от этого нахала. Вот врет!

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1895, №№ 1—6, 9—11, с подзаголовком «Из семейной хроники» и примечанием в № 1: «См. «Русское богатство», 1893» (здесь в 1893 году были опубликованы «Гимназисты»). В части тиража № 11 журнала публикация повести обрывается на XXXIV главе, в конце которой значится: «Окончание следует»; часть выпуска сверстана с окончанием (главы XXXV—XXXVIII), вклеенным после отпечатки тиража,— об этом свидетельствуют повторная нумерация страниц и примечание: «См. № 11 «Русского богатства», 1895». Из переписки Гарина с редакцией видно, что публикация окончания отложена была вначале в связи с задержкой Гариным корректуры («Надо было выбирать между двумя скандалами,— телеграфирует Иванчин-Писарев Гарину,— выйти без вас или январе. Выбрали первое». ИРЛИ); однако после резких возражений Гарина окончание было подверстано в неразошедшейся части тиража к № 11.

В «Студентах», так же как и в первых двух томах «Семейной хроники», в ряде случаев отражены подлинные факты биографии писателя — об этом мы находим свидетельства как в письмах Гарина, так и в мемуарах. Биографическим, например, является эпизод с провалом на экзамене и переходом Карташева из университета в Институт путей сообщения. В образе профессора, поставившего Карташеву единицу, изображен известный в семидесятые годы профессор П. Г. Редкин, преподававший в Петербургском университете («Материалы для биографии Гарина». ИРЛИ). Подлинным фактом биографии Гарина является увлечение студента Карташева писательством. Н. В. Михайловская рассказывает в своих воспоминаниях: «Будучи студентом, Николай Георгиевич написал как-то рассказ об одном юноше, кончающем самоубийством под звон пасхальных колоколов. Рассказ был очень

трогательный, и переписчица, переписывая его, проливала над ним слезы. Николай Георгиевич отнес этот рассказ в редакцию, уж не помню какого журнала, но рукопись не была принята. Николай Георгиевич так огорчился этим отказом, что сжег все, что у него было написано до этого времени, и решил никогда больше не браться за перо, но не всегда держал данное себе слово...» (Н. В. Михайловская. Мои воспоминания о Н. Г. Гарине-Михайловском. ЦГАЛИ).

Рисуя студенческие волнения 70-х годов и сопровождавшие их массовые аресты, писатель использовал личные впечатления студенческих лет в Институте путей сообщения, впечатления от студенческой демонстрации 1891 года на похоронах известного шестидесятника, литератора Н. В. Шелгунова, на которых он присутствовал.

Работа над «Студентами» была начата вскоре после окончания «Гимназистов». 26 сентября 1894 года Гарин сообщает Иванчину-Писареву: «Студентов» начал». Однако загруженность писателя (изыскания, доклады, статьи, посвященные железнодорожному строительству) прерывает на некоторое время начатую работу. Через полтора месяца Гарин вторично извещает Иванчина-Писарева: «Принимаюсь за «Студентов» (телеграмма от 10 ноября 1894 года. ИРЛИ). «Посылаю Вам,— пишет он 25 ноября,— две главы «Студентов». Остальное не замедлю: пишу день и ночь, и, кажется, в ударе... Если б успели вы и Николай Константинович [Михайловский] прочесть и сделать свои пометки...» (ИРЛИ). Публикация «Студентов» была начата задолго до окончания работы над ними. «И «Студенты», и «Тёма»,— писал позднее Гарин Н. К. Михайловскому,— писались к каждой следующей книжке, и читали Вы их уже в последней корректуре» (письмо от 7 февраля 1897 года. ИРЛИ). О том, как Гарин работал над повестью, рассказывает в своих воспоминаниях А. Воскресенский. «Я помню, как «Русское богатство» срочными телеграммами просило Николая Георгиевича немедленно прислать продолжение «Студентов». Он вечером сел писать, а я тут же стал переписывать, и, несмотря на то, что я хорошо разбирал его руку, он буквально забрасывал меня материалом» («Из воспоминаний народного учителя». ЦГАЛИ).

Однако сохранился черновой автограф, свидетельствующий о том, что заготовки для будущей повести делались и ранее. Хранящаяся в ИРЛИ тетрадь с записями Гарина представляет собой, возможно, записную книжку писателя, дневник, о котором

Гарин неоднократно, на протяжении ряда лет, писал жене: в письмах от 19 июля 1891 года («Пишу маленький дневник»), 20 сентября 1892 года («Ах... какой богатый материал накопляется у меня... Пока веду дневник, а там видно будет») и 9 мая 1904 года («Очень интересно услышать твое мнение о моем дневнике». ИРЛИ). Предположение о дневниковом характере автографа подтверждается имеющимися здесь характерными для Гарина размышлениями о писательстве Николая Павловича, от имени которого ведется повествование:

«У каждого читающего есть свой любимый поэт, которого не ленятся они еще и еще перелистывать.

Но чаще других и своего любимого поэта перелистываем мы свою собственную книгу, которую жизнь страница за страницей вписывает нашей рукой.

Какая сила, какие краски в этой книге. Бери прямо как есть и выкладывай кому надо.

И скорей выкладывай — время не ждет!

В ту же минуту, быть может, другому, водя его бессознательную руку, вписывает она то же, что когда-то вписала тебе и что временем осветится светом истины, разгоняя мрак отчаянья и бездны.

Смертному не сыскать на своей палитре тех красок, тех теней и тех переливов, какими великий художник-жизнь разрисовывает свои картины. Его труд — более высокий, удачная копия, фотография, иногда очень неискусная и плохая, но, как всякая фотография, искупающая недостающее своею правдивостью и искренностью».

Вместе с тем эти записи о Николае Павловиче предваряют многое в образе Карташева из «Студентов». В печатный текст повести, однако, не вошел целый ряд эпизодов, например, близкие отношения Николая Павловича с квартирной хозяйкой и одновременно с ее племянницей; связь его с горничной Аннушкой (в повести героем романа с Аннушкой является Корнев).

Работая над повестью, Гарин часто уже в корректуре перерабатывал ее, принимая во внимание и замечания редакции, в частности Н. К. Михайловского, к которому он обращался с просьбой «быть строгим судьей».

В письме от 8 июня 1895 года писатель сообщает Иванчину-Писареву об изменениях, связанных с образом Шурки Неукротимой: «Теперь Шурка — Шурка, а то раньше выходило их две: сначала Шурка, а потом какая-то Марья Ивановна» (ИРЛИ).

Учитывая возражения Михайловского, Гарин переработал эпизоды, связанные с образом фанатичной и ограниченной, щеголяющей революционными фразами Марьи Васильевны Колпиной.

«Я принял во внимание замечания Николая Константиновича,— писал он Иванчину-Писареву,— и сделал все, что мог, чтобы ослабить значение Марьи Васильевны, но без такого типа не будет ни правды, ни жизни. Если кто захочет придраться с куриными головками, то бог с ним. Но и не к чему: окончательно не к чему. Карташеву я прибавил три моих страницы... это очень важные страницы для Карташева. Я отнял у него решительный тон в разговоре с Корневым, и теперь это ближе к истине, что его оттолкнули нетерпимостью. Во всяком случае это сохранит некоторые симпатии к Карташеву...» (письмо от 13 февраля 1895 года. ИРЛИ).

В этом направлении, стремясь «сохранить некоторые симпатии» к герою, переработал автор и эпизод, рисующий разрыв Карташева с Шацким, его стремление к новой, осмысленной жизни. В рукописи — подъем духа длится у Николая Павловича недолго, уже к вечеру наступает реакция: его тянет в оперетту, куда он ежевечерне ходил с Шацким, одиночество тяготит его. В журнальной публикации этот день является началом глубокого душевного перелома, Карташев полон надежд, он начал писать, жизнь его приобрела смысл.

Позднее, перерабатывая повесть для отдельного издания, автор исключает и историю взаимоотношений Карташева с Шуркой, отрицательно характеризующих героя.

«Студенты» были встречены критикой значительно более холодно, чем первые две книги тетралогии. Критическое отношение Гарина к системе высшего образования, острые сатирические портреты «белоподкладочника» Шацкого, опустившегося Ларио, наконец образ мечущегося и запутывающегося Карташева — все это вызывало возражения рецензентов. В одном из «Ежемесячных литературных приложений к «Ниве» критик Сементковский, например, патетически восклицал: «...роман производит такое впечатление, как будто автор хотел написать пасквиль на студентов... если бы учащаяся молодежь... была такова, то пришлось бы поставить крест над всей будущностью России» (1896, № 2). Это обвинение предъявляется автору неоднократно. «Студенты» разочаровывают...: не только в героях,— пишет рецензент в «Книжках Недели»,— в стремлении изобразить такие стороны в жизни молодежи, которые являются уродствами, извращениями нор-

мальных общественных условий. Сцена в знаменитом некогда петербургском кафешантане Марцынкевича (заведение более не существует) — реальность изображения служит... не в похвалу, а в осуждение. Автор относится ко всему этому... чересчур эпически... не все язвы требуют обнажения, вовсе не у места юмор там, где нужна здоровая и внушительная проповедь. Болезненная волна захватывает всех молодых героев Гарина» (1895, апрель).

Аналогичную оценку «Студентам» дает и рецензент «Русской мысли» П. Николаев. «Гарин обладает замечательной способностью так сказать перерисовывать, накладывать на свои образы чересчур однообразные темные тени... пишет исключительно черными тонами... Тем же характером чрезмерной перерисовки... темноты тонов отличается и третья часть его трилогии «Студенты». Если бы мы поверили в описание студенческой жизни... было бы отчего в отчаяние прийти... мрачна и позорна эта жизнь... какие-то идиоты, животные и декаденты. Нигде и ни в чем, ни в семье, ни в школе, ни в общественном мнении, ни, наконец, в университетской науке — ни малейшего просвета. Тем не менее,— неожиданно заключает рецензент,— трилогия будет представлять вклад в беллетристическую литературу. Вопрос о судьбах и настроениях, о развитии и направлении молодого поколения... вопрос о будущем общества. Среди сплошного мрака выделяются... меткие замечания и серьезные наблюдения» («Русская мысль», 1895, кн. 3, 6, 8).

В письме Иванчину-Писареву от 1 сентября 1895 года Гарин отвечает на предъявленные ему Николаевым обвинения: «Прочел в «Русской мысли» отзыв о себе: много правды, но в общем он производит впечатление человека с расстроенными нервами, который сознательно или бессознательно валит с больной головы на здоровую: разве трудно понять, к какой части общества относится «эгоизм наших дней» [XXIV глава журнальной публикации, в которой автор говорит об «эгоизме наших дней» в последующие издания не включена] и чем именно деморализовано это общество? Общество и общество: одному вечное проклятие, другому вечная слава. И Вильгельм Мейстер великого Гете и Карташев ничтожного Гарина они и гибнут, и находят свое обновление, конечно, не на луне и не вне общества. Мне кажется, что этот рецензент с такими отталкивающими ужимками ухватился за идею взять под свою опеку «бедного Макара», что «книжники и фарисеи» ему удобнее повернуть к своей расстроенной особи. А может быть, он просто вдруг потерял свое миросозерцание,

хватается за свою идею и кричит обществу, как один мой разорившийся подрядчик, оставив десятнику Зайчикову выворачиваться как ему угодно, на отчаянные телеграммы последнего прислал ответ: «Борись, Зайчиков, денег нет» (ИРЛИ).

Однако и сам Гарин не был удовлетворен «Студентами», писавшимися в спешке,— в письме к Михайловскому от 7 февраля 1897 года он характеризует эту повесть как «самую плохую вещь» (имея в виду «Семейную хронику»). Эта самооценка Гарина отчасти совпадала с оценками критики, указывавшей на «нагромождение эффектов» в повести, отравляющих «удовольствие чтения» («Ежемесячные литературные приложения к «Ниве», 1896, № 2).

Перерабатывая повесть для отдельного издания 1898 года, Гарин исключает ряд эпизодов, перечисленных в рецензии Сементковского, например трагическую смерть Шурки Неукротимой, самоубийство ее возлюбленного Холмского. Существенные изменения внесены Гариным и в композицию повести. Многие главы перестроены, например: сцена в кафешантане Марцынкевича (X глава) перенесена в XII главу; приход Карташева с Шацким к Ларио (XII глава) — в XIII главу,— таким образом конфликт, который происходит между Ларио, Шуркой Неукротимой и Катей Тюремщицей, а также все связанные с этим последующие события сосредоточены в двух главах. Сокращены и объединены главы XIX и XX, ряд сокращений сделан автором в главах VII, VIII, XII, XVI. Сокращения эти связаны с исключением значительной группы персонажей, не участвовавших в первых двух томах «Семейной хроники», появляющихся в «Студентах» впервые, а следовательно и ряда событий, связанных с ними. В издании 1898 года отсутствуют фигурировавшие в журнальном тексте приятели соседа Карташева по квартире — Гонды, переименованного здесь в Сновидского: Либерман, Холмский, Скрашевский. Из текста повести исключены таким образом эпизоды — именины Гонды, чтение Либерманом своего рассказа «Ревекка», импровизация Холявы, работа на железной дороге Холмского и Скрашевского. Исключена автором последняя глава — возвращение Карташева в Петербург; повесть кончается похоронами Наташи.

Существенную роль играет изменение, внесенное Гариным в издание 1898 года: Карташев заболевает не чахоткой, а сифилисом. В новой редакции более оправданы горькие размышления

Карташева о том, что он «брошен, как Жучка, в вонючий колодезь», его желание покончить с собой, овладевшее им отчаяние, попытки оглушить себя вином.

Предпосланный повести в издании 1898 года эпиграф: «Свеча горит и меркнет и вновь горит сильней» (стихотворение К. Бальмонта, напечатанное в № 1 «Русского богатства», где опубликованы и первые главы «Студентов») — в последующем издании снят, по-видимому, как несоответствующий содержанию повести.

В 1903 году издательство «Знание» выпустило три тома «Семейной хроники». Появившийся здесь подзаголовок «Тёма и его друзья» уточняет тему повести, ограничивает круг действующих лиц: действующими лицами в последней редакции повести являются друзья Тёмы, известные читателю по первым книгам «Семейной хроники». Продолжая переработку, начатую для издания 1898 года, Гарин дополнительно исключает ряд персонажей (Сновидский, его друг Явин); исключаются, таким образом, эпизоды ареста Явина за подделку аттестата об окончании гимназии, его разорения, поездки в Монако, самоубийства, причисленные Сементковским еще в рецензии на первую публикацию «Студентов» к «дешевым эффектам». Исключены также: семья доктора Вдовиченко, спасающего больного Карташева, главы, посвященные жизни Карташева у Лопато, друга Вдовиченко, описание болезни Карташева, военная служба, смерть Наташи.

В окончательной редакции в текст повести возвращена сцена встречи больного, смятенного, одинокого Карташева с Ивановым, арестованным за революционную деятельность. Сцена эта, данная автором в финале, как бы символизирует итог двух жизней, о которых Гарин говорил: «те гибнут в Сибири, а другие пропадают от разврата» (письмо Иванчину-Писареву от 13 февраля 1895 года. ИРЛИ).

Ряд персонажей и эпизодов, исключенных из «Студентов» при переработке, в несколько измененном виде фигурирует в рассказах Гарина. Работа на железной дороге студента-практиканта описана в рассказе «На практике» (1903); переделан в самостоятельное произведение рассказ Либермана «Ревекка» (1896; две страницы, приведенные в повести, являются началом рассказа). В рассказе «Заяц» образ героя сходен с образом пропойцы Петра Семеновича (персонаж, исключенный Гариным при переработке журнального текста).

В настоящем томе текст «Студентов» печатается по изданию: Н. Гарин, Студенты, изд. т-ва «Знание», 1903, сверенному с предшествующими изданиями.

Стр. 23 *«Нас венчали не в церкви...»* — популярный в кругах демократической молодежи романс А. С. Даргомыжского (1813—1869) на слова А. В. Тимофеева (1812—1883).

Стр. 36 *...философским системам от Фалеса до Тренделенбурга...* — то есть от древнегреческого философа-материалиста VI века до нашей эры до немецкого философа-идеалиста середины XIX века.

Но ведь я... Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева... — Карташев вспоминает имена публицистов и историков, произведения которых были широко известны среди прогрессивной молодежи. В частности «История цивилизации в Англии» Г. Бокля (1821—1862) воспринималась как попытка объяснить исторический процесс, исходя из объективных (здесь — географических) условий. Широко известна была работа экономиста Н. Берви-Флеровского (1829—1918) «Положение рабочего класса в России» (1869), отмеченная К. Марксом (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIII, ч. I, 1936, стр. 353—354). Наряду с Чернышевским и Добролюбовым упоминаются имена М. А. Антоновича (1835—1918) и Н. В. Шелгунова (1824—1891) — сотрудников «Современника» в 60-е годы, а также А. П. Щапова (1830—1876) и В. А. Зайцева (1842—1882) — сотрудников другого революционно-демократического журнала начала 60-х годов — «Русское слово».

Профессор... как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. — А. С. Шишков (1754—1841) — реакционер, выступавший против проводимой Карамзиным демократизации литературного языка; М. Т. Каченовский (1775—1842) — профессор истории, представитель «скептической школы», оспаривавшей достоверность древнейших русских летописей. Впечатление, произведенное на профессора эрудицией студента, объясняется тем, что литературные и научные споры первой трети XIX века, связанные с именами Шишкова и Каченовского, в 70-е годы были основательно забыты.

Стр. 38. *«So gieb mir die Leiden wieder...»* — см. стр. 112, где в переводе А. Фета приводятся (неточно) эти строки из «Фауста» Гете (часть I, «Пролог на театре»).

Стр. 54. *«Revenons à nos moutons»* — из французского фарса XV века «Адвокат Патлен»; употребляется в значении: «вернемся к затронутому вопросу».

Стр. 55. *...труднее, чем Бисмарку подчинить себе весь мир...* — После победы Пруссии над Францией в 1870—1871 годы и создания Германской империи имя государственного канцлера О. Бисмарка (1815—1898) стало в представлении обывателей символом непобедимости.

Стр. 57. *...послал в шотландском костюме, кажется, Байрона.* — Для своей мистификации Шацкий, очевидно, воспользовался репродукцией с известного портрета Байрона в албанском костюме.

Стр. 78. *...в Александринку* — то есть в императорский Александринский театр (ныне Ленинградский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина).

Стр. 81. *«Стрекоза», «Будильник»* — еженедельные иллюстрированные юмористические журналы; выходили — «Будильник» с 1865 по 1917 год, «Стрекоза» с 1875 по 1908 год.

Стр. 84. *....ты читал «Рокамболя»?* — серия приключенческих романов «Похождения Рокамболя» французского писателя Понсон дю Террайля (1829—1871); один из последних томов (упоминается на стр. 99) — «Воскресший Рокамболь».

Стр. 86. *«comme une vache éspagnole»* — из французской поговорки: «Говорит по-французски, как испанская корова».

Стр. 99. *«Тайны первой французской революции»* — авантюрный роман французского писателя Э. Шавета (1827—1902), вышел в русском переводе в 1875 году.

Стр. 101. *Если он налетал на... марса...* — то есть на военного. Марс — бог войны *(римск. миф.)*.

Стр. 102. *...ты, как Антоний в объятиях Клеопатры, потерял все свое мужество...* — Римский полководец и политический деятель Марк Антоний (83—30 до н. э.); влюбившись в египетскую царицу Клеопатру и сблизившись с ней, отошел от государственных дел. В морской битве, оставив свое войско, последовал за покинувшей место сражения Клеопатрой.

...ты, как царь Саул, ищешь меча. — Саул — первый царь Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.), по библейской легенде, пронзил себя мечом после поражения в битве с филистимлянами.

Стр. 103. *Вспомни Байрона... Манфреда... мрачные скалы, демоны...* — Манфред — герой одноименной драматической поэмы

Байрона, терзаясь мировой скорбью, удаляется от мира в горы Швейцарии. Тоскуя по умершей возлюбленной, Манфред спускается в ад.

Стр. 105. *«Folichon, fo-li-cho-nette...»* — из популярной в 60—70-е годы XIX века французской фривольной песенки-танца «Folichon» («Весельчак»).

Стр. 107. *«Гугеноты»* — опера Мейербера (1791—1864).

Стр. 108. *...щедринские зайцы.*— Имеется в виду сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц» (1883).

Стр. 112. *«Я был убог и так богат...»* — из «Фауста» Гете в переводе А. Фета (часть I, «Пролог на театре»).

Стр. 114. *«Santa Lucia»* — народная неаполитанская песня «Санта Лючия» («Святая Лючия»).

Стр. 119. *Это Вагнера сказка «Мила и Нолли»...*— В одной из «Сказок Кота-Мурлыки» Н. П. Вагнера «Мила и Нолли» герои, плывя по морю у Голубых островов, слышат волшебную музыку.

Стр. 120. *«Ну, хорошо, теперь ты власть имеешь!..»* — из «Фауста» Гете в переводе А. Фета (часть I, «Пролог на небе»).

«Старый барин» — комедия в пяти действиях беллетриста и драматурга, петрашевца А. И. Пальма (1823—1885), напечатанная в 1873 году.

Стр. 121. *«La donna e mobile...»* — ария герцога («Сердце красавицы склонно к измене») из оперы Верди (1813—1901) «Риголетто».

Стр. 126. *Что им Гекуба и что они Гекубе?* — слова принца Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт второй, сцена вторая). Вопреки смыслу, который вкладывает в эти слова Гамлет, восхищенный тем, как вдохновенно переживает актер горе Гекубы, выражение стало нарицательным для обозначения равнодушного отношения к чему-либо. *Гекуба* — жена троянского царя Приама, ее муж и сыновья погибли при осаде Трои, сама она бросилась в море.

Стр. 127. *Шлоссер Фридрих-Кристоф* (1776—1861) — немецкий прогрессивный историк, автор многотомной «Всемирной истории»; в русском переводе (1861—1869) вышла под редакцией Н. Г. Чернышевского и В. А. Зайцева.

Стр. 128. *...профессор, представитель западного ученого, образ которого будет всегда связан с медико-хирургической академией...*— По-видимому, имеется в виду выдающийся ученый, профессор анатомии В. Л. Грубер (1814—1890), приглашенный из

Праги на кафедру академии Н. И. Пироговым. Создал при академии научный анатомический музей.

Стр. 133. *Хотя Баян был... только бандурист...* — Карташев имеет в виду поэта и певца древней Руси Бояна, упоминаемого в «Слове о полку Игореве».

Стр. 134. *Во времена Белинского решались разные принципиальные вопросы... искусство для искусства.* — Имеется в виду возглавлявшаяся Белинским борьба передовой критики 40-х годов за так называемое «гоголевское направление», то есть реализм, против сторонников «искусства для искусства», отрицавших связь литературы с жизнью. Маня справедливо подчеркивает, что за этой борьбой по «вопросам эстетики» «скрывалась... практика вещей», то есть большое общественно-политическое содержание.

У нас своя собственная точка зрения устанавливается: автор «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», автор статей «Что такое прогресс?»... — Речь идет о статьях Н. Г. Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858) и Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?» (1869). Под собственной точкой зрения Корнев имеет в виду теорию Чернышевского о своеобразии пути развития России и роли крестьянской общины в этом развитии, последователями которой считали себя Михайловский и другие представители народничества конца 60—70-х годов.

Это уже другая разновидность. Они... взяли свою собственную точку приложения. Они не желают у нас повторения... берлинских событий тысяча восемьсот сорок восьмого года... — Речь идет о части народничества 70-х годов, — противниках революционных методов борьбы, из опасения повторения в России результатов германской антифеодальной революции 1848—1849 годов; победа народа была использована буржуазией для захвата власти, соглашения с помещиками.

— Если они отрицают Запад, значит они те же славянофилы?..— В сущности... есть разница... — Корнев справедливо указывает на различие между революционным народничеством и славянофильством. Смыкаясь с народниками на положении об особом, не похожем на Западную Европу, пути исторического и культурного развития России, славянофилы в отличие от народников видели идеал народной жизни в патриархальном, косном быте допетровской Руси.

Стр. 136. *...эпикурейцы прельщали содержанием, но уж как-то слишком откровенно все у них выходило; киренаики были тоже в сущности эпикурейцы, но скромнее.*— Эпикурейцы и киренаики привлекали Карташева утверждением, что высшим благом является наслаждение жизнью, однако в характеристике этих школ он допускает неточность: «откровенностью» отличались киренаики, отождествлявшие радости жизни с чувственными наслаждениями.

Стр. 137. *«Cogito, ergo sum...»* — из книги Декарта (1596—1650) «Начала философии».

Стр. 141. *Лагранж* Жозеф-Луи (1736—1813) — французский профессор математики, член парижской Академии наук.

Стр. 155. *Гарт* Фрэнсис Брет (1839—1902) — американский писатель-гуманист.

Стр. 159. *«Дело»* — ежемесячный научно-литературный журнал демократического направления, выходил в 1866—1888 годы в Петербурге.

Стр. 163. *...почему идеалиста Гегеля опять сменяют материалисты Бауэр...*— Профессор ошибочно причисляет философа Бруно Бауэра (1809—1882) к материалистам.

Стр. 164. *...сила в том, что абсолют вне нас, и роль человека при таком положении так ничтожна... Фейербах же — последнее слово науки,— центр тяжести перенес в ум человеческий... наш русский философ обосновал эту личность, как властного царя жизни...*— Думая об «абсолюте вне нас» и «ничтожной роли человека», Карташев имеет в виду философскую систему Гегеля, которая была подвергнута резкой критике Л. Фейербахом. Под русским философом Карташев имеет в виду, по-видимому, Н. Г. Чернышевского.

Стр. 170. *...исследования будут впредь заканчиваться Монтескье* — то есть серединой XVIII века. Монтескье Шарль-Луи (1689—1755) — французский писатель, философ-просветитель.

Стр. 202. *Патти уехала с Николини...*— итальянская певица Аделина Патти, жена маркиза де-Ко, выступала с тенором Николини, впоследствии ее мужем.

Стр. 209. *«Ромео и Джульетта»* — опера Гуно (1818—1893), написанная на сюжет трагедии Шекспира.

Стр. 221.— *Не было вас перед французской революцией.*— Имеется в виду французская революция 1789—1794 годов.

Стр. 223. *Габорио* Эмиль (1835—1873) — французский писатель, автор детективных романов.

Впервые — в сборниках товарищества «Знание» за 1907 год, книги семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая.

Последняя книга тетралогии, «Инженеры», задумана Гариным до окончания работы над «Студентами».

Однако к осуществлению своего замысла Гарин приступил значительно позже; возможно, что этому помешала работа над повестью «Студенты», которую он перерабатывал для отдельного издания (см. стр. 546). Первое упоминание об «Инженерах» встречается в письме Н. К. Михайловского Иванчину-Писареву от 22 мая 1898 года: «Был в редакции Гарин... Об «Инженерах» он и не заикнулся» (ИРЛИ).

Материалом повести явились впечатления, вынесенные Гариным от первых лет работы инженером сначала на строительстве Бендеро-Галацкой дороги в годы русско-турецкой войны, а затем на одном из эксплуатационных участков этой дороги.

В повести мы видим Карташева, борющимся с рутиной, равнодушием, хищничеством Сикорских, Полякова, спившегося инспектора Емельянова и других. О косной среде, окружавшей Гарина-инженера, рассказывает Ф. Ф. Венцель, лично знавшая писателя: «...многие его сослуживцы-инженеры косились на него. Очень уж он расходился с ними во взглядах. Это были всё люди из числа... благополучных россиян. Их интересовало, если можно так выразиться, только собственное насыщение всеми материальными благами, и социальный строй, при котором им это было весьма доступно, казался им превосходным. А Гарин своим непримиримым отношением ко всякой рутине... явно этот строй подрывал» (Ф. Ф. Венцель, Из моих воспоминаний, «Звезда», 1943, №№ 5, 6).

Об автобиографичности некоторых эпизодов повести рассказывает в своих воспоминаниях жена писателя, Н. В. Михайловская. «В «Инженерах»,— пишет Михайловская, цитируя страницы, на которых описаны сцена на кладбище, объяснение Карташева с невестой, женитьба,— Николай Георгиевич выводит себя под именем Карташева, а меня под именем Аделаиды Борисовны» (Н. В. Михайловская, Мои воспоминания о Н. Г. Гарине-Михайловском. ЦГАЛИ).

В одном из писем жене Гарин сообщает также об эпизоде, описанном им потом в «Инженерах»: «Господь спас меня от большой опасности: моя лошадь опрокинулась через меня — как

она меня не раздавила, я и теперь не знаю. Это было одно мгновение, когда я сознал, что лошадь упадет через голову (видала, как ребятишки опрокидываются), я успел сознать и перегнуться вправо, вследствие чего под нее попала только одна нога. Зато хватился левым боком и плечом со всего размаха о камень — думал не досчитаюсь ребер,— но все, слава богу, благополучно» (1 октября 1890 года. ИРЛИ).

Однако повесть «Инженеры», как и предыдущие книги тетралогии, не является автобиографией. В образах Карташева и его друзей, становление и формирование характеров которых обрисовано на широком фоне общественной жизни, писатель стремился показать обобщенные черты современного ему поколения.

Отдельные эпизоды, которые разрабатывались Гариным в рассказах и очерках, посвященных железнодорожному строительству,— «Вариант» (1888), «Вальнек-Вальновский» (1895), «Веселые люди» (1897), «В сутолоке провинциальной жизни» (1900), «На практике» (1903) — вошли позднее в повесть «Инженеры». Так, например, текст «Инженеров» в ряде случаев совпадает с текстом очерка «Веселые люди», рассказом «Вариант».

По свидетельству Михайловской, над повестью «Инженеры» Гарин работал в годы русско-японской войны, в Маньчжурии, куда он выехал в конце апреля 1904 года. Письма Гарина из Маньчжурии, где он пробыл около двух с половиной лет, свидетельствуют о том, с каким увлечением писатель отдавался литературной работе в последние годы своей жизни. «Пишу до десяти листов в месяц...— пишет Гарин жене.— Каждый день не менее десяти часов... Пусть никто не скажет, что я ленив. И что жизнь, если не работать?» (19 июля 1904 года. ИРЛИ). Однако многочисленные обязанности писателя, работавшего инженером в действующей армии, корреспондентом московской газеты «Новости», задерживали работу над «Инженерами». И только в 1906 году Гарин сообщает: «...я уже засел за «Инженеров» с финалом всей этой эпопеи войны» (письмо к Н. В. Михайловской. ИРЛИ).

Писатель С. Я. Елпатьевский в некрологе, посвященном Гарину, с которым был близок на протяжении ряда лет, вспоминал: «...именно в последнее время его потянуло к литературе наиболее властно, и работа, на которой он умер,— «Инженеры» — раздвигалась все шире, все росла в своих размерах...» («Русское богатство», 1906, № 12). Смерть прервала работу Гарина задолго до завершения «Инженеров».

Посмертная публикация повести в «Знании» сопровождалась примечанием редакции: «Роман «Инженеры» остался неоконченным. Автор хотел довести рассказ о жизни Карташева до наших дней. Неожиданная смерть помешала выполнить этот план». «Две вещи хотел бы я успеть еще сделать — закончить свою книгу «Инженеры» и выстроить Крымскую железную дорогу» — об этих словах Гарина, произнесенных им в день смерти, вспоминает Михайловская. «Он нередко говорил своим знакомым...— пишет А. Куприн,— что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными. Это — электрический путь по Крыму и повесть «Инженеры». Но — увы! — первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе — смертью» (А. И. Куприн, Сочинения в трех томах, Гослитиздат, М. 1953, т. 3, стр. 542).

«Инженеры» остались незавершенными композиционно и стилистически, художественно не отделанными. Разнобой остался даже в фамилиях и именах действующих лиц: младшая сестра Карташева именуется в тексте «Знания» то Асей, то Аней, Евграф Пантелеймонович — Евграфом Пантелеевичем, Евграфом Тимофеевичем, Елизавета Андреевна — Татьяной Андреевной и т. д. (в тексте настоящего издания этот разнобой не сохраняется). Многочисленны и примеры стилистической недоработанности. «С Наташей *большой кусочек* жизни ушел» (стр. 246); «Зина *горячо несколько раз обнимала* брата» (стр. 277); «Он рассказывал, что у него там есть *они*, которые ему и доносят...» (стр. 281); «И если ты хотел меня *удивить*, то — напрасный труд, жизнь уже столько *удивляла* меня, что уж теперь трудно *удивить* меня...» (стр. 309).

Имеющиеся материалы дают возможность, хотя и неполностью, установить, как работал Гарин над «Инженерами». Например, сличая напечатанный текст с сохранившимся в ЦГАЛИ черновым автографом (вариант шестой главы, частично совпадающий с первой, частично с третьей главой окончательного текста), можно заметить, что Гарин, как и в «Студентах», в процессе переработки обращал в частности внимание на то, чтобы «сохранить некоторые симпатии к Карташеву» (см. стр. 544). Так, в автографе: Карташев, закончивший институт, размышляет о необходимости протекции, связей, знакомств, без которых трудно будет устроиться на работу. «Выйдя на лестницу, я остановился на площадке с целью дать себе отчет в переживаемом моменте и окончательно прочувствовать его. К моему величай-

шему огорчению я ничего не почувствовал. Чему действительно радоваться? Тому, что окончил курс? В переводе на русский язык это значило, что завтра я должен отправиться искать где-нибудь место, а где его найдешь без протекции, без связей, без знакомств? Сидеть же без места ах как не весело, да и печальным может кончиться, очень многие инженеры отбивались от прямого пути, не имея связей, так навсегда и расстались со своей прямой специальностью — один стал учителем, другие акцизными чиновниками, третьи, кто мог, помещиками. Окончание курса, таким образом, далеко не радость для тех, кому не на кого надеяться...» В печатном тексте «Инженеров» размышления Карташева принимают иной характер: его гнетет мысль о тысячах обездоленных, за счет которых он будет сыт, о том, можно ли изменить все это (стр. 236). Как и в черновых вариантах «Студентов», повествование в автографе еще ведется от первого лица.

О более позднем этапе работы Гарина над «Инженерами» можно судить по другому автографу (ИРЛИ), который представляет собой черновик глав XVII— XXII, испещренный авторскими поправками, носящими в основном стилистический характер.

Несколько переработан здесь эпизод, в котором описаны воспоминания томящегося бессонницей Карташева о детских годах (растрата денег, данных отцом на учебник), первоначально данный как рассказ Карташева телеграфистке Дарье Степановне. Зачеркнуты, а потом восстановлены Гариным страницы, на которых описаны встречи Карташева с женой румынского полковника во время пребывания в Бухаресте.

Этот автограф и является, видимо, частью рукописи, отражающей последний этап работы Гарина над «Инженерами». С него, вероятно, и была сделана машинописная копия, послужившая оригиналом набора при публикации «Инженеров» в сборниках «Знания». Об этом свидетельствует сохранившаяся машинописная копия глав XI—XVII и конца рукописи, частично совпадающей с копией (глава XVII).

В машинописной копии наряду с отдельными исправлениями, сделанными рукой неустановленного лица и восходящими, по-видимому, к автографу (вписаны пропущенные слова, иностранный текст, исправлены отдельные ошибки машинистки), имеется правка Горького. Изучение этой правки проясняет частично историю посмертной публикации «Инженеров».

Получив незаконченную автором рукопись, Горький подготовил ее к печати, стремясь придать повести известную завершенность. Именно поэтому он заканчивает публикацию на размышлениях Карташева о Мане, разрывающей с семьей, со своим прошлым, чтобы отдать жизнь борьбе за счастье народа. Конец этот перекликается с финалом «Студентов» — встречей Карташева с Ивановым, едущим в ссылку. Текст продолжения XXIII главы, не напечатанный в «Знании» и следующий в машинописи за пометой Горького «Здесь полагал бы кончить», дан в «Приложении».

Материал, которым мы располагаем, далеко не полон: в сохранившейся части машинописи отсутствуют главы I—X, XVIII—XXII и часть главы XXIII. Однако и по сохранившейся части можно увидеть, что, готовя «Инженеров» к набору, Горький сделал некоторые сокращения; так, например, исключены: воспоминания Карташева об одесской ярмарке, возникшие в связи с его посещением ярмарки в Бендерах; рассказ инженера Лостера о том, как пьют англичане; перечень блюд, поданных на обед, (гл. XIII), отдельные ремарки, реплики. Из несколько путаного монолога инженера Савинского снята почти целая страница.

Кроме того, сделан был и ряд мелких исправлений, причем правка Горького несет на себе черты его стиля, его творческой манеры. Так, например, Горький устраняет словесные повторы: «А *вот* это *вот* и совсем умно» — исправлено на «А *вот* это и совсем умно» (стр. 391); «Я не об этом *говорю,* это уж полная гадость, о которой и *говорить* не стоит» — «Я не об этом, это уж полная гадость, о которой и *говорить* не стоит» (стр. 363); «На переднем *сиденье сидели*» — «На переднем *сиденье возвышались*» (стр. 426).

Исправляет Горький и такие вошедшие в речевой обиход выражения: в словах *«Маленькие глазки* Сикорского» — вычеркнуто *«маленькие»;* в словах «Потом *запрягли лошадей*» — вычеркнуто *«лошадей»* (стр. 405)

Исключаются и такие обороты, как «где-то», «какой-то», «кто-то»: «Все вместе производило впечатление *какого-то* видения» (стр. 360); «В тихом вечере *где-то* в саду (стр. 361); «Отдашь *кому-нибудь* первому встречному» (стр. 387); «когда я ему *как-то* сказал» (стр. 389); *«как-то* поздно развиваешься» (стр. 399); «а если вы потеряете *какую-нибудь* опись» (стр. 401).

В фразах с рифмующимися словами Горький снимает рифму: в фразе «...он и *станет* там, куда его *потянет*» вместо *«потя-*

нет» стало *«увлечет»* (стр. 339); в фразе «Это вызвало громкий *смех всех»* — *«всех»* вычеркнуто (стр. 392); в словах *«следы еды»* — *«еды»* заменено на *«обеда»* (стр. 428); «всеми силами чем только *могу помогу»* — *«чем только могу»* вычеркнуто (стр. 429).

Исключены или исправлены слова, видимо, не разобранные машинисткой, например: «Семен Васильевич, *как сухой,* быстро, отрывисто крикнул» — *«как сухой»* вычеркнуто (стр. 324).

Работа эта продолжена была и при чтении корректуры, о чем свидетельствуют некоторые разночтения между печатным текстом и машинописной копией. Например, в машинописной копии: *«вслух подумал* хохол», напечатано: *«сказал хохол»* (стр. 333); в копии: «вши у вас уже и по лицу *бегают»,* напечатано: *«ползают»* (стр. 360) и т. д.

Есть вместе с тем в правке Горького случаи исключений и исправлений, сделанных, видимо, в соответствии с цензурными требованиями. Из монолога Мани Карташевой после слов: «раз казнь — было бы за что!» в машинописи вычеркнута фраза: *«И каракозовская попытка может повториться в более широких размерах»* (стр. 385). В том же монологе: «Некоторые из наших... высказываются только за политическую борьбу, за борьбу с правительством *и самодержавием»* — вычеркнуто: *«и самодержавием»* (стр. 386).

По тем же, видимо, причинам сделаны Горьким еще две поправки на стр. 398 (размышления Карташева о религии): в фразе «Христос твердил: «Понимайте в духе истины и разума!» А свелось... к *грубому морочению, эксплуатации,* уверенью в том, чего никто не знает, не может знать» — *«грубому морочению, эксплуатации»* вычеркнуто. И в следующем абзаце, в словах «Отчетливо, конкретно представить себе только это — и точно повязка с глаз спадет и сразу охватит унизительное чувство за этих морочащих» — *«морочащих»* заменено на *«людей».*

Однако, несмотря на сделанные Горьким исправления, страницы эти послужили поводом для возникновения длительного цензурного дела, которое началось с доклада члена Петербургского комитета по делам печати В. Н. Осипова от 16 августа 1911 года:

«8 августа с/г. в Санкт-Петербургский Комитет по делам печати поступила книга под заглавием «Инженеры» Н. Гарина, 2-е издание товарищества «Знание» [имеется в виду издание 1911 года]. На стр. 26 этой книги [стр. 256 наст. издания] автор влагает в уста одного из действующих лиц, между прочим,

следующие богохульные слова: «Вся эта сказка вочеловечения, вознесения на какое-то небо, когда мы теперь уже знаем, что это за небо — все это, конечно, устарелая сказка» и т. д. Кроме того, на стр. 175—176 [стр. 398] приведены рассуждения героя романа о религии вообще и об учении православной церкви в частности. В рассуждениях этих вера православная называется обманом, шарлатанством, комедией и ложью».

Комитет по делам печати направляет отношение прокурору петербургской судебной палаты о необходимости подвергнуть аресту издания «Инженеров» 1911 года, а также 1908 года (изд. т-ва «Знание»), и сборник семнадцатый «Знания». Прокурор передает дело в Окружной суд, который в заседаниях от 13 сентября и 14 декабря выносит решение о наложении на эти издания ареста.

В результате последующей переписки в типографии петербургского градоначальства из 800 экземпляров семнадцатого сборника «Знание» и из 3200 экземпляров издания 1911 года страницы с «инкриминируемыми местами» уничтожены «посредством разрывания на мелкие части». Изъятый цензурой текст заменен точками, исправленные страницы набраны вновь. Арестованный экземпляр издания 1908 года направлен в Комитет.

На этом дело, однако, не заканчивается. 10 апреля 1912 года к следствию в качестве обвиняемого «по признакам вышеуказанного преступления» привлекается «собственник означенных книг, нижегородский цеховой Алексей Максимович Пешков».

В связи с амнистией по поводу трехсотлетия дома Романовых «уголовное преследование обвиняемого» 4 октября 1913 года прекращено.

В настоящем томе текст повести печатается по сборникам т-ва «Знание» с восстановлением цензурных изъятий. Кроме того, текст «Знания» сверен с сохранившимися частями машинописной копии и автографа, наличие которого позволило исправить ошибки машинистки, опечатки. Так, например, неправильно воспроизведена была при перепечатке правка Гарина, сделанная на полях вставка попала не на свое место и вместо текста: «...на тендере сидел Борисов, начальник соседней дистанции, *тот* молодой инженер, с которым Карташев познакомился у Борисова *и еще какой-то пожилой инженер в форме...*»; в «Знании» было напечатано: «...на тендере сидел Борисов, начальник соседней дистанции, *тоже* молодой инженер, *и еще какой-то пожилой, с которым Карташев познакомился у Борисова, инженер в фор-*

ме...» (стр. 446). Кроме того, вместо текста «Знания»: «...если б меня спросили *кто* я хочу быть...» — в рукописи: «...*кем* я хочу быть...» (стр. 444); вместо текста «...слушал... как тоскливо замирали ее последние высокие ноты в *влажном воздухе*» — в рукописи: «...в *весеннем воздухе*» (стр. 441); вместо текста — «Вы когда кончили? — *смело* спросил Карташева коренастый, обросший бородой инженер» — в рукописи «*сипло* спросил...» (стр. 448); вместо текста «...с густыми, черными, *темными,* жесткими волосами» — в рукописи: «...с густыми, черными, *немного* жесткими волосами» (стр. 469).

Стр. 247. *Эмеритура* — денежное пособие, выдававшееся некоторым категориям государственных служащих, уволенных в отставку.

Стр. 252. *«Суждены нам благие порывы...»* — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

Стр. 255. *...а нам зась...* — архаический оборот, бытовавший на юге, означает грубый, резкий отказ.

Стр. 322. *Произошло это уже в шестом классе, когда взапой читался... Зибер... Милль...* — Очевидно, имеются в виду работы Н. Г. Чернышевского «Основания политической экономии Д.-С. Милля» или «Очерки из политической экономии (по Миллю)» и Н. И. Зибера «Теория ценности и капитала Д. Рикардо в связи с позднейшими дополнениями и разъяснениями» (1871), входившие в круг чтения прогрессивной молодежи. Работы эти были высоко оценены К. Марксом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVII, 1937, стр. 13 и 17).

Стр. 333. *Помню ще Екатерину.* — Екатерину II, царствовавшую в 1762 — 1796 годах.

Стр. 371. *Поместите и Корде... которая убила Марата...* — Участница контрреволюционного заговора, Шарлотта Корде (1768—1793), убившая в 1793 году Марата, трактовалась в буржуазной историографии как героиня, освободившая страну от «кровавого тирана».

Стр. 374. *Поляков С. С.* — железнодорожный подрядчик-миллионер 70—80-х годов.

Стр. 386. *Его заело в значительной степени славянофильство...* — В своем отрицательном отношении к общине Маня Карташева придает чрезмерное значение теории Герцена о прогрессивной роли крестьянской общины в будущем русского народа,

называя его славянофилом. На самом деле Герцен до конца жизни оставался одним из крупнейших теоретиков революционного движения.

Стр. 387. *...Глеб Успенский не вводит себя в обман относительно общины.*— Успенский (1843—1902) правдиво показал развитие капиталистических отношений в деревне, разрушение общины, которую идеализировали народники (см., например, его очерки «Из деревенского дневника», 1877—1880).

Стр. 394. *Все эти Фурье, на которых воспитался Чернышевский, все это народничество, все это учение, стремящееся к земному раю, утверждает, что достаточно пожелать и рай земной сойдет на землю.*— Утверждение Савинского, что Чернышевский не отличался от утопических социалистов, явно ошибочно и не учитывает того, что Чернышевский был не только теоретиком социализма, но и вождем революционного движения.

Продолжаются... попытки перепрыгнуть, так сказать, через эту пропасть социальных противоречий, в то время как уже начался естественный переход через эту пропасть, я говорю о таком мировом факте, каково появление первого социалистического депутата в германском парламенте — Бебеля, действующего по законам, выработанным Марксом, это не учитывается совершенно нашей молодежью.— Савинский, говоря о естественном переходе через пропасть социальных противоречий, выступает с позиций реформистов, отрицавших неизбежность революции. С этих же ошибочных позиций он расценивает легальную деятельность немецких социал-демократов и появление в 1867 году рабочего депутата, социал-демократа А. Бебеля (1840—1913) в германском парламенте. На самом деле Маркс, высоко оценивая отдельные выступления Бебеля, в частности, в годы франко-прусской войны, в то же время нередко подвергал критике легальную деятельность немецкой социал-демократии (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. II, 1940, стр. 222, 243; т. XV, 1933, стр. 434, 450).

Стр. 395. *Коснулся Савинский и войны, заметив иронически, что расчеты правительства на нее, как на отвлечение, после понесенных неудач, разлетятся в прах, и вместо отвлечения получится... обратное.*— Савинский правильно отмечает, что правительство рассчитывало на победоносную войну с Турцией, как на средство отвлечь молодежь от революционных настроений и потушить нарастающее народное недовольство. Справедливо и его предположение, что крупные неудачи в ходе войны (хотя и за-

кончившейся военной победой России) сделают явным слабость и гнилость самодержавного строя, будут в дальнейшем содействовать новому подъему революционного движения. Действительно, после окончания войны Россия вступила в период новой революционной ситуации 1879—1881 годов (борьба народовольцев с самодержавием, убийство Александра II).

Стр. 451. *«Люди гибнут за металл...»* — из арии Мефистофеля в опере Гуно «Фауст».

Стр. 519. *...образовалась новая партия, и я примкнула к ней. На днях мы выпускаем первый номер нашего журнала. Мы будем называться народовольцы. Наша программа в сущности не отличается от «Черного передела», но путь для достижения цели у нас иной.*— В 1879 году произошел раскол народнической организации «Земля и воля» на две организации: «Черный передел», куда вошли сторонники основных положений старой программы (борьба за землю для крестьян), и «Народная воля», поставившая себе целью осуществление политического переворота путем организации террористических актов против царизма. Народовольцы издавали журнал «Вестник народной воли» (1883—1886).

СОДЕРЖАНИЕ

СТУДЕНТЫ. Тёма и его друзья. *Из семейной хроники* 7

ИНЖЕНЕРЫ 235

Приложение 525

Примечания 541

Гарин-Михайловский
Собр. соч., т. 2

Редактор *М. Гордон*
Художеств. редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *В. Знаменская*

Сдано в набор 5/VII — 1957 г.
Подписано к печати 25/XII — 1957 г.

Бумага 84×108¹/₃₂ 17,63 печ. л.=28,9 усл. печ. л. 27,35 уч. авт. л. Тираж 2-го завода 65 000 экз. (65 001—140 000). Заказ № 1285. Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.